Рассказ



Рассказ 78

Рассказ



«Современник». Москва. 1979 г.

Р2
Р24

Рассказ-78./Сост. и автор вступит. статьи
Р24 Ю. Галкин.— М.: Современник, 1979.— 415 с.

В сборник вошли русские советские рассказы, опубликованные в периодике Российской Федерации в минувшем году.

Р $\frac{70302-247}{М106(03)-79}$ БЗ—50—20—79 4702010200 ББК.84.Р7
Р2

Юрий Галкин

В НАПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

От составителя[1]

Рассказы в нашей текущей литературе не составляют какую-то особую область беллетристики, которой были бы недоступны крупные, как считается, исторические и общественные идеи и мысли, присутствующие в некоторых сочинениях большого формата. Да и обособлять разговор о рассказе было бы делом искусственным и малополезным. Разница состоит в том, что рассказ нуждается в более пристальном читателе и критике, чем толстая книга. Толстая книга — она уже сама по себе школа с подготовительными классами для читателя, она с первых страниц начинает учить, «натаскивать» своего читателя, берет его в плен, подгоняет его критическое отношение к легкому восприятию своих выводов, если даже иные из них в конечном итоге окажутся и никчемными. Плен живописного обаяния, особенно в сочинениях детективных, остросюжетных, бывает так крепок, что читатель порой и не замечает, что усвоил совершенно внешнюю, поверхностную историю. Поэтому так бывают обильны и единодушны «мнения» по поводу романов, все достоинства которых заключаются порой в количестве текста.

Это говорится вовсе не в упрек, но только в попытке объяснения художественной природы нашего жанра. И говоря так, я не имею в виду любой рассказ. Художественный уровень жанра всегда определяют только наиболее зрелые художественные произведения. Точно так дело обстоит и в жанре рассказа, в жанре по существу своему наиболее строгому, имеющему свою интересную историю развития, историю, прямым образом связанную с историей нашей общественной мысли. Но это особая область разговора. Если в современном рассказе нет ясности и лобовой категоричности, то это связано с тем, что художественная задача подчинилась более сложному политическому, социальному и национальному устройству нашей действительности. Ведь в отличие от романа рассказ не создает своей упрощенной действительности по образу и подобию той, что была или есть, но отталкивается от реального и полагается на наличие в человеке уже воспитанной способности воспринимать язык художественного образа, наличие здравого нравственного чувства и самостоятельного взыскующего сознания. Так вовлекается в творческое дело опыт и житейская

[1] Сборник составлен по поручению Бюро Московского объединения прозы.

мудрость самого читателя. По крайней мере, рассказ рассчитывает на объединение с его чувством и сознанием. Возьмите «Судьбу человека». Глубина и серьезность мысли и художественное искусство М. Шолохова с удивительной простотой соединяют частный случай, частную судьбу с судьбой всего русского народа и придают этой общей народной судьбе живые человеческие черты. При таких достоинствах прозы явления даже внешней современной истории оказываются не чем-то абстрактным, самостоятельным или стихийным, но хорошо рассчитанным деянием, направленным исключительно на испытание рядового мирного человека. Если по поводу такого рассказа и возможен критический разговор, то только по существу действительности, по существу положения человека как главной действующей силы жизни. Всякое наукообразное словопрение о народности или нравственных исканиях будет кощунством перед сгоревшими в пепел глазами Андрея Соколова. Но готова ли наша критика к подобному практическому разговору? К такому разговору она не готова. И рассказ как жанр оказывается первой «жертвой» такого обстоятельства.

Совсем недавно в наших газетах и журналах раздавались толки по поводу романа Ю. Трифонова «Старик». Писатель предложил довольно тонко заштрихованную картину, имеющую отношение к событиям поворотного момента нашей истории — революции и гражданской войне. Конкретная жизненная сила этих понятий так велика, что даже невнятный намек на причастность к ним вызывает у людей нечто вроде благодарного восторга и поклонения. При чтении романа «Старик» мы тоже не сразу избавимся от этих чувств, потому что не сразу разберем за невнятной суетой, что центр всех действий и ситуаций находится в весьма отдаленном расстоянии от передовой (в прямом и переносном смысле) линии народной борьбы, смещен в некие тыловые канцелярии. Ясно, что при всяком большом деле без канцелярий не обойтись, и не в этом суть, а в том, что герои романа наблюдают за ходом борьбы «дивизий», «полков» и «армий» из этих канцелярий как из засады. И чтобы не утратить чувства причастности к этой борьбе, к идее народного освобождения и самому делу освобождения, эти люди должны взбадривать себя разного рода допингами. Но эти сильные средства вносят и в их частные отношения какую-то нервозность, недоговоренность, двусмысленность, они все время настороже, они боятся и темных ночей, и внезапных выстрелов, они боятся и друг друга. Но особенно они боятся почему-то жителей хуторов, где временно расположилась их канцелярия, так что на крыльце канцелярии всегда стоит на посту солдат. А в лае хуторских собак слышится угроза внезапного нападения и расправы. Может быть, поэтому с таким трудом приходится разбирать, какой флаг над канцелярией, где вершат свои дела наши герои. И не по тем ли самым причинам так нужны нашим героям всякие документы и бумажки, которые засвидетельствовали бы их причастность к великим событиям?

Герои «Старика» живут при фронте в каком-то тихом отчаянии и робком ожидании счастливого конца, точно этот счастливый конец есть не победа в кровопролитной окаянной войне, а тыква, которая должна созреть на грядке. И мы видим, во что выродилось это ожидание. Оно вырождается в дачное сытое существование, но и это существование такое же робкое, настороженное, каким было

и «участие» в борьбе за него. И эти герои, старые и молодые, и здесь, на верандах, точно в засаде. Внешне они живут так, «как все», и надеяться на эту похожесть даже очень приятно, тут есть своего рода и искусство — «мы как все». Но есть некоторая и особенность, совсем, может быть, и неприметная: они как будто что-то таят все время и от себя, и от своих близких, как будто опасаются какого-то разоблачения, и оттого жизнь их тягостна, одинока. Что же они таят, если подумать? Какую военную тайну? В тонко заштрихованной картине расслабленно-суетной жизни мы не скоро и разберем, что тайна состоит в том, что эти люди никого и ничего не любят, что мысли и поступки их несамостоятельны, а чувства условны, арифметичны. А разве это не тайна? Пожалуй, эта тайна поважнее любых государственных секретов.

Критик В. Кожинов правильно отметил некую нравственную подвижность молодых современных героев Ю. Трифонова (не «стариков»). В самом деле, в живописных картинах житейской суеты (как у всех!) трудно уяснить существо этих индивидуальных, конкретных душ, но ясно, что такая нравственная подвижность происходит все по той же самой причине. При условии подобной «тайны» мы никогда не получим вразумительного ответа на вопрос: борьба ради чего и за что? — если из нее исключена любовь, родина, народ, необходимость постоянного созидания добра друг для друга и ради справедливости (а не благополучия и силы!).

Речь не о том, что таких людей, какие изображены в «Старике», не было и нет. При всяком большом деле (даже чисто хозяйственном) всегда найдутся самые разные личности — от героя до мошенника. Речь о существе этих личностей и о их справедливом месте в художественном произведении, имеющем отношение к теме народной борьбы за свою лучшую участь. Если писатель посредством публикации сочинения выражает свое кредо, то и читатель посредством заинтересованной критики должен иметь право на выражение своего отношения и возможность называть вещи своими именами. Это было бы справедливо. Нравственная подвижность, неуловимость героев, их неотчетливость в самых существенных вопросах бытия не избавляет советского писателя от необходимости самому быть ясным и определенным. Если автор знает, в чем несостоятельность его героев, и не говорит нам об этом определенно, значит, он таит от нас самое существенное для произведения искусства, он скрывает тот «золотой ключ» познания, которым читатель открывает дверь в новый горизонт своей жизни. Этот ключ всегда давали читателю и Пушкин, и Толстой, и Горький. Они не оставляли человека в темном тупике неизвестности и одиночества.

Действие рассказа Ивана Ковтуна «Весной девятнадцатого» происходит в то же почти время и в тех же донских местах, что и в «Старике». И рассказ ведется тоже от первого лица. И так же в нем присутствует момент документальной достоверности, какой есть и в «Старике», но как и в «Старике», этот момент документальной достоверности ничего не определяет сам по себе. Ведь существо литературного произведения заключается не в точности употребленного штабного распоряжения, извлеченного из архива, но в согласии (или — в обратном значении — несогласии) частной судьбы, частного случая с общим тоном жизни, особенно в такие важные периоды истории, как революция, гражданская война.

Иван Ковтун рассказывает небольшой, даже и не очень «боевой» эпизод гражданской войны — отступление эскадрона красных бойцов из Миллерова в сторону Воронежа, так как белые прорвали фронт и есть опасность оказаться в окружении. А это кроме добавочных лишений еще и отодвигает конец войны. И темными теплыми весенними ночами молодых бойцов томят воспоминания о доме, об отцах и матерях. Но в этих воспоминаниях рядом с любовью — горечь и досада, потому что «стоит закрыть глаза, как начинает всплывать вся эта безрадостная жизнь, которая, словно короста какая, въелась в душу, и нельзя от нее избавиться».

«Знаешь, Ваня, ведь я в детстве страшно нуждался,— признается молодой боец Коля Петушков своему товарищу.— Так нуждался, что ты себе представить не можешь!.. Я, Ваня, не знал даже, кто был мой отец. Когда я спрашивал об этом свою мать, она, смотря по настроению, отвечала: «А зачем тебе это нужно?!» или: «Не знаю, сынок, не знаю...» Пожалуй, оно так и было, что она не знала, ведь жизнь у нее была очень тяжелая. С девчонок еще пришлось пойти в наймы к чужим людям, а потом на рудник...»

Вот главное объяснение тому, почему Коля Петушков находится в эскадроне красных бойцов. Коля Петушков встал на защиту человеческого достоинства своей матери. Он уже не может терпеть того унижения, в которое повержена и мать, и он сам, ее сын. Эта жажда жить достойно и чувствовать себя равным среди людей объединила его с другими такими же парнями, и вот этих людей оказалось так много и сила их стала так велика, что они смело поднялись на путь открытой, сознательной и беспощадной борьбы. Эта тема бесстрашия звучит в рассказе И. Ковтуна поразительно чисто, ясно и потому — спокойно. Темные весенние ночи, угроза окружения, где-то рядом могут быть враги, и незнакомые дороги, казачьи хутора... Казалось бы, вот та самая причина быть все время начеку, идти со взведенным курком и подозрительно озираться, и чем страшней, тем для читателя занятней, интересней. Но ничего этого в рассказе нет. Как же так? Но стоит нам вникнуть в то, что ведь по земле идет не лазутчик, не посторонний человек, не какой-нибудь сомнительный прохожий, а идет свой брат, свой человек, нормальный и обыкновенный Коля Петушков, как мы поймем глубокое свойство этой художественной простоты. Чего и кого бояться Коле Петушкову на окраине хутора, где ютятся такие же униженные бедностью и презрением люди? Он идет смело, кричит в полный голос на залаявшую собаку, стучит в дом.

«Дверь скрипнула, и из щели раздался женский голос:

— Кто там?

— Свои.

— Кто — свои?

— Красные, тетя!

— Господи Иисусе! — отозвалась женщина с испугом...

— Чего испугалась? Небось не волки! Ты лучше придержи-ка собаку, а то саблей рубану!..

Женщина подошла вплотную к Петушкову и стала осматривать его с головы до ног. Потом всплеснула руками...

— Бог ты мой! И взаправду красный!

— Точно,— подтвердил Петушков.— И к тому же — в полной боевой готовности...»

Петушков — молодой и веселый парень, ему хочется шутить и смеяться, но Авдотья уже заботится, как мать, о его жизни и предупреждает:

— Ты не дюже смейся, милый... В слободе-то белые! Еще днем прискакали...

Внешняя простота и краткость точного письма очень часто обманывают наши беглые впечатления. Такая проза кажется нам не художественной, не литературной, не психологичной и т. д. И наоборот — если описывается какая-нибудь бытовая пустота или что-нибудь исключительно патологического свойства,— именно эти предметы и требуют обилия слов и «художественности», то мы живо соглашаемся: литературно, психологично, художественно и т. д., не замечая того, что попались на самую примитивную удочку рекламы, элементарного любопытства или остренькой двусмысленности. Однако давно известно, что даже и по части профессионального мастерства простота и лаконизм точного слова — вещи весьма трудно достижимые. Правда, серьезная мысль, глубокое искреннее чувство и деятельное добро всегда говорят спокойными и тихими голосами. И это качество прозы свойственно всем лучшим произведениям на тему народной борьбы, начиная с фадеевского «Разгрома». И в этом же самом убеждают и такие рассказы 78 года, как «Весной девятнадцатого», или «Дорофей» Олега Селянкина, или «Фоткина любовь» Михаила Шушарина, или «За пращура» Константина Курбатова.

Но вернемся к судьбе Коли Петушкова. В перестрелке он получил ранение, которое оказалось очень тяжелым. Он едет на арбе вместе с отступающими друзьями, но смерть уже стоит у его изголовья. Он это понимает и, прощаясь с другом, говорит ему:

«— Не думай, Ваня, мне не жаль умирать... И хотя меня рановато подрубили белые, но я успел немало им насолить и кое-что сделать для нашего дела...— Помолчав немного, добавил: — Черный туман рассеется, друг мой... люди заживут лучше.

Я стоял около него молча, смотрел затуманенными от слез глазами на его посиневшее уже лицо, на ввалившиеся глаза, на гладко причесанные Дарьей волосы и за всем этим видел неизбежную смерть своего товарища...»

У «Весны девятнадцатого» есть подзаголовок: быль. И напечатана эта быль мелким шрифтом в журнале «Дон» № 2. Однако настоящее художественное произведение нельзя уронить ни мелким шрифтом, ни подзаголовком, и если рассказ Ивана Ковтуна на самом деле быль, то быль эта высокого свойства и тем дороже как живое свидетельство. Из таких эпизодов сложилась вся борьба народа за свое будущее, и потому именно она и оказалась победной. Какие бы новые «аспекты» и «идеи» ни прикладывались к этой борьбе, но существо и секрет победы лежат в душе Коли Петушкова и его товарищей.

«Нельзя жить на свете!» — с отчаянием говорит один из героев А. Н. Островского, а другой ему отвечает: «Не то чтобы нельзя, но при смутном понимании вещей действительно мудрено».

Когда не только из крупных исторических событий, но даже и из заурядных явлений обыденной человеческой жизни изымаются такие понятия, как народ, его воля, физическое и духовное со-

стояние, когда история и реальность современной жизни начинают вольно или невольно, сознательно или бессознательно расщепляться на различного свойства самостоятельные вопросы и проблемы, а общество — на касты и группы, тогда и наступает то самое «смутное понимание вещей», при котором жить человеку оказывается мудрено. Но поскольку никакой иной возможности существования пока нет, кроме как жить и жить вместе со всеми, то люди живут сквозь войну и разруху, сквозь беду и болезни, живут во что бы то ни стало и берегут огонь разума и надежды, как тысячи лет назад люди берегли костер. Но нам нужно быть еще строже и бдительней возле своего «костра», потому что наши разум, память и надежда, рождающие смысл существования, могут подвергнуться разрушительной эрозии тотчас, как мы забудем об этой опасности.

Разумеется, это не новость, и то, что подобные мысли, о которых только что шла речь, звучат в некоторых рассказах 78 года, представляется делом вполне уместным и полезным. Вообще эти мотивы предупреждения о грозящей экологической опасности, о патриотизме, защите жизни и человеческого достоинства звучат в русской литературе еще со времен «Слова»: «И стали князья... сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую... Никнет трава от жалости, а дерево с тоской к земле приклонилось...» Смысл этой своей заботы о настоящей и будущей жизни писатели видели не только в постановке болезненного и злободневного вопроса о том, как жить человеку и что делать, но и старались по мере возможностей ответить на этот вопрос. И впервые, может быть, наиболее определенно и ясно заявил об этом Пушкин своей Татьяной. В пушкинской Татьяне, этой хранительнице жизни, как будто ожила сама Ярославна. Но наследники Пушкина потеряли из виду эту путеводную звезду. Гоголь от отчаяния заблудиться в «мерзостях» схватился за культурного землевладельца «нерусского происхождения» Костанжогло. Его примеру последовал Гончаров, нашедший «позитивную программу» в образе немца Штольца. А решительный Чернышевский увидел спасение в виде «нового человека» Рахметова. Пройдет сто лет, и советский писатель Василий Росляков в русской нечерноземной деревне придумает некоего «культурного» комиссара, а другой советский писатель Федор Абрамов вырастит в пинежской деревне еще одного позитивного «немца» Нетесова.

Но вот какое дело: не ожидая услышать посягательства на эту тему в рассказах (прерогатива крупных жанров!), я вдруг почувствовал ее сознательный и настойчивый голос! И произошло это косвенным путем. То есть я, читатель, сначала обратил внимание на удивленные чем-то лица некоторых персонажей, и только тогда заинтересовался, чему же люди удивляются? Оказалось, что бабка Пелагея удивилась своему же соседу Ивану Купавину, который пустил в свой деревенский дом на временное жительство семью посторонних людей. Впрочем, удивляется не только бабка Пелагея, но и вся деревня. Так же трудно было им понять и отца Ивана Купавина. Отец в свое время «тоже все хотел, чтоб лучше было людям. Так и умер непонятым. Подсмеивались над ним...» В рассказе Сергея Воронина «Ради земли своей» это удивление Пелагеи своим соседом отмечено как факт, автор особенно и не вдается в существо и доказательство явления, привлекая наше внимание

к «странности» Ивана Купавина как таковой. Это хороший человек сам по себе. Но вот рассказ молодого писателя Глеба Текотева «Агафоновы странности» — здесь вся деревня тоже удивляется своему земляку Агафону Панкратычу, и удивление это является уже довольно активной преобразующей силой.

Но чему же удивляются люди? Оказывается, они удивляются обычному, естественному человеческому делу и поведению, к которому они и сами вроде бы способны, о котором, и в этом можно не сомневаться, сами в душе своей мечтают, но словно бы уже и не верят, что оно возможно. Мужики в деревне удивляются тому, что Агафон Панкратыч любит хорошо и красиво сделать свою работу. Удивляются тому, что с шабашниками он расплатился щедро, но вот магарыч почему-то распивать не стал. «Вот это фрукт!» Когда у соседа Христи падет корова, Агафон принесет ему пятьсот рублей для покупки новой коровы. Христя так поразился, что замахал руками: «Что вы, что вы, мне не отдать».

Агафон остановил его:

— Разбогатеешь — отдашь. Я сроки не устанавливаю. На такое дело денег не жалко...

А мужики в деревне опять качают головами:

«Ну и Агафон, ну и чудо в перьях...»

А ведь «чудо в перьях» — это по сути дела обычный человек.

Как видим, со времен Пушкина существует в русской литературе и другое решение вопроса. Правда, оно существует как-то глухо и незаметно, вроде бы даже и не сознательно, без пафоса во всяком случае. Вспомним, например, чему удивился впервые в своей жизни Е. Онегин. Он удивился все тому же «чуду в перьях» — Татьяне, ее спокойному человеческому достоинству и благородству, о существовании которых он, живя в условиях мнимой кастовой морали, и не подозревал. Следуя этой морали, Онегин попытался склонить Татьяну к измене и предательству под предлогом страсти и чувства, но был вынужден выслушать урок иного — высшего! — отношения к человеку и ко всему делу жизни и, в частности, к возможности счастья, которая была утрачена по его вине.

— А нынче! — что к моим ногам Вас привело? — спросит Татьяна и сама ответит с горьким сожалением:

...Какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

Вот, оказывается, в чем состоит подоплека всего дела! Е. Онегину как будто открылась вся бездна разрушения человека, куда он готов был упасть сам и к чему склонял «бедную Таню»! И уже безвольно падающего, Татьяна подняла его и, подняв, возвысила: «Я знаю: в вашем сердце есть и гордость и прямая честь». Так может поступить только добрая и умная мать. Татьяна в данную минуту такой матерью и сделалась,— ее собственная сила подняла ее до этого высшего человеческого звания. И недаром в ней в эту минуту воскресла «простая дева, с мечтами, с сердцем прежних дней» жизни в родном старинном доме. А ведь Татьяне тоже не чужда была «борьба страстей». Но помимо этого в Татьяне оказалась и другая сила, другое чувство, и когда пришла минута выбора, это чувство высшего сознания ответственности за достоинство жизни победило в ней все другое,— вспомним А. Каренину,

которая поступила в подобной ситуации наоборот, и всю ту цепь страданий и несчастий, которые обрушились на головы совершенно непричастных к «мелким чувствам» людей, в том числе и детей, ведь даже для сына своего она перестала быть матерью.

Основа поведения Татьяны очень ясно выведена Пушкиным из народного мироощущения жизни, которому, как мы видим, весьма не тесно было даже в прежних великосветских дворцах, и в Татьяне все указывает именно на эти истоки ее характера и деятельного поведения.

Наша социалистическая действительность побуждает нас к более широкому пониманию природы человеческого счастья, и нравственная подоплека поступка становится уже делом не только личной, но и общей нашей заботы. А если это так, то в недрах человеческого общежития должен быть постоянный источник, постоянное присутствие «феномена Татьяны». И он, разумеется, есть, вопрос только в том, чтобы не заслонять, не заваливать его чем попало, а помогать его ровному и ясному свету. Теперь ведь уже очевидно, что настоящая и надежная помощь людям не придет ни в виде «человека со стороны», ни в виде «немца», ни в виде «культурного управляющего» или высшего снисхождения, но с наибольшей пользой люди могут только сами себе помочь, помочь друг другу освободиться от «рабства мелких чувств», даже если они и сделались временно единственными. Другими словами, если сказать применительно к теме нашего литературного разговора, отношение к Пушкину, к его поэтическим урокам и миропониманию,— это вопрос не о ребяческом преклонении и юбилейном почитании гения (на это много ума не надо), а о постоянном и сознательном отношении к национальному культурному наследию, об отношении к этому наследию как к программе ясного и практического дела.

Правдивое и деятельное искусство открывает красоту и смысл существования в самой трудной области бытия — в нормальной повседневной жизни человека, и эти открытия глубоко удивляют нас, а часто и поражают «как будто громом», и возвышают, потому что мы начинаем видеть сами себя в безжалостном свете правды.

Признаками неожиданных, но глубоких и серьезных, а потому и закономерных открытий отмечены и такие рассказы 78 года, как «Звонит телефон» Анатолия Макарова, «Хлеб с маслом» Владимира Насущенко, «Умирал ямщик» Николая Фотьева, «Впервые замужем» Павла Нилина, «От снега до снега» Геннадия Ненашева. В конечном счете подобные открытия, которые делают люди в самих себе и в своей судьбе, оказываются единственно определяющей их дальнейшую жизнь силой, потому что, преодолевая беспомощное барахтанье в бытовизме, люди открывают в самих себе и в ближних своих, пусть уже и в умерших предках высокий ум, честь и доброе сердце. А поскольку эти человеческие достоинства открыты на белый свет, они оживают и приходят в действие. Оказывается, все это у нас есть, есть как залог длительного и прочного счастья! Все это не исчезло безвозвратно! И главное — это все лежит как раз в том самом направлении, в направлении человека, в направлении брата и товарища!.. И если человек сбился с дороги, то стоит вернуться назад и разобраться, где он поддался обману, решив с небрежной поспешностью: «...Ну, есть такой Буренков — ходит в кирзовых солдатских сапогах,

курит в уборной, учится лучше, чем можно было бы предположить по общему типу внешности...» (А. Макаров, «Звонит телефон»). Видимо, для людей нет надежнее пути, чем через возникшие заблуждения и недоверие, через забвение и самую жестокую реальность, точно через колючую проволоку, продираться на помощь друг другу, потому что иначе, в одиночку, они быстро ослабнут от злобы и тщеславия. И вот когда писатель работает с этой задачей помощи людям, то его поэтическая фантазия не гуляет сама по себе, а подчиняется мысли, действующей в направлении человека. Читая, например, фантастический рассказ «Стол Рентгена» Олега Корабельникова,— кстати сказать, молодой писатель успешно преодолел самоцельную, заманчивую условность фантастического вымысла,— читая этот рассказ, хорошо видишь, как человек в одиночку медленно поддается одичанию. И это естественный путь даже при том условии, что туда его не будут заманивать прелестями некоммуникабельного существования, в пропасть одичания человек скатится и без подталкиваний — самотеком. Поэтому еще очевидней необходимость осмысленной и деятельной помощи друг другу.

Впрочем, иного выхода у людей и нет. Особенно в условиях жесткого быта, где так легко поддаться отчаянию,— ведь это тоже своего рода искушение, ловушка в рабство «мелкому чувству». Предчувствие этой беды у людей часто притупляется злобой и усталостью, особенно если силы на исходе и целый день работаешь на ремонте корабельного дизеля, тут уж только одно желание — поскорей оказаться дома. Но в эту самую минуту старый и сердитый механик Трофимов снова вспомнил о том мальчишке, которого утром определили в ученики ему и который как бы для испытания был послан сделать самую грязную и неприятную работу в корабельном трюме, какая на этот день оказалась. И вот уже надо идти домой, а мальчишки до сих пор нет, он еще там возится, в темноте, среди ржавого железа и холода, он — будущий, может быть, механик, но пока еще только маленький, слабый человек, вся сила которого в ожидании и надежде на помощь. А напрасные ожидания, как известно, рано или поздно кончаются отчаянием.

«— Вылезай, дура трехступенчатая! — крикнул ему Трофимов издалека.

— Сейчас,— снова пискнул голосок».

Делать старому механику нечего, надо лезть на выручку. Трофимов «встал на карачки на дощатый настил. Горбыли были жидкие, прогибались под его тяжестью, хлюпали в грязи. Колени тотчас промокли... Грузное тело помбригадира ударялось в железо. Трофимов кашлял и плевался от густого смрада... Накаленный добела, он просунул голову за переборку и увидел распластанного на трубах мальчишку.

— Я говорю, вылезай! — заорал Трофимов банным голосом.

— Сейчас,— повторил свою фразу мальчишка и икнул от холода.— Она поддалась.

— Кто поддалась?

— Последняя гайка...

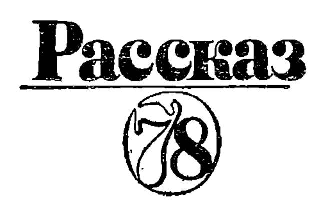
— Дай подержу,— вдруг смягчился Трофимов...»

И мы опять видим, что ничего вроде бы особенного не произошло. Но всякий, кто знает по себе или хотя бы догадывается, что такое работа на пределе физических сил и терпения, хорошо

поймет, в чем величие подобных добровольных человеческих поступков,— в литературном же произведении подобные эффекты достигаются всем ходом произведения, и чем оно правдивей и поэтичней, тем глубже и убедительней «открытие», которое делают герои, а вместе с ними и читатели. Владимир Насущенко в рассказе «Хлеб с маслом» добился именно такого итога, и наше впечатление и размышление опирается на весьма основательную реальность. Ничего особенного вроде бы и не сделал и не сказал старый механик Трофимов, кроме только того, что и должен был сделать человек с добрым сердцем и сознанием отеческой ответственности, но мы знаем, как это порой бывает трудно и как сложна и тонка природа таких «незаметных» поступков. Возьмем во внимание еще и то, что в рассказе «Хлеб с маслом» он случился вдали от посторонних глаз, в ржавом, грязном и холодном трюме корабля, и случился он помимо той работы, за которую «деньги платят», но ведь недаром сказано, что дух дышит, где хочет. Ржавое железо, сероводородная гниль, горбыли, гайки, сбитые руки и холод... Кажется, не очень подходящее место для «тонких» чувств. Но эта «низкая» материя, с которой постоянно приходится иметь дело людям, лишний раз убеждает в высокой степени благородства рядового советского человека, преодолевающего такое «сопротивление материала». Энергия подобного вдохновения рассеяна в нашей реальной жизни, и вот в рассказах мы отчетливо видим ее отражение. Достоинство этих рассказов, пока еще, к сожалению, не очень многочисленных, заключается в том, что авторы не только с художественной сосредоточенной силой свидетельствуют о том или ином статическом положении человека, освещая его светом сожаления и любви своего сердца,— это необходимая часть полноценной художественной работы, но еще и в том, что пытаются вырвать человека из слепого прозябания в низменных материях быта, порой весьма и комфортабельного, на более достойные для осмысленного существования горизонты жизни.

У такой прозы, каких бы жанров она ни была, помимо всего прочего, есть еще одна прекрасная особенность: она разоблачает несостоятельность беллетристики легкомысленной, поверхностной, сосредоточенной на созерцании приятных пустяков или щекотливых двусмысленностей, или той, которая беззастенчиво и самонадеянно спекулирует на слабостях и неведении доверчивых читателей.

При всем этом мы видим, что в наиболее удачных современных рассказах живут интересные и значительные мысли, относящиеся к существу нашего совокупного бытия. Для искусства оно всегда представляло наибольшую трудность, но тем-то и дороги читателю художественные открытия в этой так хорошо знакомой и таинственной области, которая называется современной жизнью. И будем надеяться на скорое, более смелое и основательное наступление в литературе долгожданной темы созидания человеческого счастья, а не его разрушения.



Иван КОВТУН
Константин КУРБАТОВ
Олег СЕЛЯНКИН
Михаил ШУШАРИН
Василий ШКАЕВ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Иван Ковтун

ВЕСНОЙ ДЕВЯТНАДЦАТОГО...

Быль

1

Стояли мы тогда в Миллерово. В распоряжении нашего эскадрона был двухэтажный дом постоялого двора. Дом был запущен: доски полов жалобно скрипели под ногами, потолки потрескались, стекла в некоторых окнах выбиты. В комнатах — сырость и запах заброшенного нежилого помещения.

Хозяева сбежали с белыми. Остался лишь старый черный пес с поседевшей мордой. Он подходил к кому-нибудь из нас и с тоской смотрел в глаза, ожидая подачки...

Небольшая комната на втором этаже, которую занимали командир эскадрона и я — его адъютант, была обставлена просто: у стен стояли две железные кровати, посредине — стол и три расшатанных стула.

Эскадрон наш был сформирован из добровольцев, и поэтому отношения между нами были товарищеские, а дисциплина образцовая.

Командир наш Герасим Ткаченков кавалерийскую службу знал хорошо. Служил действительную в кавалерии, а во время войны с Германией более двух лет сражался на фронте. Отважный в бою, он не терялся перед лицом смерти.

Ко мне Ткаченков относился с уважением и считал меня своей правой рукой. Причиной этому было то, что я был грамотнее других, решителен, тверд и несамолюбив. А главное, и прежде всего,— что я боролся против кровных врагов с трезвым упорством и с твердой верой в победу. К тому же у меня с белыми были большие счеты. В 1918 году я вырвался из их застенков, словно с того света. Пользуясь моей исполнительностью,

Ткаченков нагружал меня до отказа разными поручениями, которые я старательно выполнял.

Привыкнув с детства ко всякого рода лишениям, я легко переносил все это и те недостатки, которые ощущались у нас: с питанием, с обмундированием и с экипировкой вообще. Не падали духом и все остальные наши бойцы, хотя одеты были пестро: в солдатские шинели, в бушлаты и даже в штатскую одежду, словом, кто во что. У всех, на одежде или на картузах и кубанках, были прикреплены красные банты с пятиконечными звездочками, не для украшения, а в знак принадлежности к борцам революции. И какими бы вконец изношенными, местами протертыми ни были шинели, как бы странно ни выглядели покривившиеся, без шпор, сапоги — мы гордо держали голову и весело смотрели в глаза людям.

2

Был вечер, теплый и темный. Я сидел в комнате один, у открытого окна. Пахло зеленью деревьев. Сидел и вспоминал Сулин и мать. На душе было грустно. Думал: «Как она теперь там, с детишками, в окружении белых?» Потом стал думать об отце: «Жив ли он, или, быть может, его уже расстреляли в тюрьме?..»

Долго думал обо всем этом, до головной боли. Потом вышел на улицу, сел на лавочку рядом со своим товарищем Колей Петушковым, шахтером из Александровск-Грушевского.

Петушков тоже невеселый. Сидит, сосет цигарку, вздыхает и приговаривает:

— Э-э-эх, надоело скитаться по чужим местам...

Я молчу, жду, что он скажет дальше.

— Вот и пасха наступила,— продолжает Петушков задумчиво.— Раньше, бывало, в этот праздник нам, бедным ребятишкам, кое-что перепадало... И как мы были рады!..— И уже с тоской в голосе: — Знаешь, Ваня, ведь я в детстве страшно нуждался. Так нуждался, что ты себе представить не можешь!.. Я, Ваня, не знал даже, кто был мой отец. Когда я спрашивал об этом свою мать, она, смотря по настроению, отвечала: «А тебе зачем это нужно?!» или: «Не знаю, сынок, не знаю...» Пожалуй, оно так и было, что она не знала, ведь жизнь у нее была очень тяжелая. С девчонок еще пришлось

пойти в наймы к чужим людям, а потом на рудник... Тут и крутила с шахтерами...

Петушков замолчал, принялся сворачивать вторую цигарку. Прикурил, пыхнул дымом:

— Вот так-то, дружище! Теперь уже мне пошел двадцать четвертый год, а все кажется, будто это было только что. Стóит иногда лечь и закрыть глаза, как начинает всплывать вся эта безрадостная жизнь, которая, словно короста какая, въелась в душу, и нельзя от нее избавиться. А станешь вспоминать тех, кто причинил тебе обиду,— и, хочешь не хочешь, зубами заскрипишь...

— Видно, досталось тебе в жизни, Коля,— сказал я после того, как Петушков смолк.

— А кому из нашего брата не досталось?! — вскрикнул он.— Тебе разве нет? — И добавил: — Иной раз я еле ноги таскал. Бродил с мальчишками допоздна, не знай где... Ну, а потом пошел на рудник, породу выбирать из угля, по тридцать копеек за двенадцатичасовой рабочий день...

— Что ж, мне тоже довелось испытать многое,— согласился я.— Знаешь, где куча детей — там почти всегда бедность. Так оно и у нас было. Вечные недостатки, вечно кто-нибудь из детей хворал, всегда в хате стоял визг, и всегда чего-то не хватало. Да разве мы одни с тобой такие, Коля?..

— Про что я и говорю,— вздохнул Петушков.

Он был у нас особенный боец. Росту среднего, белобрысый и голубоглазый, с простым, живым лицом, пухлыми губами и небольшим вздернутым кверху носом. Его уважали все в эскадроне за энергичность и способность рассказывать разные истории, в которых действующим лицом зачастую был он сам. В своих рассказах Петушков так ловко раскрашивал происшествия, что все слушали его с раскрытым ртом...

Но иногда на него нападала тоска, и тогда он тускнел, избегал разговоров с товарищами, замыкался в себе.

3

Возвратившись однажды вечером из ревкома, Ткаченков, не раздеваясь, молча лег поперек кровати. Лицо у него было мрачное, скулы дрожали от возбуждения. Он был чем-то глубоко расстроен.

Лампа горела тускло, часто мигала, грозя потухнуть. При этом неверном свете я всматривался в командира, пытаясь понять, что произошло, а он только смотрел мимо меня, в темноту раскрытого окна. Наконец с огорчением и злобой воскликнул:

— Черт возьми! Завтра начинается отступление из Миллерово! Ты понимаешь, Молчанов? От-ступ-ле-ние!!

Я вскочил со стула. Это внезапное сообщение точно громом ударило меня.

— Отступление? — переспросил я.— Как? Почему? Куда?..

— В направлении Воронежа,— скривив губы, ответил Ткаченков.— Белые фронт прорвали в двух местах. Нависла угроза. Миллерово могут отрезать в любой день. Понятно?

— Вот это да-а... Значит, не удержались?

— Глупо все вышло! Упустили зря время! — громко и решительно заявил Ткаченков, глянув в упор мне в глаза.

Я молча ожидал, что дальше.

— Поверь мне, Ваня,— продолжал он, все больше возбуждаясь,— если б своевременно подтянули войска и двинулись вперед, белые давно бы оставили Дон и Кубань. А теперь — на-кось, изволь отступать.

Помолчав, он другим уже тоном спросил:

— Ну как, все ясно?

— Все...— мрачно ответил я.

— Тогда давай зови взводных, надо их поставить в известность. Завтра выступает местный батальон, а мы на второй день после них...

Мало и плохо я спал в эту ночь. Какой уж тут сон? Голова пухла от думок. Все никак не мог прийти в себя от этой новости.

Поднялся рано. Ткаченков лежал на спине, раскинувшись, и храпел. Я оделся потихоньку и вышел во двор.

Была ясная погода, и в прозрачной голубизне весеннего утра, казалось, все притихло. Лишь изредка на улице проходил кто-нибудь, громко стуча по тротуару. Лаяли собаки.

Меня не покидало смутное предчувствие нехорошего. Надежда на счастливый перелом в войне с белыми, на

близкую победу, что так страстно ожидалось,— рушилась...

Подошел взводный — Холостов. Поздоровался. Разгладил по привычке большие черные усы и спросил:

— Не спится, Ванюшка?..

Я молча кивнул головой.

— Мне тоже не спится.— Холостов вынул кисет и предложил: — Давай покурим.

— Давай.

Стоим, курим.

— Ну, а ты, Ефим Петрович, почему поднялся ни свет ни заря?

— Да у меня семья: жена, двое детей. Думаю о них. Не знаю, как быть. Ведь оставлять их здесь нельзя: на погибель!..

— А ты знаешь что? Бери их с собой!

— А можно ли?

— Если тебя это устраивает. А с Ткаченковым я договорюсь, можешь не беспокоиться. Лошади запасные у нас есть, доставай сбрую, арбу и усаживай их. Кстати, съезди на мельницу, там, может, все и достанешь.

Холостов поблагодарил меня, оседлал коня и поскакал устраивать свои дела. Он был кавалерист опытный — фронтовик, имел ранения и контузию. Приехав из госпиталя весной 1918 года, Холостов вступил в партию большевиков, потом в местную Красную гвардию. До прихода Красной Армии в Миллерово — скрывался в подполье.

4

Эскадрон уже был готов к походу. Ткаченков распорядился:

— Ванюшка, взводных и актив — на беседу!

Я оповестил всех и вернулся, когда все собрались, наверх. Ткаченков прежде всего спросил о готовности к походу. Потом сказал:

— Наш маршрут следования — в направлении станции Евстратовки. Переходы будем делать днем. Может, конечно, случиться так, что и ночью. Нужно иметь в виду всякие неожиданности... Но главное — это строжайшая дисциплина, спокойствие и боевой дух. Отступления и наступления во время боевых действий есть естественная закономерность...

Помолчав немного, обратился к Холостову:

— Ефим Петрович! Командование эскадроном я поручаю товарищу Молчанову, а тебя прошу — помогать ему во всем.

Мы с удивлением уставились на Ткаченкова.

— Не удивляйтесь,— усталым голосом сказал он.— Мне крайне необходимо задержаться здесь на некоторое время. Потом я вас догоню, не беспокойтесь. Теперь вот еще что,— добавил он.— Когда выйдете в степь, наблюдайте за дорогой, потому — все может случиться.

После этого встал и, как бы сам себе, проговорил:

— Черт их знает, чего они задумали. Нужно поскорее выбираться отсюда, пока белые не отрезали, а в ревкоме совещание назначили, да у провода все сидят...

И уже к нам:

— В общем, поднимайтесь — и в дорогу! Задерживаться не следует.

После беседы собрались во дворе, всем эскадроном.

— Товарищи! — обратился Ткаченков к красноармейцам.— Сейчас вы двинетесь в путь. Мы вынуждены временно отступить. Но мы не складываем оружия! Наше отступление — не бегство, а перемена места дальнейшей борьбы. Я призываю вас к выдержке и стойкости!.. Среди нас есть товарищи из местного населения, вступившие добровольно в наши ряды. Я обращаюсь к ним: кто колеблется, кто не уверен в себе — может остаться здесь, пока не поздно. И это надо сделать непременно, чтобы потом, в походе, не прятаться в кустах, не поглядывать по сторонам!..

— Что ты, что ты, командир! — закричали новички.— Да разве мы что!.. Разве мы меньше других понимаем? Да мы, ежели чего, жизнь свою отдадим за Советы!

— Ну, что ж. Раз такое дело — в час добрый!..

5

Я ехал впереди эскадрона, рядом — Холостов.

Холостов больше молчал, был задумчив и, по-видимому, удручен. Мне тоже не хотелось пускаться в разговор. Но мысль о Ткаченкове не покидала меня. Где он? Что с ним?.. Беспокоило и то, что мы не знали, какие наши части идут впереди, по этому маршруту, как далеко продвинулся миллеровский батальон.

Эти и другие вопросы не выходили у меня из головы. И я обратился к Холостову:

— Ефим Петрович!

— Что? — быстро повернул он голову.

— Меня крайне волнует отсутствие Ткаченкова. Ведь он один. Любой казачий разъезд его схватить может.

— Ты прав, Ваня,— согласился Холостов.— Надо сделать небольшую остановку, подождать Ткаченкова.

Когда поднялись на взгорье, свернули с дороги. Здесь собрались всем активом и обсудили план дальнейшего продвижения. Решили: держать направление на слободу Алексеевку, оттуда — к Евстратовке...

Уже темнело, но Ткаченкова все не было. Стали готовиться в путь. Иду, смотрю — лежит Петушков на спине, глаза прикрыты. Округлое, румяное лицо его — сонно-мечтательное.

— Коля, ты спишь или дремлешь? — спрашиваю, толкнув его сапогом в ногу.

Он вздрогнул от неожиданности, открыл глаза и нехотя ответил:

— Думаю...

— О чем?

— О том, что этой войне, видно, конца не будет. То наступаем, то отступаем. Сапог не напасешься. Скитаемся по селам и городам как неприкаянные...

— Знаешь, Коля, не гоняй жернова впустую! — вскипел я.— Не ты один вшей кормишь, понял? Ты что ж, думаешь, я по любви к войне взялся за оружие? Или, скажем, другие наши товарищи?..

— Ладно уж, не обижайся. Это я так, сдуру ляпнул...— вставая и отряхиваясь, стал оправдываться Петушков.

Мы двигались спокойным маршем, все еще в ожидании Ткаченкова. Была уже ночь, когда эскадрон подошел к слободе Алексеевке. На разведку послали Петушкова и Грача.

...Вскоре они подъехали к крайней хате. Усадьба огорожена плетнем.

— Мать моя мамочка! — вскрикнул Петушков.— Темнотища, и ни одной живой души не видно...

Он соскочил с лошади, отдал поводья Грачу — и к калитке. Только открыл, как на него набросилась собака.

«Эх, была не была, пойду! — решил он.— Посмотрим, что будет дальше...»

— П-шел отсюда, тварь! — крикнул Петушков на собаку.— Надо ж, как разбрехался. Пошла прочь, тварь поганая!

Кругом — ни души.

«Видно, чего-то боятся, не вылазят из хаты»,— подумал он. Потом позвал:

— Хозяин!

Дверь скрипнула, и из щели раздался женский голос:

— Кто там?

— Свои!

— Кто — свои?

— Красные, тетя!

— Господи Иисусе! — отозвалась женщина с испугом.

— Чего испугалась? Небось не волки! Ты лучше-ка придержи собаку, а то саблей рубану!

— Сейчас, дай оденусь! — ответила женщина и скрылась за темной дверью.

Вскоре она вышла, крикнула на собаку:

— Цыц, окаянный! Пошел вон!

Собака смолкла, а женщина подошла вплотную к Петушкову и стала рассматривать его с ног до головы. Потом всплеснула руками, ойкнула:

— Бог ты мой! И взаправду красный!

— Точно! — подтвердил Петушков.— И к тому же — в полной боевой готовности.

— Сколько же вас заявилось сюда?

— А тебе сколько надо? — засмеялся Петушков.

— Ты не дюже смейся, милый. Тут не до смеха,— уже тихо заговорила женщина.— В слободе-то белые! Еще днем прискакали.

— Ну уж, белые... Откуда они взялись? Наши не все еще выехали из Миллерово, а ты — белые!

— Вот те крест святой, правду говорю! — перекрестилась женщина.

— У вас в хате или поблизу есть кто из них?

— У нас нету. Они в слободе, вблизи церкви, а здесь никого нету.

— Та-ак...— сказал Петушков.— А муж твой дома? Можно с ним потолковать?

— Нету у меня мужа. Не вернулся с германской. Не знаю, вернется когда или нет...

— Вот оно что... Это плохо... А как зовут тебя?

— Авдотья.

— Вот что, Авдотья, постой пока здесь, а я пойду к своему товарищу на минутку. Да придержи кобеля, чтоб не шумел...

— Ладно, иди.

Петушков подскочил к Грачу, рассказал ему все и распорядился:

— Дуй вовсю к нашим, Миша! Пусть скорее едут сюда Молчанов и Холостов. Надо разобраться тут...

Приняла нас Авдотья по-свойски. Окна закрыла дерюгами, чтоб прикрыть свет от горевшего каганца. В хате было тихо и душно, пахло чем-то кислым. В углу, за занавеской, спали дети. Мы разговаривали вполголоса, и было слышно, как жужжали потревоженные мухи да тяжело вздыхала за стеной, в сарае, корова.

Авдотья стояла перед нами — высокая худая женщина, средних лет. Одета бедно и небрежно, а ее заспанное лицо казалось мрачным, однако на нем можно было заметить былую девичью красу. Ее движения были легки, бесшумны, а взгляд карих глаз внимателен и добр.

— Авдотья,— спросил я после краткого разговора,— есть ли у вас надежные люди по соседству, с которыми можно поговорить кое о чем?

— А то как же, есть! Нашим мужикам ведь досталось от белогвардейцев.

— Тогда сведи нас к кому-нибудь, где есть мужики. Только без шума, потихоньку, понятно?

— Понимаю. Идемте хоть сейчас к деду Епифану. У него старший сын в красных, а второй, помоложе, пока дома. Он вам все растолкует лучше меня.

Епифанова хата стояла на окраине, оторванно от слободы. У двора нас встретил старик, высокий, широкоплечий и сутулый, с заросшим лицом. Он снял картуз и приветливо поздоровался с нами.

Войдя в хату, я огляделся кругом. Единственная комната, с кривыми маленькими окнами, земляным полом и низким потолком, была просторна. Лавка вдоль стены, стол без скатерти, с жирными от времени досками.

На столе горел каганец. Часть комнаты отгораживал пестрый ситцевый полог, за которым стояла кровать.

В красном углу — икона, обрамленная вышитым полотенцем, перед нею теплилась розовая лампадка. За столом стояли бабка, худенькая, небольшого росточка, и молодой парень.

Когда мы поздоровались, они поклонились нам. Парень засуетился, стал подставлять табуретки, а бабка приглашать:

— Садитесь, милаи, не стесняйтесь. Садись и ты, сынок, чего стоишь у двери? — обратилась она к Петушкову.

— Нет-нет, ничего, мне будет и здесь хорошо.

— Коля,— сказал я ему,— иди пока к Грачу, лошадей присматривать.

— Слушаюсь! — отчеканил Петушков и тут же вышел из хаты.

Усевшись за стол, я внимательно посмотрел на деда Епифана. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: шестьдесят или больше. Его серые глаза были ясны и внимательны. Высокий лоб — выпуклый. Наружность — приятная, располагающая к доверию.

— Может, чего поставить на стол? — справилась бабка у Епифана.

— А и правда! — сказал он.— А ну, мать, что там у тебя есть? Давай-ка сюда!

Бабка кинулась к печи, вытащила чугун, потом начала расставлять на столе чашки-ложки, принесла хлеб и соль.

— Что вы, что вы! Не беспокойтесь! — начал я, хотя есть ужасно хотелось.

— Э-э, пустяки...— сказал Епифан.— Сейчас бабуля угостит нас борщом с курицей.

Бабка уже наливала в чашки борщ, потом вытащила курицу и поставила на стол, а Епифан стал резать хлеб. Не входя в пререкания, мы принялись за еду, одновременно слушали Епифана, который рассказывал о белых, вступивших в Алексеевку.

— Они в полдень, как коршуны, налетели. Их больше сотни. Орудия у них нету, пулемета мы не заметили. Я так думаю: вам надо проявить осторожность и хитрость.

— Это верно! — согласился Холостов.— В военном деле осторожность и хитрость никогда не мешают. Не-

чего зря лезть на рожон. Лучше обойти их стороной и, если будет возможно, ударить им в спину.

— Гм-м... прошу вас не обижаться,— сказал Епифан.— Но я, на вашем месте, поступил бы так: обошел слободу стороной, а потом — через мост. Пока белые спохватятся, можно далеко уйти.

Я внимательно глядел в лицо Епифана, и он казался мне искренним и честным человеком. Я сказал:

— Что ж, ваше предложение неплохое. С ним можно согласиться. Как ты думаешь, Ефим Петрович?

— Я согласен,— ответил Холостов. И спросил: — А может, тут где есть брод и не обязательно идти на мост?

— Брод есть. Но он далеко от слободы, да и переход через него плохой, илистый.

— Хорошо... Но нам нужен проводник. В такую темь, да еще не зная местности, мы черт знает куда заберемся!

— Ну, это дело поправимое. Если нужно, я сам поведу вас куда надо. Да и мой сын, Федька, поедет с вами. Ему ведь нельзя оставаться теперь здесь. Пусть идет с красными, туда, где и старший его брат.

— Хорошо,— сказал я.— Даем вам лошадь, будете нашим проводником, а сына зачислим в эскадрон. Спасибо вам, Епифан Кириллович, за добрый совет! И вам тоже, хозяюшка, за гостеприимство. А ты,— обратился я к Федьке, скромно стоявшему в стороне,— одевайся как следует и — в путь. Да поживее, нам надо торопиться.

Бабка засуетилась, захлопала мокрыми глазами:

— Дай бог вам, сыночки, благополучно добраться!..— И тут же, не стерпев, повисла на шее у Федьки и залилась слезами.

Дед Епифан подошел, взял ее за плечи, отвел в сторону.

— Не плачь, мать. Бог даст, все обойдется хорошо, и сыновья наши вернутся домой живы и здоровы. А ежели Федька будет сидеть здесь, то наверняка пропадет...

6

Как ни рискованно, а надо было идти вперед. Прежде чем двинуться в путь, я обратился к бойцам, стал разъяснять им нашу задачу. В это время заржала ло-

шадь, ей ответила другая, а вслед раздалась ругань. И тогда я крикнул:

— А вот этого, товарищи, чтоб больше не было! Сейчас, в походе, должен быть строжайший порядок и тишина. Это главное!..

Мы двинулись в путь. В разведку до моста послали Петушкова, Грача и Федьку — сына Епифана. Впереди эскадрона, вместе со мной и Холостовым, ехал Епифан.

— Да, ночка что надо,— говорил Холостов.— Небо обложило так, что, того гляди, дождь пойдет.

— Это бы неплохо,— отозвался Епифан,— по-темному оно лучше...

Вскоре плетни крайних дворов остались в стороне. Двигаемся дальше тихо: ни разговору, ни кашля, ни ржания лошадей. По замыслу, мы должны сделать дугу, длиной верст восемь, и выйти с противоположной стороны большой слободы к мосту.

Свернув влево, углубились в степь. Все сосредоточились, держатся ближе друг к другу, ряд к ряду. Заросшая густыми посевами степь и мягкая почва приглушают топот лошадей и стук колес. Двигаемся по бездорожью, медленно, напряженно. Окруженные темнотой и безмолвием, невольно вглядываемся во все и стараемся не издавать ни звука. И от всего этого начинает казаться, что мы не продвигаемся вперед, а петляем на одном месте, обходя балки, мокрые ложбины, путаясь в кустарниках. Ряды расстроились, передние задерживались, задние напирали на них. Все это невольно вызывало шум.

Я обеспокоенно спросил деда:

— Епифан Кириллович, верно ли мы путь держим? И скоро ли будет мост?

— Не беспокойся, сынок,— ответил Епифан.— Доберемся, бог даст... Вот выберемся на дорогу, тогда лучше будет. Нам ведь, главное, обойти слободу стороной так, чтобы белые не услышали...

Вскоре вышли на дорогу. Лошади пошли бодрее, увереннее. Тянуло свежестью и сыростью. «Значит, где-то недалеко речка,— подумал я.— Там, наверно, застава»...

В слободе тихо. Не лают собаки, не ржут кони, ни одного огонька.

7

Разведчики наши были уже вблизи переправы. Свернув с дороги, они остановились у вербы и спешились.

— Вот что, Федя,— сказал Петушков,— бери-ка повода и стой здесь с лошадьми, никуда не отходи, а мы с Мишкой разведаем: есть ли кто вблизи.

Распорядившись, Петушков быстро зашагал по узенькой стежке, тянувшейся в чаще зарослей, к мосту. Грач — за ним.

— Не спеши, Николай! — крикнул вполголоса Грач.— Чего оторвался? Напорешься на белых!..

Петушков обождал. Прошли немного вместе. Потом остановились, начали прислушиваться и всматриваться. Но кругом тишина. Даже лягушек не слышно.

— Ну и ну,— протирая глаза, сказал Грач,— ничего не видно, как в погребе.

— Вот и хорошо,— отозвался Петушков,— нас тоже не видно.— И добавил: — Они небось нахлыстались самогона, заразы, дрыхнут теперь, думая, что красные уже под Воронежем.

— Вот бы накрыть их сейчас, а! — сказал Грач.— Да всех к стенке! Ихним способом...

Двинулись дальше. Перебрались через плетень сада и очутились у самой кромки отвесного берега. Петушков вдруг схватил за руку Грача.

Внизу, у подножия откоса, легонько журчала речка. Стали всматриваться влево и вправо. Долго смотрели. Ничего, кроме воды.

Справа, вдали, послышался лай собаки. Насторожились.

— Пойдем-ка туда,— шепнул Петушков.

Пошли, придерживаясь берега и пристально всматриваясь.

— Стоп! — скомандовал Петушков.— Видишь! — указал он рукой.

— Вроде б мост...— прошептал Грач.

— Ну да, мост. На опорах.

— Фу-ты, черт, а мне показалось сперва не знай что...

— Пошли ближе,— сказал Петушков.— Надо проверить, есть ли там охрана.

Вблизи блеснул огонек и погас.

— Кто-то закурил,— промолвил Грач.

Остановились. Потом тихо, крадучись, подошли почти к самому мосту и присели у куста. Долго сидели, наблюдали. Никого.

— Ну, хватит! — сказал Грач.— Нечего зря время терять. Надо скорее донести своим.

И, поднявшись, хотел уже повернуть обратно. Но в это время из темноты показались трое с винтовками наперевес. Они шли уверенно, без всяких опасений.

Грач мгновенно присел, но при этом сломал сухую ветку, которая громко треснула. И тут один из белых вдруг заорал:

— Кто там? Стой! Стрелять буду!

Петушков и Грач разом вскочили и кинулись бежать. Казаки разглядели, что их только двое, кто-то из них крикнул:

— У-у-у, сукины сыны! Теперь не уйдете!..— И выстрелил.

Вслед за этим раздались еще два выстрела...

Вскочив на лошадь, Петушков крикнул:

— Но-о! Пошел, пошел, милый! Выручай!

Стрельба прекратилась, а они скакали так, словно за ними гнались волки...

— Стой! — скомандовал я эскадрону, услышав выстрелы. И к Холостову: — Наверное, наши разведчики напоролись на белых.

— Не иначе,— ответил он.

Эскадрон остановился. Стрельба возбудила бойцов. Все напряглись.

Вскоре послышался топот лошадей. Из темноты выскочил всадник. Холостов пришпорил коня.

— Кто такой? — глухо спросил он.

— Свой! Петушков...

Вслед подскочили еще двое. Дед Епифан окликнул:

— Федька! Это ты?

— Я! — радостно ответил тот.

Подъехал и я к ним.

— В чем дело? — спрашиваю.— Почему была стрельба?

Петушков виновато отвечает:

— У моста застава белых. Видели троих, а сколько всего — не знаем. Они заметили нас, стали стрелять...

— А вы стреляли?

— Нет.

— А они гнались за вами?

— Нет, они пешие.

— Плохие вы разведчики! — сказал Холостов.— Дали себя обнаружить...

Разведчики молчали. Петушков опустил голову.

— Вас никого не ранило? — спрашиваю.

— Нет,— глухо отвечает Петушков.

— Дело ясное,— сказал Холостов.— Теперь терять время нельзя. Теперь каждая минута дорога. Надо сейчас же проскочить мост, а там видно будет.

— А там,— сказал я,— если они кинутся за нами, мы встретим их.

— Ну, теперь довольно. Дальше я не поеду! — заявил вдруг дед Епифан.

— Как же это! — удивился Холостов.— Осталось ведь немножко.

— Нет, не поеду! Пусть Федька провожает вас, а я вернусь домой, так лучше будет...

— Боишься, что ли, Епифан Кириллович? — спросил я.

— Нет, не боюсь, а так нужно. Нужно, чтоб в слободе никто не знал, кроме Авдотьи да моей старушки, где я был.

— Это, пожалуй, верно,— согласился я.— Езжай на нашем коне. Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас! — И я крепко пожал ему руку.

Холостов тоже протянул руку на прощание.

— Прощевайте, товарищи! Дай бог вам удачи!.. А Федька пусть будет все время с вами...

Сказав это, дед Епифан попрощался с Федькой, повернул коня и скрылся в темноте.

Я выхватил саблю и скомандовал:

— Това-ри-щи!.. Впе-ред, к бою!..

И помчался к переправе. Рядом со мной поскакали Холостов, Федька, Петушков и Грач, а вслед весь эскадрон. Мы мигом подскочили к противоположной окраине слободы.

— Сюда!.. Сюда, за мной! — крикнул Федька и направил коня вправо, в самый крайний переулок. Из этого переулка мы выскочили в конец главной улицы, и по ней — прямо к мосту.

Часовые у моста вначале не поняли, кто скачет, и потому не дали ни одного выстрела. А когда сообразили, кто-то из них заорал с перепугу:

— Фома, беги! Беги, сукин сын! Спасайся и доложи нашим!..

Но было уже поздно. Холостов подскочил и одним махом шашки уложил кричавшего. Остальные четверо, побросав винтовки, кинулись бежать кто куда, но тут же были зарублены и смяты...

8

Проскочив переправу, мы остановились. В слободе поднялся шум и стрельба. Кто-то кричал вдали: «Сюда!.. Сюда!..» Белые всполошились.

Посоветовавшись, мы решили немедленно отправить обоз в безопасное от огня место, а сами спешились и заняли боевую позицию по обеим сторонам моста. Пулеметчику Сульженко было приказано развернуть тачанку с пулеметом и приготовиться.

Пока мы занимали позицию, в слободе изредка раздавались выстрелы. Потом все стихло. Видимо, белые разобрались, что стреляют свои же, спросонья, в панике...

Мы лежали в полном мраке и тишине, ждали — вот-вот появится неприятель. Нервы наши были напряжены до предела. А напротив, за рекой, маячили черные кусты и деревья, и казалось, что там притаился кто-то...

Но вот гулко застучали копыта.

«Наконец-то!— подумал я.— Теперь только бы не оплошать, ударить как следует...»

— Спокойно! Спокойно, товарищи! Без команды не стрелять!— распорядился Холостов.

Из темноты выскочила небольшая группа всадников. Остановилась у кустов, не доезжая моста, и замерла на месте. Через несколько минут кто-то из них громко выругался и грубым голосом сказал:

— В этой темени сам сатана не увидит, чи есть там кто, чи нету!..

— А ты смотри лучше, Димка!— сказал второй.— Видишь: во-он там, по ту сторону, вроде бы телега стоит...

И тут же крикнул:

— Эй! Кто там?!

Голос его прокатился по реке и стих.

Мы слушаем и наблюдаем. Всадники стоят, не трогаются с места. Потом опять заговорил первый:

— Ни черта я не вижу, Матвей! Тебе не померещилось? Они теперь небось удирают вовсю, а мы их высматриваем тут.

— Эх, была не была...— сказал Матвей.— Сейчас проверю.— И вслед за этим бабахнул в тачанку.

В ответ ему раздался выстрел с нашей стороны. Среди всадников кто-то громко ойкнул от боли.

Казаки зашумели и кинулись обратно в слободу.

— А, черт!..— вскрикнул Холостов.— Не сдержался-таки наш...

— Ничего, это к лучшему,— сказал я.— Это были разведчики. Они донесут сейчас, и тогда белые либо смоются, либо пойдут на нас. Во всяком случае нам надо подготовиться. Ты вот что, Петрович: пройдись, предупреди всех, чтоб соблюдали строжайшую тишину и без команды никто не стрелял. А я схожу к пулеметчику, видимо, у них там кто-то пальнул.

Подхожу, Сульженко стоит, ждет.

— Удивляюсь, товарищ Сульженко! — говорю я ему.— Как это у тебя не хватило терпения? А ведь мы больше всего надеемся на тебя! И ты это хорошо знаешь, а вместе с тем выкинул такой номер...

— Извини, товарищ Молчанов, что так вышло,— сказал виноватым голосом Сульженко.— Не сдержал я вовремя ездового, а он, со злости, пульнул в них, после того как пуля просвистела у его головы.

— Ладно уж. Только теперь будь начеку. Белые, возможно, скоро двинут сюда. Ежели что — подпускай поближе и бей наверняка! А тачанку отведи в сторону, чтоб не так заметно было. В случае чего — меняй огневую позицию, сообразуясь с обстановкой. Учти, на тебя главная надежда. Держись стойко! Понимаешь? Мы подготовили им ловушку, но и наше положение тоже рискованное. Все будет зависеть от того, сколько их здесь и как мы сумеем ударить по ним.

— Понимаю! Не беспокойся...

Нравился мне Сульженко, рабочий ростовской мельницы. Дисциплинированный, храбрый, знаток своего дела, он не терял даром времени и не любил пустых раз-

говоров. Пулемет, ленты, тачанка и кони всегда в порядке. В бою он, ругаясь во весь голос, сжимал рукоятки пулемета и рассеивал смертельный огонь по неприятелю. И горе было тем, кто не успевал укрыться от его пулемета. Но по окончании боя лицо его прояснивалось, появлялась улыбка, и он делался другим.

...Тишина пока не нарушалась. Только слышно было, как изредка хлюпает маленькая волна о камень. И этот одинокий звук заставлял еще больше настораживать слух и зрение. Гляжу напряженно туда, где дорога исчезает между плетнями. Там, в гуще садов, притаился враг.

Стал накрапывать дождь. Подошел Холостов, видимо, волнуется.

— Может, у них тоже есть пулемет?—тихо говорит он.—Они его выставили уже и ждут, когда мы начнем, а?

— Возможно,—отвечаю,—но нам, первым, начинать нет смысла. Нам нужно помалкивать и присматриваться, ждать, когда они начнут.

— Да-а, что-то слишком подозрительна эта тишина,—сказал Холостов.—Навряд ли они покинули слободу.

— Слишком мало времени прошло, чтоб что-то решать,—ответил я.—Сам знаешь, на фронте, да еще ночью, когда ждешь удара, минуты всегда длинными кажутся.

— Вот что я скажу тебе, Ваня,—еще тише заговорил Холостов.—Они, наверное, решили, что это проскочил миллеровский большевистский актив.

— Да, но мы уничтожили их заставу и, видно, ранили одного из разведчиков.

— Это верно,—согласился Холостов.—Это может заставить их кинуться сюда.

— Пусть кидаются! Мы их встретим.

Цепь наша лежала на возвышенной части берега, заросшей кустарником, лопухами и вербами, которые хорошо укрывали красноармейцев. На противоположном берегу были огороды, за ними—сады, а внизу тихо журчала черная река.

— Тш-ш-ш...—прошипел вдруг Холостов, схватив меня за руку.—Смотри вон туда!—тихо сказал он, указывая в заросли.—Там, у куста, кто-то зашевелился,

вроде наблюдает за нами... Смотри... смотри... Приподнялся!..

Раздался треск сухих веток. Тени чаще замелькали там, куда мы так упорно смотрели. Заметно стало, как казаки делали перебежку от одного укрытия к другому. Потом послышались суета, топот лошадиных копыт, показались всадники.

— Ты погляди... погляди!..— возбужденно заговорил Холостов.— Так и есть. Прут сюда. Оболтусы, даже не догадываются, что ждет их здесь, думают, мы уже удрали.

— Спокойно... спокойно...— остановил я Холостова.— Пусть подойдут ближе, тогда ударим.

Потом, когда увидел, что белые придвинулись уже почти к берегу, вздрагивающим от волнения голосом сказал:

— Ну вот, теперь дело ясное, теперь можно начинать.

— Огонь! Ого-о-онь, то-ва-ри-щи!— закричал вслед за ним Холостов.

И в ту же минуту дробно застучал наш пулемет, сверкая частыми огоньками. Раздались крики, дикое ржание лошадей.

На том берегу кто-то заорал сумасшедшим голосом, сдерживая казаков, кинувшихся врассыпную:

— Куда разогнались?! Назад!.. Назад, сволочи!..

— Что, проглотили, гады!— крикнул Сульженко и запустил вторую очередь.

Красноармейцы тоже палили по кустам и по живым мишеням. Со стороны белых стрельба была неровная. Вскоре она совсем стихла. Крики и шум отдалились.

Напряженность спала. Люди повеселели, пошли разговоры.

— А-а-а! Напоролись, заразы!— вскрикнул радостно Грач.

— Вот здорово мы им дали по соплям, Миша!— потирая руки, добавил Петушков.— Будут помнить!

— Просчитались,— сказал Холостов,— думали запросто разделаться с нами.

— Наверняка,— ответил я.— Иначе они были бы осторожней и сообразительней.

— Бывает, и хороший командир ошибается,— сказал Холостов.— Тактика, брат, сложная штука. Тут смотри

да соображай. Чуть что недоучел — и все, попал впросак...

— Это верно, Ефим Петрович. Нам тоже следует подумать о том, как быть, если белые вздумают ударить по нас с тыла.

— Да, ты прав,— ответил Холостов,—такой ход возможен. Однако после полученного удара они уже не те. Притом, заходить в тыл в такую темь да еще через реку не так-то просто. Нам же ничего не стоит развернуться и принять бой в любом направлении.

— Во всяком случае надо быть начеку,— сказал я.

Итак, первый бой нам удался — лучше быть не надо. Белые, наскочив на наш огонь и понеся потери, отступили. В слободе опять наступила тишина. Возможно, там решался вопрос, как лучше и с какой стороны вновь наброситься на нас. А может, они кинулись наутек. Но мы пока что не двигаемся с места, притаились, ждем, что будет дальше.

Вскоре между деревьями, у кустов и плетней, снова стали появляться темные фигуры.

— Та-а-ак... Все ясно...— сказал Холостов.— Значит, они решили повторить... Посмотрим, что у них из этого выйдет...

Пауза длилась недолго. Белые начали прочесывать из винтовок наш берег. Мы молчим. Ни одного выстрела, ни одного звука не подаем. Как будто нас нет уже здесь.

Долго они стреляли, наконец смолкли. Вслед раздался вдали топот лошадей, затем крик: «Ура-а-а!.. Ура-а-а!» И из слободы выскочила конница в направлении моста, решив, видимо, что мы отступили и что нас можно нагнать и пустить в ход сабли.

И тут Сульженко крикнул:

— Мать честная! Снова прут сюда! Ну, ладно же...

И ударил из своего «максима».

А Холостов, вскочив на ноги, закричал пронзительно:

— Огонь!.. Огонь по контрреволюции!

Ружейные залпы, пулеметные очереди, крики людей и лошадиное ржание смешалось в одно. Стреляли и мы и белые.

И вдруг раздался болезненный крик в наших рядах. Крик особенный, холодящий душу. Я кинулся туда. Смотрю, лежит, скрючившись, и стонет Петушков. Ле-

жит, боясь шелохнуться от боли. Грач ползает на коленях около него, не зная, что делать.

Нагнулся и я, спрашиваю:

— Куда тебя ранило, Коля?

— В правое плечо...— с трудом выговорил Петушков и застонал.— Болит, аж в голове туман...

— Терпи, Коля,— сказал я. И к Грачу:— Отнесите его скорее к подводе и перевяжите.

А Холостов все кричал, наслаждаясь нашей победой:

— Огонь!.. Огонь, товарищи!.. Бейте по кустам!..

Кое-кто из белых ползком стал отступать, а некоторые кинулись бежать, скрываясь от нашего огня. Приглядев бежавшего беляка, Холостов вскинул карабин, прицелился и выстрелил. Тот приостановился на миг, качнулся туда-сюда и рухнул наземь.

— Куда?! Куда пре-о-те?! Назад! На-а-зад, стре-е-лять буду!..— заревел басом командир белых.

Вслед кто-то охнул: «Убил!.. Убил, мерзавец!»

— Бей их, гадов!..— еще злее продолжал Холостов.

— Ой, куда же вы, братцы?! Одурели, что ли?! — уже отчаянно кричал командир белых.

Но уцелевшая конница кинулась в панике назад. В том месте, где упали лошади и люди, было заметно движение, и Сульженко запустил еще одну очередь...

— Все в порядке!— крикнул Холостов.— Теперь они наверняка подадутся восвояси!..

Наконец стрельба со стороны неприятеля прекратилась.

— Кончено,— сказал Холостов.— Совсем отступили. Все получилось так, как надо!

— Все вышло хорошо,— сказал я.— И потерь у нас нет. Вот только Петушков тяжело ранен...

9

Пробивалась заря сквозь затемненное облаками небо. Воздух по-весеннему похолодал, от реки поднимался легкий туман. Подул прохладный ветерок. Медленно поплыли нависшие над садами облака. Свет распространялся все больше.

Я стоял у самого берега и рассматривал пространство боя. На дороге, у кустов и плетней, в разных позах валялись неподвижные тела.

«Эти никогда уже не поднимутся,— подумал я.— Но те, живые, которые скрылись, те когда-нибудь попытаются нанести нам удар...»

В это время в белой мгле, застилавшей берег, из-за кустов выскочили, словно тени, три человека, без оружия, в штатской одежде.

— Это еще кто?— удивленно спросил Холостов.

— Кто его знает,— ответил я. И тут же крикнул своим:— Не стрелять!

Трое мгновенно остановились и вразнобой закричали:

— Товарищи! Не стреляйте! Мы к вам!..

— Наверное, местные крестьяне,— сказал Холостов.

— Федька!— позвал я сына деда Епифана.— Иди сюда!

Федька подбежал.

— Посмотри-ка вон на тех!..— указал я на троих.— Не ваши ли это люди?

Федька посмотрел, улыбнулся и ответил:

— Наши. Это они к нам идут.

А те трое взошли уже на мост, осторожно ступая друг за другом. Когда подошли к нам, Холостов спросил:

— Кто такие?

— Местные жители,— спокойно ответил один из них, бородатый, лет тридцати пяти.

Двое других, молодые парни, стояли молча, переминаясь с ноги на ногу, и пугливо смотрели по сторонам.

— Чего вы прибежали сюда?— спросил я.

Бородатый глянул на меня с удивлением и ответил:

— Разве не ясно, что пробирались к вам?

— Не ясно!— ответил я.— Вы у белых служили?

— Нет, что вы!— отозвался бородатый за всех. Потом, заметив Федьку, радостно улыбнулся и уже весело сказал:— Да вы лучше всего расспросите о нас вон у того парня. Он же из нашей слободы, сын деда Епифана! Он все знает про нас...

Когда разговор был закончен, я сказал:

— Вот что, товарищи, если все, что вы рассказали — правда, тогда милости просим. Мы добровольцев принимаем охотно. Но если окажется, что вы помогали белым, а потом, чтобы замести следы, подались к нам, — тогда пеняйте на себя! У нас с такими разговор короткий: к стенке — и все!

— Этого мы не боимся!— смело заверили все трое.— Можете любого жителя спросить в нашей слободе, кто мы и что мы.

Потом бородатый добавил веселым голосом:

— Ну и дали же вы им нынче. Бежали как оглашенные!

— Вы точно знаете, что они покинули слободу?— спросил я.

— Точно!— уверенно заявил бородатый.— Я посылал в слободу Афоньку,— указал он на одного из парней.— Он все проверил. Он у нас — что надо!..

Афонька слушал и улыбался.

— Да, вот что!— вдруг переменил разговор Холостов.— Как же быть с оружием?

— С каким?— недоуменно спросил я.

— С тем, что во-он там лежит!— указал он на противоположный берег.— Ведь нам нужны винтовки, шашки, седла и прочее...

— Надо ж!— вскрикнул я.— Как это я не подумал об этом.

И мы тут же отрядили красноармейцев за трофеями.

— Только поживей, ребята, поживей!— предупреждал я.— Не задерживайтесь!..

10

Было уже светло, когда мы подобрали трофеи, подтянули обоз, уложили все, сели на лошадей и поскакали дальше, в направлении Евстратовки.

Теперь уже мы двигались осторожно, держали ухо востро. Высылали разведчиков вперед и по сторонам. Шли без связи, по незнакомой дороге, не имея даже карты. И кто знает, увенчался ли бы успехом наш поход, если б не Холостов. Он хотя и не бывал в этих местах, но, как житель Миллерово, по слухам и по догадке вел нас уверенно куда надо...

Я часто подъезжал к арбе, на которой лежал Петушков. Состояние его меня беспокоило, к тому же условий для ухода за ним у нас не было. Единственно, кто облегчал его страдания, так это жена Холостова — Дарья. Она, как родная мать, ухаживала за Петушковым: кормила и поила его, перевязывала рану.

Помогал ему и Грач. Этот с виду грубый и не очень общительный красноармеец был всей душой привязан к своему товарищу.

Петушков лежал большей частью молча, не охал, хотя сильно страдал от острой боли и ослаб от потери крови. Его часто знобило и клонило ко сну.

В полдень 5 мая мы прибыли в Евстратовку. Наш приход сюда даже не заметили. В Евстратовке было полно разных воинских частей: и 33-я Кубанская дивизия, и 15-я Инзенская, и 16-я имени Киквидзе...

Вначале трудно было сориентироваться и найти начальников, с которыми можно было бы поговорить о дальнейших действиях. Выяснив кое-что, мы с Холостовым направились к станции, чтобы поговорить с членом Донского ревкома Дорошевым, который, по рассказам, руководил отправкой воинских частей по установленному маршруту. Там мы и нашли его, в окружении военных.

Соскочив с лошади, подошли к ним и остановились, не зная, как быть дальше, потому что шум и спор, происходивший здесь, не располагали к личному разговору с Дорошевым. Какой-то высокий, с длинными усами, видимо, командир, кричал во все горло:

— Что ж это такое! Мы еле дотопали сюда, без провизии, а вы не даете нам вагонов для погрузки! Заставляете двигаться строевым порядком! Без-зо-бра-зие!..

Вслед за ним еще больше зашумела толпа. Дорошев стоял явно взволнованный и повторял одно и то же:

— Товарищи! Транспорта не хватает на все части, скопившиеся здесь. Не хва-та-ет, пони-ма-ете вы меня или нет? Вагонов больше нет и не будет!..

Долго ли продолжался спор или нет, но его оборвал вдруг выстрел из орудия, раздавшийся где-то на окраине. Все сразу смолкли и вопросительно глянули друг на друга.

— А-а, дьяволы! — крикнул высокий, в кубанке, непонятно на кого.— Пошли, товарищи! Нечего зря время тратить!

Дорошев вынул из кармана платок и вытер вспотевший лоб. Не дожидаясь, пока и он зашагает в сторону, я подошел к нему и, став на вытяжку, отрапортовал

о прибытии нашего эскадрона. Он терпеливо слушал меня, потом улыбнулся:

— Товарищ, да ты никак сулинец?

— Да-а. А как вы узнали? — удивился я.

— Очень просто! В Миллерово стояли сулинские воинские части, батальон и ваш эскадрон. Батальон уже отправлен по железной дороге, а почему вы задержались?

Я рассказал ему все как есть и то, что командир наш неизвестно где теперь находится.

— Возможно, его прихватили белые... Ну, а как вы теперь думаете следовать дальше?

— Вот об этом я и хотел поговорить с вами.

— Какой уж тут разговор. Небось слышал, о чем я только что разговаривал?

— Слышал.

— Так вот, единственно, что я могу вам посоветовать, так это двигаться дальше по маршруту, который я сейчас дам.

И он написал на планшете химическим карандашом записку на мое имя, указав маршрут в направлении станции Сагуны, и приложил печать. Эта бумажка, не знаю как, сохранилась у меня до сих пор.

Прощаясь, Дорошев пожал мне и Холостову руку и сказал:

— А теперь несколько слов о вашем, так сказать, рейде. Вы успешно провели его. Ваши действия ясно показывают, как надо брать инициативу в свои руки. В драке побеждает тот, кто первый оглушит противника. Это закон. Молодцы, товарищи! — добавил он и еще раз пожал нам руки.

...Выехали мы из Евстратовки рано утром, на второй день. Теперь уже мы были не одни. По дороге двигались разные части нашей армии.

Однако мрачные мысли не покидали меня. Я не мог забыть Ткаченкова.

«Неужели,— думал я,— он погиб где-то?» При этой мысли сердце мое сжималось.

(Лишь в январе 1920 года судьба свела нас в Ростове-на-Дону. Ткаченков оказался в армии Буденного.)

Думал я и о Петушкове. Он с каждым днем делался

все хуже. Боль от раны мучила его, кружила голову, и ему казалось, что он не едет в арбе, а как бы покачивается на тихих волнах.

Иногда он оживал душой, точно отходил от долгого оцепенения или кошмара. Черный туман рассеивался перед ним, и тогда он, приподняв голову, с удивлением глядел вокруг. Посмотрев, опять опускал голову, глубоко вздыхал, вытягивался всем телом и совсем стихал. Только выражение скорби долго еще не сходило с его лица.

...Когда мы подходили к Сагунам, Петушков был совсем плох. Он с трудом пожал своей сухой, горячей рукой мою руку и ласково, грустно сказал:

— Не думай, Ваня, мне не страшно умирать... И хотя меня рановато подрубили белые, но я успел немало им насолить и кое-что сделать для нашего дела...— Помолчав немного, добавил: — Черный туман рассеется, друг мой... люди заживут лучше.

Я стоял около него молча, смотрел затуманенными от слез глазами на его посиневшее уж лицо, на ввалившиеся глаза, на гладко причесанные Дарьей волосы и за всем этим видел неизбежную смерть своего товарища...

«Эх, Коля, Коля,— думал я,— страдал ты много в своей юной жизни... Страдал и не просил сожаления, гордо все переносил. А ведь были у тебя и вера, и сомнения... Мечтал ты и о счастье, и о любви... Любил и край свой родной, хотя в нем не было тебе отрады, и жалок был он в угольной пыли... Тебя считали пустым весельчаком, не зная души твоей благородной...»

Схоронили мы Петушкова, не доезжая Сагунов, в степи, среди трав душистых недалеко от дороги. Схоронили просто, как вообще хоронят солдат на фронте.

Константин Курбатов

ЗА ПРАЩУРА!

Последние дни крепко морозило. Ночью температура падала до двадцати пяти градусов. И у Гриши Портнова шелушились правая щека и нос. Поморозил, когда помогал связистам тянуть дополнительную линию связи от комбата в штаб полка. Шальной пулей в роте убило связиста, и старшина послал на подмогу его, гвардии рядового Портнова.

Жесткий, схваченный морозом снег покрылся копотью и гарью. Пока ползли по нему, таща на себе катушку с проводом, ребята и рассказали Грише, что их товарища убило вовсе по-глупому. Вышел ночью из землянки до ветру — нет и нет. Оказалось, и добежать не успел. Наткнулся по пути на летящую неизвестно откуда и куда пулю.

Много повидал Гриша Портнов смертей на фронте. И всегда они были неожиданны и случайны. Чуть не так, и все обошлось бы. Да как угадать это «чуть?» Потому чаще всего и выходит: только что был жив друг-солдат, а чирк — и попрощаться не успел.

Завтра вон снова с утра большое наступление. Да еще через реку. По такому-то морозу! Легонько зацепит — и вовсе не от раны преставишься, а от быстрой окоченелости. Может, тот друг-связист, будь потеплее, и дождался бы кого. А тут, пожалуй, дождешься!

Морозу самая сладость, когда из человека кровь уходит. Он тебя тут и приварит навечно к месту действия. И будешь ты, голубь, лежать-полеживать, накрепко припаянный к снежному насту. А еще очень мило на морозе, когда снарядом перед тобой в лед шарахнет. Сначала оглушит и здесь же, чтобы у тебя голова не шибко гудела, в ванну холодную окунет, в прорубь,

значит. Вынырнешь, хорошо. Не вынырнешь, тоже не худо. Там, в черной глубине, ни пули не свистят, ни осколки не чвиркают. Полный тебе уют и тишина. Рыбки, и те по причине зимнего времени отдыхают.

Обо всем этом, разумеется, Гриша Портнов только про себя думал. А вслух ничего такого не произносил. Что это за солдат, который перед боем хандру разводит и нос вешает. Даже если у него тот нос солидно поморожен. Гриша Портнов лежал в дымной землянке на нарах рядом со своим фронтовым другом-товарищем Иваном Володиным, по прозвищу Вол, и наслаждался теплом и покоем. Наслаждался и говорил:

— Вол, а Вол, но ведь перед боем-наступлением нужно отцам-командирам и о солдате вспомнить. Ну почему бы командованию дивизии, разрабатывая операцию, не подумать о самом наиглавнейшем? Ведь в каком направлении ты ударишь и куда огонька подбросишь — не так в конце концов важно. Самое важное, что у меня в утробе бултыхаться будет в момент, так сказать, решительной атаки. Вол, а Вол! Правильно я говорю?

Но Иван Володин то ли дремал и не слышал товарища, то ли попросту не хотел поддерживать такого разговора. Иван и не шибко разговорчив был, и не очень охоч до шуток, особенно когда они касались еды или еще какого жизненно важного вопроса.

Как сходятся люди на фронте, становятся друзьями-товарищами? На войне ведь все иначе, чем в другой, в мирной жизни. Иначе и в то же время очень похоже. Повстречай Гриша раньше Ивана Володина — и тоже наверняка не разлей вода бы стали. Почему? Да потому, наверное, что им легче вдвоем. Вол — он потому и Вол, что попал на фронт из блокадного Ленинграда. Доходяга совсем. Не понятно, в чем и душа держится. Но ведь это враки, что только в здоровом теле здоровый дух. Как Гриша узнал Ивана, так сразу и понял: враки. Наоборот все: какая у тебя душа, такой ты и весь остальной. И, конечно же, Ивану Володину со своей хилостью пришлось бы без Гриши Портнова туго. Но, в свою очередь, и Гриша без Ивана так бы никогда многого на свете и не понял. Почему хотя бы бойцы грудью на амбразуру ложатся. Или почему Ленинград перед такой силищей выстоял. Вон почему.

Глянь на Ивана — и все поймешь. В глаза ему посмотри.

Лежал на нарах гвардии рядовой Григорий Портнов, чувствовал рядом теплый бок Ивана Володина, и у самого скребло и скребло на сердце. Перед боем завсегда у солдата скребет. У любого. Даже, наверное, и у Вола скребло. Хотя он вон какой! Да еще в свой первый бой идет. И горького опыта еще не имеет. У Вола другой опыт. Похожий. Почти такой же, да не совсем такой.

Уже под вечер в прокопченную духоту землянки заскочил старшина, напустив под нары морозного пара. Фитилек коптилки на сплющенной гильзе заметался, зачадил черными хлопьями. Печурка в центре землянки прогорела, малиновые угли в топке уходили вглубь, гасли. И никому из солдат не хотелось слезать с нар, чтобы подбросить дровишек.

— Совсем обленились, дьяволы, — беззлобно ругнулся старшина. — Позамерзнете — пальцем не шевельнете.

И сообщил приказ: ночью их первую роту выдвигают в боевое охранение.

Нары от такого неожиданного приказа враз ожили, зашевелились. Кому это захочется — ночью на мороз да еще впритык к самому бою.

— Все, амба, — проговорил в остывающую темноту землянки Гриша Портнов, — понежились на пуховых перинах с мягкими подушками, теперь собирайсь, солдат, ночью стылую землю горячим пузом отогревать.

Проговорил это Гриша Портнов совсем не громко и вовсе не в адрес старшины, и даже не для бойцов, ворчащих по нарам. А так, единственно для самого себя, в силу своего такого уж говорливого характера. И старшина, по голосу знавший всех своих бойцов и, конечно же, угадавший, кто мог травить про пуховые перины с подушками, тоже это понял и на сказанное внимания не обратил. Лишь уходя и уже приподняв загрубевший и ломкий от мороза брезентовый полог у входа в землянку, за которым синел тающий день, сказал:

— Дневальный! Кто здесь сегодня дневальный? В сей момент подняться и расшуровать печку! Чтоб вам кисло было!

От таких строгих слов Гриша лишь плотней заку-

тался в полушубок и повернулся на другой бок. Потому как ни он, ни его молчаливый друг-товарищ Иван Володин не были сегодня дневальными по отделению.

Уже и сладкий сон с какими-то очень приятными, но будто смазанными картинками поплыл на Гришу. Родная деревня Приозерье. Мама на деревянной лопате капустный пирог держит. Гриша — к пирогу. А тут воробьи налетели, видимо-невидимо. Враз склевали пирог. Гриша — бежать за ними, а на крыше избы возле трубы сидит корова Манька и слизывает с дранки вишневое варенье. Гриша ее за хвост: «Не смей, оставь мне». А она мычит: «Мотай отсель, пока не забодала». Совсем какой-то глупый сон. И главное, Гриша отлично понимал, что все это не на самом деле, а сон. Понимал, но все равно смотрел. Потому что интересно. Тут как раз Иван и толкнул Григория в бок.

— Подсушиться бы, Гриш. Портянки небось в валенках все попрели. А на улице — видал? — заворачивает. Как с такими портянками в ночь?

На улице действительно все крепче заворачивал мороз. И это каким-то образом угадывалось даже здесь, в жаркой землянке с вновь загудевшей в центре печуркой.

Солдатские портянки и подпаленные, отдающие жженым волосом валенки со всех сторон тянулись к огню.

— Добьем врага сухой портянкой! — бодро возвестил Гриша, и друзья полезли с нар.

Утром дивизии предстояло рывком преодолеть широкую, закованную в лед реку и на той стороне с ходу прорвать сильно укрепленную линию обороны противника. К выполнению задачи, поставленной командованием, готовились уже больше месяца. Не знали лишь сроков — когда начнется. Теперь узнали — завтра. Ранним утром. Перед броском намечена двухчасовая артподготовка. Две тысячи орудий и минометов должны ударить по переднему краю врага, по трем линиям его траншей, по огневым точкам, по крутому берегу, чтобы разрушить скользкий ледяной наст.

А потом поднимется царица полей — пехота. Без нее никакой бой — не бой. Она, пехота, вершит дело, ставит в любом сражении последнюю точку. И понимал сейчас в землянке каждый солдат: завтра только бы

добежать до того берега. Только бы добежать. Там проще. Фриц, он ведь тоже кумекает. Высветит реку ракетами — что тебе солнечным днем. И примется долбать из всех видов оружия по бегущим. Ты туда бежишь, а навстречу тебе и мины летят, и снаряды, и пули без числа и счета. Только знай поворачивайся.

Три раза ходил уже в атаку Гриша Портнов. Два раза до ранения, последний — уже после госпиталя. Три раза — это много. Иван Володин еще ни разу в том пекле не был. А Гриша, считай, ветеран. Сколько их, кто тремя атаками похвалится? Одна атака — и то много. Вышел из нее живой, увернулся от пуль и осколков, считай, герой, считай, заново родился.

Гриша три раза родился заново, три раза прошел сквозь пули, трижды смотрел в самые зрачки окаянной смерти. И увидел, что не так она страшна на самом деле, как ее малюют. Вот ждать ее, загребущую, готовиться к ней — тут хуже. Не к смерти, естественно, — к атаке. Тут, хошь не хошь, а скребет на сердце. Сидит босой Гриша Портнов у пышущей жаром печурки, сушит портянки, блаженно шевелит-ворочает пальцами ног, балагурит с солдатами, а у самого скребет. Сам во всей своей беззаботной шутливости здесь, а нутром уже вроде там, под шальным вражеским огнем, на льду нескончаемо широкой русской реки.

Язык свое травит, а душа, будь она неладна, просится и просится в голые Гришины пятки. Видится ей, душе, в подробностях все, что предстоит поутру. Как нужно будет встать почти во весь рост и побежать прямо туда, откуда полетят в тебя пули. Как нужно будет без устали бежать по глубокому снегу, не обращая внимания на падающих товарищей, не слыша надрывного посвиста пуль и взрывов снарядов, не желая верить, что где-то там заготовлен во вражеском диске кусочек свинца и персонально для тебя, для Гриши Портнова. А чтобы не верить во все это, чтобы ничего не слышать и не видеть, главное не отстать, не споткнуться и как можно громче кричать «ура».

Раньше, до своей первой атаки, Грише и на ум не приходило, что «ура» кричат вовсе не для того, чтобы запугать врага. Хотя и для этого, конечно, тоже. Но главное, оказывается, в том, что «ура» в первую очередь помогает самим атакующим. С «ура» попросту

легче бежать. Бежать и слышать только своих, орущих во всю глотку друзей. Набрал полную грудь воздуха, выскочил из окопа и выбросил впереди себя победное «а-а-а...», которое сразу становится неотделимым от общего «ура» и которое не слабеет, даже если кто-то падает и обрывает дружно взятую ноту стоном или вечным молчанием.

Недавно на политинформации Гриша Портнов удружил замполиту, старшему лейтенанту Крамерову, вопросик, на который, по его, солдатскому, разумению, не ответил бы и сам начальник политотдела дивизии. На всякие вопросы отвечал старший лейтенант Крамеров, а уж на этот никак не должен был ответить. Наисложнейший получился вопросик, непробиваемый.

— Почему, товарищ старший лейтенант, — спросил Гриша, — когда наши бойцы в бой идут, они «ура» кричат? Не «бей его, гада!», не «громи его, такого-разэтакого!», а «ура!» и «ура!»?

Но ведь вывернулся старший лейтенант. Пораздумал маленько и вывернулся. Да еще как!

— От наших далеких предков пришло к нам «ура»,— сказал он. — Наши предки, как и мы сегодня, бились с врагами за свою свободу, честь и независимость, отстаивая дело, завещанное им отцами, дедами и прадедами. А их, далеких предков своих, славяне называли «пращурами». И в бой они шли с криком «за пращура!» Вот и осталось нам в наследство от тех давних времен сокращенное до трех последних букв славянское «ура».

Ну, старший лейтенант! Ну, хитер! Сразу видно — настоящий политический работник. А он так и должен, ежели политический. Не ла-ла общими фразами, а четко, конкретно и убедительно. На самом, так сказать, живом и сегодняшнем материале. Чтобы силы бойцу прибавило, чтобы помогло ему громить фашистскую гидру.

— А мы ведь в бой и вправду за своего пращура идем, — удивленно качал тогда головой Ваня Володин. — За того, кто Чингисхана бил, Наполеона, кто революцию делал... Значит, выходит, и за отца моего. Правда, Гриш?

Отца своего Иван вообще-то не помнил. Тот умер, когда сын еще качался в люльке. Умер от туберкулеза

легких, заработанного в царских тюрьмах и ссылках. Всего восемь лет прожил человек при Советской власти, за которую боролся всю свою короткую жизнь. Умер и оставил молодую жену с малым ребенком.

Так они и прожили вдвоем, мать с сыном, до самой войны. Иван собирался после школы поступить в архитектурный институт. Да на девятом классе споткнулось его учение. Добровольцем на фронт не взяли — мал. Послали под Ленинград копать противотанковые рвы. Осенью вернулся домой, а в городе уже хлеб по карточкам. И с каждым днем норма все уменьшалась и уменьшалась. До ста двадцати пяти граммов дошло. И ударил мороз. Электричества нет, дров нет, водопровод и канализация не работают. Все насквозь промерзло.

О той недавней страшной зиме Иван рассказывал Григорию с тихой грустью. Он считал, что они с мамой выжили во многом благодаря папе. Какая-то огромная внутренняя сила досталась маме в наследство от папы, говорил Иван. Сила, которая держалась на непоколебимой вере в правду. Тот, кто разуверялся, погибал в первую очередь. А они верили. И еще — рядом была Нева, вода в проруби. Вода в блокаду тоже стала ценностью. Особенно для тех, кто жил далеко от нее. Они жили рядом, на берегу, в доме, который ленинградцы называли Домом политкаторжан, называли так потому, что построен он был специально для тех, кто пострадал в царских тюрьмах и ссылках, кто делал революцию. Это в самом центре города, рядом с Кировским мостом и Петропавловской крепостью, на площади Революции.

Названия-то все какие — площадь Революции, Петропавловская крепость, Кировский мост. Очень знакомые для Гриши Портнова названия. Хотя и не заглядывал он никогда в город Ленинград. Как родился в деревне Приозерье на Вологодчине, так и прожил там безвылазно с матерью, отцом, тремя братьями и сестрой Фросей до самого призыва в армию. С отцом у него, сколько себя Гриша помнил, нелады шли. Не понимали они друг друга. С братьями тоже так — каждый сам по себе, у каждого свои заботы. Лишь когда забидит кто в деревне хоть одного из Портновых, тут вся четверка горой на обидчика, враз самыми близкими

становились и дрались до последнего. Тут их великая портновская сила была.

В самой, считай, середке ночи, когда слаще меда-сахара сон у бойца, вышла первая рота к берегу реки в боевое охранение. Мороз рвал лед на реке, глухо ухал, колол стынущие деревья. Снег под валенками скрипел-взвизгивал так, что, казалось, услышат фрицы на том берегу. По черному небу искрились звезды, дрожали в загустевшем до студня воздухе. И желтая луна висела над горизонтом, стылая, немая, заливая все вокруг мертвым сиянием — желтизной с синим.

Залегли, пустили в ход саперные, с короткими ручками лопаты. Солдату всегда и всюду перво-наперво окопаться нужно. Да только грунт тот, что долбал перед своим примороженным носом Гриша Портнов, не лопатой брать, а хорошим динамитом. Камень — не грунт. Аж искры летели из-под лопатного острия.

Сползал Гриша в перерывчике к соседу, к своему неизменному другу-товарищу Ивану Володину.

— Как тут, Вол, у тебя? Ковыряешь землицу? Руки-ноги еще не отмерзли? Закурим, что ль, для сугреву?

— Что ты, Гриша! — удивился Иван. — В темноте знаешь с какого расстояния огонек цигарки видно!

— Да в рукав ведь. Кто увидит... За два шага не заметишь, не то что с того берега.

— Нет, Гриша, нельзя. Старшина специально предупреждал.

Весь он тут — Иван. Раз нельзя, значит, и думать не моги. Хотя и можно, да все равно нельзя.

Так и продолжал долбать гвардии рядовой Григорий Портнов гранитную землю, не покурив, продолжал долбать, выгребая из образовавшейся ямки по горсти тонких, ломающихся пластинок земли. Долбал и поглядывал, как и положено в боевом охранении, на все четыре стороны.

Долбай, долбай, Гриша! Выдолбишь как раз к началу атаки малехонький индивидуальный окопчик. И побежишь ты из него туда, навстречу смерти. Побежишь, чтобы больше никогда к этому окопчику не вернуться. И вовсе не потому, что ляжешь там, на реке, хотя и от такого исхода никто не гарантирован. А не возвернешься ты потому, что не возвращаются солдаты

к своим окопам, не стоит война на месте, гонит пехоту то вперед, то назад, заставляет рыть ее все новые и новые укрытия.

На такой морозюке да еще ночью одно спасение — шуровать лопатой. Без лопаты в два мига из тебя сосулька сделается. Тут и с лопатой-то Гриша весь закуржавел, оброс инеем, задубел. И вроде как снова нос со щекой прихватило. Снегом, снегом нужно тереть. А снег крупный, ледяными крошками, дерет, что твой напильник.

Медленно ползла по звездному небу мерзлая луна, поднималась все выше и выше. Звонкая немота застыла над миром, дав передых войне, загнав людей в земляные норы. Сколько еще там до артподготовки и атаки? Гриша уже ни ног своих не чувствовал в железных валенках, ни рук. Про лицо и думать не хотел. Тер снегом-крупчаткой, словно по чужому. Перевалившись под бок к Ивану, просил:

— Терани, Вол. Кажись, после боя придется у меня с одного приятного места кожу состригать, на морду ее приделывать. И почему люди на такое ненужное место ватные штаны придумали, а на самую главную вывеску — ничего? Ходи, брат-солдат, голяком.

Иван Володин тер Гришино лицо. Но тер вяло, слабенько. Видно, кончалось в парне тепло, утекало в звездную высь. Хочешь не хочешь, а сказывалась она, блокада, проявляла себя, хоть и было им, Ивану с мамой, как рассказывал сам Иван, легче, чем другим. Вот тебе и легче. А как же побежит парень, с каких сил? Грише хорошо, он в четвертый раз. А Иван в первый. В бою больше всего потерь среди тех, кто в первый.

— Вол! Ваня! — просил Гриша. — Ну, чего ты меня, как влюбленная девица, по лицу охаживаешь? До крови три, всей ладонью!

И пинал кулаками друга, вытолкав из окопчика, катал по хрусткому снегу, тузил, мял, приговаривал:

— Вот так! Вот так лучше!

Пробежал, пригибаясь, вдоль окопчиков старшина, предупредил:

— Через десять минут артподготовка. В атаку — по общему залпу реактивной артиллерии. И строжайший

приказ по всей дивизии «ура» не кричать. Вместо «ура» оркестр будет. Бежать молча.

— Как это, не кричать «ура»? — удивился Гриша.

— Вот так, — сказал старшина, поспешая к следующему окопчику. — О вас, чурбаках, заботятся. Не хватит дыхания на таком морозе, не добежишь с «ура»-то.

Сказал и исчез в мертвом лунном свете.

Три раза ходил Гриша Портнов в смертные атаки. Три раза гудела вокруг него, ухала и звенела лихоманка с косой. Но в упор не видел он ее, не слышал и слышать не желал потому, что во всю глотку вопил «ура». И вливалась к нему в душу смелость от того крика, и веселей бежалось, и совсем не думалось ни о чем огорчительном.

Но с другой стороны, и впрямь не добежать, наверное, сегодня до того вон далекого берега, ежели с криком. Тут в окопчике лежишь, через овчинный воротник воздух кусочками хватаешь, и то обжигает, губу с губой склеивает. А ежели распахнешься во всю ивановскую? Нет, и впрямь не добежать сегодня, не донести «ура» и до середины речки. Начальство — оно с головой, оно четко соображает, со всякими разными медицинскими подробностями. И оно тоже, видать, не шибко этой ночью в постелях нежилось, тем же, видать, загустелым от морозной стылости воздухом перебивалось. Потому как ни по какому адъютантскому докладу и ни по самому что ни на есть жалостливому градуснику не удумаешь, чтобы дивизия в бой без «ура» перла.

Ай, начальство! Не слыхивал раньше рядовой Григорий Портнов случаев на фронте, чтобы в бой — без «ура». Не было их. Хоть морозы, бывало, и пощипывали похлеще нынешних.

Все понимал Гриша Портнов — и командование понимал, и почему оно такое неожиданное решение приняло. Только понимал он это, так сказать, теоретически. А вот как быть практически? Как на врага молчком кинуться? Этого он взять в разумение не мог. Не волк же он, Гриша Портнов,— человек. И не получалось у него никогда в самой даже малой драке без большого голоса. Да и не знал он в своей деревне ни одного человека, чтобы без глотки стенка на стенку шел. Ни в деревне, ни здесь, на фронте.

— Вот тебе и «за пращура», — сказал Гриша, подкатившись под застывший, вроде уже совсем оледеневший бок Ивана Володина. — Слыхал? Береги дыхание, дорогой боец, слушай развеселую музыку. Отныне мы в атаку под вальс-краковяк бегать станем. И нам веселей, и фрицам в диковинку.

— А я все равно про себя «ура» кричать стану, — проговорил, словно прошелестел, Иван, едва разлепляя потрескавшиеся губы.

— Ага, — согласился Гриша, — тебе, кажется, и впрямь теперь только про себя кричать. И бежать только про себя, не отлепляя от земли пуза.

— Зря ты так говоришь, Григорий, — тихо обиделся Иван. — Я еще как побегу. Очень хочется побежать, чтобы быстрее согреться.

— Согреешься, согреешься, — сказал Гриша. — Не торопись. А пока давай, пращур, окопчик дальше долбать. Что же ты, пентюх, такую мелкую сковородку выскреб? Нет на тебя хорошего старшины. Живо бы научил окапываться, для твоей же солдатской пользы.

Лопата у Ивана ходила не то что слабо, а какими-то вовсе неуклюжими зигзагами, словно у него намертво застыла смазка в суставах. А как же бежать с такой смазкой?

Наша артиллерия ударила столь дружно и оглушительно, что дрогнула и пошла ходуном земля. У Гриши с Иваном враз заложило уши. Кричи не кричи — ни шиша не слышно. Сказывали, ударят две тысячи орудий и минометов. Сколько это — две тысячи? У Гриши на большие цифры не хватало воображения. Но тут немного представил — по грохоту, который вспорол ночную тишину, по сотрясению земли, по кустам взрывов с огнем и дымом, что зацвели на том берегу, по вспыхнувшим там один за другим пожарам.

И сразу сделалось вроде теплее, радостнее. В душе нарастало нетерпение, сочилось живой силой к ногам. Да и Иван, кажись, чуток отошел, приготовил к атаке автомат, подвигал, пробуя ноги, валенками.

Но долго еще пришлось ждать друзьям, пока перепахало снарядами и минами стылую землю на том берегу, все три линии траншей и бесчисленных проволочных заграждений. Остался ли там кто жив после такого перчика? Гриша знал — остались. Хватит, кому на

курки нажимать да снаряды подавать. Хватит, кому целиться в него, в Гришу.

А как стихло, дернулся в своем окопчике-сковороде Иван Володин, вскочить хотел. Но Гриша его назад прижал.

— Торопишься, паря. Скорость где нужна? Точно: при ловле блох. Забыл сигнал к атаке? Общий залп «катюш» и музыка.

«Катюши» вспороли небо с лихим разбойничьим посвистом. Отсвистались, и тут же грянула где-то совсем рядом, за спинами медь оркестра. Усиленная динамиками, в морозной ночи, после орудийного воя и грохота, она показалась особенно странной в своей неожиданности. И сам оркестр, и та мелодия, которую привыкли обычно слышать совсем в иной обстановке.

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Вот какую мелодию грянул сводный духовой оркестр.

А Иван с Григорием уже бежали. Им некогда было подумать о неожиданности мелодии. Неуклюже разгоняя застывшие тела, проваливаясь в снег, падая и снова поднимаясь, бежали они. Иван впереди. Григорий чуть сзади. Чтобы на всякий случай подстраховать друга-товарища, дать ему как следует разбежаться. И вокруг тоже уже бежали бойцы. Бежали густо, быстро и молча.

И высветлило ракетами реку — каждую снежинку-искорку видно. И запели пули, впарываясь в снег, зачирикали воробьями, пролетая рядом. Заухали, зачастили взрывы. Дрогнул лед. Ударило столбами воды. С ледяным крошевом, со стальными сверчками.

Ноги у Гриши разогрелись, заработали сами собой. В ушах под ушанкой кровь застучала. А Иван-то чешет! Ну, чешет парень! Таким ходом не только через реку, до самого Берлина разом домчишь.

Пляшет берег в глазах, качается. Искрят на берегу красные огоньки. Густо стреляют, сволочи, часто. Только все мимо да мимо, любезные. Вот погодь, фриц, добегу, обучу тебя, как на нашенском русском морозе

воевать нужно. Вот погодь! Вот! Дай с глазу на глаз объясниться, втолковать тебе кой-какие понятия. Дай!

В висках кровь бушует, ударяет в такт с духовым оркестром. Мелодия сама собой в голове в знакомые слова складывается.

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Лихо наяривают музыканты. Ох, лихо! В тарелки, в барабаны, в звонкие трубы.

Стой!

А где же Иван?

Совсем позабыл Гриша в запале про своего фронтового друга-товарища.

Оглянулся, а тот лежит.

Ноги в беге распахнуты, правым плечом в снег вбит.

— Ваня! Вол!

Кинулся назад, крутанул друга на спину. А у того уже и глаза завело. Ни кровинки нигде. Только на груди, на полушубке малая дырочка.

— Ванюша! Друг разлюбезный!

Молчит друг, не отвечает. Лишь чуть заметно шевелит уже синеющими губами.

Рванул Гриша тесемки у себя под подбородком, закинул ухо ушанки, приник к остывающим губам. И не слово услышал, шелест, последний выдох:

— Ура...

Олег Селянкин

ДОРОФЕЙ

Он пристал к роте, когда она отходила от Дона к Сталинграду. Загребая стоптанными сапогами дорожную пыль, подошел к командиру и заявил:

— Язви их в душу, разгрохали у меня и кобылу, и повозку. Теперь, значит, к вам примкну. Для усиления.

Было ему давно за сорок; он заметно косолапил, широкие плечи спускались, как скаты крыши, равномерно и круто. А главное, что бросалось сразу в глаза, — метелки усов, подчеркивавшие лицо почти от уха до уха.

К тому времени, когда появился он, в роте уцелело лишь тридцать два бойца, а обстановочка вокруг сложилась такая — каждый человек дорог. И поэтому командир роты, хотя сразу и понял, что перед ним самый обыкновенный ездовой, лишь молча кивнул.

Заручившись согласием командира роты, усатый ощупал глазами всех бойцов, что двумя короткими цепочками шли по обочинам дороги, и сказал:

— Вот с этими сосунками и буду. Заместо наседки. — Помолчал немного и добавил удивительно по-домашнему: — А звать меня Дорофеем.

«Сосунки» были действительно молоды — лет по семнадцать — восемнадцать. Но в то горькое лето сорок второго года они под себя уже много военных верст подмяли и таких смертей насмотрелись — с ума сойдешь, если в мирной жизни они тебе только приснятся. Однако на слова Дорофея не обиделись: посчитали его остряком-самоучкой, без которого в любой роте тоскливо.

Командир роты сначала поглядывал на своего ново-

го солдата (в годах, не будет ли отставать?), но Дорофей, косолапя, знай себе шел и шел. Будто и не брала его усталость вовсе.

Это обрадовало ротного (не будет новичок обузой), но почему вчерашнего ездового так легко приняла рота — об этом он не задумался. Даже не заметил, что винтовка словно прилипла к спине Дорофея. А заметь, спроси у Дорофея, почему так, — тот, возможно, и признался бы, что солдатскую науку прошел еще в империалистическую войну у самого Брусилова. Так что к чему другому, а к пешим маршам ему не привыкать.

Только про два солдатских Георгия наверняка промолчал бы Дорофей: жизнь научила помалкивать, свое при себе оставлять. Те же два Георгия научили.

Когда в деревне начал колхоз сколачиваться, Дорофей против него выступил. Тут уполномоченный, что из района прибыл, и пугнул его, дескать, как бы худо тебе не стало за это.

Дорофей, распаленный сомнениями в своей правоте, в ответ ляпнул на всю деревенскую площадь, где митинговали:

— Ты меня не пугай! Я за испуг два Георгия имею!

Вечером ляпнул, а уже утром его затребовали в район и начали спрашивать: когда, где и за какие подвиги царь тебе эти кресты пожаловал?

Но чиста была совесть Дорофея перед народом, и через несколько часов его выпустили, посоветовав:

— Ты бы укоротил свой язык, не подпевал контре разной. И крестами царскими бахвалиться нечего.

...Только раз после этого случая не уследил он за своим языком, уже в военкомате, когда определили его по возрасту в ездовые. Георгиевский кавалер — ездовой?!

К концу второго дня вышли к железной дороге Поворино — Сталинград. Нет, города еще не было ни слышно, ни видно, но он угадывался уже безошибочно. И по обилию свежих окопов, изрезавших степь, и по тому, что движение отступавших сначала замедлялось, а потом и вовсе прекратилось.

— Чуете, деточки, как Волгой пахнет? — вздохнул Дорофей.

Пахло полынью, едким солдатским потом и еще пылью, настоянной на бензине. Но Дорофей, казалось, пил речную прохладу, принюхивался к ней, и никто не возразил ему.

А утром здесь же, в первой линии окопов, вырытых горожанами, рота приняла бой. Немецкие танки в том бою еще не участвовали (то ли где-то рядом фронт ворошили, то ли отстали чуток), но зато самолеты фашистские потешились вволю: и бомбили так, что черная копоть легла на выгоревшую траву, и штурмовали, обстреливали из пулеметов и пушек.

Было очень тяжело, но терпимо.

Едва в небе заскулил первый фашистский пикировщик, Дорофей достал из вещевого мешка зимнюю шапку и здоровенную, чуть смятую слева каску, надел все это, и сразу голова его словно раздулась.

Но Дорофею и этого показалось мало: свою и приблудную саперные лопатки, засунув их черенками за ремень, он пристроил так, чтобы железо лопат прикрывало грудь.

Поймав насмешливые взгляды соседей, он пояснил, нисколечко не смутившись:

— Береженого и бог бережет.

И опять ему ничего не ответили: головной самолет фашистской стаи уже заваливался на крыло, вот-вот от него отделятся черные точки бомб.

Дорофей улегся на дно окопа, свернулся там комочком, уткнув лицо в ладони, и так пролежал всю бомбежку.

Но как только фашистские автоматчики пошли в атаку, он вскочил по первому слову отделенного, и на лице его не было ничего, кроме спокойной деловитости. Разве что кончики усов помялись.

Стрелял Дорофей редко и после каждого выстрела почему-то гладил ладонью затвор винтовки.

Ночью, когда фашисты улеглись спать и на окопы робко опустилась тишина, командир роты спросил у Дорофея:

— Докладывай, сколько фашистов срезал?

Дорофей глянул в ночь, будто хотел увидеть ту землю, по которой недавно катились волны вражеских автоматчиков, и ответил:

— Точно отрапортовать не имею возможности.

После первого боя новичок обычно безбожно хвастается своими успехами, нечто подобное ожидал услышать командир роты и сейчас. Ответ был таким неожиданным, что он только и спросил:

— Ни разу не попал?

— Такими данными тоже не располагаю.

— Глаза ты закрывал, что ли, когда стрелял? Не видел, грохнулся твой фашист или дальше попер? — разъярился ротный.

— Не, они все грохались. Только, может, и другой кто по ним же стрелял...

Командир роты помолчал, потом присел рядом с Дорофеем и достал из кармана кисет, протянул его солдату, что в роте считалось большой наградой.

Сталинград встретил роту несмолкающим грохотом разрывов многих снарядов, мин и авиационных бомб. В этот грохот изредка вплетался стрекот станковых пулеметов, а автоматные очереди казались негромким потрескиванием.

Город горел, дома его рушились, вздымая к небу тучи кирпичной и известковой пыли. Но город не только горел и рушился, он еще и яростно дрался с врагом.

...Вот, сначала чуть дрогнув, наклонилась стена дома, нависла над улицей и, словно выждав удобный момент, рухнула на мостовую. Не успело поредеть облако кирпичной пыли, а за грудой камней уже улеглись солдаты и высматривают врага. Пыль ложится на плечи и головы солдат, на их оружие. И кажется фашистам, что сами камни поверженного дома ведут по ним яростный огонь.

В роте осталось только четырнадцать человек. Они-то и составили весь гарнизон дома на Рабоче-Крестьянской улице. Дом большой, до бомбежки, похоже, было четыре или пять этажей. Сейчас — два с половиной. Но и теперь окон только на первом этаже в несколько раз больше, чем солдат в роте. А ведь есть еще и двери подъездов, есть и просто проломы в стенах.

Вот и обороняйся, как знаешь...

Третьи сутки рота держит оборону в этом доме. Ни командир, ни политрук, заглядывавший сюда, не говорили солдатам ничего о необходимости стоять здесь насмерть, все и без слов понимали это: ведь Волга за

спиной, ее хорошо видно, если по битым кирпичам вскарабкаться до окон третьего этажа.

Два дня фашисты бомбили и обстреливали наполовину разрушенный дом, а сегодня их автоматчики подкрались к нему так близко, что бомбежку и обстрел прекратили. Зато стоит кому-нибудь неосторожно шевельнуться у оконного проема — немедленно цокают пули по стенам и мелкое кирпичное крошево осыпает их.

Одна из пуль, влетевших через оконные проемы, попала в грудь командира роты. Он зажал рану пилоткой, некоторое время еще силился командовать, но скоро опустился на пол, просипев:

— Держаться...

Не стало командира роты, но бойцы продержались еще двое суток. Как продержались, и сами — те, кто выжил, — потом не могли понять: фашистские автоматчики чуть попятились, и на дом снова посыпались бомбы, снова по стенам забарабанили снаряды и мины. Балки перекрытий не выдержали, и дом враз осел до первого этажа. А вот солдаты — ничего, выдюжили.

Правда, теперь, когда они собрались вместе, их было только четверо. Все обросшие густой щетиной, все с ввалившимися глазами и разводами пороховой копоти на лицах.

И все — рядовые.

— Что мы имеем для душевной радости? — сам себя спросил Дорофей и выложил на шинель две полных обоймы и еще два патрона. — Магазин полный, — пояснил он и добавил к патронам гранату. — Рубашки к ней нет, значит, считайте, хлопушка.

Так же неторопливо, но молча, выложили на шинель свои запасы и остальные. Оказалось, что весь их арсенал — три неполных автоматных диска, семнадцать патронов к винтовке Дорофея и семь гранат (одна — «лимонка»).

Увидели все это, пересчитали и еще больше посуровели: подумали о том, что фашисты будут скоро радостно гоготать и в этих развалинах.

— А у тех? — спросил Дорофей.

— Чисто, — ответил кто-то.

— Значит, и у павших не разживемся... Что ж, этого маловато на четверых, — словно думая вслух, начал

Дорофей и замолчал: шальная пуля сразила еще одного бойца, и тот, даже не простонав, спиной сполз по стене на битый кирпич.

— Может, отойдем? — предложил Никита, один из оставшихся в живых в команде Дорофея.

Никто ему не ответил.

На черные развалины домов уже струился рассвет. И был он необычайно нежен и тих. Будто не следили фашисты в тысячи глаз за развалинами, будто все люди враз забыли о том, что у них есть оружие.

Как стало уже привычно, ровно в шесть фашисты открыли огонь по дому, в котором сидели в обороне Дорофей с товарищами. Минут десять вели нещадный обстрел и вдруг замолчали.

— А ну, готовсь, деточки, — только и сказал Дорофей, занимая свое место у пролома в стене. Моментально рядом примостились и остальные двое: решили держаться вместе, кучкой.

Дорофей ожидал атаки — может быть, последней для гарнизона дома, — вражеской атаки. Но из пролома в стене здания, в котором скопились фашисты, свесился белый флаг. Это было так невероятно, что в первые секунды все трое не поверили своим глазам. Потом Дорофей деловито достал из вещмешка чистую портянку и высунул ее из окна.

Из дома напротив вышел солдат и прокричал:

— Гауптман фон Фишер желает вести переговоры с командиром вашей части!

— Что ж, можно и поговорить, нам спешить некуда, — проворчал Дорофей.

— Может, мне пойти? — предложил Никита. Он считал, что фашисты обязательно попытаются убить Дорофея, как командира гарнизона дома, и хотел собой заслонить своего старшего товарища.

Но Дорофей полой шинели протер сапоги, распушил метелочки усов и молодцевато сдвинул каску на левый висок.

— Слышь, Дорофей, набрось на плечи плащ-палатку для маскировки. На, держи, — заторопился Никита. — Ты — в годах, за большого начальника сойти можешь.

Дорофей набросил плащ-палатку на свои покатые плечи, начал было завязывать на груди тесем-

ки и вдруг посуровел, снял ее и протянул Никите, сказав:

— Не, пущай видит, что рядовой я. Может, тогда крепче прошибет. — И добавил уже с улицы: — Вы тут того...

Товарищи поняли, что он завещает им и месть, если с ним что случится, и оборону дома, и вообще все, что должен был и не успел сделать он, Дорофей.

Фашистский офицер и красноармеец Дорофей встретились примерно на середине улицы. О чем они там говорили, козырнув друг другу, — никто не слышал, но столько достоинства было в позе и жестах Дорофея, что у Никиты вырвалось:

— Блюдет пропорцию!

Дорофей, хотя ему в спину и пялились многие фашистские автоматы, возвращался степенно, без торопливости.

— Ну, что он балакал? — набросился Никита, едва Дорофей влез к ним.

— Обыкновенно говорил, — повел плечами Дорофей, достал из кармана гимнастерки тряпочку и стал протирать затвор винтовки. — Велел сдаваться. А я ему, как положено, вежливо отвечаю: «А дулю не хочешь?» Он мне: «Мы вас уничтожим!» Я ему соответственно: «На-ко, выкуси...» Без хулиганства, по-хорошему говорю... Напоследок он сказал, что наш дом они больше атаковать не будут, голодом нас заморят. Вот так-то, деточки... Я ответил ему: «Валяй»...

И еще четверо суток Дорофей с двумя товарищами держали оборону в развалинах дома. Немцы попритихли, замышляли, видно, что-то неожиданное. От голода, казалось, уже все внутренности ссохлись, но Дорофей и его товарищи по-прежнему постреливали изредка по неосторожным фашистам; патроны берегли для последнего боя. А в то, что он обязательно будет, — верили: фашисты сейчас-то в обход дома пробирались, долго ли еще ихнее командование этакое терпеть будет?

Но особенно невыносимой была жажда. С надеждой смотрели на каждое облачко.

Силы, казалось, были на исходе, казалось, еще сутки, нет, только еще один день, и они, Дорофей с товарищами, сами бросятся на врага, чтобы принять

смерть в бою. Эта мысль стала навязчивой. Они уже не могли прогнать ее. И вдруг ночью, когда двое дремали в тяжелом забытьи, а Дорофей дежурил у пролома в стене, с левого берега Волги взвились в небо хвостатые молнии. Они кровавыми дугами прорезали черное небо и упали где-то между рекой и их домом. Клубы огня взметнулись в том месте. А молнии рождались одна за другой, рождались часто и яростно. И каждая из них неизменно втыкалась в занятую фашистами часть города; грохот взрывов неумолимо полз к дому, где держали оборону три советских солдата.

За шумом ночного боя они не слышали криков «ура!» и поэтому с удивлением таращили глаза на наших солдат, которые вдруг хлынули в окна и проломы их дома. Человек пятьдесят сразу ворвалось. И больше половины из них — в новеньком обмундировании. Пополнение!

А еще через сколько-то минут Дорофея с товарищами проводили на командный пункт полка. В подвале было людно, но майора, командира полка, Дорофей узнал сразу. И еще — увидел большой зеленый чайник, что стоял около майора. Дорофей, как того и требовал устав, вскинул руку к каске, а вот взглянуть на майора не смог: глаза будто приклеились к чайнику.

Майор выследил этот жадный взгляд, протянул чайник и сказал строго, тоном приказа:

— Пей, сержант.

Дорофей прямо из чайника сделал несколько торопливых и жадных глотков и передал Никите, проследил, чтобы тот не забыл товарища, и лишь тогда заговорил:

— Разрешите доложить, товарищ майор?

— Не разрешаю, — будто сердясь, ответил тот. — Сутки отдыха. Всем троим.

И устало опустился на табуретку.

Дорофея и двух его товарищей отвели в подвал соседнего дома, освободили там лучший угол и принесли три котелка с кашей. Словом, проявили настоящую солдатскую заботу. Все шло нормально. Дорофей уже достал из-за голенища ложку, и тут кто-то сказал, искренне радуясь:

— Вот это подфартило так подфартило: и сержан-

та вмиг схлопотал, и орден отхватил! Не меньше Красного Знамени!

Дорофей будто окаменел на несколько секунд, потом сунул ложку за голенище и вышел из подвала. За ним встали и его товарищи. Молча прошагали по разрушенному городу к Волге, сели там на обуглившееся бревно. Долго сидели и молчали. Потом Дорофей повернулся к Никите и спросил:

— За что он меня так, а? Разве мы из-за награды?..

Вот и все, что я знаю о Дорофее. Единственное, что еще сохранила память, — родом он из Прикамья. А откуда точно? Как его фамилия? Все это тогда прошло мимо меня.

В свое оправдание только и скажу: за всю войну всего лишь один раз наши с ним дорожки скрестились.

Михаил Шушарин

ФОТЬКИНА ЛЮБОВЬ

По северной дороге, от Вологды к Кирову, шел санитарный поезд. Уже несколько суток вез он подальше от фронта раненых солдат. И каждое утро солнышко, скользнув по потной лбине паровоза, заходило в окошки вагонов, окрашивало рябинники вдоль насыпи красным гарусом.

Механик-водитель самоходной пушки сержант Фотька Журавлев лежал на нижней продольной полке. Был он весь забинтован: руки, ноги, лицо. Только для глаз сердобольные сестры оставили смотровую щель да белесые бровки — два лохматых кустика — торчали из-под повязки.

Сознание к Фотьке приходило, кажется, по расписанию: час-полтора не видит, не слышит, а потом откроет глаза, боль свою почувствует и тихонечко попросит пить.

— Господи, чего же они с тобой сделали, проклятые! — вздыхала санитарка Зина.

Ни слов Зины, ни расписания, по которому жил, Фотька, конечно, не понимал. Он не знал даже, что его куда-то везут и что незнакомая санитарка Зина третьи сутки молится, чтобы он не умер.

На маленьком разъезде, у красивой речки Вятки, поезд загнали в тупик, и он простоял там всю ночь. Утром здоровенный старшина, заместитель начальника по хозяйственной части, принимал носилки.

— Сначала, робятки, мы вас побаним, — окал старшина, — а потом на осмотр — и по палатам.

Почти три месяца пролежал Фотька в чем мать родила под специальной сушильной палаткой, оснащен-

ной лечебными лампами. А потом стал подыматься. Крепенек оказался сержант. Тело его и дух были доброй русской выпечки. Зина смастерила ему из подушек подобие трона, и он восседал на нем.

Впервые Фотька увидел лицо соседа по палате украинца Семена Неешьсало. Раньше он видел только желтые Семеновы ступни да полусогнутую гипсовую руку, постоянно поднятую вверх, будто Семен денно и нощно за кого-то голосовал.

— Здравствуйте, товарищ старшина! — сказал Фотька.

— Со свиданьицем и со знакомством, — добродушно усмехнулся Неешьсало.— Дюже долго загорали вы под етим пологом. Не чаяли мы вас и живого увидеть.

— Нет. Жить я буду, — уверенно возразил Фотька, — только вот кожа, особо на ладошках, просвечивает — ни топор не возьмешь, ни молоток.

— Кожа нехай пока и просвечивает. Работать будешь — мозоли натрутся.

— Отчего это, товарищ старшина, фамилия у вас такая пошла — Неешьсало? — спрашивал Фотька. — Неужто предки ваши торговали таким вкусным продуктом?

Старшина нравился Фотьке. Рассудительный, не обидчивый. Зина писала за него письма на Украину с многочисленными поклонами теткам Ганнам, дядькам Тарасам, сношкам и зятевьям, а Фотька выспрашивал, кто они и неужто выжили под немецкими оккупантами.

А еще Фотька любовался Зиной, и она, кажется, это замечала. В дело не в дело просил он ее поправлять подушки, а когда Зина склонялась над ним, ловил медвяный запах шелковистых волос, и сердце у него замирало. По утрам девушка первой появлялась в палате и всегда подходила сначала к Фотьке:

— Ну, как ты, родненький мой?

Он понимал, что Зина так говорит с каждым, но все равно был доволен.

А рябинники за окошками совсем посходили с ума. Горели под слабым ноябрьским солнышком невиданными красными гроздьями. Отражались в воде и в окнах почерневших от дождей домишек. Кисти рябины

заполонили в палатах все кружки, стаканы и котелки. Ее приносили с собой сестры, нянечки и шефы.

Фотька целыми днями сидел в подушках, любовался рябинниками. Ходить ему, даже с костылями, пока не разрешали.

И вот пришел в палату в сопровождении врачей, медсестер и нянечек комиссар госпиталя. За ним внесли стол, накрытый белой простыней.

— Товарищи гвардейцы, — сказал комиссар, — мы принесли вам добрую весть. Верховный Совет страны за мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, наградил орденом Красной Звезды командира взвода разведки старшину Семена Петровича Неешьсало и орденом Славы третьей степени — механика-водителя самоходки сержанта Фотея Феоктистовича Журавлева. В связи с тяжелыми ранениями награды не были вручены в частях. Они догнали вас, друзья, в госпитале. Разрешите мне по поручению командования...

Капитан подошел к постели Неешьсало:

— Позволь, Семен Петрович, прикрепить.

— Спасибочки. Так куды чеплять-то? — постучал старшина по загипсованной груди.

— Под гипсом сердце бьется.

— Ох, гвардии капитан, ще как бьется. — Старшина разволновался и заговорил почти по-украински. — Ночами не сплю. Усю нашу землю хвашисты споганили.

— Не горюй, старшина. Та речка не погана, из которой собака лакала!

Дошла очередь до Фотьки.

— Сержант Журавлев! — капитан раскрыл желтую коробочку и достал орден.

Фотька звонко ответил: «Служу Советскому Союзу!», рванулся с кровати и тотчас же свалился обратно.

— Ох ты, господи! — бросилась к нему Зина. — Ну кто же тебя просит сигать-то? Ну кто? И какой ты все-таки несуразный!

Фотьку уложили в кровать, Зина пригладила его вихры и поцеловала их, не стесняясь ни комиссара, ни доктора — никого.

— И зачем вскочил? Опять повязка кровью пропиталась.

— Хотел по уставу.

— Какой тебе устав, когда ты в подушках весь!

Орден Фотьке прикрепили к нательной рубахе, и он не снимал его даже ночью.

Любовь пришла к Фотьке — ни меры, говорят, ни веса, ни продать, ни цены сказать. «Как она меня целовала! Забыла, что народ кругом... Только кончим войну — увезу ее в деревню, запишемся — и на всю жизнь!»

А из дому приходили письма тяжелые, страшные. Двое братьев и отец погибли на фронте, мать — совсем худая. Корову ходит доить молодая соседка Домна, она и за матерью приглядывает, и печку через день протапливает. Подолгу лежал Фотька, безразличный ко всему, серый. «Елки-моталки! Вот она как, жизнь-то, колется... Кончится война — и не увижу никого своих... Да неужто все это правда?»

Зина брала Фотьку за руку, слушала пульс и тихо спрашивала:

— Ну, как ты, Фотя?

— Ничего. Славно. Скоро в полк.

— Господи! Да какой тебе полк! Спишут тебя по чистой.

— Не должны. Я им докажу. Вот увидишь.

Удивительный человек Фотька Журавлев! Кровью истекал, в дыму задыхался, чуть не утонул в большой реке Свири, обгорел весь, но...

Самоходочка сломалася —
Коробка скоростей!
Давай, милка, целоваться
Для срастания костей!

Когда плясал вприсядку, трескалась еще нежная кожа на икрах. А Фотька боли не выказывал. Только Зина угадывала ее. Но и она старалась не задеть Фоткиной гордости — ни словом, ни намеком. Лишь во время перевязок притворно ворчала: «Доплясался, самоходчик. Опять кровь». А Фотька в это время думал: «Если есть на свете бог, неужели он не сведет меня с Зиной?»

Зима стояла добрая, как старый русский дед. Всего было в меру: и метелей, и морозов, и ночей лунных,

и куржаков. Фотька выписался из госпиталя двадцать девятого декабря. Перед выпиской, на комиссии, беседовал с главным хирургом:

— Значит, не годен?

— Не годен.

— А по какой статье?

— Там, в документе, написано.

— Написано-то оно написано. Что я — зря плясал? Почему в лишенцах оказался? До победы дослужить не даете. А?

— Перестаньте, Журавлев!

Все Фотькины доводы хирург разбивал. И Фотька отступился: «Черт с тобой. На фронт негодный — в деревне работать буду, на тракторе. Набьют фашистам рыло и без меня. Вот только бы Зина...»

А Зина растерянно (или это просто казалось Фотьке) повторяла в тот вечер одно: «Езжай. Устроишься — пиши. Меня отпустят».

Они бродили по заснеженным улочкам поселка, вглядываясь в желтые огни, вслушиваясь в тревожный гуд проводов. Когда наступило время отбоя и Фотьке полагалось возвратиться в госпиталь, Зина сказала ему просто: «Нет. Сегодня ночуешь у меня».

...В первый раз за все годы войны заплакал сержант Журавлев, переступив порог родной горницы и увидев лицо матери. Она лежала под теплым лоскутным одеялом. Сержант уронил вещмешок, опустился на колени у деревянной кровати.

— Фотинька, сыночек, — шептала мать. — Заждалась я тебя, красное мое солнышко.

— Ничего, мама, ничего. Сейчас жить будем.

Начал Фотька с того, что пошел к председателю колхоза Спиридону Журавлеву (в деревне, почитай, все Журавлевы).

— Ты, дядя Спиридон, обязан мне как раненому фронтовику хлеба на первое время выделить, — потребовал твердо.

Но и ответ Спиридона был не менее твердым:

— Знаю все это. Но хлеба нет. Вон картошка мороженая есть, и все...

Спиридон взглянул на обгоревшие Фотькины руки

и заговорил, будто оправдываясь перед ним:

— Я, Фотя, у бати твоего колхоз принимал, когда вернулся из госпиталя. Мы с ним большие друзья были... Ну, разве же я не помог бы...

И засек Фотька в глазах Спиридона смертельную усталость и отчаяние.

— Давай хотя бы картошки. Да на работу определяй, завтра же. Трактор-то какой есть?

Вечером привалила в гости Домна. В полушалке с красными цветами по черному полю, румяная.

— И с чего ты справная такая, Домнушка? — усмехнулся Фотька.

— С отрубей, да не хуже людей!

Домна размотала полушалок, сбросила шубу, крутанула жгутом черные волосы.

— Давайте приберу тут у вас да сварю чо-нибудь. Помрешь без бабы-то, солдат...

Поздно уже отужинали, вышли на кухню. Было тепло, пахло свежевымытым полом.

Домна прильнула к Фотьке:

— Справная, говоришь? А я баню два раза в неделю топлю. Баней только себя и убиваю... После Прокопьевой похоронки, прости господи, тебя одного ждала... Заснет мать-то, приходи...

Домна будто обварила Фотьку своим шепотом. Закачался как хмельной, но опомнился:

— Другая у меня есть... Зина. Ты пойми.

— Где она, твоя Зинка-то? За морем? Дак чего же ты боишься?

Фотька молчал. А Домна надернула шубу, обернула вокруг шеи платок, засмеялась:

— Говорил бы уж правду! Нестроевым, значит, приехал, Фотя!

Она хлопнула дверью так, что заходили колодины, а шапка с темным следом звезды мягко упала с гвоздя и укатилась под умывальник.

— Господи! — застонала в горнице мать. — Чо она, сдурела ли, чо ли, эк пласнула дверями-то.

Фотька вошел в горницу, подвернул коптившую лампу, спросил:

— Керосин-то есть, мама?

— Осенью Спиридон выдал всем по фляге.

— Я письма напишу служивым.

— Пиши, Фотя.

Мать повернулась к нему лицом. Смотрела на него, своего последнего. А он писал Зине: «Приезжай скорей. Не могу больше без тебя. Ни хлебом-солью заесть, ни ключевой водой запить, ни во сне заспать тоску мою не в силах. Приезжай!»

Трактор достался ему самый что ни на есть изношенный.

— Первенец второй пятилетки, — смеялся эмтээсовский механик. — Ну, да лучше нету — все на войну ушло.

— Я понимаю, — ответил Фотька. — Ты зря-то не скалься.

Он латал машину старательно, серьезно. Назвал трактор человеческим именем — «Спиридон». А вышло это само собой, после одного незабываемого вечера. Сидели они с председателем, вспоминали фронтовую житуху.

— Я, Фотей, в морской пехоте служил, в Ленинграде. Во втором эшелоне стояли. Рядом старые казармы, детский дом для ребят, изувеченных войной. Сказать, что это были за детишки? Горе одно. У кого ручонки нету, у кого ножонки. Поглядишь, скачут, как зайчата, на костыликах, да так круто...

Мы всем взводом ходили к ним, в старые казармы. Кто с гитарой, кто с гармошкой... Самим туго было, но, как узнали, что ребятишек собираются эвакуировать, сэкономили две булки хлеба, принесли им... А наутро обнаружили нас фашисты с воздуха и посекли весь взвод... Мне осколок в ногу впился. Сознание я в тот раз не потерял. Выполз к детскому дому, на развалины, а они, дети-то, все пострелянные лежат, и на скамейке пайки хлеба нетронутые... Делили, наверное: один отвернется, а второй показывает на порцию: «Кому?»

Озверел я тогда, Фотя. Попадись фашист, зубами бы загрыз! Только не было никого вокруг. Мертвые детишки да матросики. И взял я, Фотя, этот хлеб со скамейки и пополз к своим... Пять суток полз... И этот хлеб ел, детский... Как думаешь, не в обиде они на меня, детишки?

— Да ты что, дядя Спиридон?

— Вот как вспомню этот хлеб...

Что Фотька мог сказать Спиридону? Чем утешить? Только имя трактору своему сразу же придумал. «Напашем мы с тобой, Спиря, земельки, насеем пшеницы, вырастим хлебушко. Булок напечем, пива наварим и всех твоих ребятишек помянем, чтобы не обижались».

Ремонтировал Фотька трактор и по домашности успевал работать. Наступит ночь, развесит по окошкам узорчатые занавески, а Фотька засветит керосинку и вечерует: то валенки подошьет, то сети починит, то вензеля к наличникам примется точить на самодельном станочке. А тут корову проведать надо, напоить ее к ночи, сечку запарить в теплой кадушке да картошкой мороженой сдобрить. Корова стельная. Приедет Зина, и в доме свежее парное молоко. Быстро поправится, не хуже Домны станет.

На дворе, под навесом, лежал строевой лес. Всю войну как ни маялась мать с дровами, а его не тронула. Лес добрый. Каждое бревно облышено, твердо, как камень. Отец на новый дом берег. Не пришлось ему поплотничать...

Теперь вот Фотька подумывал: «Приедет Зинаида, испугается нашего пятистенника. Все зауголки повыкрошились».

Начали подтаивать дороги, изрядно прибавился день. Отремонтировал Фотька «Спиридона», наварил в кузнице лемеха к плугу, у всех десяти деревянных борон переколотил зубья, отклепал их заново, починил рамы. Проверил все: и вальки, и катки, и прицепки — весь, как говорил председатель, «прицепной сельскохозяйственный инвентарь». А письма все не было.

Но оно пришло, это долгожданное письмо. Длинное, на пяти тетрадных листках. Писала Зинаида и плакала: отчего он не пишет ей письма, другие девчата получают почти каждый день. Потом рассказывала все госпитальные новости. Семен Петрович Неешьсало уехал на свою Полтавщину, безногого капитана из восьмой палаты забрала жена, комиссар госпиталя стал майором, а в самодеятельном кружке занимается повар Игнатьич. На его, на Фотькиной, кровати лежит сейчас синеглазый лейтенант, раненный в самой Германии, чуть ли не под Берлином...

Ни слова не писала Зина только о приезде, будто и не было у них такой договоренности.

А еще через неделю Фотька получил письмо от синеглазого. Лейтенант учил Фотьку быть мужчиной, сообщал, что у него к Зине «немеркнущая любовь» и что он, сержант Журавлев, должен это понимать, потому как мало ли что в жизни бывает. «Фронтовики не плачут», — такими словами синеглазый закончил свое послание.

Фотька отписал лейтенанту: «Товарищ лейтенант! Зинаида, бывшая моя невеста, девушка ладная, сердце у нее доброе. Ее прощаю. Что окоротишь — того не воротишь. Сам я, видно, в чем-то виноват... Но если узнаю, что плохо держишь ее, найду тебя, лейтенант, под землей и так начищу тебе пряжку, что век оглядываться будешь!»

Фотька жидким столярным клеем запечатал письмо и сам отнес его на почту. На обратном пути зашел прямо к Домне. Не снимая бушлата и шлема, протопал в передний угол. Домна стрельнула на него потаенно-ласковым взглядом, но, увидев на лице ожесточение, испугалась:

— Чо это с тобой, Фотя?

— Самогонка или брага есть?

— Есть.

— Вынимай.

Фотька выпил поллитровую банку самогона, долго жевал огуречные колесики, потом опять спросил:

— Манатки-то у тебя где?

— В горнице.

— Связывай их в узлы. Пойдем. Завтра запишемся в сельсовете.

— Да ты что? Ты это как? Меня-то хоть бы спросил! — растерянно лепетала Домна.

— А что спрашивать? Ты ведь согласна. Жить будем.

Ночь отступала медленно. Пропел первый петух. В чистые окошки проглянул рассвет.

Они не спали всю ночь. Пока перетащили Домнины пожитки, пока развязали все, поставили на места — солнце залило деревню червонным весенним светом.

Усталый, Фотька бережно обнял Домну, погладил

жесткими ладонями волосы. А Домна вдруг вспомнила что-то.

— Побегу я, Фотя, в погреб сбегаю, кадушка у меня ведерная с капустой осталась.

— Да не ходи ты! Черт с ней, с капустой.

— Нет уж. Богатому жалко корабля, а бедному — и кошеля. Упрет кто-нибудь.

Быстро набросила полушалок, шубу, выбежала из избы. «Капусту забыла,— заныло в Фотькиной душе сомнение. — Зинка не побежала бы... Из-за капусты. А эта... И зачем я так: лейтенанту поверил, а у самой, у Зинки, ни слова не спросил?..»

Весна в том году была на удивление. В два дня все сшевелилось. Сперва выпала на сугробы снежная крупка, а потом солнышко скорехонько источило снег. И пошло-поехало, и зашумело. Озера (а их в окрестностях деревни восемь — Глубокое да Сиверное, Крымово да Озерко, Моховое да Мочище, Татарское да Волчково) залились талой водой и заплескались безбрежно, соединяясь друг с другом протоками. Засвистели под ними гоголи — гостеньки перелетные, прилетели серая утка, гусиные да журавлиные табуны. Такой благовест открыли они над просторами! Тревожили и радовали людей.

Зазеленели на поскотине свежей травкой взлобки, загудели лога, взламывая утлые плотинки и мостики. Ох, и вольготно в эти дни в деревне. Громкая, суматошная жизнь. Выгоняют на пастбища скот, отпускают на вольную воду птицу. Гвалт, шум — весь длинный день, от восхода до заката солнышка.

Легче стало в эти дни матери. Уж и не думала она, что выкарабкается из цепких тисков хворобы. «Молодость уходит — не прощается, старость приходит — не здоровается. Утеку я, Фотя, по весенним-то ручейкам!» Ан нет! Подыматься стала с постели, за ограду выходить, на завалинку, к старикам да старухам.

Греет солнышко, звенит весенняя куролесица, воркуют старушки, а она закроет глаза и уйдет в тревожные мысли.

Чуяло сердце, что горькой полынью покажется Фотьке жизнь с Домнушкой. Не лежит у него к ней

душа. Какая же это семья будет? Укоротят друг другу век-то.

Притушила бы она давно эти подозрения (какая мать своему дитенку худа желает), если бы не письма...

Было это в тот день, когда корова отелилась. Принес Фотей в избу лобастенького, мокроносого бычка. Домна сходила в пригон, сдоила молозиво, принесла в ведре:

— Ты его, мамаша, напоишь, мне на работу пора.

Убежала Домна, ушел Фотей, начала мать горшки мыть под молоко, в печке их прожаривать. Сунула руку в один из тех, что Домнушка принесла, а там треугольники бумажные. И все Фотьке адресованы. И все от Зины. Не выдержала — грех попутал — прочитала одно письмо сверху донизу. Упрек был в нем ее сыну Фотею: «Ни письма от тебя, ни весточки. Всякие мысли в голову лезут... Ведь люблю я тебя... Неужто обманул? Как же ты в глаза-то мне посмотришь? Напиши скорее!»

Перед сенокосом в колхозе был объявлен выходной день. Тогда и решили супруги Журавлевы созвать «помощь». С утра на дворе звенели пилы, стучали топоры. Сруб рос на глазах — большой, крестовой. Обедали «помочане» за большим, наскоро сколоченным столом, накрытым старыми клеенками. Домна обнесла мужиков круговым стаканом водки. Председатель колхоза Спиридон Журавлев произнес тост:

— Выпиваю, Фотей Феоктистович, за одно только хорошее: домом жить да ни о чем не тужить!

И в эту минуту по-чужому стукнула калитка. Вошла во двор и встала в нерешительности Зина. В военной гимнастерке, хромовых сапожках, счастливая. Фотька уже вскочил ей навстречу. Зина уронила на полянку чемодан и шинель, кинулась к нему на шею, поджав ноги, целовала и плакала:

— Родненький мой...

Фотька держал ее в объятиях, закрыв глаза.

Подошла Домна. Дернула Зину за рукав:

— Эй! Гражданочка! Повидалась с боевым дружком и хватит, пора и честь знать!

— Что, что? — Зина вскинула на нее недоуменные глаза.

— А то, что мужик-то женатый, а ты вешаешься на него среди бела дня.

И тут ответила ей Зина. Фотька ни разу не видел ее такой решительной и храброй:

— Уж не твой ли? Да знаешь ли ты, сколько ночей я за него молилась, сколько раз от смерти отнимала? А?

Домна разъяренной квочкой налетела было на Зину. Но Фотька расправы не допустил. Встал между ними, невысокий, плотный:

— Ты прости меня, Домнушка. Вот это моя жена. Настоящая. Ты прости меня, Домна!

Он низко поклонился женщине.

Прошлым летом мы вместе с украинским журналистом Семеном Петровичем Неешьсало были в гостях у Фотея Феоктистовича Журавлева, заслуженного механизатора. На общем собрании ему тогда вручили еще одну награду — орден Трудовой Славы третьей степени.

Фотей волновался:

— Получается две третьих степени...

— Эта трудовая, — говорил Семен. — Эта, браток, за мозоли твои...

У Фотея шестеро детей: двое парней — в армии, еще двое — студенты, а две младшие девчонки — восьмиклассницы.

— Как это у тебя так получилось?

— А так. Они у нас с Зинаидой по двое все рождаются, — серьезно объяснил Фотей.

Домнушка живет в соседнем районе. До сих пор ругает себя за слабость: «Ему, черту рыжему, выбирать было из кого, а мне каково?» И горечь в словах Домны, и смех, и правда, и неправда — все есть.

Василий Шкаев

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Сколько Павел себя помнил, солнце по утрам всегда приносило ему радость. Будь на дворе весна или осень, лето или, как сейчас, зима, если с утра светило солнце, то в мире, полагал он, все шло своим добрым чередом. Исключения составляли, пожалуй, годы войны, над которой не властно было даже солнце. Но этот год был уже пятым после Победы, и судьба, казалось, зависела лишь от него самого, Павла, и от друзей-товарищей; можно было жить без тревог, жить да радоваться, потому что солнце, едва оно выкатывалось из-за горизонта, на весь день дарило устойчивый душевный подъем. Потом мог зарядить проливной дождь, снежный буран разыграться на всю Россию — это ничего уже не меняло. Лекции весь день Павел слушал как откровение, науки схватывал на лету, весело, и длилось это не месяц, не два — скоро останется позади пятый курс.

И только сейчас, сегодня, впервые вышла осечка. Утро выдалось погожее, ядреное, алая каемка зари показалась из-за деревьев — вот-вот вспыхнет царь-светило, а на душе у Павла затаилась смутная, непонятная тревога. В смятении, редко бередившем его душу и почти уже забытом, он пробежал на лыжах два изрядных круга по парку, повернул на новый и на опушке встретился с восшествием солнца. Оно поднималось широко, празднично, щедро одаривая землю золотистым светом.

Павел не мог бы сказать, как долго любовался он торжеством утреннего света, но, пройдя по опушке сотню метров, вновь остановился. В узком прогале меж двух домов, подступавших к парку, увидел вместо сол-

нца огненно-белый столб. Этажа на три столб этот оторвался от земли, а верхней кромкой вознесся до самых облаков, даже выше. Приглядевшись, Павел явственно различил в этом столбе полдюжины солнц, висевших за прозрачными слоистыми облаками одно над другим. Не доводилось Павлу ни видеть столь редкое оптическое чудо, ни слышать о нем. Это как же должны расположиться облака, чтобы пятикратное отражение выстроилось с такой точностью в одной плоскости!

Утреннее небо глядело на него шестеркой светил, невольно понуждая думать, какое же из них истинное.

Он загадал: если подлинным солнцем окажется нижнее, светившее, как ему казалось, ярче других, то день будет хорош и только что начавшиеся каникулы пройдут весело.

Когда облака рассеялись, стало ясно, что всамделишным солнцем было верхнее...

— Что это ты словно рак вареный? — спросил Игорь, сосед по комнате, когда Павел вернулся в общежитие. — Будто не с мороза, а из парилки.

Павел — это бывало с ним редко — не ответил.

— Что-нибудь случилось? — привстав и облокотившись о подушку, переспросил Игорь.

— Ничего не случилось, — отозвался наконец Павел. — Голова слегка закружилась, и все дело. — Он сказал неправду и от этого смешался. — И все дело, — повторил некстати.

— Не от успехов ли на женском фронте она закружилась? — сказал с усмешкой Игорь. Начитанный, остроумный, он выделялся на курсе и, случалось, бывал резок и высокомерен с ребятами. Пожалуй, к одному Павлу относился он с неизменной почтительностью. Павел принимал это как должное, знал: почтительностью Игоря, как и других студентов-юнцов, он был обязан своему участию в войне. Тем же самым он был обязан и восторженному вниманию девушек факультета, но говорить об этом Павел не любил и слова Игоря о «женском фронте» встретил не без ехидства.

— Не слишком ли часто мой юный друг обращает свой взор на этот коварный фронт? Не вернее ли испытанное поприще науки?

Это были жестокие слова. Павел знал: Игорь —

один из лучших студентов — боялся женской половины института, как огня.

— Может быть, ты и прав, — сказал Игорь. Повернувшись на спину, он скрестил на груди руки. — Прав, как всегда. — Помолчав немного, добавил: — Заходила Саша Березина, приглашала на вечер.

— Это первокурсница, что ли?

Игорь не ответил, и Павел понял, что допустил новый промах. Спрашивать не следовало. Эта странная девчонка приглянулась Игорю еще ранней осенью, с первых дней занятий. При редких случайных встречах и он, Павел, останавливал на ней взгляд. Если бы его спросили, чем она хороша, он, наверное, не сразу и ответил бы. Вроде не такая уж красавица, да и ума не палата, а вот поди ж ты...

— Ну и как, согласился? — мягко спросил он Игоря.

— А что мне оставалось? — Игорь усмехнулся.

— Ну и правильно!

— Конечно, правильно: приглашать-то она приходила тебя, а не меня.

Павел мог не знать о приходе Саши Березиной — из парка не увидишь, но коль скоро она приходила, он мог сказать доподлинно, что приходила она к нему, к Павлу, и это его радовало, радовало больше, чем он мог предположить.

— С чего ты взял? Она же этого не говорила?

— А разве обо всем надо говорить? — Голос у Игоря дрогнул. — Она вошла прямо сияющая, оглядела комнату, и глаза вмиг потухли. Пыталась улыбнуться и оттого смутилась, покраснела... Без слов все ясно.

Павел слушал и ликовал, и ему стоило большого труда не выказать этого ликования Игорю: Саша Березина действительно занимала его воображение. Что-то в ней притягивало Павла, что-то загадочное и близкое. И кого-то Саша мучительно ему напоминала.

Впервые Павел увидел ее месяца три назад на факультетском собрании, а до этого не однажды слышал о ней от Игоря. И чудо-то, мол, и свойская простая девчонка, и жар-птица. Ничего подобного от скептика Игоря слышать ему доселе не приходилось. На собрание Павел опоздал и, чтоб не привлекать к себе вни-

мания, плюхнулся на первый крайний стул, оказавшийся свободным. По соседству с ним сидела загорелая девчонка в пестрой кофточке с короткими рукавами. Она повела в его сторону глазами, серыми, в пушистых ресницах, но этого, видно, было недостаточно, чтоб как следует разглядеть его, и девушка повернула голову. Любопытно повернула: медленно, величаво и не столько даже в сторону, сколько снизу вверх. Встретившись с ним взглядом, приветливо и удивленно улыбнулась, будто давным-давно его знала, но никак не предполагала встретить здесь. И ему показался знакомым ее удивленный взгляд и этот царственный поворот головы — откуда только у них берется такое, у девчонок? Он тоже смотрел на нее во все глаза, а когда в зале загремели аплодисменты, рассмеялся. Девушке, очевидно, это пришлось не по вкусу, она решительно от него отвернулась.

— Ничего смешного декан не сказал, — тихо вымолвила она.

— Я над собой, — ответил Павел. — Уставился, как баран на новые ворота.

— Не похож. — Девушка вновь усмехнулась.

— А на кого похож?

На них зашикали, и они виновато замолчали. Декан неожиданно повел речь о золотой студенческой поре, о страсти к познанию, об одержимости в науке, без чего-де немыслимо ни одно серьезное открытие. Он говорил спокойным, чуть приглушенным голосом, но слышали его все — тишина стояла первозданная, не верилось даже, что зал был обитаем.

Тишину эту сам же декан и нарушил. Он назвал студентов, коих, по его разумению и надежде, ожидает большая наука, если, конечно, они не изменят своей натуре, своему призванию. Из дюжины студенческих фамилий Павел расслышал, пожалуй, только свою, она была названа в середине. На минуту он даже забыл о своей юной соседке, об ее удивленном взгляде и гордом повороте головы. Но, пожалуй, только на минуту, не более, хотя и в эту минуту он чувствовал ее соседство. Теперь же, после обнадеживающих слов декана, соседство это ощущалось еще острее.

— Так знаете, на кого вы похожи? — тихо сказала соседка, прикрыв рот ладошкой. — На охотника. — И

вновь Павел отметил особый, горделивый поворот ее головы.

— Да? — Он изумленно вскинул брови, хотя в душе уже согласился с ней. — А себя, позвольте спросить, вы к жар-птицам отнесли?

— Что вы! — Она смутилась. — Я и в синицы-то не гожусь...

Пожалуй, впервые пожалел Павел о том, что так быстро окончилось собрание. Разве это дело, на глазах у всего факультета семенить вслед за первокурсницей, неумело стараться поддержать разговор? Да не тут-то было: подружки подхватили ее под руки и с улыбками, со смешками увели на улицу. Что поделаешь, пришлось и самому улыбаться. Так и не поговорили: все вроде бы сказано было, а в сущности, не сказано ничего.

Недели через две они оказались в одной бригаде на молодежном субботнике. Сажали деревья в сквере возле общежития: березки, яблони, вишни. Белобрысый юнец-первокурсник в армейской гимнастерке с чужого плеча, оглядевшись, изрек тоскливым голосом:

— Если и примутся наши саженцы, даже если зацветут по весне, все равно порешат их на таком бойком месте. А в первую голову, конечно, вишни да яблони. — Он остановил растерянный взгляд на Саше Березиной, орудовавшей лопатой, надеясь, очевидно, на ее сочувствие и поддержку, но Саша не ответила, даже бровью не повела. Как копала размеренно, сосредоточенно, вроде бы и не быстро, но ладно, сноровисто, так и продолжала копать.

Павел любовался Сашей, ее ловкими руками. Не бог весть какое дело — выкопать ямку под саженец-двухлетку, но Саша делала это вдумчиво, серьезно, и Павлу такая работа была по душе.

«Правильно делаешь, что не отвечаешь, — мысленно похвалил он Сашу. — Парню не рассуждать надо, а работать, вкалывать за двоих».

Саша выпрямилась, смахнула тыльной стороной ладони капельки пота со лба и, глянув на первокурсника, сказала весело:

— Порушат — опять посадим.

— А если снова сломают? — не унимался парень.

— Снова посадим!

Парень под взглядом Саши смутился, неловко пришлось и Павлу. Первокурснику и глупые слова простительны, а Павлу, фронтовику и бригадиру, не оправдаться даже за молчание. Разве Саше, а не ему, Павлу, надобно было развеять сомнения у студента-новичка? И Павел тут же отчитал парня за неверие в свои силы, тот поспешно согласился и, не мешкая, взялся за дело. Все вроде бы получилось как следует, а покой душевный у Павла нарушился. И не белобрысый первокурсник был тому виной, а пристальный, долгий взгляд Саши.

Павел мог бы ждать от Саши упрека и осуждения, они были законными, справедливыми: копала-то она, а он всего-навсего руководил да первокурсника отчитывал, но она молчала, и в ее взгляде сейчас Павел ничего, кроме любопытства, не прочел. В прошлый раз, на собрании, она была ближе и понятнее.

Не придумав ничего лучшего, он решил обойти сквер, посмотреть на свою бригаду. Нужды особой в этом не было — все работали на совесть, но он все-таки пошел: не стоять же молчком возле этой не по годам мудрой девицы. Минут через двадцать, вернувшись, он снова встретил пытливые глаза Саши, на этот раз он различил в них усмешку. Не выдержав, спросил, оглядывая себя:

— В чем дело? Что-нибудь не в порядке?

Саша отставила лопату, оперлась на нее.

— Нет, все в порядке. — Она усмехнулась. — Точь-в-точь как у нас в колхозе: вся немощь в поле с утра до ночи, а здоровые мужики на складе да в правлении.

От неожиданности Павел не знал, что ответить, но от Саши же пришла и помощь: с виноватой улыбкой она протянула ему лопату. Павел обеими руками ухватился за черенок, довольный, даже обрадованный, и с минуту стоял, не веря еще, что он помилован и оправдан. Поплевал на ладони и весело, азартно взялся за дело. Лопата играла в его руках, ямка, начатая Сашей, вскоре была докопана.

— Глубже даже, чем надо, — тихо сказала Саша.

— Опять недовольна?

— Теперь довольна. — Саша смущенно улыбнулась. — Видно, что не разучился...

— Только и всего?

— Разве мало? — Она вскинула брови. — Вот уж не думала, что серьезные ребята, да еще вдобавок фронтовики, питают слабость к комплиментам.

Павел видел ее второй раз, и второй раз она ставила его в тупик: в глаза говорила едкие слова, а он даже обидеться не мог. И хотел бы и надо бы обидеться, но не мог. Во-первых, она говорила правду. Во-вторых, говорила так душевно, с такой улыбкой... Ладно, пусть что угодно говорит, только пусть говорит.

— А что, фронтовики разве не люди? — спросил он.

Теперь в замешательстве оказалась Саша. Ей ничего не стоило ответить ему, если бы он не упомянул фронтовиков. Слишком многое в ее короткой жизни было связано с войной, с фронтом. На фронт в один день ушли отец и дед, два дяди, и никто не вернулся. Дед и дядя Коля, весельчак и плясун, одаривавший ее пряниками и конфетами, были убиты под Воронежем в танковом бою — пришли похоронки, а об отце известий не было. Он мог еще вернуться, как возвращались отцы ее подруг и товарищей, — мало ли пропало на войне без вести. Они с матерью до сих пор ждут его.

С девушкой творилось что-то неладное: подрагивали губы, глаза наполнились слезами, а Павел стоял, смотрел на нее и никак не мог взять в толк, что же произошло. Он шагнул к Саше и, нерешительно потоптавшись, спросил тихо:

— Я обидел вас?

— Нет, нет! — Саша покачала головой, и слезинки, сорвавшись с ресниц, покатились по щекам. — Просто у меня глаза на мокром месте. Мне еще отец говорил... До войны.

— Значит, не я...

— Нет, нет, что вы! — перебила она. — Это я вас могла обидеть. Хотела сказать одно, а с языка сорвалось другое. — Голос у Саши был печальный и взгляд растерянный, но она тут же справилась с волнением, мягко отобрала у Павла лопату и принялась за новую ямку.

Самое бы время встать с ней рядом — копай и веди беседу, разговаривай, сколько душе угодно, да лишней лопаты не оказалось: ребята расхватали...

Последняя встреча с Сашей была недавно, на новогоднем балу. Платья и костюмы на студентах изяществом не отличались — в первые годы после войны было не до изящества,— и все-таки Саша, сама, может быть того не желая, выделялась среди факультетских девчонок: очень уж ладно сидела на ней бежевая шерстяная кофточка крупной ручной вязки. Не иначе как мама или бабушка постарались.

Увидев Павла, Саша обрадованно улыбнулась, вскинув слегка руку, помахала ему. Не меньше ее обрадовался и Павел. Он, как заметил Сашу, так и не сводил с нее глаз. Когда заиграл оркестр и Павел пригласил ее на вальс, она, опуская ему на плечо руку, сказала укоризненно:

— Вы, наверное, хотите, чтобы я ушла с вечера.

— Что вы, наоборот!

— Зачем же вы тогда в краску меня вводите?

Тут бы ему и вернуться к разговору об охотнике и жар-птице — минута была подходящая, но Саша возьми да и добавь жалостливо:

— Я же первый раз на студенческом балу...

Павлу так по душе пришлась ее откровенность, и так она была мила в своем смущении, что он невольно привлек ее к себе. Саша вроде бы и сама подалась к нему, а потом вдруг, словно спохватившись, боязливо отшатнулась.

— Вы очень хорошо танцуете, — сказала Саша, когда Павел подвел ее к окну.

— В таком случае не откажите... — вымолвил он робко, когда окрестр заиграл танго. Павел склонил голову в ожидании.

— Возьму вот и не откажу, — ответила она смиренно.

Он смотрел в ее сияющие глаза, в них жил и радостный испуг и счастье, и протянул к ней руки.

Павлу доводилось танцевать и прежде, в последние годы даже часто, но он не помнил случая, когда было бы так легко и так тревожно-трепетно на душе.

Нет, пожалуй, случай был. Без оркестра, без музыки, без танцев, зато... Не время сейчас вспоминать, а случай, конечно... На всю жизнь.

— Это так странно, вы даже представить не можете, — тихо сказала Саша. Павел слегка подался на-

зад, чтобы лучше видеть ее лицо. — Это так неожиданно, необычно... Как открытие. И в то же время настолько знакомо все, близко, будто я знаю вас едва ли не с рождения. Разве не странно?

— Пожалуй, — ответил он, ошеломленный не меньше Саши: она точно определила и его ощущения.

— Вы можете это объяснить?

— А вы?

— Это не ответ. — Она безотрывно смотрела ему в глаза.

Павел знал, что это не ответ. Беда была в другом: он не знал ответа.

— Может быть, во сне друг друга видели? — робко предположил он.

Саша сбилась с ритма.

— Возможно, и во сне, — поспешно согласилась она. — Может быть, даже давно. Наверное, давно, иначе я помнила бы. Но что все это может означать?

— Вдруг это судьба? — сказал Павел полушутливо-полусерьезно, хотя ему было совсем не до шуток.

— А вдруг? — Саша не приняла, не захотела принять его легкого тона. — Вдруг это в самом деле судьба, а мы ее и шутками и насмешками...

Павел сбился с такта.

— Ну вот, вдобавок и танец себе испортили... — вымолвила Саша.

— Танец — не судьба, — возразил Павел. — Новый заказать можно.

— Не надо так, — попросила она. — Танец и судьбой может оказаться. Я суеверная...

Едва она успела выговорить это слово, как музыка оборвалась.

— Вот тебе — пожалуйста, — испуганно прошептала Саша.

— Да я сейчас закажу, если хотите. Ребята знакомые в оркестре. — Он сделал рывок к сцене, но Саша остановила его.

— Боже упаси! — воскликнула она. — Это будет насилие... И над танцем... и над судьбой.

— Да они без насилия сыграют! Хорошие ребята.

— Нет, нет! — Саша стояла на своем, и Павлу пришлось уступить.

Они танцевали весь вечер, но как только оркестр

начинал танго, Саша отходила к окну, они усаживались на подоконник и пережидали, посматривая на танцующих. Поначалу это забавляло Павла, а потом и сам он как-то странно подчинился настроению Саши.

Поздно ночью он проводил ее до общежития и грустно, неохотно распрощался. Сашу он не решился даже обнять. Не посмел.

Воспоминания так захватили Павла, что он совсем забыл о своем соседе Игоре. А Игорь из деликатности не напоминал о себе, понимая: не до него Павлу. Никогда еще не доводилось Игорю видеть своего друга таким отрешенным. Не иначе, как что-то произошло с ним. И не пустяковое, не безделица — по пустякам тот бы и бровью не повел. Такое видел в жизни, прошел через атаки, бои — и ни одной царапины, ведь уму непостижимо. Судьба! Он и сам про себя говорит, что под счастливой звездой родился.

А институтские дела разве не счастливая судьба? И сам Павел не назовет свои познания глубокими, а пятерки на экзаменах будто его только и дожидаются. Все четыре года. Декан прочит научную карьеру. Да и девчата... Правда его, Игоря, это мало трогало. Но вот когда Саша Березина...

— А что за вечер? — неожиданно спросил Павел.— В чью честь праздник?

— Каникулы, — сказал Игорь. Он понял, что все время Павел думал о Саше. Это и пугало его и в известной мере успокаивало. Лучше, конечно, если бы вообще о ней Павел не думал, если бы их пути шли параллельно, не пересекаясь, а уж если думал, то думал, как, наверное, сейчас, — всерьез. — У Саши,— сказал Игорь, — для праздника особый повод: она узнала, что сегодня Татьянин день, а у нее мать — Татьяна.

Павел внезапно повернулся, смотрел на Игоря и не верил, не хотел верить своим ушам. Он мог ожидать чего угодно, только не этого.

— Что ты сказал? — переспросил он, хотя слышал — и хорошо слышал — каждое слово Игоря.

— Я сказал, что ее маму зовут Татьяной, а сегодня Татьянин день.

— Ах да, — сказал, спохватившись, Павел, — я и забыл.

Он забыл про Татьянин день, но не забыл он и не забудет никогда Татьяну. Да, да, Татьяну Березину, сказочную женщину, сероглазую певунью. Только кто же мог подумать...

Это было семь лет назад, семь с половиной. Стрелковый их батальон, изрядно потрепанный и измотанный, получил наконец разрешение на отдых. На смену пришел свежий полк, и все вроде бы сулило удачу. Отделение, которым командовал сержант Павел Волков, снялось с боевой позиции и по пути в городок, куда они следовали на переформирование, остановились на ночлег в небольшой деревушке.

Пока Павел был на совещании у командира взвода, хлопцы его облюбовали под ночлег добротный пятистенный дом под зеленой железной крышей и успели подружиться с молодой хозяйкой. На совещании командир взвода сказал, что не исключена возможность вместо долгожданного отдыха вновь угодить на передовую, и не далее как завтра. По этой причине взводный приказал быть наготове. Неопределенность всегда тяготила Павла, и от взводного он вернулся хмурым.

Сели ужинать, и в эту минуту вошла в горницу разрумянившаяся хозяйка, приветливая, статная, поставила на стол чугунок молодой, только что сваренной картошки.

— Это наш командир, Татьяна Ниловна, — наперебой заговорили ребята. — Сержант Волков.

— Хозяйка наша Татьяна Ниловна. Девчонка совсем, а уже хозяйка, дочку успела завести.

Татьяна Ниловна слегка смутилась, но это не помешало ей пристально взглянуть на Павла. Во взгляде ее он почувствовал доброе любопытство.

— Важный у вас командир, — сказала она, улыбнувшись. — Важный да сердитый, хоть и молодой еще совсем. Не иначе, как вести недобрые принес.

— А вы откуда знаете? — Павел хотел придать голосу строгость, но подвели голосовые связки: вместо солидного баса прозвучал смешной фальцет, но хозяйка не засмеялась, больше того — погасила во взгляде

прежнюю улыбку, и Павел по достоинству оценил ее деликатность.

— По глазам видно, товарищ командир, — ответила она спокойно. — По глазам да по уголкам губ. Поглядитесь в зеркало, увидите сами.

В зеркало Павел смотреться не стал, а повеселеть от ее слов — немножко повеселел.

— Извелись вы, ребятки, — продолжала хозяйка, — лица на вас нет. Что у командира вашего, что у вас. Отдохнуть недельки полторы-две — силы-то, глядишь, удвоились бы.

— Вроде бы и собрались отдыхать... — ответил ей русокудрый балагур Кирюхин. Слова его прозвучали вяло, без обычной шутки, и это было так не похоже на удалого бойца-рязанца, что Павел невольно согласился с хозяйкой. «И вправду извелись...»

Татьяна Ниловна повернула к Павлу голову, повернула совсем вроде бы просто, обыкновенно, может быть, чуть-чуть замедленно, но Павел увидел в этом горделивом повороте и редкое женское обаяние и прирожденное изящество.

Павел улыбнулся, почувствовав, как мягко отпустили нервы. Он пододвинул на середину стола свою оловянную кружку, вызвав у хлопцев довольные улыбки. Когда ему налили, он попросил и для хозяйки. Татьяна Ниловна махнула рукой — где, мол, наша не пропадала, — и собралась выйти на кухню за рюмкой, но ее удержали. Кирюхин достал запасную кружку, плеснул в нее водки и сказал, что с солдатами надо выпить по-солдатски.

Хозяйка упрашивать себя не заставила и, улыбнувшись Павлу, выпила вместе со всеми. Где-то далеко слышалась канонада, по деревенской улице бегали посыльные, а в избе за столом налаживался разговор — как-то незаметно Татьяна Ниловна взяла его в свои руки. Все жили войной, недавними боями, жестокими и изнурительными, а она заговорила о мирном времени, о праздниках, и так это пришлось всем по душе, что Кирюхин не выдержал, запел немудреную песню о том, как при зеленом при лужке конь гулял на воле. Голос у Кирюхина был сочный, душевный, песню подхватили, и она поплыла по горнице, ладная, звонкая, а достигнув окон, легко выпорхнула на улицу.

Хозяйке по душе были и бойцы-пехотинцы, и молодой командир их, смертельно уставший, и звучная многоголосая песня, не обитавшая в доме с того самого проклятого дня, как грянула война. Татьяна Ниловна встала, приподняла слегка кисть руки — сейчас, мол, приду, — на минуту вышла и вернулась с запыленной бутылью самогона. Следом за ней вошла девочка лет десяти-одиннадцати и положила на стол твердо просоленный кусок сала. Ребята подвинулись, освобождая девочке место, но она тотчас вышла, успев лишь пожелать доброго аппетита.

— Дочка? — спросил Павел хозяйку.

— До-очка, — ответила она с нежностью.

— Сколько ж тогда вам-то лет?

— А это уж сколько дадите. — Она застенчиво и в то же время задорно улыбнулась.

— Лет двадцать, не больше, — сказал Павел. — Ей-богу, не больше.

— Вам и то больше, а мне и подавно.

Павел изумленно пожал плечами: Татьяна Ниловна и в самом деле походила скорее на девушку, чем на мать школьницы.

Воспрянувший духом Кирюхин разлил по кружкам самогон и, рискуя навлечь на себя гнев командира за самоуправство, попросил Татьяну Ниловну сказать что-нибудь фронтовым друзьям-однополчанам, которых война свела и в любой час может развести. И Павел горячо поддержал эту просьбу.

— Кому же, как не вам? — сказал он.

Татьяна Ниловна опустила глаза, и лицо ее сразу посуровело. Неподдельно детской была эта суровость, и у Павла дрогнули веки. Глядя в оловянную кружку, из которой домовито потягивало самогоном, Татьяна Ниловна пожелала всем дожить до Победы. А чтоб дожить до нее, надо воевать мудро, брать умом да хитростью — в войне, как и в любом деле, смекалка нужна и сноровка.

— Это я вам не свои слова говорю. — Она отвела взгляд от кружки и неожиданно умолкла, будто решая, говорить, чьи это слова или не говорить. — Седой генерал напутствовал так своих солдат, а я ненароком подслушала. А от себя добавлю: руки ваши и головы после Победы будут нужны не меньше, чем

теперь. Хорошо, если б вы помнили это. Пожалуйста, а?

— Молодец, хозяйка! — воскликнул Павел. — Ладно сказала, лучше не скажешь.

Татьяна Ниловна окинула его теплым взглядом, попыталась улыбнуться, но не смогла, глаза медленно наполнились слезами.

— Что с вами? — Павел испугался.

— Ничего, ничего, пройдет... — Она отвернулась, закрыла лицо ладонями, но, не выдержав, расплакалась и выбежала из горницы.

Кто-то из бойцов высказал предположение, что у хозяйки, наверное, горе. «Вполне может быть, — подумал Павел. — Никто из нас и не спросил про семью, не поинтересовался. Пустили в дом, и ладно, рады-радешеньки». По военной привычке приняв решение, тут же поднялся из-за стола и вышел следом за хозяйкой.

Нашел ее Павел в чулане. Рядом, обняв мать, сидела дочка и, тоже заливаясь слезами, убеждала, что, если нет писем с фронта, это ничего еще не значит: отец мог попасть в окружение, мог уйти в партизаны, откуда письма не доставляются. Татьяна Ниловна понемногу успокаивалась, а когда увидела Павла, улыбнулась грустно и стала извиняться за свою оплошность за столом.

— Оплошность была не у вас, у меня, — вымолвил виновато Павел. — И не оплошность, пожалуй, а дурь несусветная... Словом, не вы, а я прощения должен просить... И прошу вот, от души прошу. Не обижайтесь, пожалуйста.

— Что вы, что вы! — Татьяна Ниловна встала. — Война на всех горя припасла. И нам с Шурочкой досталось: папки нет с нами...

— Не надо, ма-ам, — перебила девочка.

— Да я ничего, Шурок, уговорила ты меня, успокоила. Можно и за стол вернуться, а то загрустили, поди, хлопчики...

— Конечно, загрустили, — подтвердил Павел.

— Ну вот... Пойдем-ка и ты, дочка.

— А песни играть будешь?

— Буду, доченька, буду, пойдем.

Они вернулись в горницу втроем. Ребята засветились улыбками, зашумели.

С возвращением хозяйки всеми надолго завладела песня. Пели и хором, пела и одна Татьяна Ниловна. Это были песни о любви и верности, о счастливой доле, о вечном солдатском долге.

Павел смотрел на Татьяну Ниловну и, не скрывая, любовался ею. Его приводили в восторг задушевность тихого голоса, мягкая улыбка, влажные от волнения серые глаза. Он сейчас завидовал, всем сердцем завидовал ее мужу, и в этом своем грехе был не одинок.

— Бог ты мой, как за песней время-то летит! — Она всплеснула руками и поспешно поднялась. — Вам же отдохнуть надо! Чайку попить, да спать, спать...

От чая хлопцы отказались — сон был дороже. Они улеглись бы и раньше, да песня, женская песня удерживала: не часто бойцам улыбалось такое счастье.

Татьяна Ниловна быстро постелила на полу в двух больших комнатах, и, разувшись, сняв ремни, солдаты тут же повалились. Павел вышел на крыльцо покурить.

Закат еще золотил небо, а солнце уже село, похоже, в тишину. Добрый знак. Постоять бы ей, тишине, недельку-другую — вот была бы награда солдатам. Ни облачка на небе, ни выстрела. Тишина. Не песня ли женская успокоила все окрест?

На крыльцо, уложив дочку, вышла Татьяна Ниловна. Павел пригласил ее сесть рядом, на лавочку, она осталась стоять. В саду за сараем дважды отрывисто свистнула птица. По фронтовой привычке Павел насторожился; Татьяна Ниловна, заметив это, улыбнулась и присела на ступеньку. Свист повторился, и Павел ощутил на себе мягкий, любопытный взгляд хозяйки. Он тоже улыбнулся, но слух свой не ослабил.

— Что за птица? — спросил.

— Птичка-синичка, — ответила Татьяна Ниловна детской скороговоркой, так как если бы это говорила не она, а ее дочка Шурочка.

А птичка-синичка набирала силу. Опробовав голос на высоких отрывистых звуках, она взяла пониже и пораздольнее. Получилось недурно, она и сама будто довольна осталась: поспешила повторить все сначала. Потихоньку, исподволь сложилась хоть и простенькая, незамысловатая, но вполне приличная мелодия: два высоких отрывистых звука и два низких медленных.

«О-чень жа-аль, о-чень жа-аль», — твердила птичка, и Павел вполне был с ней согласен. Очень жаль, что война, очень жаль, если завтра оборвется отдых и батальон последует на передовую, очень жаль, что... Откуда только маленькая птичка-синичка знает все это?

— Когда б не муж-фронтовик, который, как и мы, наверное, каждый день встречается со смертью, ох и поухаживали бы мы за тобой, Татьяна Ниловна...

— Кто это «мы»? — спросила она дрогнувшим голосом. Павлу не понравился ее голос, в нем слышалось что-то недоброе, а отвечать надо, раз спросили.

— Ну хотя бы я, покорный ваш слуга... Да разве я только? Кому не по душе голос ваш? Это ж соловей настоящий. Лучше соловья! Где соловей чувства возьмет столько — добра, боли? Не хватит ему чувства, без понятия он. Ну, а глаза, руки... Эх, да что говорить! — Он махнул рукой. — Если б не муж...

— Не надо! — взмолилась Татьяна Ниловна. — Ради бога, не надо! — В голосе ее было столько боли и отчаяния, что Павел оторопел. Что же такое он сказал ей? У него ж и в мыслях не было обидеть ее! Татьяну Ниловну душили слезы, а он не знал, чем ей помочь...

— Что-то не так получилось. — У Павла у самого запершило в горле. — А что, не знаю, хоть режьте.

Взгляды их на мгновение встретились — горькие, участливые взгляды, и ни ему, ни ей радости не принесли. Татьяна Ниловна старалась приглушить рыдания, это ей плохо удавалось.

— Что-о, что я сказал?! — В отчаянии Павел схватил ее за плечи и повернул к себе. — Вы можете хоть слово вымолвить?

Она с трудом подняла полные слез глаза, подчиняясь его властному голосу.

— Чем я обидел вас?

Татьяна Ниловна опустила голову, сказала едва слышно:

— Нет у меня мужа... Погиб. — Все еще всхлипывая, она вынула из-за пазухи похоронку. — С собой ношу, боюсь дочке на глаза попадется.

Павел прочитал потертое извещение, повертел его в руках.

— Выходит, он и трех месяцев не повоевал?.. Одна осталась с девчонкой на руках... И фронт рядом. Вот что, — сразу принял он решение, — забирай дочку и завтра же отправляйся к моим родичам, на Урал. Там вас ни бомба, ни снаряд не достанут. Женой моей поезжай... Хотя говорить об этом, понимаю, не время, но ведь и времени-то у нас нет. Очень прошу тебя, Таня... Слышишь?

— Слышу, командир, слышу, — тотчас отозвалась Татьяна Ниловна. — Ты который раз женишься за эти лихие годы? Сколько ночлегов, столько и жен?

Слова ее обидели Павла. Нет, не такой он человек, да и не до сватовства было все эти годы... Женщин ни он, ни его товарищи, можно сказать, в глаза не видели: на передовой женщин не встретишь...

Павел сказал ей правду, Татьяна Ниловна это видела, и сердце отозвалось благодарностью. И хотя понимала, что в судьбе своей ей уже ничего не изменить, теплота мягкой волной заполнила грудь, она вдруг отметила, что смотрит на Павла другими глазами. И лицо, исхудавшее, обветренное, и большие истрескавшиеся ладони, пропахшие жженой травой и порохом, и усталый хрипловатый голос — все ей стало ближе, роднее. Отчего бы это? Она и знала-то сержанта всего-навсего часа три, не более — и вот, поди ж ты — как оно бывает в жизни...

«О-чень жа-аль, о-чень жа-аль», — прощебетала птичка на этот раз совсем рядом, у самого крыльца, но ни Павел, ни Татьяна Ниловна будто и не слышали ее.

— Думаешь, для красного словца, для соблазна сватаю тебя? А?

— А что, скажешь, не так? — Татьяна Ниловна зарделась. Ей было бы легче, сподручнее, когда б он в этот разговор хоть слегка подбавил шутку, а он всерьез режет... Точь-в-точь как ее Михаил. — А что, разве не так считаешь: война, мол, все спишет?

— Да я, если хочешь знать, из-за дочки твоей решился, — обиженно выпалил Павел. — Ей-то, думаю, что страдать здесь? Она-то чем провинилась?

В другой час Татьяна Ниловна расцеловала бы его за эти слова, теперь же, в эту вот минуту, она ждала от него слов не о дочке.

— Из-за нее-то и не тронешься никуда. Что ей скажешь? Что-о? Она отца ждет.

Павел знал, как пахать землю, как выращивать и убирать хлеб, научился за два года отбивать вражеские, даже танковые атаки, но не ведал он, как и что сказать дочке Татьяны Ниловны, чтоб, не оскорбив дочерних чувств к отцу, убедить ее поехать с матерью на Урал. У него, конечно, и с Татьяной Ниловной разговор клеился не шибко — это уж куда ни шло, они взрослые, скорее поймут друг друга, а вот девчонка...

— Гадай не гадай, командир, — тихо сказала Татьяна Ниловна, — а никуда мы отсюда не поедем. Здесь родились, здесь в случае чего...

— Что это ты?! — Павел запоздало испугался. — Я хоть и небольшой командир, многого не знаю, но немцу, полагаю, дальше не идти.

— Правда? — Татьяна Ниловна обрадованно оживилась. — И я так думаю, хоть и не военный человек. На днях один наш солдатик вел в штаб двух пленных немцев. Посмотрела я на них, на хлопца нашего глянула, и многое стало ясно... Хотя война — она и есть война, всякое может быть. Заговорились мы, однако, поздно уж, отдохнуть тебе надо. Выпей молочка, да и отдыхай. Правда,— она спохватилась хлопотливо,— хочешь принесу? — Не дожидаясь ответа, она бойко встала, толкнула дверь и скрылась в сенях.

Оставшись один, Павел почувствовал вдруг страшную усталость. На улице темнело, из сада доносился запах огурцов и укропа. Давненько не слышал Павел такой свежести, густой, пахучей, но верх взяла усталость, он и не заметил, как задремал, а когда открыл глаза, увидел перед собой Татьяну Ниловну. Протягивая ему кружку молока, она улыбалась.

— Выпьешь и спать. Заболтались мы, это я виновата.

Молоко было густое, сладкое. Павел, пожалуй, с мирных дней такого не пивал. Он пил не спеша, с наслаждением покрякивал, глядя в небо.

Чуть левее луны плыло темное облако с серебристой каймой. Там, в поднебесье, должно быть, поигрывал ветер — облако стремительно меняло очертания: то бык с грозными рогами и увесистой холкой, то грива-

стый конь, задравший вверх голову. Вороной конь-рысак на глазах у Павла тяжелел, голова и грива вытягивались, пока не образовался длинный хобот.

— Посмотри-ка, — Павел показал на облако.

— Ой, слон! — вскрикнула Татьяна Ниловна. — Точь-в-точь как слон. Это же к счастью!

— Да? — растерянно спросил Павел, отставляя кружку. — К какому же это счастью? Он же звезду сейчас Полярную закроет...

— Ну и что же?

— Как это «что же»? Она правильный путь показывает.

— Да? — Теперь растерянность слышалась в голосе Татьяны Ниловны. — И нам с тобой показывает? — Она слегка прислонилась к его плечу, и Павел услышал гулкий стук своего сердца. А может, так близко стучало ее сердце?

Облако-слон спокойно миновало Полярную звезду и через минуту-другую разрушилось, рассыпалось на мелкие клочки-дымочки, будто в него выстрелили из батарей зениток.

— Что ж это такое? — Она испуганно повернула к Павлу голову, и он, увидев ее запрокинутое, освещенное луной, бледное, прекрасное лицо, протянул руки и почувствовал ладонями вздрагивающие, как в ознобе, нежные плечи...

— Я тебя найду, — сказал Павел утром, прощаясь.

Он в это верил.

Павел не знал тогда, что в жизни человеческой ничто не повторяется.

Были после этой дивной сказки два года войны: бои с каждым броском на запад ужесточались, гибли лучшие друзья-товарищи...

В конце пути был поверженный Берлин и был необыкновенный взлет духовных сил: он все может, все ему по плечу. Он легко сдал экзамены за школу, легко учился в университете...

И только Саша... До чего ж схожи их жесты! Этот медлительный поворот головы. Бледное, прекрасное лицо... Он на миг представил свадебный стол, Сашу, Татьяну...

Нет, это было невозможно.

— Послушай, Игорь, — сказал Павел, и в голосе

его, как никогда раньше, прозвучала командирская твердость. — Хорошо, что ты пойдешь на вечер. Иди. А я не могу. Саша, как ты знаешь, девушка необыкновенная. Но меня ждет невеста... Еще с фронта. Пойду-ка я еще кружочка два... — И он шагнул к двери.

Елена Серебровская

КРАСИВЫЕ ОСТРОВА

Пароход неторопливо подплывал к зеленому острову. Внизу, у берега клубились серые ивушки, словно мотки серебристой пряжи, свесив ветки-нити к самой воде. Подальше, на берегу красовались три елочки с такими чистыми иголочками, что куда там изумрудам! Они стояли на пригорке, заросшем высокой некошеной травой. Пригорок был весь в ромашках, отчаянно белых, легких — под ветром они гурьбою пугливо качались то вправо, то влево. Пригорок венчала низенькая рощица, наверное, орешник, темно-зеленая, уходящая куда-то далеко, почти в небо. Солнце пронизывало все эти листья, травы и цветы, они сами светились, напитавшись его лучами. Душа отдыхала, глядя на этот островок.

На пароходе играла музыка. Какая-то песенка о парне и его милой девушке. Мария Ивановна стояла на палубе, стараясь не слушать — слова песни ее раздражали. «Не то, чтобы прекрасные, а в общем — подходящие...» В общем, подходящие — вот как мы рассуждаем! Лишь бы какого-нибудь парня к себе поближе... И все дела.

Мария Ивановна ничем не выделялась из толпы туристов, купивших билеты на двухдневный рейс к Красивым островам. Хорошо уложенная шестимесячная завивка, темно-синий костюм кримпленовый, простое лицо, какие встречаешь десятками. Женщина накануне выхода на пенсию — у нас ведь рано выходят,— еще не думающая оставлять работу. Спокойная русская женщина, серые, обыкновенные глаза, полные добрые губы...

Спокойной она вовсе не была, просто умела держаться. Довольно внимательно поглядывала на пассажиров. Вот молодая пара. Все время вместе, никто им не нужен. Пожилой ухоженный мужчина с сигаретой в зубах, две

счастливые пенсионерки на отдыхе, довольные, сияющие. Три молодые женщины, модно одетые. Хохочут, переговариваются. Одна вызывающе заявляет подругам: «Может, я без мужчины не могу...»— «Ну и заведи себе мужчину!» — смеется другая. Словно советует: заведи себе телевизор или собаку.

Мария Ивановна отошла подальше, на самый нос корабля. Она умела отключаться от того, что раздражает. Какие-то свои мысли пересиливали все эти впечатления, уводили совсем в другую сторону.

Музыка стихла. Такой тут был закон, на пароходе: когда приближались к Красивому острову, музыку отключали, чтобы люди наслаждались тишиной. А вот когда пароход швартовался, то включали «Маяк», тоже музыку большей частью, чтобы туристы, гуляя по острову, слышали, куда возвращаться.

Она не в первый раз пускалась в путешествие. Это коротенькое, а бывали и дальние поездки. Натура бродяги? Нет, не в том дело. Так уж сложилась жизнь, что поездить пришлось немало. Не по работе, совсем по другой причине. Но что об этом вспоминать, только мучиться понапрасну!

Пароход обогнул Красивый остров и снова вышел на просторы озера, широкого, как море. Заиграла музыка. Потом позвали обедать первую смену. После обеда подошли еще к одному Красивому острову. А здорово кто-то придумал этот маршрут к Красивым островам! Билеты на пароход всегда распроданы на две недели вперед. Кто хоть раз побывал, хочет снова поехать.

Этот островок был иным. На нем росло несколько высоких кудрявых дубов, а под ними почему-то было пусто, никаких кустарников. Зато в сторонке — сочные купы высокой ольхи, среди них торчали голубые луковки старой церквухи. Без креста — видно, ее давно уже использовали под мастерскую или склад. А луковки очень симпатичные, словно большие игрушки. Дальше, среди деревьев — домики. Одноэтажные, старой постройки, но чистенькие, крашеные, дерево и кирпич, тоже приятные на вид. Поселок какой-то.

У этого острова пароход пришвартовался. Объявили по радио — три часа на прогулку. Желающие могут присоединиться к экскурсоводу, он расскажет о прошлом этого озерного края.

Мария Ивановна не пошла с группой. Она любила ходить одна. Интересно, как люди тут живут, на этом островке? Телефон через озеро не протянешь. Снабжают их тоже по воде, на пароходах. Поселок не велик. Но, наверное, давний, если церковка стоит.

Она вышла к строениям и неторопливо двинулась вдоль улицы. Жилые домики. Булочная. Продуктовый магазинчик, клуб, промтоварная лавчонка, школа. А вот двухэтажное каменное здание — интернат. Что за интернат на таком островке?

Она обратилась к старушке, сидевшей на лавочке возле дома с резными наличниками на окнах. Та объяснила: интернат инвалидов войны.

Сердце Марии Ивановны забилось учащенно. Она вспомнила поездки свои в Пермь, в Новосибирск. Больницы, госпитали и интернаты тоже. А сюда попала впервые. А может, именно сюда-то и надо было прежде всего?

Мария Ивановна обошла вокруг здания. Заглянула разок-другой в окна. Но увидела только пустой медицинский кабинет, чистую кухню с огромной плитой да стеллажи библиотеки. Видно, окна палат все выходят во двор. А впрочем, летний солнечный день, народ на воздухе.

К дому примыкал небольшой парк. Через ограду свешивались ветки бузины с кистями ягод. Кустарник закрывал парк от нескромных глаз. За кустами было светло, деревья росли где-то в глубине парка. Голосов слышно не было.

Она должна зайти сюда! Как это раньше она не узнала, что есть такой интернат на Красивых островах! Зайти спросить...

Мария Ивановна позвонила в дверь с вывеской. Открыла старая строгая женщина в синем халате.

— Извините, пожалуйста,— начала Мария Ивановна, смутившись от взгляда этих строгих глаз.— Здесь, я слышала, инвалиды войны живут? Я хотела бы справку навести.

— Мы справок не даем,— сурово ответила женщина в синем халате.

— Но мне ничего такого. Мне просто узнать...

— Я объяснила вам, что справок мы не даем. Извините, пожалуйста.— Женщина, хоть и говорила вежливо,

но всем видом показывала Марии Ивановне, что отсюда следует уйти.

— Вы не можете вызвать дежурного? Или главного врача? Вот мои документы, я не с улицы... Технолог текстильной фабрики...

— Гражданка, я же объяснила вам — справок мы не даем. А главный врач в отъезде, в Ленинграде.

— Боже мой, до чего люди формалистами стали, черствые какие!— сорвалась Мария Ивановна. И сразу кольнуло в сердце. Она раскрыла сумочку, достала из короткой стеклянной трубочки таблетку.— Воды-то хоть можно у вас попросить или тоже не положено?

Женщина в синем халате не рассердилась на резкие слова. Напротив, сразу подошла к столику, где стоял графин, налила воды и подала Марии Ивановне. Та запила таблетку.

— Вы с парохода, наверное? Усталый вид у вас. Присядьте хоть на минутку.

Мария Ивановна села без церемоний. И, не дожидаясь вопроса, заговорила:

— Вы не беспокойтесь, мне же ничего особенного не надо. Мужа я ищу. Похоронки так и не было. Он не писал долго, я запрашивать стала. Пришло извещение о тяжелом ранении и номер госпиталя. Я — туда писать, а его перевели в другой госпиталь. Война уже кончилась к тому времени. Я пишу, а ответа нет. Он уехал — я в положении была, у меня дочь растет от него. Нет и нет ответа. Поехала в Новосибирск, там дали пермский адрес. Я туда, а его снова куда-то перевели. Концов не найти. А потом мне санитарка одна проговорилась, что изуродовало его сильно, обеих рук нет и ноги. И что он сам захотел в интернат, попросился, чтобы домашних не утруждать. Да разве бы он утруждал меня! Да я бы видела его живого, говорила бы с ним, совет бы дельный он дать мог... Я искала, да когда же искать-то? Ведь и работать надо, и отпуск кончается. Потом я и у нас в Ленинграде узнавала — ничего.

Женщина в синем халате слушала ее с пониманием, как будто привыкла к таким рассказам.

— Вот и к вам я за этим. Мне бы узнать, нет ли его, случайно, здесь. Ведь все мы на чудо надеемся. Дочь выросла, в институте учится. Я бы порадовала его...

— Поймите, миленькая, никакие мы не формалисты. У нас тут такие находятся, которые сами от дома отказались. Сами. Зачем их мучать? Люди же они, а на вид чурбаки — война проклятая обкорнала. Ты, милая, и представить себе не можешь, какие они видом-то, некоторые. Если нижней челюсти нет — это хорошо еще, ее искусственной заменяют. Я тут третий десяток лет работаю, теперь по возрасту в вахтеры перешла. У нас и мужчины-санитары есть. У наших интернатских — гордость своя. Не хотят обременять. Здесь спокойно, чисто, накормлены, полная забота. Радио, телевизоры есть. Жить-то интересно. Узнавать, как все дальше развивается, страна наша, ведь человек не только одним своим телом живет. У кого нога осталась, так те даже писать и рисовать научились. Но ведь одна нога — ни вымыться самому, ничего. Зависимость — вот что тяжело.

— Меня то мучает, что он не поверил в нас. Мы бы и дома обмыли, одели да накормили. Неужто и мой так-таки сам не пожелал!

— Не справилась бы ты. Его же поднимать требуется, переносить с места на место. И по нужде сам не обойдется, а чистоту соблюдать надо.

— Я бы справилась, что вы говорите! Был бы он рядом. О муже заботиться — что о себе самой, ничего не трудно и не стыдно. Меня то мучает, что он не поверил в нас.

— Почему не поверил? Может, пожалел. Ты молодая была, замуж могла бы, а он как камень на ногах.

— Какой замуж! Какой там замуж, если любила я его и сейчас сердце не пустое! И не думала замуж. Искала. Да, видно, не настойчиво. Ну, что ж, что калека, он с лица очень хорош был... Вот посмотрите...

И она протянула маленькую фотографию. А сама уставилась в лицо женщины в синем халате.

Та взяла карточку, вгляделась, потом отвела глаза. И Мария Ивановна не выдержала:

— Вы знаете его! Он тут? Скажите!

— Почему — знаю?

— Да вижу же я, вижу! Ну, будьте человеком...

— Иван Иванович, старший лейтенант. Был у нас долго. Грамотный человек, политинформации в палате сам проводил. Радио послушает, газету я ему на подставке принесу, почитает, а потом все докладывает. Не

терзайся, миленькая, теперь уж не буду тебе врать. Полтора года, как умер.

Мария Ивановна как-то вся осела, обессилела... На полтора года... Она не плакала. С ужасом смотрела на ту, что объявила ей страшную новость. И всего-то, всего полтора года назад могла она заглянуть в его живые, милые синие очи! Могла услышать родной его голос!

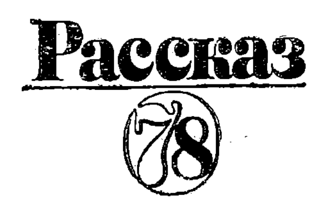
Неизвестно почему, но в то же самое время на мгновение она почувствовала и облегчение: теперь все, больше искать не надо. И даже что-то недоброе шевельнулось в ней к мужу: не захотел домой, не поверил в нас...

— Дело прошлое значит, разлюбил он меня,— сказала она, поднявшись со стула.

— Эх вы, жены! Вот ничего не понять вам, пока сами в такую шкуру не попадете! Сколько раз он, когда по телевизору текстильщиц показывали, прямо-таки впивался в экран! Потому и пошел сюда, что любил. Не хотел мучать тебя.

Нет, она была не согласна. Она ушла от двери, забыв проститься. Постаревшая, безутешная уходила она от этого белого дома, где так неожиданно закончились ее многолетние поиски. И вдруг ужаснулась своей мгновенной жестокости: как она могла хоть на секунду рассердиться на него! Всегда он заботился о ней, всегда! Война это, гитлеры эти проклятые!

Издали звучала музыка — пароход подзывал гулявших по острову туристов. Пора было плыть дальше.



Сергей ВОРОНИН
Глеб ТЕКОТЕВ
Владимир НАСУЩЕНКО
Николай ФОТЬЕВ
Павел НИЛИН
Борис БОБРОВСКИЙ
Геннадий НЕНАШЕВ
Анатолий МАКАРОВ

Сергей Воронин

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

На его открытие баба Нюша не смогла прийти — заболела. Но теперь, поправившись, засобиралась. Хотела своими глазами увидеть то, что другие видели. Иного интереса у нее не было. За всю свою долгую восьмидесятилетнюю жизнь дальше деревни она нигде не бывала. Не приходилось ей бывать и в музеях. И что они из себя представляют — не очень-то понимала. Но все же принарядилась. Аккуратно повязала голову цветастым, сохраненным еще с давних лет, платком с кистями, так что два больших конца закрыли широким узлом грудь черной плюшевой жакетки, из-под которой тянулась до колен прямая шерстяная юбка. На ногах у нее были резиновые боты. Принарядилась так, как обычно одевалась, идя в клуб, на люди.

Шла не спеша по твердой дорожке, накатанной рядом с шоссе специальной машиной. По сторонам от дорожки темнел подтаявший снег. Пятнами обнажалась земля с прошлогодними отмершими травами. Возле домов на припеке грелись куры. Волглый, податливый ветер овевал старое морщинистое лицо, выбивая из глаз пресные слезы. Баба Нюша утирала их чистым платком и шла, ни о чем не думая.

Музей находился рядом с клубом. Ему отвели небольшую комнату, отгороженную от зрительного зала стеной кирпичной кладки.

— Здравствуй, Елена Васильевна,— поздоровалась еще у порога с заведующей музеем баба Нюша.

Заведующая отложила книгу в сторону. Она была тоже далеко запенсионного возраста. Когда-то учительствовала, а теперь занималась на общественных началах народным музеем.

— Че это у тебя тут такое?— спросила все еще у порога баба Нюша, оглядывая стены, занятые картами, фотографиями, и столы под стеклянными витринами с разными вещами.

— Заходи, заходи,— приветливо поощрила ее заведующая и взяла указку. Видно было, что она рада пришедшему человеку и готова все рассказать и показать, что было в музее.

Баба Нюша, оглядев пол, чтобы не наследить, остановилась у края, с которого начиналась выставка.

Там, на большом белом стенде, виднелись археологические находки X века. О них и стала говорить Елена Васильевна. И баба Нюша, к удивлению своему, узнала, что на земле их деревни давным-давно жили люди, носили бусы, стреляли из лука стрелами с бронзовыми наконечниками, рубились в боях секирами.

— Скажи ты, матушка! — покачала в удивлении головой старуха.— Надо же!..— И вспомнила, как прошлым летом приезжали ученые люди — двое мужчин и женщина, жили они у старика Мирона и все чего-то копали в кургане возле Чудского озера. Значит, это они и старались для музея. И сказала об этом Елене Васильевне.

— Нет, никакие они не археологи, а проходимцы,— ответила Елена Васильевна.— Разрушили курган, забрали, что хотели, а это уж школьники подобрали остатки.

— Да как же это, матушка, такое допустили?— всполохнулась старуха.

— А потому, что доверчивы больно. Пускаем в свой дом всяких, а они тут и хозяйничают.

— Может, там что и дорогое было?

— Наверное, было. Затем и приехали.

— И что же, не найти их?

— Нет. Оказывается, они даже и в сельсовете не были. А Мирон Афанасьевич паспортов не потребовал. Вот так вот...

— Смотри ты, а мы живем и не знаем, что у нас под боком такие богатства!

— Ну, не богатство — в том смысле, а... впрочем, может, что было и дорогого... А вот тут уже наше дореволюционное время.

И баба Нюша увидела большую фотографию, на ко-

торой был изображен сеятель. Но в нем она никого из своих не признала. Видно, был мужик из другой деревни, из дальней.

Внизу, по полу, лежали серпы, соха, стояла прялка с куделью и веретенами, воткнутыми в нее. Железные кованые удила. Тесало. Но это все старухе было знакомо, и она не задержалась, не понимая, зачем эту рухлядь натащили сюда.

Дальше шел стенд коллективизации. На увеличенной фотографии, выстроившись в ряд, стояли молодые мужики-пахари и старики с белыми полотенцами в руках. Это был первый колхозный сев. Она помнила его. И всех мужиков узнала. И узнала первого председателя колхоза Ивана Степановича Чистякова. Хороший был мужик, хозяйственный.

— Тогда в нашем сельсовете было восемнадцать колхозов. Некоторые состояли из пяти-шести дворов,— объясняла заведующая.

— Помню, как же, помню...— ответила ей баба Нюша.— Все на памяти.

И действительно, все было на ее замутненной годами памяти. Помнила, как возвращались с полей с песнями, особенно с покоса. То ли от молодости силы было невпроворот, то ли оттого, что жизнь ладилась, но легко было тогда. Среди баб узнала и себя, чему-то смеющуюся. Может, кто сказал что смешное, вот она и расхохоталась. Чего греха таить, любила посмеяться. Теперь-то уж и забыла, как это делается, а тогда смеялась. Веселая была. А и как не веселиться — сама молода, муж молодой, сын подрастал — уже в школу ходил, дочка народилась. Все ладилось, вот и смеялась...

И сразу — как туча нашла на солнце. Это оттого, что заведующая подвела ее к большому стенду, на котором были три длинных ряда фотографий тех, кто погиб в войну из их деревни. И баба Нюша сразу узнала многих — да, считай, всех, и молодых, и старых, и солдат, и партизан, и мужчин, и женщин. И как ожгло — увидала лицо своего сына. Он глядел на нее открыто и ясно, даже чуть улыбался.

— Сынок...— невольно вырвалось из груди у нее, и она заплакала, прижимая руку ко рту. И вспомнилась война, и как среди ночи раздался тихий стук в окно, и баба Нюша, тогда еще не старая, вскочила с постели и,

робея, подошла к окну, чуть сдвинула занавеску и увидала прильнувшее к стеклу лицо сына.

Он пришел раненый. Оставаться в лесу ему было никак нельзя. Начинала гноиться рана, и рука уже отекла до предплечья. Как могла — очистила рану, приложила листья подорожника, завязала чистым. И он остался дома, благо немцев в деревне не было. Они только проезжали на своих машинах в сторону Пскова. Тогда Василий спускался в подпол и там пережидал, пока не проедут. Но однажды случилось так, что трое мотоциклистов зашли в дом и потребовали молока. Анна напоила их, и они ушли. Затрещали мотоциклы, и сестренка крикнула в подпол, чтобы Вася вылезал. Василий вылез. И ни к чему им было, что один из мотоциклистов чего-то задержался в сенях. Но вскоре и он уехал. А через каких-нибудь десять минут все трое вернулись. Василий не успел слезть в подпол и поспешно спрятался под кровать. Там они его и нашли и, даже не потребовав, чтобы вылез, выпустили в него несколько очередей из автомата. Один из фрицев сурово погрозил Анне пальцем, и они уехали.

Сын глядел на мать с портрета, чуть улыбаясь. И рядом с ним были спокойные, открытые лица, теснившие его и сверху, и снизу, и с боков. И все же каждому из них было просторно. Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И Степан Авдеевич в партизанах. И Катюшка, еще совсем девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Николай Мельников, убитый на войне. И двое братьев-подростков, Лушиных детей, запоротых насмерть за то, что не выдали, где находятся партизаны. А они и не знали, где,— прятались от немцев в лесу и пришли за рамами для землянок в деревню. А тут их и прихватили. Подумали, что они пришли на разведку... И много, много еще деревенских, своих, в этих трех рядах.

— Не все еще фотографии достали,— донесся до бабы Нюши голос заведующей.— Всех погибло сто восемьдесят семь человек из нашей деревни, а фотографий только шестьдесят восемь.

Ее сына фотография есть, чистая, большая. Ее пересняли школьники с маленькой, которая хранится дома у старухи. Он на ней такой, каким был перед войной. Баба Нюша глядела на фотографию и вспоминала, как

вытаскивала его из-под кровати, всего в крови, мертвого. Как звала, заглядывала в глаза, думая, что он еще видит, но в глазах была уже закатная тусклота, и ничего в них не отражалось. Даже свет от окна. Даже солнце. Кричала семилетняя дочка: «Братушка, что я наделала! Братушка, что я наделала!» — и каталась по полу возле него.

«А рука-то стала уже оживать», — вспоминала старуха, но без боли, как уже давно пережитое. И вдруг в таком знакомом лице не то чтобы увидала, а как-то словно со стороны почувствовала, что ее сын, вот на этой стене, не только ее сын, а еще какой-то другой человек, чем-то уже отрешенный от нее, слившийся со всеми, кто погиб, кого уже давно нет в живых. И все они вместе иные, чем каких она знала, — не просто свои, деревенские, а тоже отрешенные. Кто убитый, кто повешенный, кто замученный... Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были такие близкие и такие далекие. И какая-то неуловимая черта стояла между нею и этими рядами лиц, собранных воедино, отдавших свою жизнь за Родину. И ее сын, как бы уже в святом отдалении, глядел на нее.

Глеб Текотев

АГАФОНОВЫ СТРАННОСТИ

Дом Агафона Панкратьича широкоскул по переду, глазаст. Жилая часть его состоит из двух этажей — первый уже начал врастать в землю, а второй стремится занять место первого. Нежилая часть — двор, придворник, теплая стайка — вытянулась длинным хвостом, отчего дом походит скорее на постоялый двор, чем на жилое хозяйство северного крестьянина. Он стоит в стороне от деревни и, кажется, внимательно наблюдает за жизнью односельчан восточным окном. Жилую часть дома строил еще дед Агафона Панкратьича — тоже Агафон, отчего и пошли «агафоновы» прозвания: дедушко Агафонов, Агафонова ляга, Агафоново плесо... Нежилую часть достраивал отец Агафона Панкратьича — Панкрат Агафонович. Дед Агафона был дьяконом и жил, в основном, за счет мирян. Отец решил жить по-другому, ибо возненавидел пасхальные пироги, масло, крашеные яички, отдаваемые прихожанами из-за страха господня и за всяческие требы, и решил добывать хлеб насущный своим трудом. Его тянуло к земле.

Сразу после смерти отца Панкрат Агафонович занялся строительством. Поставил вдвоем с женой гумно, амбар, поднимаясь каждый день чуть свет и ложась за полночь. Единственного сына своего — Агафона, названного так в честь деда, стал с шести лет приучать к труду, к земле, к хлебу. Во время жатвы заставлял собирать колоски и за работу спрашивал не шутя, как со взрослого. Случалось, пропустит сын колосок, и Панкрат выдерет его ржаным перевяслом, приговаривая: «Это твоя работа, это тебе по силам, у тебя глаза зоркие. Запомни: хлеб уважение любит».

Взял было как-то и на покос, да случилась беда: на-

ступил парнишка на косу... Нога зажила, хоть и много крови вышло, а вот сгибалась с тех пор плохо...

Больше всего любил Агафон пору, когда сушили в овине снопы. Отец пек в теплине картошку, укладывал рядом с собой на солому и рассказывал сказки про леших да про чертей; Агафон жался к отцу, утыкался носом в его бороду и засыпал. А вскоре затихал рядом в великом блаженстве и сам родитель...

А то будил сына, будто на праздник: «Вставай, молотить будем». И Агафон смотрел, как отец, сверкая белыми зубами, с колоском или соломиной, застрявшей в рыжей бороде, сбрасывал сверху на чисто выметенную, утрамбованную черную землю гумна сухие, словно шипящие снопы. Раздавалось сначала глухо, а потом звонче и звонче: «ту-ку, ту-к, туку-тук, туку-туку-туку-тук».

Да, Панкрат уважал хлеб, потому что знал ему цену, и требовал того же от своих домочадцев. Как-то, когда Агафону было уже лет десять или двенадцать, мать попросила его принести с кухни каравай хлеба на стол. И он принес его так, как носят колесо, в одной руке, с шаловливым видом. Отец треснул его ложкой по голове так, что ложка разлетелась вдребезги, и приказал: «Отнеси обратно и принеси как следует». В завершение отец заявил: «Я беру твою ложку, а ты себе сделай сам. Худую сделаешь — самому есть, хорошую — тоже». Три дня Агафонко под хохот матери и под сдержанную улыбку отца ел неуклюжими деревяшками, раза два занозил губу. На четвертый день пошел в соседнюю деревню к столяру, и тот быстро обучил его этому нехитрому делу. Скоро Агафон мастерил ложки так искусно, что отец похвалил: «Молодец».

Зимой он сделал матери трепало — лен трепать. Отполировал его стекляшкой и изукрасил такими басулинами, что мать сказала: «Ну, как настоящее».

После трепала вырезал из сухой яблони челнок для кросен. Показал свою поделку столяру.

Тот пришел к отцу.

— Панкрат, у сына твоего по дереву талант. Ежели дума есть, возьму в ученики. Не сумлевайся, дорого не спрошу — четверик зерна, четверик картошек да два рубля деньгами кажин месяц. Утром и в обед харч мой, в ужон сам корми. Года через два, думаю, выйдет хороший мастеровой. Внакладе не будешь, не тужи. А работы

нам обоим — делать не переделать, да ведь у меня и годы-то...

Ударили по рукам, выпили четверть водки и повернули Агафонову жизнь в сторону от крестьянства.

Панкрат загорелся радужными надеждами. «Через два года,— думал он,— денежки потекут ручьем. Найму работника, а то и двух, буду обрабатывать землицу». По ночам мерещилась ему уже собственная водяная мельница...

Но пришли бурные двадцатые годы, и рухнули все его планы и радужные надежды. Записали Панкрата в богатеи, отрезали землю, а потом забрали лошадей, скот и весь, почитай, инвентарь. Первое время он ходил приглядывать за скотиной, смазывал колеса своих телег и дрог в надежде, что все переменится и встанет на старое место. Но шли дни, месяцы, а все оставалось по-прежнему. Хуже того, все клонилось в сторону, противоположную его желаниям. Он обозлился на комбед и колхоз, про себя сыпал на них проклятия, говаривал и вслух, а когда убили зверски председателя РИКа, по деревне пошел слушок, что не обошлось тут без Панкрата.

Следствие его вину не подтвердило. Но деревенский народ душой надолго отодвинулся от Агафонова дома: припомнили, что отец у Панкрата был дьяконом, что присвоил он самочинно рыбное плесо, не разрешая никому на том плесе неводить...

В 1935 году Панкрат женил сына и вскоре умер в стайке, где когда-то стоял серый выездной жеребец.

Так и остался Агафон Панкратьич с молодой женой Дуняшей в отцовском доме полновластным хозяином. Он вступил в колхоз, не отказывался ни от какой работы, в свободное время — рано утром ли, вечером, а зимой и ночами у керосиновой лампы — занимался любимым делом.

Одно за другим осваивал он изделия, нужные в крестьянском хозяйстве: прясницы, веретена, дуги, сани, кадки. И в каждую вещь вкладывал душу: уж если санки, так глаз не отведешь, уж если веретено, так из рук не выпустишь.

Вещи он отдавал с радостью. Деньги не грабастал, брал умеренно, больше радовали его охи да ахи и восторженные взгляды на его изделия. И сам он радовался

всему, что выходило из-под его рук. Бывало, прибежит в избу: «Дуняха, Дуняха, смотри, что я смастакал». И показывал ей какую-нибудь поделку.

Однажды принес ей пряслицу, да с такими узорами по обеим сторонам, что Дуняха ахнула и уткнулась ласково в начавшую густеть и пружинеть рыжую бороду. А он погладил ее по голове и шепнул на ухо:

— Палку-рубцеватку делаю и каток, белье катать — глаз не отведешь.

Оставшись одна, Дуня тихонько плакала от обиды, что нет у них дитя. Какую бы зыбку смастерил! Однако ходила к бабкам-повитухам и надеялась.

К своим изделиям Агафон относился ревниво. Один раз летом увидел в соседней деревне свои санки, брошенные в крапиве. Забрал их, перед тем открыв окно в избу и бросив на пол деньги со словами:

— Труд уважать надо.

Таким же образом забрал у соседа колеса с коляски, потому что на зиму тот оставил ее на улице.

«Чудной,— думали люди,— какое ему дело, если вещь куплена?»

На таких покупателей Агафон подолгу сердился, не разговаривал и уже больше ничего им не делал. В остальном же со всеми был прост, незаносчив и необидчив.

Бывало, пойдут огороды городить или осека править, мужики начнут зубоскалить:

— Агафон, чего воду в ступе толкешь — ребятишек не заводишь?

Бабы подхватывали с хохотом:

— Небось желанье-то есть, да владенья нет?

Агафон ничуть не смущался, отшучивался. А мужики поучали:

— Надо бы свою девку-то брать. А то, вишь, в другую волость полетел, как петух с огорода вдаль по урода. Вот и привез — пирог ни с чем, зовут — никак.

В общем-то отношение деревенских к Агафону было двойственным. С одной стороны, его уважали за простоту, за мастеровитость, за хозяйскую рачительность и сметку. Равнодушно не пройдет мимо несмазанного колеса, мимо порванной упряжи. Или сам сделает, или выругает кого следует, чтобы сделал. С другой стороны, подумывали: «Случись чего, взыграет кулацкая кровишка...»

Домой к нему ходили только по делу, а не то чтобы побалакать, поточить лясы или поиграть в лодыги. Агафон же как-то не придавал значения тому, что о нем говорят и думают.

Он был всецело во власти дерева, во власти фантазии: мечтал изготовить горку, подобно той, которую в детстве видел у купца Михрина. Только лучше во много раз. Утрами он уходил в верхнюю избу и подолгу вышагивал там, придумывая, какими узорами обнесет нижнюю часть, как поставит верхнюю на точеные ножки, как застеклит двери и боковицы. Он даже начинал видеть чашки на полках, сахарницу. Тогда он подходил к верстаку и на строганой доске рисовал узоры, потом состругивал и снова рисовал...

Однако горке так и не суждено было стать в Агафоновой избе. Началась война. Агафона на фронт не взяли — из-за ноги, покалеченной в детстве. В сорок третьем году, осенью, молотили горох — он и еще две бабы. И подбила одна украсть мешок: мол, скоро ребятишкам будет нечего есть — весь урожай с огорода за долги раздала. Ее пожалели — и рискнули. Но дело раскрылось, и Агафон, жалея многодетных баб, взял вину на себя. Тут снова припомнили, что он сын кулака, дьяконов внук, и вскоре Агафон отбыл в места отдаленные.

Только через год он прислал жене письмо. Авдотья, получив его, сдала дом в аренду МТС и уехала. С тех пор они как в воду канули.

Агафон появился на родине совершенно неожиданно — в разгар сенокоса. Да как появился! В шляпе, в сером плаще, в наглаженных брюках. И не в сапогах — в ботинках. Длинная, рыжая, в частую серебринку, борода и нависшие на глаза брови делали его лицо суровым и значительным. Рядом шла жена, тоже хорошо одетая. Сзади, оглядываясь по сторонам, вышагивали два мальчика лет двенадцати — тринадцати, похоже, погодки.

С того времени и посыпались на односельчан Агафоновы странности... В первый же день из дома в дом стали переносить новость — сыновья у Агафона ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Авдотья, правда, объяснила любопытным бабам, что ребята пошли в прадеда,

у которого мать была цыганка. От этого и глаза счерна, и волосы в черную кудрявинку. Но баб это не убедило.

Через неделю Агафон уехал в город и вернулся на грузовике, из которого вытащили огромных размеров заколоченный ящик и много маленьких ящичков, перевязанных ремнями тюков.

— Богатства-то, богатства-то навез,— судачили бабы, а мужики решили, что Агафон пошел по стопам деда и наверняка служил эти годы в церкви, где заработки в теперешнее время, по слухам, огромадные. Богомольные старушки заподумывали, глядя на Агафонов благообразный вид, что всего скорее он возродит крещенье младенцев, обряд венчания, а может, и отпевания. Они не оставили своих надежд и после того, как Агафон вступил в колхоз: строили догадки, что дело свое он будет вести тайно, ему, мол, на это наверняка церковная бумага дадена.

В первое лето он отремонтировал дом. Щедро рассчитался с шабашниками, но магарыч не поставил. Подал деньги и сказал: «Идите с богом — в моем доме не пьют». Мужики от удивления пожали плечами: «Вот это фрукт». Скоро купил корову, горластого петуха с курами. В колхозе определили его по деревянной части — ремонту колес, телег. Работу свою он выполнял не спеша, не на живую нитку.

Бывало, бригадир кричит:

— Да скорее ты, брось ковыряться.

Агафон, не торопясь, садился, закладывал карандаш за ухо и поучал:

— Тише едешь — дальше будешь, слыхал? Торопливость-то даже при ловле блох вредна...

Присмотревшись к Агафону и поняв, что никакой он не святоша, мужики потихоньку стали расспрашивать его — где был да что делал эти годы. Агафон скупо рассказывал, что был на Севере, на Печоре, последние годы работал на мебельной фабрике, что работа на фабрике скучнее, все по готовому, своей головой думать нечего.

— А меня, паря, тянет самому покумекать, настоящей стружки понюхать, а там что — одне масла да краски.

Ближе всех он сошелся с молодым мужиком — дальним родственником жены, с Христей Коробовым. Того тоже тянуло к рубанку и топору. Он внимательно при-

сматривался к работе Агафона, разглядывал его инструмент, интересовался, как лучше заточить стамеску или долото.

А однажды после работы надумал пойти к Агафону гулять. Прихватил бутылочку. В нижней избе хозяина не было. Авдотья сказала:

— Иди, он наверху столярничает.

Христя засомневался, идти ли? Авдотья подтолкнула:

— Иди, иди, он рад будет. Про тебя сказывает, хороший, мол, человек, мастеровой. Иди...

В верхней избе больше всего Христю поразил верстак. Большой, новый, со всякими приспособлениями. «Вот что за ящик выгружали из машины»,— вспомнил Христя.

Инструменты здесь были в наилучшем порядке. Все заточены, все под руками, долго искать не надо. Фуганок невиданной конструкции с железной колодкой. На стене сверкала широкая стальная линейка, висели циркули, угольники.

Агафон гостю обрадовался:

— Заходи, заходи, Христофор Иванович. Садись вот...

Прежде чем сесть, Христя все внимательно осмотрел, потрогал и сказал:

— Хорошо у вас.

— Ты по делу или так? — спросил Агафон.

— Так. Погулять.

— Молодец. Люблю мастеровых людей. С ними поговоришь — душу погреешь,— ответил Агафон, видимо не расслышав.

Тут, полагая, что к месту, Христя достал бутылку:

— Вот... может...

Агафон сел рядом, хлопнул гостя по колену.

— Вот что, Христофор, голубчик, ежели ты пришел сюда выпить, дак знай — ошибся. Дружба, на вине замешанная, все одно что пиво на мякине. Ходу не будет.

Христя начал оправдываться — мол, думал, как лучше...

— Знаю,— перебил Агафон,— знаю, что теперь в гости с бутылкой ходят. Только не ко мне. Так что оставь ее при себе.

И сразу перешли на другое.

— Чего мастеришь-то?

Христя застеснялся.

— Да так. Кое-чего.— И в свою очередь тоже спросил, показывая на заготовки.— Это у вас что?

Агафон встал, погладил белые, строганые детали.

— Это? Это мечта моя. Думаю, пока жив, сынам память оставить. Мебель. Да такую, чтобы гостям своим показывали с гордостью: «Отцовых рук дело».

Христя хотел что-то сказать, но Агафон перебил его:

— Знаю, знаю. Не говори. Дескать, сейчас фабрики выпускают. Знаю. Лакированная, под орех, под дуб расписанная. Я, Христя, не штукатуркой возьму, естеством. Дерево — оно само по себе красиво. Оно как человек. Вон по городам девки иные так себя разрисуют — не знаешь, смеяться либо плюнуть. Ведь форменно издеваются над естеством человеческим.

— Да вы, дядя Агафон, и красить дерево не собираетесь?

— Пока, мил человек, ничего не знаю. Ясно только одно: краска — дело десятое. Никому, Христя, слова про то не говаривал, тебе одному как на духу. Я супротив фабрик иду. То есть как бы это... Ну, чтобы из-за моей мебели робята ни на какую другую не зарились. Чтобы ее в любой квартере и в любое время после меня поставить было не зазорно. Чтобы и внуки берегли ее, и деда своего помнили. Во как. Знаю, трудно это. Зато — интерес. По ночам во сне вижу. Бывает, уломаюсь за день-то на работе, еле до дому бреду. А как зайду сюда — усталости как не бывало. До вторых петухов у верстака кумекаю. Я эту мебель-то в Ленинграде высмотрел, в музее, где цари-то раньше жили. С матерьялом, Христя, туго. Время мало. Присматривать надо бы криулины, корни...

— Вы скажите, дядя Агафон, я, ежели что, помогу...

С того дня в деревне стали говорить, что Агафон мастерит диковинные стулики и столы, как две капли воды похожие на те, которые стояли «на квартере у самого Петра Великого»,— видно, не удержал Христя язык... Бабы передавали друг дружке, что Агафон с Севера привез кучу денег. А молодые мужики и парни зачастили к нему за кредитом, не превышающим пяти рублей до получки,— и получали отказ, за что припечатали ему было кличку Жадюга, но ненадолго.

Осенью у Христи пала корова, объевшись рожью,

и Агафон у колодца вручил ему ни много ни мало пятьсот рублей. Христя замахал руками:

— Что вы, что вы, мне не отдать.

Агафон остановил его:

— Разбогатеешь — отдашь. Я сроку не устанавливаю. На такое дело денег не жалко, не на вино ведь.— И рассказал: — Эт-та приходит ко мне Санко Петушонок. Дай, говорит, сто рублей до покрова дня. На мациклет не хватает. У самого крыша на дому провалилась, а он — мациклет. Вот уж воистину без порток, а в шляпе! На такие дела — денег? Извини подвинься. Я цену деньгам знаю, потому как они трудом добыты. А ты бери да пользуй. Токо не ошибись в коробенке-то...

Мужики лишь головами качали.

— Ну и Агафон, ну и чудо в перьях. Трешник не выпросишь, а тут полтышши. Ну и ну...

Странным казался людям и Агафонов метод воспитания детей. Спать — в одиннадцать, вставать — в шесть, есть-пить — в одно время и только всем вместе, за одним столом. А если случится, возьмут ребята кусок пирога между завтраком и обедом, он без крику отберет его: «Кушать захотели? Так, так. Терпежу, значит, нету? Ну, ну. Кусмачить начали? Потерпите-ка до ужина. Покумекайте на голодный желудок. Пользительно. Терпеж — он к порядку приучает. Он, порядок-та, не только голове нужон, а и брюху. Поняли, оболтусы?..»

Авдотья за сыновей не заступалась. Она помнила случай, когда тайно от мужа дала ребятам по куску хлеба. Агафон случайно увидел это и разбушевался, вывалив на ее голову столько всяких нехороших слов, сколько она за всю жизнь от него не слыхивала.

— Я те покажу потворствовать! Ты у меня попляшешь,— орал он на всю деревню.— Едриногу налево! Робят воспитывать — не в бирюльки играть. Что из них потом выйдет, ежели с детства собой руководить не научатся. Я им покажу кусмачить...

Он не покупал детям дорогих костюмов, не говоря уже о мотоциклах и транзисторных приемниках, зато не жалел денег на разные моторчики, провода и радиодетали — вплоть до контрольно-измерительных приборов. Он всячески поощрял ребячьи выдумки по этой части. Сам тащил в дом выброшенные детали из разных машин, полагая, что ребятам это пригодится. Однажды даже

принес из сельсовета списанный телефон в деревянном большом ящике. И сыновья за лето наладили связь между верхней и нижней избой. Поначалу Агафон без всякой надобности накручивал ручку телефона и кричал:

— Але! Кто на проводе? Олексий? Позови-ко матерь.

Авдотья подходила, высвобождала ухо из платка и робко отвечала:

— Але...

Если звонили снизу вверх, Агафон степенно брал трубку и важно отвечал:

— Але. Агафон Панкратьич у телефона.

Об этом скоро узнали в деревне, в школе. Приходили смотреть и «алекать». Даже появилась заметка в районной газете о телефонизации Агафоновой избы.

В десятом классе его ребята собрали по транзисторному приемнику. Отец изготовил им по чертежам два корпуса, которые трудно было отличить от заводских.

К этому времени в деревне поверили, что дети у Агафона — родные. Характером ровны, независимы, но без зазнайства. Поведение — слова худого не скажешь. Подлизами не назовешь. В драках спуску не давали, потому что силой бог не обидел. Однако не злоупотребляли этим. Начало изменяться мнение об их отце: и работяга-то он хороший, и человек честный: и слов на ветер не бросает. Если раньше бабы искали объяснение его рачительности, всему разумному укладу его жизни, трезвости, почтению к жене и строгости к детям в «богатейском» прошлом его деда, отца и ничему этому не завидовали, то теперь начали ставить Агафона в пример, упрекая мужей в расхлябанности и бесхозяйственности. А остроязыкие прямо резали: «Вам бы только робят делать, а кормить да воспитывать — дядя. Вон Агафон...»

И мужики стали относиться к Агафону иначе. Стали спрашивать совета. Иные пытались перенимать его хозяйскую сметку. Многие завели коляски на резиновом ходу, чего раньше в деревне не было, «по-агафоновски» делали колодцы, ямы для хранения картошки и овощей. Но окончательно принять его в свой круг на равных мешало деревенским что-то такое, тянущееся из неопределенного далека.

По-настоящему сошелся Агафон только с Христей, который все время находил подходящий случай, чтобы потолковать с ним по мастеровой линии. И Агафон то на

песке палочкой, то на доске карандашом показывал, как разметить и выдолбить ступицу, как подогнать колесный обод, а через некоторое время обязательно интересовался — получилось ли, просил показать.

Домой к Агафону Христя ходил нечасто, боясь, как бы тот не заподозрил его в бездельничестве. А когда становилось невтерпеж, начинал под разными предлогами маячить под окнами Агафонова дома, пока хозяин не стукнет в раму:

— Заходи гулять, Христофор Иванович.

Христя переминался с ноги на ногу, отнекивался, мол, дел много. Агафон убеждал:

— Дело не волк, в лес не убежит. Заходи.

Поднявшись наверх, Христя первым делом кидался осматривать Агофоновы поделки, качал головой от удивления, интересовался, как хозяин выбирал шпунт, каким инструментом выделывал узоры. Потом оба садились к верстаку и обговаривали что-нибудь по столярному ремеслу. Как-то Христя сказал:

— Вам бы, Агафон Панкратьич, в городе жить-то, а не в деревне. Большим бы человеком были.

Агафон махнул рукой:

— Ой нет, уж нет. В городе-то я жил, дак все время чувствовал: будто душа усыхает. Меньше становится. А здесь кажин день чую — силой наливается. Как встану утром-то, да сюда приду, да в окна посмотрю на поля, на речку, на луговины, да на родную поскотину, где каждый пенек знаком, где каждый кустик ночевать пустит, так душа-то птахой затрепещет. А ты — город... Где пуповина отрезана, туда и душа тянет. Человек без родины все равно что пестерь без лямок. Нет уж, брат, я из деревни... все! Шабаш. Вот робята — те не знаю... Особенно меньшой... Этот все книжки по электричеству читает. Паяльник да проводки из рук не выпускает. А у старшого к скотине душа льнет. Все дни — кошки, собаки, птички. Эт-та змею принес. Говорит, не жалит. И за рубаху к голому телу — бултых! Насмерть всех перепугал. Мати чуть в обморок не упала. Вот сотоненок какой!

Предположения Агафона сбылись. Младший сын — Алеша — закончил энергетический техникум и стал работать на одном заводе слесарем. Ставили мастером — не пошел. Какой, говорит, из меня пока мастер, если я рабочему практически показать не могу, как надо делать.

Старший, Михаил, выбрал сельхозинститут. И прямо со студенческой скамьи сел в кресло директора совхоза.

Произошли изменения и в Агафоновой жизни. Колхоз преобразовали в совхоз, и Агафона поставили заведовать столярными мастерскими. В подчинение дали трех человек, в их числе и Христю. Мастерская изготовляла окна, двери — словом, все то, что надо было для развернувшегося строительства. К этому времени Агафон приобрел большую, во всю голову, плешь, да и борода его заметно потощала. Расчесывая ее, он часто приговаривал собственного сочинения двустишие:

Борода у Агафона
Стоит двадцать два мильена...

Христя добавлял:

Ну, а ежли расчесать,
Можно две копейки дать.

Мужики хохотали:

— Ты, Христя, поэт.

Христя соглашался:

— Я поему про его бороду складываю. Скоро готова будет. В книге пропечатаю.

Мужики спрашивали:

— Про плешь-ту не упоминаешь?

Христя дурашливо лез в затылок и на ходу сочинял:

Агафонова-то плешь...
Величиною с Бангладеш.

И пояснял:

— Страна такая, в Индие, большущая. Бангладешом называется. Земли много, деревень мало.

Агафон улыбался и снисходительно отшучивался:

— Плешь и борода — не велика беда. А вот ежели человек не за свое дело берется, тогда — беда. Вот, скажем, допусти тебя всерьез книжки складывать, что было бы? Пыль от твоих книжек да урон государству. Тут, брат, голова особая нужна. Человека по уму приспосабливать к работе надо. У нас один на Севере был, дак спал и видал руководящую работу. Говорит, я хошь министром могу, ежели поставят. А умишка — кот наплакал. И ведь руководил, стервец, пока за Можай не попал. Сначале в финотделе, потом в заготконтору перебросили главным.

Завалил дело — понизили до директора бани. А там людей кипятком ошпарило — недосмотрел при ремонте. Так что, Христофор Иванович, учти это. Поэты — вещь сурьезная.

Деревня давно уже приняла Агафона. Прошлое оторвалось от него, как пуповина. Старшие почитали за честь остановиться и поговорить или посидеть летним вечером на его крылечке. Уважали и молодые, но побаивались старика. Особенно механизаторы, поскольку никому не давал Агафон спуску за самую малую бесхозяйственность. Краснел лицом, приходил в ярость:

— Едриногу налево, паразиты, что делаете? — Хватал с земли что попало и, угрожая «раскроить рыло», заставлял допахать огрех или дожать не захваченный угол ржи.

Один раз комбайнер по прозвищу Санило решил утихомирить старика:

— Дядя Агафон, зачем нерву тратишь? Велика беда — полсотни ржи! Совхоз большой. Мильен сюда, мильен туда — незаметно.

От этих слов Агафон аж побелел весь.

— Да ты что, едриногу налево, в своем уме? Ты хоть соображаешь своим шарабоном чего-нибудь? Это чье поле-то, ерманца? Ты над чьей землей издеваешься? Ты не из этого зерна хлеб жорешь? А? — И схватил с земли ржавую тягу.— Я те покажу — мильен туда, мильен сюда, лешой косорылый. За такую работу не зарплату платить, а бить до смерти, чтобы другим неповадно было!..

В остальном же жил Агафон в душевном спокойствии. Перед сном иногда говорил он своей Авдотье:

— А что, старуха, не худо мы живем. И еда и одежа — все в порядке. Сынов хороших вырастили. Вот женятся, по столу и стулику подарю. Михайлу-то с красным сукном, а Олексию — с зеленым. Войны бы токо, старуха, не было. Ой, как подумаю...

Как-то при таких разговорах предложил:

— Знаешь, Авдотья, в сельсовете деньги для фонду мира собирают. Снесу-ка я сотни три. Куда нам? Хватит. Хошь на душе легче будет.

Авдотья сначала упиралась: мол, ребятам бы покопить.

Агафон возражал:

— Не дураков вырастили, сами наживут.

На другой день утром снес деньги, удивив безрукого председателя, который отослал об этом заметку в районную газету, чем присовокупил к многочисленным известным странностям Агафона еще одну.

Вскоре после этого в тихую избу на отшибе, в размеренную жизнь стариков вдруг ворвался ураган. Все переломил, переворошил — и стих. И в этой тишине будто знаком вопроса стоял хозяин и повторял: «Как же быть? Что же будет?»

А случилось то, чего они никак не ожидали, что за давностью лет вроде бы и выветрилось из головы, забылось...

Объявился родной отец их сынов, о существовании которого старики даже не знали. Агафон помнил, как передавали ему мальчиков. Сказали, что о родителях почти ничего не известно. Известно лишь об отце, что фамилия его Груздев, что зовут Федор Федорович, и все. Ни документов, ничего.

Авдотья слегла. Агафон рано утром заточил стамеской карандаш, расчистил место на верстаке и, подстелив газету, стал писать сыновьям письма.

«Дорогой Михайло, здравствуй. Низко кланяемся тебе оба с матерью и сообщаем сразу радостную весть. Нашелся ваш родной отец. Не удивляйся, дорогой. Мы тебе не родные. Взяли вас в войну сиротами. Вины нашей, что не разыскивали родителей, нет, потому как при вас никаких документов не оказалось. Я два раза писал в Москву, но получил ответ, что данных для розыску мало.

Так что ничего и не говорил вам и не хотел говорить до самой смерти, чтобы и себе, и вам душу не тревожить. Отец ваш, Федор Федорович Груздев, просит разрешения приехать на девятое мая. Я отписал, что с радостью ждем. Вот и все. До свидания... Сейчас не знаю, как и подпись ставить... Одним словом, ждем».

Такого содержания письмо отослал и младшему, Алексею. Только в конце не выдержал и дописал: «На душе, Олеша, и радостно, что нашелся ваш родной отец, и все-таки тяжело...»

Через три дня пришла телеграмма из Ленинграда: «Дорогие папа и мама, девятого буду. Сын Алексей».

Чуть позднее пришла вторая, из Архангельской области: «Милые папа и мама, девятого мая ждите. Целую. Сын Михаил».

Агафон уходил читать телеграммы наверх. Садился в кресло и долго смотрел на буквы, пытаясь открыть их потаенную суть. А слова «папа, мама, сын» словно рукой дотрагивались до обнаженного сердца... Агафон кончиком языка слизывал с усов слезы, с опаской поглядывая на дверь.

Седьмого мая к дому Агафона лихо подкатила «Волга» с шашечками. Старики стояли на крыльце с выжидательно-озабоченным видом. Рослые парни вылезли из машины, шутейно встали перед родителями по стойке «смирно», и старший доложил:

— Сыны собственных родителей прибыли.— И стали обнимать поочередно отца и мать.

Мать, не скрываясь, плакала. Агафон держался, но было видно, как это ему трудно. Зашли в дом.

Алеша, открывая чемодан, спросил:

— Значит, второй отец объявился? Мишка, нам с тобой повезло. Сразу два отца. А где же он, не приехал еще? — подал матери кофту в хрустящем целлофановом пакете. Спросил с ехидцей: — А второй матушки не объявилось?

Видя, что мать снова собирается плакать, он взял ее лицо в ладони и, глядя в глаза, серьезно и строго сказал:

— Запомни, мамка, пусть хоть десять родителей объявятся, роднее вас на свете никого нет.

Мать подалась вперед, плача, припала к сыну.

— Олеша, спасибо...

— Мамка, ну за что спасибо? Это мы должны вам всю жизнь.

Михаил в это время показывал отцу рубанок и еще какие-то железки, которые сейчас совсем не интересовали Агафона. Он смотрел на сына, отыскивая черточки отчуждения. Михаил понял это и обратился к брату:

— Олешка, давай отмочим номер — выпорем родителей за все прошлые обиды. Помнишь, как мамка тебя голиком охаживала?

Алексей захохотал, обняв одной рукой мать.

— А тебя-то отец... у гумна, забыл? Потеха была.

Мишка перебил брата:

— Вот что, отец, нам теперь поздно менять родителей.

Если даже вы забудете нас, мы вас никогда не бросим. Только теперь нам стали понятны твои слова, которые ты часто повторял: «Не та мать, что родила, а та, что выпестовала».

Агафон хотел наклониться к сыну, но одумался. Михаил понял, сам обнял его.

— Мамка, собирай на стол, праздновать сегодня будем.

Теперь Алексей перебил брата:

— Только не потому, что нашелся кровный отец, а потому, что есть у нас на Руси такие хорошие люди, как наши мамка с папкой. Давайте начнем, не дожидаясь гостя...

Он достал бутылку вина. Мать захлопотала. Накрыла белой скатертью стол, принесла горку пирогов на большой тарелке, а Агафон явился из сеней с медной ендовой пива, сваренного из ржаного солода и настоянного на хмелю, который обильно рос в огороде. Авдотья принесла чашки — рюмок в доме не было. Алексей откупорил бутылку:

— Ну, кому?

Мать подставила чашку:

— Мне давай.

Алексей посмотрел на отца.

— И мне, едриногу налево, по такому случаю.— А когда выпили, похвалил: — Скусная, сотона.

Авдотья, то ли от вина, а может, и от чего другого, почувствовала, как от сердца словно камень откатывается.

После пива Агафон сказал:

— Вот что, сынки, мой вам совет: отца родного, когда он явится, от себя не отпихивайте...

Михаил остановил его:

— Мы уже с Олешкой думали об этом. Если он хороший человек, не обидим и в беде не оставим. Не такими вы нас воспитали.

— Дело, дело, Михайло,— согласился Агафон.

После отъезда сыновей их родной отец еще месяц гостил у Агафона. Показал себя человеком хорошим. Договорились, что будут приезжать друг к другу в гости, что в следующий год встретятся в Ленинграде, у Алексея.

Зимой по деревне заговорили, что Агафон строгает два гроба. Себе и жене. Старухи качали головами: видно, гость-то смертушку привез.

Как-то Христя сказал:

— Не умирать ли налаживаешься, дядя Агафон?

Агафон усмехнулся:

— Умирать? При моей-то жизни? Да мы еще с Авдотьей... Ого-го... Поживем. У нас кость крепкая.

— А гробы-то зачем?

— О, паря. Это другая статья. Я, Христя, всю жизнь прожил чередом да ладом. Ну, это в смысле не воровал, хоть вором и считали, не подличал, хоть об этом и подумывали. Хозяйство вел справно, все добывал своим трудом. И на тот свет — я уж не знаю, есть он там али нет — хочу прийти как следует. А то ведь вы, едриногу налево, умри, дак гробок-от тяп-ляп — три доски, четвертой сверху — и готово. На свет погляди, дак все скрозь видно. Хоть и покрасите, знаю, и бархатом... Все одна видимость. А нам со старухой сухость нужна, тепло. У старухи-то дня не пройдет — поясницу ломит, и у меня коленки к погоде что собаки грызут. Нам сырость — страшнее, чем ладан черту. А я-то уж смастерю — капелька не попадет. Будем лежать со старухой, как на печке.

Христя удивился:

— Ну и чудак ты, дядя Агафон.

— Что же, Христофор Иванович, какой уж есть.

Владимир Насущенко

ХЛЕБ С МАСЛОМ

Было темно и рано. В доме напротив светилось несколько окон. Проехала развозка, брякнув слабым люком на мостовой. Михаил Максимыч вылез из-под одеяла и пошел на кухню по остывшему линолеуму.

Умылся под краном, не заметив этого. Не снимая шкурки, нарезал колбасы на сковородку, зажег газ. Жир закипел, куски скрючились, покраснели. Он без интереса жевал, глядя в окно на соседний корпус, наполнявшийся огнями. Домина был длинный, загнут пистолетом.

Михаил Максимыч Трофимов получил квартиру три года назад. Вначале, чтобы попасть домой, приходилось хлебать грязюку. Теперь вроде наладилось: глину под асфальт спрятали, под окнами посеяли траву, кустов насажали. Две телефонные будки по углам дома и пивные ларьки, тоже два.

Работал Трофимов помощником бригадира на судоремонтном, очень далеко от нового места жительства. Сегодня он встал не в духе: голова побаливала и тяготила мысль о пенсии. Постучал в стену, чтобы дочь собиралась на фабрику, где делали нитки. Дочь была некрасивая, толстая, и лицо у нее всегда печальное, обиженное. Он жалел ее, но утешать не мог, понимал, что нечем утешить.

Дочь прошла в ванную, не стесняясь, в одной рубашке, помятой сзади. Слышно было, как она стучала зубной щеткой о зубы. Михаил Максимыч вздохнул и стал собираться. Почистил бархоткой носки ботинок, надел тяжелое ватное пальто.

На улице тянул морозный ветер. Трамвай только ушел, но народ постепенно натек на площадку. Все сто-

яли спиной к ветру. Михаил Максимыч поднял воротник, втиснулся в подошедший вагон чуть не последним. Позади нажимала тетка в папахе из чернобурок, от нее несло дорогим одеколоном. Трофимов терпеть не мог сладких запахов. Стараясь не дышать, полез вперед, кося глазами.

Через час он выпихнулся на своей остановке. Ворота проходной с наваренными крест-накрест якорями заиндевели. На территории мерцали тусклые от изморози огни.

В раздевалке его ожидал напарник, Яшка Рожков, который сообщил, что бригада потопала на танкер и Мурыгин велел шевелиться с ремонтом на «Академике», дал три дня, хоть кровь из носу.

— Торопится, не зная куда,— вяло буркнул Трофимов, переодеваясь в спецовку. За стеной уже работали станки. Он влез в робу, затянул штаны офицерским ремнем, на ватник напялил брезентуху.

— Да, Максимыч, тебя начальство просило зайти, зачем — не ведаю,— вспомнил Рожков и, не дожидаясь, двинулся к выходу.

Михаил Максимыч грузно встал с табурета. В конторе никого не было. Он направился в цех. В пролетах путался синий дым от сварки. Гулко ударяли в корабельную сталь. Инженерша Лидия Петровна делала замеры в ступице пароходного винта, лежащего на козлах. Месяц назад она вышла замуж, насидевшись до этого в девках, и теперь стала неузнаваема. Халат был отутюжен, на оттопыренном пальце сияло обручальное кольцо.

Рядом околачивался мальчишка в новой каске. Лидия Петровна подняла голову — смотрела, как Трофимов почтительно идет к ней в ржавой одежде.

— Я вам помощника нашла. Парень боевой, десять классов кончил. Прошу любить и жаловать...

Она подтолкнула новичка, назвала имя. Мальчишка зыркнул из-под каски, оглядывая квадратную фигуру помбригадира, и ухмыльнулся. Михаилу Максимычу не понравилась эта тонкая усмешка, но он не подал виду, только спросил, сколько годов парню.

— У него шестичасовой день,— предупредила инженерша.

— Понятно. Ну пошли, добрый молодец, хлеб с мас-

лом зарабатывать,— сказал Трофимов, морщась от боли в затылке, и направился в ворота.

Ветер дул с моря. Они миновали плавучий док, где на киль-блоках лежал танкер. Под освещенным днищем ползали маленькие люди в респираторах и чистили пароходное брюхо. Механические щетки пронзительно выли.

Помбригадира размышлял на ходу: куда определить новичка? Толк с него вряд ли будет — сбежит в плавание при первой возможности. Молодежь нынче не любит подолгу сидеть на одном месте.

Порт был огромный. Скрипя литыми бамперами, автопогрузчики возили болванки в склады. Тепловоз с лязгом толкал вагоны. В ковше маневрировал белый корабль, весь в огнях. На корме полоскался флаг с иноземным гербом. Винт шлепал в ледовой окрошке.

Трофимов и мальчик вышли на дальний причал, где стояло океанское судно под разгрузкой. Полезли по крутому трапу.

Швартовые канаты были туго натянуты. Краны выхватывали из трюмов прессованный каучук. На носовой палубе двое матросов поднимали лебедкой грузовую стрелу. Трос чавкал в густой смазке на барабане. Небо было еще темное, и утренняя звезда дрожала, как свеча на ветру.

Михаил Максимыч поставил сундук с инструментом к ногам, вытащил из него гаечные ключи, сунул в брезентовые карманы.

— Погодь, я за переноской схожу,— строго сказал он и принес на локте свернутый в жгут провод, склонился над пустым трюмом. Там было холодно, как в рефрижераторе, на переборках висел иней.

Трофимов начал спускаться по отвесной стене в чрево трюма, руками прилипая к скобтрапу. Сильное течение с реки несло льдины, грохоча в борт. Шипел пар по трубам.

Мальчишка нехотя спустился следом и подул на скрюченные пальцы.

— Что будем делать? — хмуро спросил он.

— Ты будешь! — прикрикнул Трофимов, разматывая шнур. Воткнул вилку в штепсель у черного люка.— Вскроешь горловину, тут двойное дно. Магистраль нужно менять.

Переноска слабо светила. Он знал, что мальчишка вряд ли справится, гайки еле виднелись под слоем сурика и ржавчины. Но он хотел испытать ученика на черной работе, прежде чем доверить что-нибудь стоящее.

— Я все сделаю, как вы сказали,— неуверенно произнес мальчик, поднял лампу и стал оглядывать лаз. Ему казалось, что помбригадира сомневается в нем. Он нахохлился.

— Работать нужно так, чтоб чуточку хотелось спать,— пошутил Трофимов, вручая инструмент.— Замерзнешь, в машину приходи.

Он ободряюще хлопнул парня по плечу, отвернулся, чтобы не смотреть в льдистые ребячьи глаза, и тяжело вскарабкался наверх.

По палубе он прошел в надстройку, где размещалось дизельное отделение, спустился на три этажа вниз.

Рожков у пульта беседовал со старшим механиком. Они недавно провернули двигатель, оценивая вчерашнюю работу. Механик был доволен.

— Прямо уходить не хочется. Машина — как часы. Молодцы... Ой, молодцы!

— Мы посмотрим девятый цилиндр еще раз. А музыки не надо,— отрезал Михаил Максимыч.

Механик удивленно поднял лоснящиеся брови, потрогал горло, замотанное мохеровым шарфом, вкусно дыша хорошим коньяком и не нашей закуской.

— Я бы помог, да в управление вызывают,— сказал он, будто не заметил грубости помбригадира. И удалился.

Трофимов пожаловался Рожкову, что всучили ему желторотого школьника, он его пристроил в трюме — мол, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Напарник согласно поддакнул, и они принялись за работу.

Насос прокачивал отфильтрованную смазку через главный двигатель. Михаил Максимыч слушал, как горячее масло входит в артерии коленвала, продавливается в подшипники, стекает в картер на решетки. Он видел это мысленно, словно машина была прозрачная, а масло двигалось по стеклянным каналам. Рожков отключил насос и вскрыл стальную дверь. Трофимов протер ветошью подошвы ботинок, чтобы не занести грязи, полез в картер.

Машина еще не остыла. Он стал весь липкий от едких паров и слышал, как струя масла с комариную иглу текла за шиворот. Он не мог отклониться — боялся рухнуть со скользкого мотыля на железо. Внимательно прощупал телескоп, по которому шло охлаждение тронка. Рожков снизу подавал инструмент, как ассистент хирургу.

Копошились они в жирном тумане с кряканьем, тихими, в помощь себе, ругательствами и хрипами.

Наконец Трофимов промокнул промасленное лицо тряпкой и вылез на рифленые плиты. Кровь стучала в висках. Оставляя масленые следы, он прошел до кингстона, сел на него и обождал, пока отдохнет сердце.

Работа осталась теперь легкая, он хотел ее выполнить не спеша, с умом. Топился автоматический котелок, но было прохладно. Железо бортов потело от сырости. Туго ворочалось динамо в магнитах, нагнетая ток в ослепительные лампы. Отделение все блестело медью и белой эмалью.

От затылка немного отхлынуло. Он встал, надел очки, обвязанные ниткой, полез щупом в регулятор.

— Надо же, кулак лезет. Напортачили, сукины дети,— ругнул он фирму, построившую корабль.

Рожков плоскогубцами выдергивал шплинты, как занозы. Трофимов работал рядом с напарником. Оба они присели на корточки, иногда касались головами друг дружки. Дыхание их смешивалось.

Морской хронометр на руке Трофимова блестел никелем. Он был дорог ему — достался при обстоятельствах необычайных. Дело было в начале войны. Трофимов служил на морском охотнике. Они сопровождали в конвое транспорт, набитый тяжело раненными бойцами, семьями военнослужащих. Бомбили их днем и ночью, от самого Таллина. Немецкие летчики нагло снижались над транспортом, но им все не удавалось утопить пароход, полный народу. Тогда один фашист зашел на бреющем, совсем низко,— видно, хотел попасть в пароходную трубу, чтобы взорвались котлы. Люди лежали на палубных заклепах, закрывали детей руками. Море кипело от взрывов. В мгновение тишины было слышно, как плачут дети.

Михаил Максимыч, не помня себя, вытащил из пушечной турели убитого номерного, в горячке нажал на

спуск и вдул бомбардировщику под жаберные крышки снаряд — даже гайки посыпались из правого мотора. Самолет нырнул под самой кормой, только пузыри пошли. А после наш эсминец у Гогланда подоспел на помощь. Транспорт и тысячи людей на нем уберегли. Командир Егоров выстроил остатки экипажа на обгоревшей палубе, с забинтованной руки снял часы и перед строем вручил Михаилу Максимычу. Не до орденов тогда было. Ходят часы тридцатку лет без ремонта, тютелька в тютельку. Только никель стало разъедать потом от руки.

Рожков тоже поглядывал на боевой хронометр, с иными мыслями — обед не прозевать; намекнул, что сегодня хоккей рано начнется.

Михаил Максимыч хоккей уважал, телевизор ради него купил, с полуметровым экраном. А дочка фигурным катанием заразилась, часами высиживает.

Яшка Рожков за разговором работал не спюро, еле шевелил рогом, болты, гад, ручником забил, резьбу подпортил. Михаил Максимыч обругал напарника крепко, но помпу собрали. Запустили. Внутри, как младенец в утробе, мягко толкался поршень. Трофимов всхлипнул от удовольствия, повалял в керосиновых пальцах папиросу, закурил перед обедом. Рожков тотчас побежал на корму к матросам, харчиться на дармовщину. Помбригадира такой паскудной привычки не имел, а развернул свои бутерброды, сжевал два бледных яйца, во рту ощущая вкус зеленой меди, будто с отравы какой,— даже отложил еду.

Вахтенный моторист мерз, обнимал котел и жаловался, что после тропиков никак не адаптируется. Был он светловолос и худ. В каюте у него сидела жена, он часто убегал к ней минуты на две, потом слетал вниз, не касаясь ногами трапа, лихорадочно осматривал градусники динамо и спрашивал:

— Никто не приходил?

— Никто.

Трофимов привалился к урчащему теплу и думал свое: вот дочка собирается замуж, да никто не берет, а лет ей — слава богу! И сам плох становлюсь: никогда гриппом не болел — вчера схватил, видно. Полгорода в гриппе валяется. В медпункт брести неохота, и болеть перед пенсией невыгодно.

После очередного заскока в каюту моторист суконкой натирал опрятные трубки. Трофимов отвлекся от невеселых раздумий, похвалил машину:

— Очень у вас чисто, прямо ювелирный магазин.

Вахтенный справедливо возразил, что надраенные медяшки ничего не прибавляют к исправности механизмов и заработку.

— Тоже верно. Но все равно приятно, когда чисто,— повторил Михаил Максимыч, слегка мигая от боли и света. Казалось, двигатель и предметы вокруг вздрагивают и качаются; он не придал этому значения. Ему было хорошо, что сделал сложную классную работу,— не в чем упрекнуть старика. Повеселел от этой мысли: здоровье позволит, поработает еще год-другой. Направился на палубу проветрить мозги, заодно заглянуть, что творит малый,— небось в кочерыжку превратился от безделья. Хотел вспомнить его имя, названное инженершей, да махнул рукой.

На поверхности, и правда, была холодина. Ветер дул с нажимом, перехватывал дыхание. Скудное солнце валялось во льдах в холодном обмороке. Дымился аспидный фарватер. Самоходная баржа, груженная лесом, маячила вдали.

Трофимов минуту подышал морским воздухом. Прямоугольные льдины, наломанные ледоколом, пробирались в залив. Башкастые галки клевали объедки, выброшенные с пароходов. В черной воде качался вздутый батон. «Матросня зажралась»,— подумал Михаил Максимыч, идя по борту.

Пацана в трюме не оказалось — где-нибудь грелся. Внизу блестели разбросанные ключи. Трофимов побрел обратно по ледяной палубе, припадая на левую ногу. Опять ему стало не по себе — глядел слезящимися глазами в снеговой свет и почему-то думал о жарком юге, где люди ходят в одних холщовых штанах под маленьким яростным солнцем, а морская вода прозрачная и голубая...

Он прислонился к железному распору, стоял недвижно, дрожа от внутреннего беспокойства, предчувствия болезни. Зазвонил колокол на плывшем буксире, и тонкий звук меди тревожно повис над гаванью.

Кто-то окликнул Михаила Максимовича. Он обернулся. Подошел механик. Фуражка с «крабом» засло-

няла его глаза, кожа на скулах порозовела от непривычного холода. Он громко, не стесняясь, высморкался на льдину, вытер подбородок заграничным платком и стал говорить про тяжелый тропический рейс, когда мотористы падали в обморок от шестидесятиградусной жары в машине. Команду он отпустил на отдых, а ремонт делать надо.

— Вы посмотрите крылатку в правой динаме,— сказал механик.— Она мне не нравится...

В плане работ этой динамы не было, поэтому Михаил Максимыч категорически отказался от сверхнарядного ремонта.

Механик понимающе кивнул:

— В долгу не останусь. У меня спирт есть...

Трофимов разозлился:

— Не нужен мне ваш спирт. Постыдились бы... Ремонт мелкий, на ходу сделаете.

Механик пожал плечами:

— Извините, я от души. Думал, поладим.

Он недовольно отвернулся и, наклонясь к ветру, пошел, придерживаясь за планшир.

Михаил Максимыч проследил, как захлопнулась за механиком дверь в каюту, и спустился вниз. Там он постоял у динамо, положил ладонь на улитку, стараясь уловить посторонний свист в сатанинском грохоте. Пламя бушевало в коллекторе.

«Действительно греется, но это еще ни о чем не говорит... В тропиках-то может и полететь... нет, все нормально. Баламут чертов, подъехал со спиртом. Я ж не святой, но я его отбрил — носом закрутил, пузатый. Надо, я тебе и так сделаю, только человеком будь...»

Размышляя, он вернулся к разобранной аварийной динамомашине и тихо двигался, сбрасывая отечные от сажи клапаны в поддон с соляром. Рожков копался под плитами, поджимал фланцы. Иногда высовывал голову в берете, со слипшимися от масла волосами на висках, рассказывал о вчерашней выпивке с молодым зятем. И было видно, что он мучается с похмелья, не вычистил утром зубы, десны бледные.

Михаил Максимыч насильно вслушивался в его речь, старался сосредоточиться на работе; вспоминал жену — сегодня было ровно четыре года, как она умерла. Он отчетливо помнил эти жуткие похороны, как про-

пихивали гроб с ее телом среди тесных оград кладбища. Могила была короткая, но на дне ямы имелось углубление, сделанное, чтобы не долбить верхний мерзлый слой земли. Гроб втиснули туда узким концом. Михаила Максимыча потрясла эта немыслимая пещерка — слезы не обронил. Смерть Анны понял лишь на третьи сутки, когда наступил нечаянно на брошку, выпавшую из шкафа...

Он очнулся от горестных мыслей и увидел на трапе мальчика. Ему стало совестно, что заморозил человека,— лучше бы в тепле отирался.

Мальчик спустился и протянул озябшие руки к котлу.

— Ох и грохот здесь!

Михаил Максимыч спрятал глаза за очки.

— Разве? Машина тихая, аккуратная. Вот когда кровь из носа плывет у механиков после вахты — тогда да. Есть такие дизеля с газовым наддувом... А тут деревня... Гайки отвернул?

— Сделал.— Мальчик вздохнул, щурясь от света, и показал ссадину на большом пальце.— Ноготь защемил... Там неудобно.

— Ага. Бывает. До свадьбы заживет...

Трофимов встал и вдруг пошатнулся.

Мальчишка испуганно схватил его за локоть.

— Что с вами?

— Ладно, отойди, уже прошло. Мотор вразнос идет...

Михаил Максимыч потрогал грудь, где сердце, и снова склонился над поддоном. Теперь он двигал одними кистями, черными от сажи и графита.

Из-под машины выкарабкался Рожков и заорал:

— А, молодая смена. Приветствую вас! Пахать мал, боронить велик, а за водкой послать в самый раз. Пошлем, Максимыч?

— Не гаерничайте, вам не к лицу,— вежливо обрезал мальчик.

Рожков нахлобучил ему на глаза каску.

— Ишь ты, механик пожаловал! Яйца курицу учат...

Мальчик отдернул голову, поправил каску и ответил с достоинством:

— Вы несправедливый человек.

Повернулся и пошел прочь.

Михаил Максимыч поднял позеленевшее лицо.

— Со своими детьми, наверное, так не обращаешься?

— Что я сказал? Пошутить нельзя. Салага, а гонору вагон.

Рожков разозлился и бросил ключ на плиты. Вахтенный моторист подобрал ключ и вытащил из-за электрощита потные бутылки с пивом.

— Угощайтесь. Не обращайте внимания. Парень занозистый, но обкатается...

Рожков раздвинул рот в стертую улыбку подхалима.

— Я и говорю. Терпеть не могу этих хлюпиков, интеллигентные все стали: «Прошу вас...», «Вы несправедливы». Тьфу!..

Он еще долго ворчал, откупоривая бутылки.

Втроем они промочили горло, сидя верхом на пожарном ящике.

— В трюм пойдешь делать настил без своих выгибонов. Проследи, чтобы пацан в три часа домой ушел,— приказал помбригадира. Яшка недовольно кивнул.

Они задержались минут на пятнадцать. Рожков давно вернулся из трюма и мысленно честил Михаила Максимыча: «Дьявол железный, поцарствуй последние деньки».

Соляр щипал глаза. Они устали от работы, несмолкаемого грохота и белого сияния машины.

Наконец Трофимов разогнулся и выдохнул:

— Шабаш.

Лицо его осунулось, и ростом он стал будто ниже.

— Можешь быть доволен. Заработали кучу.

Он не сразу двинулся с места, оглядывая машину. Рожков пропустил мимо ушей подковырку помбригадира, собрал инструмент, вытер лоб грязной ветошью.

— Никогда столько не делали. Завтра кончим, если парень снял трубы. Там все заржавело. Пожалуй, он еще сидит в танке,— сказал Рожков и ухмыльнулся.

Трофимов сбычил голову, медленно плюнул.

— Я что сказал?

— Он сам напросился. Давай, говорит, сниму...

— Тебя бы засадить, паразита!

Трап зазвенел от шагов помбригадира.

С залива дул ветер со стеклянным гулом. В трюмах орали окоченевшие грузчики. Твиндеки уже были чистые

и белые от просыпанного талька. Трофимов закрыл пропотевшую грудь брезентом куртки, обождал, пока кран пронесет сеть, набитую тюками.

Солнце давно зашло. Прожектора голо и жестоко светили. У борта копошился буксир с длинной старомодной трубой. Труба чадила коричневым дымом.

«Малец сообразительный, не будет же сидеть там. Небось дома чай с булкой пьет, а может, на камбузе отирается...» — успокаивал себя Трофимов. На всякий случай заглянул на камбуз. Перевернутые кастрюли стояли рядком. Он вышел из коридора. Над темным провалом трюма горела люстра. Внизу у люка валялись каска и разобранные секции.

Михаил Максимыч спустился и пощупал рукой ржавые фланцы: трубы были те самые, какие Рожков отметил мелом.

Помбригадира пропихнул свое тело в лаз и стал прислушиваться. Вдали мелькал огонь переноски. Шуга терлась за бортом, и тонко позванивала сталь.

Он не хотел двигаться дальше, лезть на животе. Когда судно шло в балласте, то в этот танк закачивали для устойчивости воду морей или рек. От стенок несло сероводородной гнилью. Ему стало тяжко дышать. Железо было холодное и липкое.

— Эй, парень! — крикнул он вглубь, голос его задрожал.

Звяканье и всхлипыванье прекратились. Шаркнула отсыревшая одежда, голова свесилась с труб. Тонкий замерзший голос произнес:

— Сейчас.

«Вот упрямый черт!» — подумал Трофимов и раздраженно крикнул:

— Вылезай, дура трехступенчатая!

— Сейчас,— снова пискнул голос.

Михаил Максимыч наливался слабой злобой: «Дура бамбуковая, из-за него я опоздаю на хоккей...»

Он встал на карачки на дощатый настил. Горбыли были жидкие, прогибались под его тяжестью, хлюпали в грязи. Колени тотчас промокли.

Трофимов нащупывал лазы в толстых днищевых флорах. От дифферента вода переливалась. Проход сужался. Грузное тело помбригадира ударялось о железо. Трофимов кашлял и плевался от густого смрада. В тем-

ноте зацепил о кницу хронометром. Стекло хрустнуло. Накаленный добела, он просунул голову за переборку и увидел распластанного на трубах мальчишку.

— Я говорю вылезай! — заорал Трофимов банным голосом.

— Сейчас,— повторил свою фразу мальчишка и икнул от холода.— Она поддалась.

— Кто поддалась?

— Последняя гайка...

— Бросай к черту. Обрежем автогеном. Слышишь, тебе говорю! Что тебя, выкуривать отсюда?

Мальчик снова икнул.

— Дай подержу,— вдруг смягчился Трофимов, подполз к нему и пощупал фланец: три болта были отвернуты. Мальчик подвинул локоть, протянул ключ и прошептал:

— Вдвоем мы быстро управимся, верно?

— Верно,— подтвердил Михаил Максимыч. Часы тикали на его руке, но стекло было разбито. Он снял хронометр, завернул в тряпицу, сунул за пазуху.

— Теперь давай.

В утробе корабля глухо рокотал дизель, дрожь его передавалась по трубам. Гайка со скрежетом обдирала соленую ржавчину. Мальчик гнулся от напряжения, стуча коленками.

«Тут и взрослому не под силу,— подумал Михаил Максимыч.— Но мне туда не забраться».

Он мог приказать бросить это дело до завтра, с автогеном здесь пять минут работы. Но что-то удерживало помбригадира.

Труба уже свисала свободно, остался последний оборот ключа. Трофимов приподнял фланец, выдавил болт. Мальчишка засмеялся:

— Я же говорил, вдвоем быстро...

Михаил Максимыч ухмыльнулся. Он мог бы уже побаловать себя пивом на выходе и успеть на матч, а он сидел в затхлом танке с этим несмышленышем.

Они вытащили трубу в трюм и полезли через твиндеки, цепляясь за ледяные скобы. Небо над головой было фиолетовое, маленькие непротертые звезды висели над бимсом.

Мальчик и Трофимов потоптались наверху, дуя на одеревеневшие пальцы. Над трапом горела огромная

люстра с рефлектором, освещала маслянистую воду у причала.

— Как тебя зовут-то?—сурово спросил Трофимов, застегивая на груди брезентуху.

— Я же говорил вам, когда шли сюда...

— Не помню, не помню. Заработался, брат...

— Славиком меня зовут...

— Понятно. Святослав. Князь такой был,— зачем-то сказал Михаил Максимыч.

— Лидия Петровна говорила, что вы бог по машинам, научите меня всему...

— Научу, научу, не торопись. А музыки не надо,— вздохнул Трофимов, и непроницаемое лицо его раздвинулось в улыбку.

Они спустились по трапу на берег и пошли, касаясь друг друга плечами.

Вдали гудел ледокол, ломая морские торосы.

Николай Фотьев

УМИРАЛ ЯМЩИК

Сколько ни поют эту песню, а трогает, тревожит она душу русскую, будит тайные печали, и слезы катятся, и жаль становится обиженных, забытых, несчастных.

Впервые от песни этой Валентин Пенегин заплакал, когда был восьмилетним мальчиком. Той патефонной пластинки давно уже нет, и кто пел, он до сих пор не знает, но голос и что было в голосе, запало в душу.

Пластинку ставили на патефон, который завезли в глухую сибирскую деревеньку люди, согнанные войною с родных мест — эвакуированные. Оказалось их в деревеньке несколько семей. Одна семья жила у стариков Пенегиных, которым Валька приходился родным внуком. А когда фашистов погнали и приезжие стали возвращаться домой, уехала и та семья, что стояла в Валькином доме и оставила Пенегиным в подарок патефон. Отличная машинка — патефон, да хороших пластинок к нему почти не осталось. Одни заиграны были донельзя, другие поколоты.

Вальку одолевала тогда тоска. Уехали не только взрослые, полюбившиеся ему люди, но и дружки его, в том числе и бледная остролицая девочка, из-за которой (теперь в этом можно признаться) у Вальки болело сердечко.

Потом случилось и вовсе горе страшное. Валькин отец, возвращаясь домой по ранению, не дошел до своей деревни — в дороге умер. Почерневшая от горя мать и старенький дедушка ездили куда-то хоронить отца и не возвращались долго-долго. Валька оставался с бабушкой, которая слегла было, потом кое-как, с помощью Вальки и соседских ребятишек, стала управляться по дому. Она все плакала и все гладила белесую Валькину

головенку. Она-то и разрешила ему однажды самостоятельно «поиграть» на патефоне.

— Поиграй, Валя, поиграй на патихоне-то... А я буду управляться помаленьку... О, господи!..

Вальке в ту зиму не в чем было бегать по улице, по буранам и морозам. Вот он и сидел в горнице, мастерил свои ребячьи поделки и крутил патефон. Однажды пришла Валькина тетка — доярка. Раньше у нее тоже был патефон — колхоз премию давал. Потом патефон сломался, внутренности из него вынули, а футляр приспособили, как сундучок, под всякую мелочь. Но пластинок сколько-то осталось, и, значит, что же?.. Значит, надо отдать пластинки Вальке. Вот и прибавилось у него еще несколько пластинок. В том числе и эта — про ямщика...

Сначала песня его никак не тронула. Как раз соседские ребятишки в горнице собрались — не столько слушали, сколько спорили, шумели. Но потом, когда Валька остался один и когда было ему тоскливо-тоскливо, пластинка эта довела его до слез. Валька сидел на бабушкином сундуке, поджав босые ноги и закрывая их подолом длинной рубахи, а рядом, на табуретке, пел патефон. Голос был мужской — широкий и тягучий, как большая река. Песня о ямщике начиналась исподволь, мягко и тихо, и все приближалась, наплывала, разрасталась. Казалось, где-то далеко-далеко начинал дрожать, заниматься таинственный свет, который потихоньку все шире охватывал ночную степь, поднимался ввысь, а потом так же полого снижался, отходил, замирал и, все уменьшаясь, уносился в жуткую даль костерком, свечечкой малой, искоркой, иголочкой светлой и, наконец, исчезал вовсе. И от всего этого было смертельно тоскливо и скорбно и вместе с тем жутко красиво. Сам голос затухал и утончался, как затухала и обрывалась тоненькой ниточкой скоротечная жизнь человеческая, жизнь ямщика того. Вот на этом-то затухании, на этом острие уходящего голоса, казалось, и скапливалась вся скорбь-тоска и безысходное одиночество. Вот с этого-то острия, как искорка последняя, срывалась и отлетала на веки-вечные жизнь догоревшая. Тоскливо, жутко и красиво... У Вальки на затылке даже волосики поднимались...

Хлопали ставни, завывал буран, сгущались сумерки, а из ящика на табуретке все звучала эта страшная

и красивая песня. И виделся Вальке не столько ямщик в тулупе, сколько отец — тоже в тулупе и в заячьей шапке. Таким он запомнился в прощальный день, когда на войну уходил. Веселый. И уехал весело. В кошевке и с гармошкой. Их было трое в той кошевке. Как крикнули, да как понеслись!.. «Грудь в крестах или голова в кустах!..» Таким вот и маячил то ли ямщик песенный, то ли отец родной где-то на краю большой степи, а мимо, как белые тощие волки, неслись и неслись косматые летучие снега и плакала вьюга. И по мере того, как затухала песня, истаивал, исчезал куда-то и силуэт отца, и оставалась от него все та же малая искорка, которая, взлетев по ветру, гасла, и теперь уже плакала только одна вьюга... И Валька тихонько плакал.

Песню эту, как и другие, записанные на пластинках, Валька выучил наизусть из слова в слово и нашел, что деревенские пели куплета на два, на три короче, и кое-какие слова не такие были, как на пластинке. В деревне пели: «замерзал ямщик». А на пластинке: «умирал». И вот что поразило Вальку, когда он стал сравнивать эти слова и думать над ними. Как это люди не поймут, что ямщик не мог замерзнуть на глазах у своего товарища. Не мог замерзнуть! Ведь при нем был товарищ — живой и здоровый. И в тулупе, как все ямщики. И лошадушки у них были справные, ямщицкие. И вот он замерзает и отдает наказ. С чего бы вдруг?! Да коснись Вальки, так он последнее дырявое пальтишко отдал бы, чтобы спасти товарища. На закорки посадил бы его и понес. А тут и тулупы есть у обоих, и лошадушки. И вот — нате вам! Замерзал!.. Да не бывает так у людей, у товарищей — тем более. Шибко вранье получается. «Умирал», как на пластинке,— это другое дело. Тут все правильно. Умирал отчего-то человек в степи, в дороге. Может, и погода стояла хорошая, и тулупы, и пимы, и поесть было чего, лошадушки сытые, но вот беда настигла: почуял человек, что умирает. Мало ли что случается в дороге. Может, и жизнь-то у него не очень путевая была. Может, чувствовал себя виноватым перед кем-то, а может, люди перед ним шибко провинились, всяко бывает. Потому и просил он схоронить его на особицу, вот здесь, в степи глухой, по который привык ездить и столько всяких дум передумал тут. Может, степь-то ему глянулась больше всего на свете...

Но что бы там ни было, а как только представлял Валька его одинокую могилку средь степи глухой, неоглядной, над которой только снега метутся, да вьюга плачется, да волки воют-рыскают и нет ни одной родной души поблизости, так сердце замирало, в комочек сжималось... Ох!.. А весной снега растают. Степь приветной сделается. Зеленой травой и всякими цветами покроется, и жаворонки зазвенят над ней, и небо, и солнце будут радость лить, а он... один-одинешенек, здесь, вдали от людей захороненный!..

И все это — и умирание в степи глухой, и наказ товарищу передать поклон, лошадушек, кольцо обручальное, и просьба схоронить в степи глухой, и вечный одинокий покой, все опять и опять казалось сказочным, жутким и душевно красивым...

...С тех пор прошло больше тридцати лет. Много раз Валентин Пенегин бывал на разных концертах. Много хороших песен слышал и давно уже относился к настоящим песням, как к самой красивой правде о душе человеческой. Но эта, про ямщика, все с той же, прежней силой тревожила душу.

Работал Валентин в комбинате бытового обслуживания — с тех пор как получил специальность настройщика музыкальных инструментов. Лишнего не пил, зарабатывал неплохо. Имел жену, двоих детей. Дома, считай, все было, что по нынешним временам требуется. И лад в семье был. Правда, жена не сразу свыклась с его характером. Что думает Валентин, то и говорит, невзирая ни на что. Нет, он не оскорбляет никого, не скандалит... Уточнять любит, чтоб все без фальши было. Когда в колхозе еще жили, про него так и говорили: а это тот, который «Я хоть не член правления, а думаю правильно!..» Все на собраниях «уточнял». В городе, в бытовом комбинате, попервости тоже прослыл вроде неудобным человеком. А специалист — хороший. Пятилетку за четыре года!

В концертах Валентину Пенегину более всего нравилось хоровое пение. О! Хор — это великая сила! Великая власть над душой человеческой. В хоре каждый не просто свой звук прибавляет, но и поднимает, вдохновляет других. В хоре каждый может сделать больше, чем по отдельности. Больше! Да еще столько голосов вместе! Такая красота и такая силища! Именно эта красивая

силища на деревенских праздниках сводила, бывало, воедино и друзей и врагов, и плохих людей и хороших. И все на какое-то время добрей становились, единодушней, чище. Хоровое пение роднило людей и как бы вкладывало в них новую душу: один за всех, все за одного. Сила это, сила! И в церквах не зря хоры когда-то держали. И революционные песни прежде всего на хоровое, на всеобщее пение рассчитаны. Много сделали для народа песни такие!..

Несколько лет назад Пенегин послал в газету, как он сам выражался, «статейку» под заглавием: «Черные коты на сцене». Он имел в виду как раз ту известную тогда песенку про черного кота, да еще то, что ездили тогда больше отдельные солисты с красивыми фамилиями, но с маленькими голосами. Приедет такой «соловей», микрофонов навтыкает на сцене, еще и в рот микрофон, как соску, возьмет и давай метаться по сцене, задком вилять, ногами дрыгать. Он, наверно, думает, что приехал к дикарям, каких сейчас же всех наповал сразит своим искусством. А отними у него соску эту, микрофон то есть, да перестань играть оркестр, так пшик только и останется от него. И все это ясно видят и понимают. Это все равно что в красивой обертке, вместо конфетки, дерьмо выдавать, да еще и денежки хорошие брать за это. Надувательство! Спекуляция!

Разве могут одарить чем-то хорошим эти прихехёшки дрыгоножные? Разве может такое «искусство» объединять людей и пробуждать чувства добрые и благородные? «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» А какие же тут порывы? Черные коты, они и есть черные коты. Конечно, кое-кому нравятся они. Например, мальчикам и девочкам молоденьким.

Было спору у Пенегина из-за этой статейки! Человек он настойчивый. И в редакцию ходил, и в филармонию, и в отдел культуры. И везде ему, как сговорившись, объясняли, что искусство должно быть разнообразным и разножанровым.

— И хорошим! — перебивал Пенегин.— Понимаете — хо-ро-шим! Нравственным!

— Но вы же не композитор, не искусствовед, не музыкальный критик,— говорили ему.— Это же серьезная тема. Если хотите по-серьезному, то давайте пишите

объективно и доказательно про эти, как вы говорите, «кошачьи концерты». Докажите сначала. А вы сразу взялись обобщать.

— А могу я как рядовой слушатель высказать публично свое мнение или не могу?

— Конечно, можете. Пожалуйста...

И появилась в газете не статейка, а что-то вроде частного пожелания. Дескать, наряду с легкой музыкой не худо бы в концерты включать побольше народных и хоровых песен. На работе товарищи хвалили Валентина Пенегина. Соображает. Волокет!.. А он никак не мог объяснить, что хотел совсем по-другому вопрос поставить.

Однако если тогда были только споры да мелкие хлопоты, то в этот раз Валентин Пенегин чуть-чуть не схлопотал пятнадцать суток. Приехал в город хор. Как будто прислушивались в области к таким, как Пенегин. А раз хор, то, конечно же — хоровое пение. И не про черных котов, а про то, как едет кто-то за туманом да шагает по песку и по гравию и слагает свою героическую биографию... И не ошибся Валентин Пенегин. Хор был просто великолепен! Сто душ — как одна душа! Мороз по коже.

У хора была и эта песня — про ямщика. Слезы благодарности навернулись у Пенегина, когда ведущий объявил ее. Такой прекрасный хор и такая задушевная песня!.. Рыдать будут!..

Умница-дирижер или кто-то еще, кто разрабатывал музыку, такое сделал вступление, что закрой глаза — и все увидишь наяву. Громадную, пустынную, заснеженную степь увидишь. Необъятная эта снежная равнина таинственно гудит, как пустой вселенский колокол, а под ним снуют и свищут, стонут и завывают вьюги большие и малые и шумит-шуршит холодный сыпучий снег, и ночь тяжело нависает, и тоскливо, и одиноко тут живой душе человеческой. И «в той степи глухой замерзал ямщик...»

...Сначала Валентину показалось, что он ослышался. Неужели спели «замерзал»? Неужели и они не понимают?.. Но нет. Он не ослышался. Хор повторил еще раз: «Замерзал ямщик».

Испортили! Ух, испортили такую песню! Деятели! Лишь бы музыка, а слова — хоть какие. Да ведь у песни-то два крыла должно быть. Слова — одно крыло, музыка — другое. А у вас одно крыло машет, другое пашет... Да как же можно?! Полон зал народу, а вы врете ему: «Замерза-ал»... Эх, вы!.. Всю ценность, всю совесть души вынули! И никто не чешется. Это же ужасно, как дамы говорят. Дискредитация. Вот, дескать, каков русский человек! Нехороший. Один замерзает, а другой рядышком стоит и слушает наказ его спокойненько. Пой, мол, пташечка, пой... Замерзай себе... Ведь я-то жив-здоров, не мерзну нисколечко и лошадушки в исправности. Без горюшка домой доберусь...

Вон оно как получается с вашим «замерзал»! Да разве можно из такой благородной человеческой драмы делать такую глупость?! И никто не замечает. Как будто так и надо. Хлопают...

А хлопали много, дружно, от души вызывали на «бис». Но как только зал затих и ведущий собрался объявить следующий номер, Валентин Пенегин вскочил в своем ряду и крикнул громко:

— Товарищ ведущий!.. Товарищ ведущий! Скажите своим товарищам, что они неправильно в одном месте поют!.. «Замерзал»— неправильно!— и Пенегин энергично помахал рукой.— Неправильно!..

А зал зашумел, заворочался, загудел, как улей, и ни черта ведущий не расслышал.

— Товарищ ведущий! — надрывался Пенегин.— Вместо «замерзал» надо петь «умира-ал»! А то что же у вас получается... Вранье!..

А зал прямо-таки взорвался, будто на огонь керосину плеснули, и Пенегин перестал слышать даже собственный голос. Да и других, отдельных голосов не слышно было. Но под конец он все же разобрал кое-что.

— Чокнутый какой-то!..

— Дурак пьяный.

Да это же о нем, о Пенегине!

— Чего-о-о?! — взвился он, поворачиваясь и глядя на всех, как на обманутых дурачков.— Это я-то пьяный?! Шутить изволите. Это вы ничего не различаете. Накушались и спите тут! — Пенегин чиркнул ребром ладони на уровне кадыка.

— Минуточку!.. Минуточку!..— попытался остановить скандал ведущий.

— Выгнать к чертовой матери!..

— Вывести!..

— Сиди и не выступай!..

И все это ему кричали! Валентину Пенегину! Весь зал!..

— Мне жаль вас! — махнул Пенегин рукой и укоризненно покачал головой.

В ту же минуту его похлопали по руке, выше локтя. Он подумал, что это жена, Ирина Павловна, отмахнуться хотел, но руку вдруг сильно сжали и потянули в сторонку. И Пенегин увидел милиционера.

— Чего-о-о?! — вскричал он, да так и оставил раскрытым от удивления рот.— Да вы хоть понимаете, о чем тут речь?!

— Пойдемте, пойдемте... Спокойно... Не будем срывать концерт.

— Срывать конце-ерт? Да я же как раз...

А милиционер — не молодой, не старый старшина — перед самым носом Пенегина, будто заглушкой, подвигал своей широкой ладошкой, прося помалкивать и не мешать вести концерт...

— Пошлите, пошлите...

И Пенегин пошел, конечно. С милицией много не наговоришь. Однако едва они вышли в фойе, как Пенегин пустился объяснять свое поведение. А старшина все вел да вел его за локоток и ничего не говорил. Потом он отпустил его локоть и показал на какую-то боковую дверь. Оказалось, что в храме искусств и для милиции с дружинниками помещеньице имелось. Сюда же, вслед за ними, заглянул и человек из отдела культуры, которого Пенегин помнил по прошлой беседе насчет «черных котов». Человек этот показался Пенегину добрым по натуре, но говорил только прописными истинами вперемешку с демагогией и сильно «ерлыкал» («Вот и прлекрласно!» — сказал он в тот раз на прощание.)

В комнате за столом сидел молодой, рыжеватый, спортивного вида лейтенант с интеллигентным лицом и вузовским ромбиком на груди. Он сразу чем-то понравился Пенегину. Не изображал из себя всесильного распекателя, как иные... некоторые!.. «Умный. Образованный. Поймет...»

— Что, Иван Иваныч? — спокойно спросил лейтенант у старшины.

— Да вот. Заспорил с артистами... Прям из зала...

— Да не заспорил я! Я хотел сразу же...

— Минуту... Вы идите, Иван Иваныч, смотрите концерт. А мы тут побеседуем. Садитесь.— Лейтенант указал Пенегину на диванчик.

Пенегин вздохнул и, покручивая небольшой своей лысоватой головой, пошел к диванчику. А за тонкой, плохо прикрытой дверью старшина и человек от культуры весело смеялись, и слышно было, как ерлыкающий голос, удаляясь, сказал: «Да это же несерльезно!.. Прлосто прлохиндей какой-то...»

— Сам ты прох...— вскинулся было Пенегин, но, увидев предупреждающий жест и смеющиеся глаза, замолк и тоскливо уставился на лейтенанта.

— Вы, насколько я догадываюсь, человек совершенно трезвый,— начал вроде бы доброжелательно лейтенант.

— Спасибо. Именно так. Я вообще к этому делу... А чтоб на концерт прийти, тем более.

— Ладно. Давайте по существу.

И Пенегин, благо больше тут никаких нарушителей не было и лейтенант не торопил, не перебивал его, рассказал ему все, как на исповеди. Даже с чего все началось припомнил. С патефона, в тот страшный, последний год войны. Узнал лейтенант и о том, что Пенегин уже выполнил пятилетку.

— Да-а,— сказал лейтенант.— Я не силен в искусстве, но по существу с вами согласен... Но только по существу. По форме вы вели себя, мягко говоря, странно. Можно ведь было все сказать в другое время. Вот так, как мне.

— Да где там... Ищи потом. Лучше уж так, как у вас, в милиции.

— Не понял.

— А вот так. Что лучше: предупредить новое преступление или ждать, когда оно повторится?

— Предупредить и обезвредить.

— Во, во! Вот мы и договорились. Вот я и хотел, чтобы они сразу же знали, что врут, наносят вред песне и человеческому понятию. И чтоб больше этого не

было. Они ведь и дальше ездили бы и пели везде: «Замерза-ал... Замерза-ал...»

Кончилось тем, что в перерыве после первого отделения концерта, лейтенант с Пенегиным очутились за кулисами и предстали перед длинным костлявым молодым человеком, который оказался хормейстером. И уж не столько Пенегин, сколько лейтенант объяснил хормейстеру, в чем, собственно, суть дела. Причем лейтенант уложился всего в каких-то три минуты. Пенегину только и осталось сказать:

— Посмотрите в песенник, если мне не верите.

Хормейстер слушал, тянул длинную шею, щурил глаза и все дружелюбней поглядывал на них. Потом изогнулся всей костлявой спиной и сунул длиннопалую руку Пенегину.

— Благодарю! Благодарю, дорогой товарищ!

Когда началось второе отделение, Пенегин опять сидел на своем месте рядом с Ириной Павловной, и она его потихоньку теребила за рукав. «Ну и как?.. Чем кончилось?..»

Меж тем на край сцены вышел костлявый хормейстер и дождавшись абсолютной тишины, сказал:

— Дорогие товарищи. От имени нашего хора выражаю благодарность товарищу...

— Пенегину! — подскочил и подсказал Валентин.

— Выношу благодарность товарищу Пенегину за деловое замечание по существу известной вам народной песни. Оказалось, что это очень важно. Спасибо!..

Он театрально поклонился всему залу и, как ходячая каланча, удалился.

А в зале вдруг захлопали. В том самом зале, который полчаса назад орал и шикал на Пенегина!

— Запомните! — крикнул Пенегин всем, кто был тут, и, присаживаясь, добавил негромко, на выдохе: — Проходимцы.

Началось второе отделение.

Павел Нилин

ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

Не понимаю мужчин-алкоголиков. Что это значит — «не могу отстать от водки»? Вот, скажем, я. Уж как я безумно любила кино, даже выразить невозможно. Бывало, хлебом меня не корми, только показывай мне кино. Некоторые картины я по два, по три, по четыре раза смотрела. Но как родилась Тамара, тут сразу все оборвалось. А почему? А потому, что когда воспитываешь ребенка, тем более без мужа, надо думать в первую очередь о ребенке. И о том, что ему требуется и печенье, и молочко, и конфетки, и туфельки. И, стало быть, нечего тратить деньги на пустяки. Лучше их придерживать — на всякий случай. Ребенок — это уже превыше всего.

Хотя многие, конечно, считали, что Тамара — ошибка моей молодости. Я родила ее, когда мне не сравнялось и восемнадцати. И о замужестве, понятно, никакого разговора не было. И не могло быть, потому что Виктор, как говорится, пожелал остаться неизвестным. И уехал сейчас же куда-то на стройку на Ангару, не сообщив даже адреса.

А я осталась одна с Тамарой в общежитии. То есть не совсем одна, но почти что одна — с двумя подругами, тоже такими же, как я тогда, бетонщицами, Галей Тустаковой и Тиной Шалашаевой.

Было это больше двадцати лет назад, но я до сих пор помню все до мельчайших подробностей, как эти две мои подруги привезли меня из родильного дома в общежитие. И даже купили по этому случаю цветы и бутылку красного вина, чтобы самим же тут выпить за здоровье моей дочки.

Все было в какой-то, я помню, суете. И больше всех суетилась, как всегда, Галя Тустакова.

— У нас,— говорила,— внизу, в красном уголке, идет сейчас очень важное собрание насчет морального облика. Ты, понятно, не пойдешь. А мне велел Осетров выступить. Позволь, я надену на минутку твои чулки, поскольку, понимаешь, у меня чулок поехал, спустилась петля.

— Пожалуйста,— сказала я. И тут увидела вошедшего к нам коменданта Личагина.

— Ну, поздравляю тебя, Антонида,— сказал Личагин. И без приглашения налил себе стакан вина из этой бутылки. Выпил, вытер губы о скатерть, вздохнул.— Но ты,— сказал,— взойди в мое положение, Антонида. Ребенок, тем более девочка, это очень хорошо. Но находиться здесь, в общежитии, по правилам внутреннего распорядка ей ведь совсем не положено. Она получается для нашего дела как постороннее лицо. После двадцати трех часов, ты сама понимаешь, у нас тут все должно быть мертво. А ребенок в общежитии в любой момент может заорать или что угодно сделать. Значит, отсюда какой будет вывод? Отсюда такой будет вывод, что я должен буду тебя выселить. И как можно скорее...

После этих слов я сидела с моей девочкой очень расстроенная, хотя я, конечно, и раньше понимала, что из общежития мне придется уйти. Но не сию же минуту.

Я была уже готова заплакать, когда с собрания первой вернулась Тина Шалашаева и сообщила еще одну новость. Оказывается, в прениях по докладу о моральном облике выступила раньше всех наша лучшая подруга Галя Тустакова и в виде примера морального разложения привела не кого-нибудь, а меня, которая-де родила без мужа и даже из роддома, мол, некому ее, то есть меня, забрать.

— А что особенного-то? — даже обиделась на меня Галя Тустакова, когда я ей сказала, кто она такая.— Осетров,— говорила,— еще месяца два назад попросил меня подготовиться к прениям и привести примеры. У меня,— говорила Галя,— вообще-то сперва была наметка коснуться в первую очередь только Катьки Марьясиной, поскольку у нее ребенок тоже ни от кого. Но опять же поскольку она на днях вышла все-таки замуж, я ее касаться не стала и вычеркнула из своей речи.

У меня же,— говорила Галя,— вся речь заранее была отпечатана на машинке в стройконторе. Правда, Осетров мне многое сократил. А то, сказал, похоже будет не на речь, а на содоклад. Но все примеры Осетров оставил. И насчет Золотовой Нельки и насчет Зинки Пурышевой. И, конечно, насчет тебя. И ты не сердись. Это же все для пользы дела. Для твоей же пользы. Моральный вопрос сейчас важнее всего. И я должна была выступить, поскольку мне было поручено. А что особенного-то? Это же не секрет, что ты крутилась с этим Витькой Кокушевым. Да если б у меня были твои женские данные, я этого Кокушева Витьку на метр бы к себе не подпустила. На что он нужен, какой-то недоученный слесаришка и, кроме того, питух? Ну что с того, что он в зеленой шляпе ходит и в брюках трубочкой? Как какой-нибудь артист. А теперь из-за этого его поступка ты должна будешь не только выехать из общежития, но, может, даже и лишиться образования. Ты же,— говорила Галя,— не сумеешь в одно и то же время и ребенка воспитывать и учиться хотя бы и заочно. Ну что, неправда?

Получалось так, что Галя говорила правду. Учебу мне пришлось бросить (а я училась хорошо и с большим интересом). И из общежития пришлось выехать. А в деревню к маме я уже не могла возвратиться, вернее, не хотела, чтобы по деревне пошли ненужные разговоры на тему как, где и от кого.

Правда, по прошествии некоторого времени я обзавелась собственной комнатой. Но это только легко сказать — по прошествии.

Тамаре было уже семь лет, когда я отсудила эту комнату после смерти одной старушки, у которой я снимала угол, а прописана была по-прежнему в общежитии.

Личагин, комендант, тогда меня выселил, но не выписал. И в этом мне помогла, тоже не надо забывать, Галя Тустакова. Она тогда хорошо припугнула Личагина.

— Я,— сказала она ему,— в случае чего свободно выйду на самого Осетрова, и он не только оставит ей прописку в общежитии, но и тебя, Личагин, может выгнать. Что это, разве Советская власть уже кончилась — женщину-одиночку с ребенком вот так вытряхивать?!

Личагин тогда не выписал меня. Наверное, струхнул. К тому же я вручила ему в свое время десятку.

Как бы там ни было и что бы сейчас ни говорить, все-таки я вырастила Тамару. Дала ей кой-какое образование. Хотя она укоряет меня теперь, что я сразу, с первого же класса не отдала ее в английскую школу, как, мол, делали другие предусмотрительные родители. Я, говорит она теперь, с английским языком объехала бы весь мир, могла бы, говорит, даже стать гидом-переводчиком при «Интуристе». Но я считала, что она и так устроена не очень плохо в этом ансамбле песни и пляски, куда она стремилась почти что с детских лет, еще даже не закончив школу, и куда ее в конце концов устроила опять же Галя Тустакова.

— Ух это змея! Она кого угодно незаметно обовьет и проглотит,— сказала когда-то про Галю Тина Шалашаева.

Но как-то так получилось на протяжении почти всей моей жизни, что не Тина, а почему-то Галя встречалась мне, когда я оказывалась в беде. Хотя с Галей и Тиной мои пути уже давно разошлись.

После рождения Тамары я все время моталась в поисках подходящей работы — такой, чтобы я могла и с дочкой побольше побыть и получше заработать.

Тамара люто хворала от года до пяти. Это, может, оттого, что Виктор, ее папа, когда я с ним, как по-деревенски говорят, гуляла, очень серьезно выпивал. То есть был, короче говоря, питух-алкоголик, хотя и красавец необыкновенный. И Тамаре достался как бы оттенок его красоты. Но хворала она в детстве долго и по-страшному. Одно время вдруг начала дергаться всем телом. И врачи не могли понять отчего. Сколько я денег из-за этого переносила хотя бы только одним гомеопатам, пока судороги у ребенка не прекратились. И все дни она, понятно, не отпускала меня, плакала, кричала: «Не уходи!»

Чаще я бралась за ночные работы, мыла, например, вагоны и полы на вокзале и в кинотеатре. А за девочкой ночью приглядывала старушка.

Днем, полусонная, я сама занималась с Тамарой, потому что она не захотела ходить в детский садик. Учила ее музыке и пению еще до того, как она пошла в школу. Водила ее к частному учителю — уже пенсионе-

ру. Откуда Тамара и забрала себе в голову стать певицей. Правда, я сама хотела этого. У меня у самой лично была когда-то такая мечта.

Да мало ли о чем я мечтала. Женщина я была еще совсем молодая.

Были у меня, конечно, кое-какие встречи и после Виктора. Был даже некто Ашот, техник по телевизорам, предлагавший законно расписаться. Но Тамаре он не понравился. Она считала, что у него слишком большие мохнатые уши, как, говорила она, у того Волка, что встретился с Красной Шапочкой. У Ашота уши действительно отчего-то мохнатые, в черном вьющемся волосе. Но человек он добрый, веселый. И опять — Тамаре не понравилось, что он очень громко хохочет. А главное, Ашот имел неосторожность однажды поцеловать меня при Тамаре. И после этого каждый раз, рассердившись, она кричала мне: «Иди целуйся со своим Ашотом!»

Тамаре в это время шел уже четырнадцатый год. Она уже многое понимала. И я боялась, что у нас может выйти с ней конфликт. Все-таки дочка была мне ближе всего. И постепенно я отошла от Ашота. Это несмотря на то, что он мне очень нравился. И я ему тоже, надо думать, была не противна. Он мне долго еще писал письма.

А Тамара была мне не только ближе всего, но в ней, как я надеялась (как все мы надеемся, когда думаем о своих детях), исполнятся, должны исполниться мои желания, мои мечты и надежды. То есть, может быть, они, наши дети, думаем мы, достигнут того, чего мы не смогли, не сумели достигнуть.

Тамара, окончив школу, мечтала поступить в ансамбль. И я с ней мечтала. Но в ансамбль ее сперва не приняли. Забраковали.

Тут и подвернулась мне опять уже моя бывшая, что ли, подруга Галя Тустакова, которую я теперь все реже встречала. Но при встрече она всегда в подробностях рассказывала, как живет, как, вернее, преуспевает. Ей, наверно, это приятно было именно мне рассказывать в том смысле, что вот какая она была и какая стала.

И каждый раз после этих разговоров у меня чуть щемило сердце и думалось: может, если б я в свое время не бросила учебу, сейчас я тоже стала бы кем-нибудь в главке, как Галя. Хотя, откровенно говоря, едва ли

я дотянулась бы до Гали. Она слишком шустрая в сравнении, например, со мной. Да и зачем сравнивать?

Осетров этот, помогавший ей и выдвигавший ее повсюду, то ли умер, то ли вышел на пенсию, кто его знает. Галя больше не вспоминала его. Она сама заняла уже какой-то серьезный пост, когда я при новой встрече пожаловалась между прочим, что моя Тамара никак не может продвинуться в ансамбль.

— Позвони мне послезавтра,— сказала Галя,— я узнаю, в чем там дело и кто от кого зависит. Скорее всего я этот твой вопрос легко проверну. А что особенного-то?

Дня через два она сказала:

— Пусть Тамара пойдет сегодня к четырнадцати ноль-ноль к такому Алтухову и скажет, что от Галины Борисовны.

— А кто эта Галина Борисовна? — спросила я.

— Ты что? — удивилась она.— Душевнобольная? Я и есть Галина Борисовна. Вы все привыкли по-старому: Галка да Галка. А я давно уже Галина Борисовна. А что особенного-то? И запомни, если чего тебе надо или в чем затруднение, всегда звони мне — домой и на службу. Я старую нерушимую дружбу не забываю. Я была и осталась демократкой. За это меня и любит окружающий народ.

Ну как тут считать — змея Галя Тустакова, как выразилась однажды Тина Шалашаева, или, напротив, не змея?

Она же помогла мне и при обмене одной комнаты на две, то есть на отдельную квартирку. И все вот так, будто между прочим. И обещала:

— Я приеду к тебе на новоселье. Или, скорее всего,— смеялась она,— на свадьбу Тамары. Надеюсь, Тамара не промахнется, как ее мама...

Тамара, однако, вышла замуж скорее, чем можно было ожидать, и почти что внезапно для меня.

С нынешним своим мужем, тоже Виктором, как ее пожелавший остаться неизвестным отец, она познакомилась в этом ансамбле «Голубые петухи», где он еще не работал, но куда со временем предполагал, наверно, устроиться.

Он то ли артистом себя считает, то ли режиссером,

то ли еще кем, этот Виктор. Ну, одним словом, он приезжий, откуда-то с Урала. И пока на работе еще не укрепился, но уже зарегистрировался с Тамарой. И, понятно, прописался в нашей маленькой двухкомнатной квартирке, которую я, лишний раз повторить, с таким трудом, хотя и с помощью Гали Тустаковой выменяла на ту однокомнатную.

Все-таки сколько новых домов ни строить, жилищный вопрос пока что остается. И, можно сказать, из-за него у нас закипел конфликт. Или не только из-за него.

Но тут я должна сперва объяснить, какой характер в отношении меня развился у Тамары.

Лет до семи, нет, даже лет до тринадцати ей, похоже, нравилось, что я не где-то мою вагоны и вокзал, а работаю теперь, как это официально называется, лаборанткой. Она как будто даже гордилась мной, говорила подругам:

— Моя мама работает в научном институте лаборанткой.

Потом она раза два зашла ко мне на работу, увидела, что я просто мою колбы, склянки, пузырьки, и, может быть, стала стесняться, что ли, что я не научный работник. Однажды сказала (но это ей было уже лет шестнадцать):

— Ты могла бы посвятить свою жизнь еще чему-нибудь.

Мне это было не очень понятно, что это такое и для чего это — посвятить. Я переспросила ее. А она вот так махнула рукой:

— А,— говорит,— что с тобой разговаривать! Ты все равно ничего не поймешь.

Я говорю:

— Как же это я не пойму? Ты понимаешь, а я не пойму? Все-таки я не какая-нибудь тихая дурочка.

— Ну как сказать,— засмеялась она.— Если б ты была не дурочкой, у меня сейчас был бы хоть какой-нибудь реальный отец.

Вот так и сказала — реальный. И вы знаете, я не нашлась, что ей ответить.

И с того разговора — это было лет восемь назад — она как бы забрала всю власть надо мной.

Я все еще кормила, одевала ее, старалась даже что-нибудь модное ей сделать. Ходила по домам убираться,

чтобы Тамара ни в чем не чувствовала нужды. Я старалась, кажется, изо всех сил, но главной в доме, то есть в нашей двухкомнатной квартирке почему-то оказывалась уже не я, а Тамара.

И я порой сама чувствовала себя как бы виноватой перед ней, что я, например, не только без мужа живу, но к тому же и не младший научный сотрудник в нашем институте, а всего-навсего лаборантка — мою колбы, склянки и, когда приходится, полы.

Конечно, и этого Виктора Тамара привела к нам в квартирку на постоянное жительство не спросясь. Только сказала с улыбкой, положив передо мной заявление в жэк:

— Вот тут распишись, что просишь прописать на твоей жилплощади твоего зятя, мужа твоей дочери.

— А пропишут? — спросила я.

— А как же смеют не прописать,— почему-то засмеялась она,— если это мой законный муж и я с ним оформлена? Не может же он постоянно ночевать на вокзале...

В то время Тамара уже неплохо укрепилась в этом ансамбле «Голубые петухи». (Их теперь видимо-невидимо развелось. Поют и пляшут, как перед большой бедой.)

А Виктор, как я потом поняла, только числился где-то, но нигде не работал. Или, лучше сказать, работал на дому, но что делал — понять было невозможно, потому что дверь в одну комнату, самую большую, он запирал наглухо и даже заказал для нее отдельный врезной замок.

Один раз я спросила Тамару:

— Что он делает?

— Во всяком случае, не фальшивые деньги,— засмеялась она.

Хотя смешного ничего не было, потому что тут же она сказала:

— Денег у нас нет. Я знаю, у тебя на книжке есть деньжонки. Дай нам взаймы сто рублей. Я скоро рожу. Надо бы кое-что в связи с этим прикупить.

Вот так я стала бабушкой — в сорок лет. Даже полгода до сорока еще недобирала. И радости моей не было границ. Я полюбила внука, может быть, даже боль-

ше, чем когда-то Тамару. Я бежала теперь домой с работы просто сломя голову, чтобы скорее увидеть внука взять его на руки.

Я хотела, чтобы его назвали Николаем хотя бы потому, что я сама Антонина Николаевна. Но Виктор придумал ему имя — Максим. Ну, Максим так Максим. Какая разница? Мальчик получился красивый — крупный, с веселыми, даже чуть озорными голубыми глазами, как у того Виктора, который сбежал и которого полагалось бы забыть навсегда, но он, верите ли, снился мне много лет чуть ли не каждую ночь.

Я сняла с книжки еще не одну сотню, как просила Тамара, а почти что все, что было у меня, потому что, я вижу, у этого Виктора, отца Максима, только и хватило сил придумать имя ребенку, а коляску и весь остальной приклад надо как-то добывать.

— Все-таки что же он предполагает делать? — насмелилась я спросить однажды Тамару о ее супруге. — Ведь надо бы что-то делать...

— А он делает, — сказала она — Но это не вашего ума дело. Он, понимаете, творческий работник. И вам же будет стыдно, когда он что-нибудь такое создает.

Не могу понять, почему же мне-то должно быть стыдно. Да пусть он, думала я, создает что хочет на доброе свое здоровье.

Всячески я старалась ему угодить. Все-таки это же не кто-нибудь, а муж моей дочери и отец моего внука. А что он там делает за закрытой дверью, и действительно не мое дело. И не мое дело, что он нигде на службе не состоит и поэтому не имеет нормального заработка. Это уж, кажется, их с Тамарой дело. Но опять же не могла я не переживать, что Тамару хотя и похвалили один раз в «Вечерней Москве», а зарплаты-то ее одной на все семейство все равно не хватает. Тем более у них, то есть у Тамары с мужем, постоянно гости. И все народ отборный: этот художник, тот музыкант, этот опять же чуть ли не поэт.

Замечала я, однако, по некоторым данным, что все они — и молодые и, как Виктор, уже не очень молодые — тоже не шибко укрепились в жизни. И хотя многие из них нравились мне, но отчего-то некоторых мне постоянно было жалко.

Наверю я другой раз большую кастрюлю борща с са-

лом, с фаршем, накрошу туда еще сосисок. Едят, хвалят и меня приветствуют.

Ругали они все больше своего брата — артистов, режиссеров, поэтов. А когда выпьют, хвалили чаще всего зятя нашего — Виктора. Вот, мол, кто бы мог по-настоящему сыграть Улялаева, но бездарности, мол, преграждают путь. Кто уж этот Улялаев, но я часто о нем слышала.

Гости Виктора, бывало, хорошо едят, аж душа радуется, глядя на них. И Виктору я по забывчивости наливаю борща, но Тамара сейчас же даже с какой-то злостью кричит мне через стол, что, мол, пора вам, мама, давно запомнить, что Виктор первое не ест. А это значит, ему надо положить два вторых, чтобы он наелся. И учесть, что картошку он не ест. И макароны, и хлеб, и кашу тоже не употребляет. У него диета. Словом, как у народного артиста. И он чувствует себя как народный артист. Но нам-то, окружающим его, Тамаре и мне, это почти что не под силу.

Правда, грех мне еще жаловаться на недостаток сил. Все-таки я женщина, без хвастовства могу сказать, хорошего здоровья.

В субботу и воскресенье, вместо того чтобы с соседками переколачивать ерунду или смотреть опять же у соседей с утра до ночи телевизор, я почти что играючи вымою в двух жэках подъезды и еще за эти два дня зайду в два-три дома убраться в квартирах. Десятка, другая, третья никогда не бывают лишними в любой семье. А в нашей они сгорают, как на костре. Хотя соседки, глядя на меня, вроде завидуют. И до чего, мол, ты жадная на деньги, Антонина, даже в выходные дни берешься за дела, не жалея сил и здоровья. Но ведь не будешь всем все объяснять.

Тамару я к таким делам не приучала. Я ей внушала с детских лет только одно: твое, мол, дело учиться, а дальше, понятно, все придет к тебе само собой.

В детстве, лет четырех, она пристрастилась было шить куклам платья. «Дай мне, мама, нитку, иголку и ножницы». А я боялась, что она нечаянно уколет себя или иголку проглотит. Но она все-таки что-то такое шила. А сейчас чуть ли не пуговицу пришить идет в ателье. И несет туда эту самую пятерку или десятку, которых в доме постоянно не хватает и которую негде взять,

если не работать еще где-нибудь. Но многие теперь считают как бы зазорным для себя браться за черновую работу, находясь тем более на службе. Не понимаю, то ли очень гордыми мы все стали, то ли еще что-то с нами происходит.

Вскоре после рождения внука прибыл с Урала папаша Виктора, культурный, не очень еще старый мужчина, но уже пенсионер, бывший заводской мастер, теперь работающий в какой-то мастерской без потери пенсии.

— Сын,— говорит,— не писал нам и не давал своего адреса до тех пор, покуда не прославится. Но мы сами с женой поняли, что нам этого, то есть славы его, может быть, совсем и не дождаться, а он, как ни вертеть, дитя наше, и без славы он все равно нам дороже всего.

Виктор был недоволен приездом отца. Хотя деньги взял, что привез отец. Разговаривал с отцом очень грубо, тоже как Тамара со мной, в том тоне, что, мол, кто ты, и кто я, и для чего ты явился. И что все, мол, вы можете понимать только материальный интерес: набили брюхо — и довольны.

А со мной отец Виктора разговаривал сердечно и чуть не слезно жаловался—упустили, мол, мы парня еще в самом нежном возрасте. Забил, мол, он себе в башку только одно: хочу быть артистом. И мы с матерью — она библиотекарь — сперва поддерживали его в этом плане: водили в театр, приглашали даже на дом артистов, ну не из сильно знаменитых, но все-таки вполне толковых, которые, представьте себе, находили в нем талант. Но я сам, говорит отец, имел другую идею. Я хотел и мечтал дать ему в руки сначала крепкое какое-то ремесло, чтобы он имел навсегда свой надежный кусок хлеба, а потом уж, думал я, пусть он выбирает что хочет: хоть театр, хоть кино, хоть там еще что. Я, рассказывает папаша, старался приохотить его к своему заводскому делу. Тем более было ему уже почти что пятнадцать лет. И в школе он учился не ахти как отлично. Наверно, его отвлекали эти театральные мечты. У меня все было по-другому, говорил отец. Я, говорил, в моем еще детском возрасте, будучи фабзайцем в железнодорожных мастерских, после работы, идучи домой, даже чуть будто нечаянно подмазывал себе сажей лицо,

чтобы все видели, что идет рабочий класс. Виктор же, напротив, как раз этого и стеснялся. Ну как же, его товарищи кто на газетного журналиста готовится, кто в поэты стремится. И в газетах и в детских книгах, которые мать приносила ему, писалось только о людях редких, возвышенных профессий. А тут нате — он, Виктор, всего только получается рабочий. Нет уж, если работать, так в театре, хоть кулисы и занавесы переносить, стулья переставлять. С этого он и начал. А потом его стали уже натаскивать — сначала в самодеятельности. И, представьте, хвалили. Даже в газете появилось заметки три, что вот, мол, сын рабочего и сам рабочий проявляет и так далее. Но кое-кто из его друзей уже прорвался в Москву. И Виктору как бы нельзя было отставать. А тут, в Москве, все, оказывается, по-другому. И, похоже, потерялся человек. А он, как ни крутить ни вертеть, сынок мой, и у меня, понятно, болит душа.

Говорил мне все это отец Виктора на бульваре при памятнике Гоголю. И, говоря так, часто переходил на шепот, будто страшась, чтобы прохожие не узнали, что случилось с сыном его. А потом сказал, вставая:

— Ну что ж теперь делать — случилось и случилось. Завяз человек. Теперь хоть внука надо уберечь от соблазнов ненужных. Насчет денег я так решил. Пока жив, я пенсию свою буду ему переводить. Нам с женой и того, что мы зарабатываем, хватит. А там видно будет. Может, Виктор еще уцепится за что-нибудь. Я иногда даже твердо надеюсь, что обязательно уцепится...

В то же время, когда отец уехал, Тамара мне сообщила, что к ним или к нам — уже не знаю, как лучше понимать,— должен в воскресенье прибыть Еремеев. Это большой человек в театральном мире. Знакомый Виктору еще по Уралу.

— Надо будет его хорошо принять, не поскупиться, чтобы он видел, что мы не нищие,— сказала Тамара.— Тем более отец Виктора привез деньги. Попробуйте, мама, сделать все как следует...

Ну конечно, если мне дано было такое поручение, я развернулась вовсю. Тут борщом, понятно, не отобьешься. Наготовила я всего, что позволили средства и возможности.

И Еремеев, правда, приехал. Высокий, будто красивый мужчина с очень нервным, сильно помятым лицом.

Вот сколько я живу на свете, никто никогда ни при каких обстоятельствах не только не целовал мне руку, но не часто и здоровался со мной за руку. А этот Еремеев, войдя в нашу квартирку с низким потолком, вот этак развернулся и поцеловал мне руку, отчего я в первую минуту не знала, куда мне девать себя. Ведь все-таки я женщина, можно сказать, дикая, без особого образования, хотя в последнее время и член месткома. И вдруг такой человек, как Еремеев, которого я лично и неоднократно видела в телевизор, целует мне руку вот с таким поклоном и даже стучит каблуками. Этого я, конечно, никогда не забуду.

Еремеев приехал не один. С ним еще были два артиста. «Для хора», как он сам выразился шутя. Но они все время молча выпивали и закусывали. И только когда сам Еремеев заметно хорошо выпил и начал говорить про какого-то Улялаева, которого может сыграть в Советском Союзе только один Виктор, они, эти двое, стали с шумом поддакивать, говоря, что Виктор, это сразу видно, железный человек, что он железно чувствует правду жизни, что он прямо-таки типичный Улялаев. И откуда взялся, удивляюсь, этот Улялаев? И кто он такой? А может, и не Улялаев. Может, я что-нибудь перепутала. Но я так поняла, что есть какая-то для театра или для кино очень важная роль, которую способен сыграть только наш Виктор.

— Просто на днях буду пробовать тебя на Улялаева, — пообещал Еремеев, еще не очень выпивший.

И при этом он все время говорил, что ему пить нельзя, что у него больная печень и что врачи ему просто категорически запретили выпивать, но изредка он все-таки позволяет себе, чтобы не разрушать компанию. А то, мол, некоторые говорят, что ты зазнался, Еремеев. У него же такая видная работа и в театре, и в кино, и на телевидении.

Мне понравился Еремеев внешностью своей и разговором. Вот это уж действительно артист.

Прошел, однако, год, а он так больше и не появился у нас. И, наверно, не вспоминал о Викторе. Видели мы Еремеева только в телевизор. Играл разведчика, потом

какого-то профессора. Но это уже не имело к нам никакого отношения.

— Халтурщик,— сказал Виктор, посмотрев на него в телевизор.

Тамара родила второго ребенка, опять замечательного мальчика, уже похожего, как говорили, на меня (а я все-таки не уродка). Назвали мальчика на этот раз Николаем, но не в честь моего отца, а в честь отца Виктора, который так и называется Николай Степанович. И хотя он не часто приезжает в Москву, но деньги на содержание семейства сына, то есть свою пенсию, полностью переводит, как обещал, ежемесячно.

Говорят, что до тридцати лет время идет медленно и не очень заметно, а после тридцати стучит, как счетчик на такси. Я это хорошо чувствую. И вижу, как все меняется вокруг меня.

Уже и некоторые из тех товарищей Виктора, что ходили к нам, постепенно уцепились за что-нибудь. Один вдвоем с товарищем нарисовал картину «У огненных печей», о чем даже было в газете. Другой удачно снялся два раза в кино в толпе. Третий еще чего-то такое сотворил. Ведь работы много. Работай сколько хочешь. Но чего греха таить, не все, я давно замечаю, далеко не все хотят работать.

И наш Виктор все раздумывает. Не сказать, что он лодырь. Целый день он читает какие-то книги и даже что-то пишет, но все это на дому и без последствий. Правда, в неделю раз или два он ездит на киностудию, но толку чуть.

А время идет. И уходит. Скоро уже дети его в школу пойдут.

...— Вы понимаете, что такое сила воли? — спросил меня отец Виктора, когда мы сидели тогда вечером на бульваре у памятника Гоголю.— Сила воли — это такая вещь, без которой человек не человек. А где ее взять, если ее нету, этой силы воли? Виктора, например, только она могла бы спасти и вывести из этого туманного его состояния. Он сейчас, может, рад был бы бросить все эти детские затеи и пойти на какую-нибудь нормальную работу. Не дурак же он от рождения. Но силы воли ему не хватает. Не хватает силы воли, чтобы оторвать-

ся от нынешнего своего состояния, подавить свою гордыню и заняться каким-то обыкновенным делом, чтобы дети его впоследствии тоже видели, что их отец на своем месте. Ну, словом, чтобы дети, как положено, уважали отца. А то ведь что-то опасное получается...

И я, слушая отца Виктора, почти точно так думала. И тревожилась все сильнее. И уже не о деньгах тревожилась, которые все время будут нужны семье, а еще о чем-то, что даже не полностью понятно мне...

Утром, собираясь на работу, я часто смотрела, как Виктор ест яичницу (это главная его еда) и читает газету. Ему обязательно надо что-нибудь такое читать, когда он ест, чтобы занять или отвлечь свои мысли, как считает Тамара. И она подражает ему: тоже берет книжку, когда ест, но это чтобы не разговаривать со мной. И вот однажды утром будто черт меня дернул пошутить.

— Человек,— говорю,— и зверь, и пташка — все берутся за дела. С ношей тащится букашка. За медком летит пчела... А почему? Потому,—говорю,— что всем есть-пить надо. И каждый тащит хоть какую-нибудь ношу. Хоть человек, хоть букашка...

Как Виктор бросит газету, как отодвинет сковородку с яичницей, как закричит:

— Мне надоели эти ваши вечные дурацкие намеки! Мойте ваши колбы, но не лезьте в мои дела! Я хочу иметь хоть какой-нибудь покой в своем доме!

Ну, я не стала вспоминать, чей это дом. Просто пошла на работу.

А на следующее утро Тамара мне говорит:

— Почему бы вам, мама, не поехать пожить хоть некоторое время у тети Клавы? Ведь все это кончится нехорошо. Виктор теперь просто кипит против вас. Ведь он может уйти и бросить меня. Неужели вы хотите, чтобы мои дети остались без отца, как я осталась по вашей милости?

И при этих словах Тамара вот так округляет глаза, почти точно, как это получалось у Виктора, у ее неизвестного отца, когда он чему-нибудь удивлялся или возмущался чем-нибудь. Последний раз, мне помнится, он сделал такие глаза, когда узнал, что я беременна. «А я при чем?» — спросил он и даже чуть выкатил свои красивые голубые глаза... «Ну, как же при чем, Витусик? — сказала я.— Я же только с тобой, Витусик...» — «Виту-

сик, Витусик,— передразнил он.— Откуда я знаю, с кем ты еще, кроме меня, гуляла. У вас тут в женское общежитие много всякого народу приходит...» При этих словах я растерялась, почти точно как после слов Тамары.

— Хотите я сама поговорю с тетей Клавой, если вам неудобно? Может, она вас приютит. Конечно, будете к нам приходить...

Тамаре я ничего не ответила. Не нашлась, что ответить. Хорошенькое дело — поехать к тете Клаве. Да с какой стати? У нее одна комната и молодой муж. И она мне ничем не обязана.

На следующий день я задержалась на работе, все время раздумывая, что мне делать. Наконец я спросила заведующего хозяйством, не могу ли я остаться в институте переночевать, так как у нас в квартире начался большой ремонт. Неудобно же сказать, что дочь родная почти что гонит меня из моего дома.

— Пожалуйста,— сказал заведующий,— ночуй сколько хочешь. Только не в кабинетах, а где-нибудь в лаборатории или в подсобках.

Первая ночь в обезлюдевшем институте мне показалась страшной. Крысы, которых днем почти не слышно, как они живут в закрытых клетках, в ночи ужас шумят, будто переговариваются или переругиваются перед дракой, а может, уже дерутся, потому что клетки скрипят.

Человек, однако, ко всему привыкает. На вторую ночь я уже не боялась и не беспокоилась. Только думала: неужели Тамару не встревожило, что ее мать не вернулась с работы? Может, она решила, что я все-таки поехала к тете Клаве, то есть к старшей моей сестре?

А как там внуки? Все-таки со мной, наверно, им было не то что лучше, но веселее. Часто я сама отводила их в садик и сама забирала перед вечером. И после ужина и перед сном читала им сказки. Или делала вид, что читаю, а рассказывала от себя, что слышала в своем деревенском детстве.

Неужели без меня Тамаре и Виктору будет спокойнее, чем при мне?

Прошло, однако, дней восемь, но никто из родных меня не хватился. Неужели никому я не нужна?

Очень жаркое лето подходило к концу, когда однажды в полдень в нашем институте появилась Галя Тустакова.

— Ты чего тут делаешь? — будто удивилась она.

И больше ни о чем не спросила. Даже не расслышала, может, что я ей ответила. Прошла прямо к директору. А потом все-таки разыскала меня, хотя я выходила во двор, выносила в мусорные баки мокрые опилки из-под мокрых свинок. Тут, во дворе, она мне быстро рассказала, что работает сейчас где-то старшим методистом, а муж ее в Академии наук. Я только спросила:

— Он что — ученый?

— Да нет,— отмахнулась почему-то сердито Галя.— Ну, словом, он не хуже другого ученого. У него все в руках. А что особенного-то? Вот сейчас мы с ним едем в Сочи. Кстати, не хочешь у меня подомовничать? Можем сию минуту ко мне подъехать. Я как раз свободна,— она посмотрела на ручные часы,— до четырнадцати часов.

— Но я же сейчас на работе,— сказала я.

— Ну это пустяк, устроим,— засмеялась Галя.— А что особенного-то?

И, сказав что-то нашему заведующему хозяйством, повезла меня на своем «Москвиче» к себе домой на Ломоносовский проспект.

— Ты понимаешь, какая получилась дикая ситуация,— говорила она, сидя за баранкой.— Нельзя найти или очень трудно найти подходящего человека, чтобы, например, убраться в квартире. Эта фирма «Заря» только налаживается. И у нее тоже не все благополучно с кадрами. Все, понимаешь, хотят быть господами. Мало кто хочет делать черновую ручную работу. Я очень рада, что встретила тебя. Ты можешь меня сейчас сильно выручить, поскольку мы с мужем уезжаем. И у нас, понимаешь, просто горят путевки. Ну просто горят, понимаешь? И ты должна меня выручить...

Вдруг мне вспомнилось в этот момент, как когда-то больше двадцати лет назад, вот так же нервно, в суете Галя попросила у меня на минутку чулки. И надела их очень быстро, не сомневаясь, что у нее сейчас более важные дела, чем у меня, и новые чулки ей поэтому нужнее. Но тогда была все-таки другая Галя, даже более суетливая и не такая полная, дебелая, в крашеных волосах, затейливо взбитых на лбу.

— А вон и мой дом,— показала она на высокое здание с башней. И засмеялась: — Правда, я пока не весь его занимаю, а только четыре комнаты... Заходи.— Она

отомкнула два врезных замка в обшитой красной кожей двери на шестом этаже.

Но только я ступила на цвета яичного желтка лакированный пол передней, как на меня не с лаем, а с каким-то взвизгом двинулась никогда до той поры не виданная собака ростом, наверно, с доброго ослика и такой же грязно-пепельной масти. Я вскрикнула.

— Да не бойся, дурочка,— опять засмеялась Галя.— Не укусит. Это добрейшее животное. Она мне как подруга, даже лучше других подруг...

— Но зачем она тебе?

— Как зачем? Ты что, не любишь животных? Как странно. Как раз сейчас идет борьба за охрану биосферы. Я же тебе говорила, я работаю старшим методистом. Это как раз по моей части. Охрана среды — это в первую очередь. Ты что, даже газет не читаешь? А радио?

— Ну а собака-то? — Я все-таки посторонилась от собаки, обнюхивающей меня.— Собака-то зачем?

— А собака — это как раз и есть животный мир,— стала объяснять Галя.— Это как лес и вообще — биосфера. То есть среда...

Объясняя, она вела меня по квартире, показывала кухню, санузел, встроенные шкафы. Все облицовано красивой разноцветной плиткой, обклеено особой пленкой, заменяющей обои.

— А это Павел,— показала Галя на красивый шкаф, плотно набитый книгами.

— Павел? — удивилась я.— Кто же это?

— Павел, дурочка, это был такой царь,— снова засмеялась Галя.— При таком царе делали особую, по его вкусу мебель. Ну а сейчас она как будто опять в моде. Надоел же всем стандарт. Нам-то эти шкафы достались почти в обломках. Но нашелся реставратор. За хорошие деньги. Кстати, не хочешь выйти замуж?.. А это уже югославский гарнитур,— продолжала показывать Галя, не ожидая моего ответа.— Тоже безумно дорогой — и все-таки по блату.

— Ну а кто читает эти книги? Ты или муж? — спросила я.— Ведь это за всю жизнь не перечитать.

— А что особенного-то? Это подписные издания,— почему-то слегка смутилась Галя.— Читаем. И есть на что посмотреть.

Невольно я вспомнила, как жили мы когда-то в об-

щежитии по шесть девушек в одной комнате — кровать к кровати почти впритык. А тут — великолепные зеркала чуть ли не во всю стену.

— Как ты, Галя, все это сумела за такой вроде короткий срок?

— А очень просто,— засмеялась Галя.— Жить надо боевито, с огоньком. С живинкой в теле. И не зевать. Ну давай садись, поговорим по делу. Главное для меня сейчас — собака. Запомни, ее зовут Вика. Во-первых, она очень дорогая. За нее заплачены большие деньги. А во-вторых, она сейчас беременная, готовится производить потомство...

«А ты?» — хотела я спросить Галю. Но не решилась. Побоялась, что она обидится. Однако странным мне все-таки показалось, что в такой большой квартире нет детей. И, наверное, не предвидится. Гале, как и мне, уже хорошо за сорок.

— Так вот, насчет собаки,— продолжала Галя.— Ей требуется не просто еда, а набор еды. Ну, это я тебе оставлю список и деньги. За мебель я не так беспокоюсь, как за животное. Хотя мебель у нас, ты сама видишь, уникальная. Мы ее собирали по частям и вот создали кое-что постепенно. Нам помог тут один интересный мастер. Да, кстати, я тебя уже спрашивала — ты хочешь выйти замуж? Поздно? А ты подумай. Могу дать адрес. Ой, я, кажется, опаздываю,— спохватилась она.— В четырнадцать тридцать меня ждет народ...

Сели мы опять в ее «Москвич», чтобы доехать сперва до моего института, а потом она поедет дальше по своим делам. И тут, в автомобиле, я почувствовала себя неловко. Зачем, думаю, морочить человеку голову? Ведь никогда я не буду воспитывать ее собаку. Просто не могу я это, не умею. И не хочу. А сказать прямо мне было неудобно. И я сказала, вылезая у института:

— Знаешь, Галя, я подумаю.

— О чем подумаешь?

— Ну, о твоем предложении домовничать. Как-то я боюсь, что не справлюсь.

— Странная ты,— сказала Галя почти сердито.— И всегда была странная. Я же тебе плюс ко всему хорошо заплачу.

— А мне не надо,— сказала я.— Я и так хорошо получаю.

— Ну что там хорошо ты получаешь,— засмеялась Галя. И опять со злом: — А я хотела познакомить тебя с человеком. Он тоже отчасти странный, как и ты. Но в него надо вглядеться. Могу дать тебе адрес. Запиши. Да вот...

Она вынула из-под козырька машины замусоленную записную книжку, должно быть с адресами, и списала оттуда адрес в свой блокнот. Потом вырвала из блокнота листик и протянула мне.

— Жаль, конечно,— сказала она,— что ты не хочешь или не можешь...

— Не могу,— подтвердила я.

— Но насчет этого человека подумай.— Галя посмотрела в автомобильное зеркальце, чуть взлохматила волосики на лбу.— Я, понимаешь, ему пообещала, что поговорю с тобой. Дала небольшую устную тебе характеристику. Все-таки у нас уже старая с тобой нерушимая дружба. И у тебя, я считаю, много хороших качеств. Если бы ты осталась у меня подомовничать, я была бы спокойна. Ну не можешь — не можешь, не надо. Значит, с этим вопросом все. Еще кого-нибудь поищу. Свято место не бывает пусто. А ты подумай о человеке. Очень занятный человек. Только в него надо вглядеться,— еще раз повторила Галя.

И уехала.

Несколько дней, вернее ночей, я раздумывала, ютясь на раскладушке под лестницей в нашем институте, как мне дальше быть, куда деваться.

Дочь родная так и не хватилась меня.

И тут я решилась. Даже не знаю, как это я решилась написать этому якобы жениху, проживающему будто бы в собственном доме на Куминке. Другая женщина в моем положении, наверно бы, сразу поехала на эту самую Куминку, чтобы разведать на месте что и как. А я только подумала: а что, если я напишу ему как бы просто для смеху? Получится или не получится? И, ни на что особенно не надеясь, отправила не очень длинное письмо и приложила свою фотокарточку, оставшуюся от получения паспорта. Так, мол, и так, слышала от некой Тустаковой Галины Борисовны, будто бы знакомой вам, что вы желаете в настоящее время вступить в законный

брак, то есть нормально расписаться в загсе с порядочной женщиной ниже средних лет, умеющей вести хозяйство, а также работать на огороде. Так вот, мол, я и являюсь точно такой женщиной, как вы можете видеть на прилагаемой фотографии. В случае, пишу, вашей заинтересованности или даже согласия, просьба ответить по указанному адресу и представить также ваше, если не затруднит, фото. Марку и конверт для ответа с моим адресом прилагаю. Адрес я дала, конечно, своего института.

Говорят, не только за границей, но и у нас раньше были газеты для такой вот как бы интимной переписки. И, кажется, нету ничего ужасного в этом, но я, откровенно скажу, не сильно верила, что получу ответ. Просто вот так положилась на благих святых.

А между прочим, деваться мне уже было некуда. Один раз, когда я позвонила Тамаре по телефону, она разговаривала со мной кое-как и как бы сквозь зубы. В самом деле, хоть поезжай к тете Клаве, то есть к моей сестре.

Весь асфальт в переулке, где находится наш институт, уже усеян был спаленными солнцем листьями. Надвигалась осень. А я все еще пребывала на птичьих правах...

И вот в таком раздумье дней пять спустя получаю ответ даже с некоторой, как подумалось мне, обидой: «Зачем же вы затрудняете себя в отношении прилагаемой марки и конверта? Я еще, слава богу, сам вполне способен оплатить почтовые расходы». И так далее. И так далее.

Переписывались мы подобным способом, наверно, недели две. Потом после настойчивого приглашения собрала я некоторые свои вещички в небольшой узелок и поехала к нему на Куминку. Риск небольшой и расход невеликий: около рубля туда и обратно на электричке.

Приезжаю, выхожу, иду по ходу электрички еще километра полтора назад, как было указано в его письме, ищу нужный адрес. И не нахожу. Одним словом, нету такого адреса. А время уже к вечеру. И день очень хмурый, но для меня удобный: впереди два выходных дня.

По синему небу ползут бело-серые облака, а за ними тяжелая черная туча во весь окоем. Ну, думаю, попала в поездочку. И мало ли что может случиться в незнако-

мом месте в вечернее время. Но тут мне навстречу идет старушка и, выяснив мое затруднение, говорит:

— А вот через тот пустырь вы не переходили? За тем пустырем будет свалка. А за свалкой еще один дом на отшибе, почти под откосом. Кто знает, может, там и проживает нужное вам лицо.

И правильно. Перешла я через разные буераки, по мусорным горам, по битым бутылкам, по раздавленным кастрюлям и консервным банкам, гляжу — действительно, домик одинокий стоит и за ним кусты и за кустами опять домики.

Подошла я вплоть, поднялась по трем новым ступенькам из свежего неструганого теса и увидела, как может быть в кошмаре, в открытую дверь мужчину на лавке, будто вышедшего из дремучих лесов: очень страшного, давно не стриженного, не бритого, в длинной грязной рубахе, без опояски. Понятно, обомлела я в первую минуту, но все-таки говорю:

— Ефима Емельяновича, извините, пожалуйста, где бы я могла увидеть?

А мужчина этот так весело, широко улыбается и отвечает:

— Я он самый и есть — Ефим Емельянович. А вы, извиняюсь за нескромный вопрос, Тоня? Как же, как же, я вас вот именно поджидал. Но уверен был почему-то, что вы придете минимум послезавтра. И я бы вас встретил не в таком внешнем виде, как у меня сейчас, в настоящее время. Это ж можно даже напугать женщину...

— Внешний вид,— нашлась я сказать,— вообще-то для мужчины не имеет особого значения.

— Но все-таки,— засмеялся он.— Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, к свету, чтобы я вас лучше разглядел. Вот у вас внешний вид даже очень приятный. Даже много лучше, чем на фотокарточке. А я, вы знаете, тут возился на огороде, потом приболел. И вот провалялся три дня. А сегодня уже совсем здоровый. И только что хотел привести себя в порядок. Вон грею воду...

И я увидела за дощатой загородкой в маленькой кухоньке газовую плитку и на ней два аккуратных бачка.

— Газ у меня, к сожалению, привозной,— стал объяснять Ефим Емельянович, не вставая с лавки.— А воду в дом вот все еще никак не словчусь провести. Живу,

выходит, не по современности,— улыбнулся он.— И даже телевизора у меня по сию пору нет...

Улыбка у него привлекательная. Это сразу заметила я. Глаза зеленоватые как бы вспыхивают при улыбке. Но одного уха, мне показалось, нету.

— Комнаты у меня тут две,— продолжал он.— Но я имею сейчас небольшую фантазию пристроить верх. Чтобы наверху, на втором этаже, была спальня. По-научному, как считают мои знакомые медики, спать всего полезнее вот именно наверху. Вы не стесняйтесь, снимайте ваш свитерок. Здесь тепло. Отдыхайте. Я сейчас мигом помоюсь. Вода уже нагретая. Приведу себя в порядок. Будем чай пить...

Опираясь обеими руками о стол, он поднялся. И сию минуту что-то заскрипело, залязгало. Я не сразу поняла, что у него искусственная нога.

— Может, я вам в чем-нибудь помогу?

— Не надо. У меня тут все хорошо приспособлено. Как-то я обходился, когда вас не было,— опять засмеялся он. И зашел за дощатую загородку, закрыв за собой дверь.

Я услышала, как булькает, как льется вода, как скрипит и лязгает на ходу искусственная нога, как она, должно быть, упала, отстегнутая.

Конечно, по-хорошему-то я могла бы ему помочь. Но неудобно как-то. И неловко сидеть в чужом, незнакомом доме, ожидать, когда странный какой-то мужчина, смешно подумать, мой жених, вымоется. И уйти теперь неудобно.

Все-таки я вышла на крыльцо. И вдруг услышала:

— Уж если помогать, так помогать. Секрета большого нету. Потрите мне, Тонечка, спину.

В загородке недалеко от газовой плитки стояла большая белая ванна, какие обыкновенно стоят в ванных комнатах, но с закупоренной вводной трубой. Мой жених (а как же его теперь назовешь?) сидел в ванне с уже вымытой, видать, головой и причесанными волосами.

В самом деле, все было очень странно. Я, совсем ему незнакомая женщина, просто чужая, без стеснения взяла из его рук намыленную мочалку и стала тереть ему спину. На груди у него было наколото над распластанным орлом синей тушью, что ли: «Не жди удачи». И по левой руке тоже шла какая-то надпись.

После, когда он побрился не электрической, как мой зять, а немодной опасной бритвой, мы сели пить чай. И у меня уже было на минутку такое чувство, будто я когда-то давно здесь жила и вот опять приехала,— так просто он со мной разговаривал, точно мы уже заранее обо всем договорились.

Искусственную ногу, «казенную», как он ее назвал, он уже больше не пристегивал. Из загородки вышел, опираясь на костыль, в белой рубашке и в черном костюме. Вынул из шкафчика, висевшего над обеденным столом, початую четвертинку, перелил водку из нее в графинчик, поставил на стол. Из холодильника достал большой кусок сала, огурцы соленые, зеленый лук.

— С легким паром вас, Ефим Емельянович,— сказала я.

— Вот именно, спасибо,— сказал он и, отставив костыль, сел за стол, придвинул к себе табуретку, на которую хотел, чтобы села я рядом с ним.— Ну давайте, Тонечка, выпьем за наше знакомство.— Очень аккуратно разлил водку.

Водка была, наверно, не из самых лучших. Меня аж всю передернуло, когда я подняла стаканчик, чтобы пригубить хотя бы из вежливости.

— Что это? — удивился он.— Не пьете? Не нравится разве?

— Я вообще не пью.

— О! — сказал он. И как будто обрадовался.— Вот это хорошо. Я сам выпиваю. А сильно пьющих даже мужчин не уважаю. А женщина, если начнет выпивать, ее очень просто и на курево может потянуть. А если женщина курит, это, по моим понятиям, уже не женщина, а извиняюсь за выражение...

Мне этот разговор не понравился. Я подумала: ноги нет — это еще ничего, и уха нет — тоже можно обойтись, но со старообрядцем жить — скука. Правда, ухо он, причесавшись, как-то ловко прикрыл волосами. Если не приглядываться, так и не сразу заметишь, что ухо сверху разорвано. А вот разговор мне даже очень не понравился. Я женщина, чего скрывать, уже не очень молодая. Рассчитывать на то, что меня кто-то еще может полюбить, я не могу. Но все-таки я человек на деле. Свой кусок хлеба у меня всегда в руках. И в конце концов, если завтра я приду к заведующему и поставлю вопрос

ребром, что мне жить негде, меня как старую работницу уж какой-то загородкой хотя бы временно всегда обеспечат. Не должна я нуждаться, чтобы какой-то еще неизвестный мне старообрядец обучал меня на тему курить женщине или не курить, пить водку или воздерживаться.

Ах, дура я, дура, польстилась на что — на жалкий домик какой-то на свалке! Бросила внуков и помчалась куда-то, будто меня дьявол поманил. Хороша бабушка-кукушка. Ну что с того, что меня зять не переносит, можно ведь и зятя в любое время окоротить.

Я опять надела свитерок — к вечеру тем более стало свежо — и собралась было уходить. Но он сказал с приятной своей улыбкой:

— Что это вдруг? Ни о чем еще не договорились — и вы уже хвост елкой... Ведь мы же были не один день в переписке. И сейчас вы вот так, на ночь глядя, поедете. Да и дождь собирается. А я вас даже проводить в этот момент не могу. Или вас расстроили мои показатели? Разве я вам не писал, что я об одной ноге?

— Об этом вы, конечно, не писали. Но это и не имеет значения.

— Но что же в таком случае имеет?

— Душа,— сказала я.

Даже сейчас не могу понять, почему я тогда так дерзко сказала.

— А что же, вы считаете, что у меня души нет?

Тут я растерялась. Действительно, как на это ответить? И для чего я завела этот ненужный разговор?

— Видите ли...— сказала я.

И больше ничего не успела сказать. Ударил гром, да такой страшный, раскатистый, что, казалось, задрожал домик. И засверкала, рассекая небо, молния.

— Ах хорошо! — схватил костыль Ефим Емельянович, когда застучал, загремел дождь по крыльцу, по железной крыше, по стеклам окон.— Ах, благодать какая! Давно его ждали. Ведь сушь невозможная.— И он как заплясал с костылем.— Ну, теперь вы, Тонечка, у меня в плену. Дождик-то, глядите, с пузырями. Стало быть, минимум на всю ночь. Куда же вы денетесь?

Тут я сильно удивилась и даже испугалась, как он вскочил на очень высокую табуретку, стоявшую у стены. И, стоя на одной ноге, не опираясь на костыль, стал снимать с антресолей раскладушку. Ну, думаю, грохнется

сейчас, и конец ему. А что я буду тогда с ним делать? Ведь может разбиться насмерть.

— Да зачем? — говорю, уже догадавшись, что он хлопочет для меня.— Я все равно уйду.

— Нет, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете.

Вот так стоит он на одной ноге на табуретке с раскладушкой в руках, прислонив ее слегка к стене, и почти что поет:

— Нет, не пустим, птичка, нет. Оставайся с нами. Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями.

Пришлось мне переночевать. Он улегся на раскладушке, а меня устроил на кровати в другой комнате, объяснив, что после выпивки он ночью иногда всхрапывает. А это, говорил, для первого знакомства может создать нежелательное впечатление.

И все это говорил с улыбкой. А дождик стучал, гремел, хлюпал.

— Это он для нашего огорода старается, вон как хорошо поливает,— радовался Ефим Емельянович, глядя в окно на дождик.— У меня как раз сейчас с водопроводом затруднение. Все не могу наладить трубу.

Утром он проснулся раньше меня, сварил картошку, опять нарезал сала, поставил большую тарелку то ли творогу, то ли сыра, вскипятил чайник, заварил чай. И в домике хорошо запахло крепким душистым чаем.

— Вас, Тонечка, вечером вчера разговор мой утомил, расстроил. Вы подумали, что у меня не только ноги нет, но вот именно и душа отсутствует. Ведь так, верно, вы подумали? — будто ввинчивал он в меня свой взгляд.— А душа у меня как раз имеется. А если б не было ее, мне давно было положено помереть. Ведь человек помирает отнюдь не тогда, когда отказывает сердце, а когда затухает душа. Другой раз ноги еще идут, а человек уже почти что помер, потому что потухла в нем душа и прекратилось желание.

Тут я насмелилась его спросить насчет надписи, наколотой у него на груди:

— В каком смысле это надо понимать — «Не жди удачи»?

— Ох, какая вы глазастая, Тонечка,— засмеялся он.

И тотчас же стал вроде печальный.— Это мне в моих молодых годах в тюрьме накололи...

И замолчал. И мне стало как-то неловко. Но все-таки не без робости я спросила:

— Неужели вы и в тюрьме побывали, Ефим Емельянович?

— А где же я только не побывал, спросите меня, Тонечка,— вдруг опять отчего-то засмеялся он.— Я и в цирке толкался. И на флоте служил. И в тюрьме два раза отбыл. Что ж тут хитрого? Правда, потом признали, что ошибочно. Я приглашен был два раза в тюремные замки... А на эту протекшую войну меня по слабости здоровья из буровых мастеров только в пехоту взяли. На флот я уже не годился, хотя все еще был о двух ногах...

И опять он замолчал, мешая ложечкой в стакане.

— Но вы мне все-таки не объяснили, Ефим Емельянович, как эту надпись на вашей груди надо понимать? «Не жди удачи». Значит, что же, выходит, не надейся?

— Нет, не так,— улыбнулся он.— Вот я сказал — вы глазастая, но, оказывается, преждевременно вас похвалил. Вы глазастая, но не очень. Ведь дальше-то наколото — «Лови ее». То есть удачу. Не ленись, стало быть, не отдыхай — лови. Вот я всю жизнь ее и ловлю. С молодых лет и до сей поры. И, бывало, мне казалось, вот уж будто ухватил я ее, ан нет. Она выскользнула, удача-то. У нее хвост слишком скользкий. А я ее все равно ловил и ловлю...

Он встал из-за стола легче, чем вчера,— уже не опираясь о стол. И казенная нога его не скрипнула и не лязгнула. Если не приглядываться, так, пожалуй, и не заметишь, что он на казенной ноге. А я и не приглядывалась. Я смотрела на его лицо, на глаза, вдруг вспыхнувшие то ли злобой, то ли радостью.

— Вы, Тонечка, может быть, думаете: вот человечек толкует об удаче, а сам живет возле свалки. И находится при одной живой ноге. И тем более — в преклонных годах, когда эта, как говорил наш капитан, Мадам с косой уже бродит вокруг него и только подгадывает момент, чтобы скосить его. Ведь так вы думаете?

— Да что вы, господь с вами, Ефим Емельяныч! С чего вы взяли? Ничего-то я такого не думаю,— сказала я.

— Вот это правильно вы выговариваете — Ефим Емельяныч,— опять обрадовался он.— Ведь вокруг меня

не только Мадам с косой бродит, а еще много других дам. Несмотря, что я живу на свалке. И свалка тут ни при чем. Ее скоро уберут. Уже есть решение. Тут садик будет, сквер. И огороды. А женщины, то есть дамы, почему на меня и сейчас внимание обращают? Потому что, если муж умирает, про жену говорят — вдова, а если жена умирает, муж считается все равно жених. И женщины поэтому разные вокруг меня ходят. Ведь женщины такая нация, они кого хочешь во что угодно вовлекут. А я все-таки, как говорил вам, ловлю удачу. И на двух ногах ловил. И на одной ловлю. И мне нужна подруга жизни не хуже той, что у меня была. Умерла она в позапрошлом году в московской больнице от невнимания медицинского персонала. А у нас еще было двое детей — Котя и Стасик. Но обоих сожрала война, а меня вот только покалечила. И остался я один, как вы заметили, возле свалки, инвалид. Но женщины, несмотря ни на что, атакуют меня как я не знаю кто...

Тут я сама вскипела.

— Да что вы,— говорю,— думаете, Ефим Емельяныч, что лично я вроде того что тоже, как бы сказать, набиваюсь...

Правда, всех этих слов мне полностью выговорить не удалось. Он перебил меня, с улыбкой говоря:

— Вы погодите, не горячитесь. Вы послушайте сперва, что я скажу...

— Но я не понимаю, как вы можете,— уже обиделась было я.— И вообще не понимаю...

— Тем более надо послушать,— потрогал он меня за руку.

— Я, правда, слышала, что вы странный человек, Ефим Емельяныч,— уже не могла успокоиться я.

А он опять как бы обрадовался:

— Вот и сейчас правильно вы сказали, именно Ефим Емельяныч. Запомнили твердо и так вот держитесь. А то вот недавно какой случай был. Прибивалась ко мне одна женщина, на взгляд симпатичная и в еще небольших годах, лет этак сорок — сорок два. Но только она выпила со мной четвертинку и сразу, с ходу начала меня звать Фимой, как будто я кошка или собака. А потом говорит: «Позволь, Фима, я закурю». Нет, подумал я, у нас с тобой дело не пойдет. А мне надо, чтобы дело шло, чтобы она, жена моя, ловила со мной удачу хотя бы

до часа моей смерти. И чтобы она понимала что к чему.

Он прошелся по квартире, распахнул все окна, вышел на крыльцо.

— Вот глядите, Тонечка, какое солнышко опять вышло. Красота!

И сказал это так, будто и солнышко его собственное, будто он придумал его и только здесь оно сияет первозданно для всеобщего удовольствия.

— Ведь я отчего за эту мою хибарку держусь? — будто спросил он меня.— Да оттого, что здесь я сам как бы на своем месте. У меня тут и садик и огород. И гараж.

— Гараж? — невольно переспросила я.

— А как же? У меня в нем машина,— сказал он. И засмеялся.— Вы не обращайте внимания на мою ногу. У меня машина дареная, от властей, с ручным управлением.

В этот момент кто-то завозился в дощатом сарайчике недалеко от крыльца, рядом с уборной, выкрашенной в две краски, черную и малиновую.

— А тут у меня козочка Феня,— показал Ефим Емельянович на сарайчик.— Вы творожок сейчас кушали. Это от нее, от Фени. У нее и дочка есть — Верочка. А тут вот,— он потрогал большую проволочную клетку,— грач у меня живет. Тоже вот, видите, как я, об одной ноге. И тоже, как мне, ему некуда деваться.

За домиком я увидела маленький садик и крошечный огород.

— Швейцария,— засмеялся Ефим Емельянович.— Недавно доктор знакомый, тоже инвалид, ко мне приезжал. Это он сказал. У тебя, говорит, тут полная Швейцария. А это вот мой гараж.

Гараж показался мне похожим на огромный железный ящик малинового цвета.

— Это флотский сурик,— сказал Ефим Емельянович.— Такая замечательная краска. Я ею и низ машины прокрасил. Только трудно ее доставать...

И вроде пустяк — разговор о краске, но я как-то по-особенному почувствовала себя, будто он сообщил мне о чем-то, о чем сообщают далеко не всем. Такой у него был тон.

У гаража вровень с ним стояло два столба, а между ними на большой высоте водопроводная, что ли, труба

И раньше чем я спросила, зачем это, Ефим Емельянович вдруг подпрыгнул и ухватился за эту трубу. Если б кто-нибудь мне сказал, что человек, которого я видела вчера в этом домике, страшный, старый, об одной ноге, может вот такое выделывать на трапеции, я бы никогда не поверила.

— Я ж вам говорил, что я еще в детские годы в цирке толкался, когда беспризорником был,— весело стал рассказывать он.

А глаза блестели, дышал тяжело, даже тяжко и прихватывал себя за грудь, будто хотел утишить сердце.

Мы присели тут же у гаража на скамеечку. Все маленькое здесь, не новое, но какое-то аккуратненькое, свежепокрашенное.

— Еще, словом, в детские годы,— рассказывал он,— пристал я к одной цирковой труппе. Смерть как мне хотелось стать циркачом. Ездил я с этой труппой по городам. Чистил конюшни у цирковых лошадей. Делал все, что велели. Потом стали подучивать меня на акробата. И я уже стал кое-что кумекать в этом деле. Даже, можете поверить мне, Тонечка, к четырнадцати годам я уже много что умел. В Ленинграде в цирке меня выпускали уже с хорошими мастерами. Но в тот год приехали на гастроли, кажется, австрийцы. Посмотрел я на австрийских акробатов — и шабаш. Как рукой сняло. Нет, подумал я, это не для меня. До такой высоты, как они, я подняться не смогу, а толкаться тут на подхвате мне дальше самолюбие не позволит. Нет, подумал я, надо, видно, искать свой хлеб где-то в другом месте. И я в одночасье ушел из цирка. Навсегда.

Ох, какой ты самолюбивый, трудно мне будет с тобой, подумала я тогда, уже готовая было остаться здесь, если, конечно, он сделает мне предложение. Ведь он же еще не сделал предложения. Но я уже как будто начала привыкать к нему. И в то же время я вдруг остро заскучала о внуках, о Тамаре и даже о Викторе.

Тут, на скамеечке у гаража, я нечаянно и начала рассказывать Ефиму Емельяновичу и про свою жизнь, про свою родню в ответ на его рассказы. И про то, как Виктор дома сидит и мечтает сыграть какого-то Улялаева, и о том, как Еремеев к нам приезжал и как мы угощали его.

— Еремеев, Еремеев. Погодите, Тонечка,— перебил меня Ефим Емельянович.— Если это Еремеев Эдуард Алексеевич, так я хорошо знаю его. Он живет в Москве у площади Маяковского, в переулке, у новой жены. Я ему недавно старинную мебель реставрировал. Богатая мебель ему досталась от родителей новой жены. А Виктора мне сердечно жалко. Это почти что моя история. Я вот так же чуть не заблудился в молодых годах. Надо быстро менять ориентацию, говорил наш капитан Морозов. Не одно, так другое. Не другое, так третье. Пока не поздно, надо менять ориентацию. Усваиваете, Тонечка?

— Нет,— откровенно призналась я,— непонятно мне, что вы сказали.

— Сейчас объясню,— пообещал он.— До войны я был буровым мастером. Это дело нравилось мне. И я, можно, пожалуй, так сказать, нравился делу. В войну я довоевался до старшего лейтенанта. И тоже, можно считать, уже как бы вошел в охоту. Уж воевать так воевать, если другого случая нету. Из госпиталя я вышел еле живой. Но все-таки живой. Значит, надо было браться за какое-то живое дело. А за какое? Ни в лейтенанты, ни в буровые мастера я уже не годился. Можно было при хорошей пенсии торговать пивом, квасом или газетами. Но это было не по мне. Уж если я решил до смерти ловить удачу, так, по-моему, лучше потерять ногу, чем удачу. Тем более ногу я уже к этому моменту потерял. Наверно, на счастье мое, опять же на удачу, встретился мне в эту пору некий старичок Пастухов-Немчинов Александр Иваныч. «Иди, говорит, ко мне в напарники, лейтенант. Будем с тобой дорогую старинную мебель чинить, реставрировать. Руки, говорит, у тебя есть. Башка на месте. И красоту, я заметил, ты чувствуешь. А нога в нашем деле не так уж до крайности необходима». Почти четыре года работал я вместе с Александр Иванычем, не взирая на его зверский характер. Но зато перед смертью он передал мне свой инструмент и знакомства в научном мире и среди видных артистов, у коих имеется старинная, в том числе, конечно, и мягкая мебель.

— Ах, как жалко,— говорил потом Ефим Емельянович, переходя от куста к кусту и как бы поглаживая ветки.— Ах ты, как жалко, что я раньше ничего не знал о вашем Викторе. Я бы поговорил насчет него с Еремеевым. А насчет Улялаева вы, Тонечка, предполагаю, ошиблись.

Они, все артисты, стремятся, насколько я знаю театральный мир, вот именно Гамлета сыграть, принца Датского. Наверно, разговор был не об Улялаеве, а вот именно о Гамлете. Это всех их привлекает — сыграть в Гамлете. Это я давно слышу. А с Виктором надо что-то придумать. Жалко Виктора. Ему-то кажется, наверно, что он уже бога за бороду поймал. А этого, как я вас понял, еще близко не было. Жалко парня. Это со многими случается...

Мне от этих слов Ефима Емельяновича, от того, как он жалеет не очень-то любимого мной зятя, становилось отрадно и тепло на душе, будто Виктор уже вполне устроен.

— Давайте-ка сварим с вами, Тонечка, обед. Совместно,— улыбнулся он опять своей приятной улыбкой.— Покажите ваши способности.

— Нужны овощи и какой-нибудь жир,— сказала я.

— Сколько угодно,— засмеялся Ефим Емельянович.

— Моя мама учила меня делать свекольник,— сказала я, хотя мама моя вообще ничему меня не учила.— У вас есть свекла?

— Имеется,— весело откликнулся Ефим Емельянович.

Вот так мы заварили какой-то необыкновенный борщ, пожалуй, даже лучше тех, что я варила для друзей зятя и потом для Еремеева. На второе Ефим Емельянович сам предложил филе трески. И это блюдо жареное получилось пышным и очень вкусным. Он ел и хвалил. И я впервые по-настоящему была счастлива.

— Никто, наверное, не знает, какая она должна быть на самом деле, счастливая семейная жизнь,— говорил Ефим Емельянович после обеда.— Недавно вот прочитал я Льва Толстого. И даже фильм такой видел в кино. Как жила одна красивая женщина с хорошим самостоятельным мужем. По-нынешнему сказать, с крупным ответственным работником. И чего ей не хватало? — сошлась с офицером. Офицер был видный из себя, но не большого ума. Одним словом, человек несамостоятельный. Он сперва горячо заинтересовался ею — ну, красавица же. А потом чуть ли не кинул ее. И она, конечно, в оскорбленных чувствах бросилась под поезд. Ну кто же тут виноват? А Лев Толстой, так можно понять, обвиняет опять же ее настоящего мужа. Вот это как-то странно. Я работал тут у одного профессора. Он занимается как раз

по литературе. Задаю ему вопрос. А он хохочет. Весь мир, говорит, согласен, что виноват во всем ее муж — Каренин. И спору, говорит, никакого быть не может. Ну что ж, говорю, что весь мир, а мне тоже хочется разобраться. Профессор же берет с готового, как его с самого начала научили и как он затвердил. А я не могу с этим согласиться. Вот сейчас немного улажусь с делами и опять эту книгу перечту,— показал он на подзеркальник, где лежала пухлая книга.— Неужели сам Лев Толстой ошибся? Не должен бы. Хотя кто его знает...

И опять мне понравилось, что он заговорил со мной о Льве Толстом, которого я еще не успела прочитать. Да и когда мне, думалось. А он, вот видите, все успевает, хотя и без ноги. И во все он вникает как хозяин не одной вот этой халупы у свалки. И Лев Толстой ему как хороший знакомый. Тут я вспомнила, как сказала Галя Тустакова о Ефиме Емельяновиче и даже повторила, что он занятный. Только, мол, надо в него вглядеться.

— А тут вот, на взгорье, видите, старое кладбище у нас и церковь тоже старая, заброшенная,— показывал он мне, когда мы вышли после обеда на прогулку, что ли.— В этой церкви теперь с ребятишками на общественных началах музей делаем. Я ведь немножко и маляр и плотник. И ребятишки толковые.

Ефим Емельянович показывал мне на церковь, а я смотрела на него и чему-то удивлялась все больше.

Погостила я у Ефима Емельяновича всю субботу и часть воскресенья. Потом сказала:

— Ведь завтра мне на работу. Мне к семи утра.

— Ну,— говорит,— я вас отвезу на машине. Мне самому завтра надо быть в Москве.

— Но я,— говорю,— забыла у дочери кое-какие мои вещички, без которых я не могу появиться на работе.

— Так в чем дело? Давайте еще сегодня прокатимся в Москву. Это ж мигом на автомобиле.— Он вынул из кармана ключи от автомобиля и покрутил их на цепочке вокруг пальца.

Посадил он меня в машине рядом с собой, и тут я хватилась: узелок мой остался у него на кухне.

— А зачем он вам сейчас? — сказал Ефим Емельянович.— Мы ж вернемся с вами сегодня сюда. Вы забирайте от дочери и другие какие есть ваши вещи.

Мне показалось все это очень странным. Все было в самом деле как во сне. Ни о чем еще не договорились. Он не сделал мне еще, как говорится, предложения. А я уже отправилась забирать от дочери свои вещи. Только когда мы выехали на шоссе, он мне сказал:

— Конечно, не сразу, Тонечка, а только постепенно вы полюбите меня. А нам и не надо сразу. Куда нам спешить. А я вас, кажется, уже... Не то чтобы вот именно сию минуту полюбил, но мне думается, мы столкуемся. Поживите у меня, приглядитесь. Не понравится вам, я вас в любое время обратно отвезу, куда вы пожелаете и прикажете. А сейчас-то вы как себя чувствуете?

— Хорошо,— сказала я. А хотела сказать — замечательно.

— Ну тогда давайте не тянуть резину,— сказал он.— Давайте вот именно в ближайшее время зарегистрируемся. Я все решаю сразу в своей жизни.

Где-то я давно читала в газете упрек молодым, которые вот так с бухты-барахты вступают в брак, а потом сожалеют и разводятся. И мы сейчас, может быть, тоже поступали как бы с бухты-барахты. Но меня обуяла радость, и мне ни о чем больше не хотелось думать. Ведь я впервые на сорок шестом году жизни выходила замуж.

Мой жених сидел за баранкой. Я смотрела сбоку на него. Всю дорогу, кажется, я смотрела только на него. В черном костюме и в белой рубашке с отложным воротником он казался мне в то прекрасное воскресенье чуть ли не самым красивым из всех мужчин, каких встречала я.

К Тамаре я поднялась одна. Ефим Емельянович остался в машине. Да и не просто ему было влезть на пятый этаж без лифта.

— Где же ты пропадаешь, бабушка прекрасная? — встретила меня Тамара.

Я, конечно, прошла сперва к внукам, перецеловала их. Всплакнула. А как же? Тут есть и моя кровь. И разъезжаться — это, наверное, всегда нелегко. Потом я вынула из шкафа свое зимнее пальто. А день был опять жаркий, даже душный.

— Ты куда это? — удивилась Тамара.

— Уезжаю.

— Надолго ли? — усмехнулась она.

— Может быть, навсегда, — сказала я. И стала укладывать вместе с пальтишком три своих выходных платья.

— Как же ты потащишь такой узел?

— У меня машина.

— Машина? — еще больше удивилась Тамара. — Откуда? Чья?

— Моего мужа, — вдруг насмелилась я. И потом уже твердо сказала: — Я, Тамара, выхожу замуж.

— Виктор! — закричала Тамара как-то растерянно и, может быть, все-таки с некоторой усмешкой. — Виктор, выйди! Иди сюда. Мама уезжает. Выходит замуж.

Виктор вышел, поздоровался, кивнул на мой узел:

— Что это вы?

— Ты бы хоть с мужем или с женихом своим познакомила, — усмехнулась как-то жалко Тамара. — Он где?

— Он в машине.

— Он что, шофер, что ли? — еще спросила Тамара. — Пусть хоть зайдет.

И тут мне стало почему-то неловко. Словом, не хотела я сказать Тамаре и Виктору, что Ефиму Емельяновичу трудно зайти.

— В следующий раз, — сказала я. — В следующий раз он зайдет. И вы, я надеюсь, приедете к нам. У нас там очень хорошо. И я хочу, чтобы внуки потом приехали. Все-таки на свежем воздухе.

— А где это? — стала допытываться Тамара.

Но я сделала вид, что не слышу, принялась завязывать узел.

— Давайте я вам помогу, — поднял узел Виктор.

Ефим Емельянович в это время ходил около машины. Нет, нельзя было сейчас заметить, что у него отсутствует нога. Около машины ходил высокий и, опять мне показалось, очень красивый мужчина, хотя и не очень молодой.

Они вежливо поздоровались, эти двое мужчин. И стали укладывать мои вещи в автомобиль.

— Это у вас «Жигули»? — посмотрел на машину Виктор.

— Нет, это еще старый «Запорожец», — сказал Ефим Емельянович. — В ближайшее время получу, наверно, новый...

Потом вышла Тамара. Она, должно быть, подкрасила губы и попудрилась.

— Ну вот, очень приятно, — первым сказал Ефим Емельянович. — На той неделе мы, наверное, зарегистрируемся с вашей мамой, и я за вами, Тамара и Виктор, заеду. Надо будет нам вместе отпраздновать такое дело. — И улыбнулся, глядя на меня, Тамару и Виктора. — Нет возражений?

— Виктор ваш мне понравился, — сказал Ефим Емельянович, когда мы опять выехали на шоссе. — Красивый и, видать, сильный малый. Если он не пьет, как вы говорите, много читает, может, знания копит и потом себя окажет. Всякое может быть...

— Жалко только, что он никогда не слушает, не хочет слушать, — сказала я. — Даже отца родного как бы не очень признает. А отец, по-моему, неглупый старик.

— Все мы будто неглупые — и старые и молодые, — точно с усмешкой отозвался Ефим Емельянович. — И у всех на все случаи свои права. Но старики, на мой взгляд, права свои немножечко превышают. У них разгорается особая страсть, что ли, обязательно, надо или не надо, поучать молодых. И вы знаете, Тонечка, я уже давно пригляделся: чем глупее старики, чем бестолковее прожили собственную жизнь, тем горячее серчают на молодых и пробиваются к ним в учителя. А жизнь идет и все ломает, переламывает по-своему. Хорошая, Тонечка, вещь — жизнь. — И он вдруг обнял меня правой рукой, придерживая левой баранку. — А я живу и радуюсь, что я еще живу, — сказал он, снова положив обе руки на баранку. — И никого ни осуждать, ни поучать мне не хочется. И не хочется думать, что мое время тоже уже прошло...

Он вдруг замолчал. А молчит он всякий раз, я это уже заметила, как бы сердито, и лицо его в такие моменты искажает мука.

Все-таки я попыталась снова разговорить, спросила, что он думает о Гале Тустаковой, о Галине Борисовне и ее муже.

— Неохота мне о ней думать. И зачем? — повернул он ко мне действительно сердитое лицо. — Пусть о ней думает тот, кому больше надо...

Тогда я, даже чуть преувеличив, рассказала, как

она относится к нему — с каким уважением и интересом.

— А мне все равно, — опять отчего-то повеселел он. — Я никогда и раньше не относился к людям в зависимости от того, как они ко мне относятся. Это только очень слабые люди так приноравливаются: ты меня похвали — я тебя похвалю. И оленю едва ли интересно, что о нем думает волк. А эта Галина Борисовна что вам — хорошая подруга? — снова повернул он ко мне как будто уже насмешливое лицо.

И тут я, похоже, затруднилась:

— Ну, как сказать...

— Ага, понятно, — засмеялся Ефим Емельянович.

И уж всю дорогу был веселый.

Вскоре мы действительно зарегистрировались, и он подарил мне золотое кольцо.

— Первая моя жена колец не носила, — объяснил он. — Они тогда, казалось, навечно вышли из моды. А теперь вот опять вошли. Многие, я вижу, носят. И вы, может, захотите...

— А вы? — спросила я.

— А мне оно, это кольцо, будто и ни к чему. У меня работа такая, что я его и потерять могу. И вообще я, пожалуй, обойдусь, — засмеялся он.

А я была счастлива, что у меня есть муж, что я замужем. И пусть, я подумала, все это знают.

Борис Бобровский

МАМКИН СЫН

Первые минуты после смены (особенно если хорошо шел бетон) всегда хочется немного помолчать.

Олег Рыков смотрел сквозь запотевшее стекло на стройку. Она казалась ему теперь далекой, чужой...

Дверь бытовки открылась, раскачиваясь на петлях, тягуче заскрипела. С улицы дохнуло мокрым осенним ветром.

Не поднимая головы, бригадир Баукин негромко спросил:

— Кому там швейцар нужен?

С порога раздался хрипловато-металлический басок начальника участка:

— Не торопись одеваться, ребята.

Виктор Баукин был небольшого роста, и, чтобы видеть стоявшего возле двери человека, ему пришлось вскочить.

— Что опять случилось, Александр Петрович?

— А то не знаешь, — протяжно вздохнул начальник участка, — соседи ваши не шевелятся. Заказали с утра триста кубов бетона, а укладывают едва-едва двести. Остальное хоть выбрасывай. Придется вам снова на буксир их брать.

— Да что мы, двужильные? — тотчас загомонили рабочие. — У них совесть есть, у говорунов этих?

— Весь день с девками шепчутся, а под конец смены на помощь зовут. Надо же, мудрецы!

— Дважды мы им помогали на этой неделе! Может, хватит, а?

Баукин, расталкивая бетонщиков, протиснулся к двери, где стоял, покуривая, начальник участка, сказал:

— Вы их, Петрович, рублем воспитуйте! Надоело на

буксире таскать. Мы же не можем за две бригады работать!

Начальник молчал.

Олег Рыков из угла вагончика с тоской глядел на кричащие рты, искривившиеся губы. Он наперед знал — ребята пошумят, а бетон примут. Знал он также и то, что вновь ему у бригады придется отпрашиваться. И от этого — болеть душой, казнить себя и презирать.

Вот так, как предполагал Рыков, и произошло. Выходили уже рабочие из вагончика, ежились под мелким дождем, ругались. Олег остался в бытовке.

— Приглашения ждешь? — спросил Баукин.

Рыков молча пошарил в карманах, достал небольшой клочок бумаги.

— У меня телефонный разговор с Омском. Мать вызывает.

— В прошлый раз у тебя был телефонный разговор с Омском, сегодня разговор с Омском... Ты что, думаешь, у нас матерей нет?

— Есть, конечно.

— Так одевайся. Завтра переговоришь. — Баукин уже стоял в дверях.

— Не могу, — сказал Олег. — Мать у меня сильно болеет.

— Ладно, уговорил.

Бригадир поднял воротник куртки, застучал сапожищами по деревянным ступеням, спускаясь на землю.

— Мамкин сын, значит, — перед тем как закрыть дверь, сказал Саша Трофимов.

Олег остался один. Сидел на лавке — чистенький, наутюженный, — шуршал нейлоновой курткой, размышлял: «Уходить или не уходить?»

По соседству с вагончиком заурчал дизель-электрический кран, завизжал стропами — бригада начала укладывать бетон.

* * *

Тропа неожиданно сузилась, потекла вдоль татарника и наконец совсем оборвалась, уткнувшись в предупреждение: «Граждане! Не подходите близко к обрыву. Это опасно!»

Последние слова Наташа произнесла по слогам, прочла — и заглянула в пропасть.

Внизу — зеленые волны Цимлянского моря бились о рыжие плоские камни. Море медленно, но неумолимо въедалось в глиняный откос, и он во многих местах рушился, сползали вниз огромные глыбы.

Наташа испуганно отшатнулась, представив, с каким грохотом берег может обрушиться в море.

— Веселенькое местечко! — засмеялась она. — Свалишься — и костей не соберут.

Олег стоял рядом, держал ее за локоть, когда она заглядывала в пропасть.

— А тебе разве не любопытно заглянуть вниз? — спросила его Наташа. — Или ты привык подчиняться надписям на табличках?

— Стоит ли рисковать? Не обязательно падать с дерева, чтобы узнать, какая твердая земля.

— Если ты такой разумный, тогда скажи, зачем ты недавно лез по сваям в корпусе? Ведь это должны делать монтажники?

— Это, Наташенька, по работе требовалось.

— Безрассудство по расчету?

— В том-то и весь фокус. Главное, вовремя сообразить, из-за чего следует рисковать. Когда разберешься — все потечет гладко и вполне определенно... Как вода этого моря на турбины электростанции.

Олег показал на пологий противоположный берег, где маячил величественный силуэт белого здания, увенчанного шпилем.

— Все же ты зря не заглянул вниз. Там красиво. Просто красиво — и все! Дикая природа. Стихия. Волны. Камни... Это запомнится.

— Если ты настаиваешь, я загляну. — Олег засмеялся. — Я даже прыгну вниз, если тебе это необходимо.

— Ну, ну, перестань играться. — Наташа схватила его за рукав, оттянула насильно подальше от обрыва. — Тут тебе не производство, и план не горит. Так что можно и не рисковать. Я разрешаю.

— Вот спасибо! — Олег посмотрел на часы. — Я проведу тебя до общежития. У меня через полчаса звонок из Омска. Завтра, при желании, можем продолжить дискуссию.

— Опять — мама? — поинтересовалась Наташа.

— Опять.

— Ты так часто говоришь с ней по телефону, что тебя в бригаде прозвали «мамкиным сыном».

— Видишь ли... — засмеялся Олег. — Может, вместе сходим на почту? Я переговорю, и мы еще успеем побродить. Может, и в кино успеем.

— Да нет, ты уж сам... с мамой разговаривай.

* * *

Почта помещалась в одноэтажном деревянном здании на окраине города. В одной половине дома была сберегательная касса, телеграф, еще какие-то почтовые учреждения, а в угловой тесной комнатке находился междугородный телефон. Работал он только до полуночи.

Ожидая вызова, Олег читал объявления, висевшие на стене. Почти все они призывали молодежь ехать на строительство Атоммаша. Один из таких рекламных проспектов он увидел год назад в Омске... Кажется, это было так давно.

Телефонный разговор, как всегда, задерживался, и Олег терпеливо ждал вызова.

В Омске сейчас конец рабочего дня. Мать, вероятно, уже в пути. А может, еще и в школе. Она учительница, и ей приходится оставаться после уроков. Олег знал это. Она часто возвращалась поздно вечером: случалась какая-либо неприятность с ее учениками, и Анна Игнатьевна не успокаивалась до тех пор, пока все не уладит.

— Ты, мать, не надрывайся, — говорил ей Олег, — все равно Витька Козлов не перестанет убегать из дому, а Катька Еремина — ябедничать. Люди так устроены, что им все равно больше всего нравится быть такими, какие они есть. И ничего тут не поделаешь.

Анна Игнатьевна пододвигала сыну тарелку, горячей ладонью гладила его по голове.

— Ах ты мой дорогой педагог! Если работа нравится — никогда не бойся надорваться.

Анна Игнатьевна не умела беречь себя. Она переживала все беды и неудачи школы, а те нечастые радости, которые выпадали и на ее долю, торопилась отдать другим, считая, что кому-то они нужнее, чем ей самой.

Так всегда и получалось, что трудные классы доставались ей, и самые беспокойные общественные нагруз-

ки тоже выпадали на ее долю. А если приезжала комиссия, то направлялась она к Анне Игнатьевне. И справки, и отчеты всякие, и ремонт школы, и инспекционные поездки в деревню, где работали школьники,— все было ее. А вот изучать чей-то передовой опыт в центр страны ехал всегда кто-нибудь другой. И Анна Игнатьевна не обижалась, не спорила: не потому, что ей не хотелось пожаловаться или поспорить, а потому, что не умела этого делать. Не умела — и все. Таких людей, как Анна Игнатьевна, уважают и любят в коллективе, награждают дипломами, но и всегда нагружают работой.

Больше всего на свете Анне Игнатьевне хотелось, чтобы Олег удачно женился. Она мечтала о внуке. Тогда бы у них была семья. Большая семья. А пока их только двое, никого из родственников у них нет. Но на тему Олеговой женитьбы они почти не говорили.

Когда Олег объявил, что едет строить Атоммаш, едет далеко и надолго, — Анна Игнатьевна не выдержала и заплакала. Она очень не хотела расставаться с сыном.

И все же она не стала его отговаривать. Быстро овладев собой, принялась собирать в дорогу.

Перед отъездом Олег сказал:

— Странно как-то получается, мать. Столько лет мы прожили вместе, а фамилии у нас разные. Даже как-то неудобно перед людьми. Ты — Северина, я — Рыков. Давай я поменяю свою фамилию на твою.

— Не надо, сынок, — подумав, ответила Анна Игнатьевна. — Ты родился Рыковым и должен оставаться им до конца жизни. Ведь все равно это ничего не меняет.

Олег вспомнил этот их разговор и запоздало пожалел, что не настоял на своем. Теперь, спустя год, он понял, что изменить фамилию — не пустая формальность. Особенно для матери...

Дежурная телефонистка постучала в окошко:

— Омск на проводе. Заходите в кабину.

Только сейчас отлегло от сердца. Олег сразу успокоился. Последнее время он никак не мог избавиться от щемящего предчувствия, что мать когда-нибудь не придет на разговор с ним.

* * *

Два раза в неделю все, кто стоял в очереди на квартиру, обязаны были по три-четыре часа отрабатывать после смены на строительстве жилых домов. Таскали строительный мусор, месили раствор, благоустраивали площадки вокруг зданий, вычищали уже готовые дома от всякого хлама...

Олег не стоял в очереди на квартиру. Он жил в общежитии. Но как-то решил остаться и помочь ребятам из бригады.

— Чего ради? — не очень вежливо спросил его Баукин.

— Могу и не оставаться, — обиделся Олег.

— Пошатнувшийся авторитет у бригадира решил восстанавливать? — засмеялся Саша Трофимов. — Смотри, не заработай грыжу. А то мама переживать будет.

Олег хлопнул дверью, вышел. Вагончик качнулся, будто ветер ударил в стены.

— Ого, у нас уже нервы шалят! — усмехнулся вслед Рыкову Трофимов.

— Перестань над человеком насмехаться,— оборвал его бригадир.— Нашел занятие. И чтоб я больше ни от кого не слышал... «мамкин сын». К нему это прозвище не подходит. Он наш парень. А что к матери по-человечески относится, так это кое-кому из нас поучиться надо... Ты, Трофимов, давно матери по телефону звонил?..

— Отработаю вторую смену — и побегу на переговоры.

— Зря смеешься! Мать есть мать...

Трофимов вскочил с лавки.

— Но и так же нельзя... За мамину юбку держаться. Различать надо! А не то — можно в Рыкова превратиться. Через день на переговоры будешь бегать.

— Может, надо человеку. Чего осуждать?

— А никто и не осуждает,— помягчел Трофимов.— Пусть делает что хочет.

— Да, парень в самом деле ничего,— негромко заметил Василий Кольцов.— Я с ним в прошлый раз ростверк утрамбовывал. Он послабее меня физически, а из кожи лез, чтоб не отстать. Мне даже неловко стало, так я себя притормаживал. Чтоб успокоился парень... Не на-

до нам его обижать. Витек правильно говорит: про «мамкиного сына» забыть надо. Это к нему не подходит.

Больше к этому разговору в бригаде не возвращались.

* * *

Осенью Олег заболел...

Прошел густой дождь, и в котлован, вырытый для ростверка, попала вода. Ее вычерпывали оттуда ведрами. Баукин приказал, чтобы к приезду первой машины с бетоном основание было чистым.

Рыкову он предложил — осторожно, мягко:

— Ты, если хочешь, иди на опалубку. Там сухо.

Олег даже слегка качнулся, будто ударили его:

— За что мне такая милость?

— Да не кипятись! У тебя же мать болеет. Простудишься ненароком — лазарет у вас в семье будет.

— Не простужусь,— сказал Рыков и спрыгнул в котлован.

Несколько часов Олег ползал на коленях по мокрому дну, добирался посинелыми пальцами до каждой щели и отчего-то даже испытывал радостное облегчение, когда капли воды падали прямо на него, проникали за воротник, холодили разгоряченное тело. Он и не заметил, как промок до нитки.

Выполнив задание, рабочие ушли в бытовку переодеваться в сухую одежду, а Олег отправился вязать арматуру. И хотя легкий озноб к концу дня уже пронизывал все тело, остался вместе со всеми после смены, чтобы уложить бетон в ростверк...

На другой день с двусторонним воспалением легких его отвезли в больницу.

* * *

...Утром тихую загородную улочку разбудил рев самосвала. Во дворе больницы тотчас запахло цементом, горячим железом — дохнуло большой стройкой. Из палат, отодвинув белоснежные занавески, выглядывали больные.

Баукин — в сапогах, холщовой куртке с эмблемой на рукаве, в каске — размашисто вошел в приемную инфекционного отделения, сердито и требовательно спросил медицинскую сестру, испуганно на него глянувшую:

— Где у вас тут Олег Рыков лежит? Мне надо его видеть.

— Вы бы еще на самосвале в палату въехали... Нельзя к нему.

— Почему? Мне надо пару слов человеку сказать.

— Нельзя — и все... Не шумите!..— И, подумав, добавила: — Он в тяжелом состоянии.

— А я, думаете, в легком?

Баукин рванулся в палату, но медсестра проворно догнала его, схватила цепко за рукав куртки.

— Не безобразничайте, товарищ... Здесь вам не стройплощадка.

Баукин вмиг преобразился. Сложив руки на груди, совсем другим, игривым тоном попросил:

— Миленькая, я только на секунду... Он же простудился — какое там тяжелое состояние?.. Мне бы ему пару слов сказать.

— Нельзя. У него двустороннее воспаление легких, понимаете? Уходите немедленно.

— А когда можно будет?

— Не знаю... Когда легче станет. Уходите, вы тут всех на ноги подняли.

Баукин нахмурился, в сердцах ударил кулаком по ладони, произнес сквозь зубы:

— Ну-у, пацан!..

По дороге на стройку, вспомнив разговор с медсестрой, спросил водителя самосвала:

— Двустороннее воспаление легких — это опасно?

— Кто его знает,— пожал шофер плечами,— не приходилось испытывать.

* * *

Наташа слушала врача и не могла избавиться от ощущения, что с ней он разговаривает только из вежливости. Так ничего не выяснив, она, не зная, как ей быть, ушла. Ребята из общежития, где жил Олег, передали ей телеграмму. Она вынула ее из сумочки и еще раз перечитала текст: «Приглашаетесь телефонный разговор Омском 24 сентября 20 часов». А сегодня уже двадцать шестое. Если б телеграмма не залежалась в почтовом ящике, то Наташа могла бы сходить и сама на разговор с матерью Олега или, в крайнем случае, договорилась с кем-нибудь из ребят. Но время ушло, те-

лефонный разговор не состоялся, и бедная женщина теперь бог знает что думает...

После встречи с врачом остался неприятный осадок. Что Олег сильно болен — это ясно, но насколько опасно — Наташе не сказали. Рыков был в тяжелом состоянии, а где-то далеко, в Омске живет человек, кому он особенно дорог. Мать теперь терзают сомнения, ночи кажутся мучительно длинными...

Неспокоен, конечно, и Олег. Меньше всего он нуждается сейчас в сочувствии. В записке, которую передала Наташе медсестра, он просил ничего не сообщать матери, писал, что скоро выздоровеет и нет необходимости понапрасну беспокоить старую, болезненную женщину. Олег настойчиво просил об этом. Пожалуй, слишком настойчиво...

Наташа была уверена, что Олег не прав. Мать не обманешь. Она и за тысячу километров почувствует, что с сыном что-то неладно. В таких случаях лучше всегда говорить то, что есть на самом деле.

Но прежде чем сообщить в Омск о болезни Олега, Наташа все же решила посоветоваться с бригадиром. Кроме того, она не знала адреса Анны Игнатьевны и надеялась, что Баукин поможет ей в этом.

— Я и сам не соображу, как поступить,— сказал Баукин.— Сообщить матери, конечно, не мешает. Может, она приехать захочет. Кто их поймет, матерей... Но и сомнение имеется. Вдруг сильно растревожим женщину? Представь себе: получит она телеграмму — и сама в больницу ляжет. Вот и сделаем мы доброе дело по-медвежьи. С другой стороны—и молчать не годится. Парень-то свалился не на шутку. Даже сознание иногда теряет.

Наташа не узнавала Баукина. Он всегда был решительным, дерзким. Про него на стройке говорили, что у него в работе — мертвая хватка, а теперь он растерянно говорил что-то насчет трудности сложившегося положения.

Устав слушать бригадира, Наташа спросила:

— Представь, что ты оказался на месте Олега Рыкова. Чего бы ты хотел?

— Я никогда не окажусь на месте Олега Рыкова,— уверенно заявил Баукин,— потому что никогда бы не простудился в блюдце с водой... Жаль, не пустили меня

к нему в первый день болезни... Я бы ему, пацану, кое-что сказал... Отпала бы охота на коленях в котловане ползать, геройством заниматься. Теперь, конечно... ничего не скажу: злость выкипела.

— Матери, мне кажется, надо сообщить. Мне нужен ее адрес. У тебя он есть?

— Откуда? У меня в бригаде сорок человек.

— Может, ребята знают?

— Я спрошу... Но это не выход...— протянул Баукин. И загорелся: — А если самолетом в Омск слетать? День — туда, день — обратно. Мы бы тебе на билет сбросились. Так бы было лучше, чем телеграмма, по-человечески... У них отношения с матерью какие-то странные, шибко нежные. От телеграммы она перепугается наверняка, а если ты ей все объяснишь при встрече, растолкуешь — она и успокоится. Совсем другой табак. Чего ты молчишь? Я ведь дело предлагаю.

А Наташа ничего не могла ответить, потому что в горле у нее на мгновение пересохло, запершило. Все-таки Баукин есть Баукин, теперь она узнавала его.

* * *

Виктору Баукину было всего двадцать три года. Но он и выглядел старше своих лет, и в поступках был взрослее: умел так себя поставить, что с ним обращались, как с человеком, прожившим долгую жизнь. За глаза его в бригаде звали «отцом». Начальство к Баукину относилось с настороженной почтительностью: бригадир часто своевольничал, однако работу делал отменно.

В этот же день он раздобыл деньги на поездку в Омск, в объединенном постройкоме заказал билет на самолет и заодно вытребовал путевку в санаторий и «лечебные» для Олега на будущее, когда тот поправится: договорился, чтобы Наташу отпустили с работы на два дня.

У Наташи день сложился менее удачно. Ей не удалось отыскать адрес Анны Игнатьевны. У Олега она не могла спросить, а в комнате общежития, где он жил, ребята все переворошили, но конверта с письмом от матери не нашли. В отдел кадров она опоздала.

— Придется тебе в Омске искать через справочное бюро,— сказал ей Виктор Баукин.— Если возникнут за-

труднения — будь настойчивее, позубастее. Иди к начальникам в адресное бюро, в милицию обратись. Найдут! Имя, отчество и фамилию знаешь, возраст примерно высчитаешь — как не найти!

...В Омске шел снег. Это была первая неожиданность. Наташа стойко терпела холод: прилетела она в спортивной куртке. Вторая неожиданность оказалась более серьезной — Анна Игнатьевна Рыкова в городе не проживала.

Содрогаясь от холода, Наташа растерянно ходила по улицам незнакомого города. Если б она знала хотя бы улицу, где жил Олег!..

Произошло какое-то недоразумение, но какое именно? Возможно, Олег с матерью жили неподалеку от областного центра, и в Омск Анна Игнатьевна ездила только для телефонных разговоров с сыном?

Все-таки не следовало торопиться и ехать за тысячу верст без адреса. Но, может быть, Анна Игнатьевна носит другую фамилию по какой-либо причине? Но тогда отыскать ее практически невозможно.

Оставалось одно — возвращаться домой...

Наташа заказала разговор с Волгодонском. Связь обещали дать только на вторые сутки. В телеграмме она просила Баукина узнать адрес или, по крайней мере, уточнить фамилию Анны Игнатьевны.

В гостиницу возвращалась она несколько успокоенной: появилась надежда, что все уладится. Возле школы вдруг остановилась, вспомнив, что однажды во время разговора Олег упомянул, что мать его работает учительницей.

Это была ниточка, и на другой день (все равно делать было нечего) Наташа пошла в гороно.

Начальник отдела кадров гороно — сухонький, болезненного вида мужчина,— узнав, что Наташа приехала с большой стройки, оживленно заговорил:

— Читал, читал в газетах... Атомная энергетика — это наше будущее. А какие темпы! Какой размах! Я в молодости строил Днепрогэс.— Он многозначительно кашлянул, молодцевато выпрямился.— Хотелось бы посмотреть на Атоммаш.

Потом он старательно, посапывая по-стариковски,

перебирал картотеку, куда-то звонил, уточнял и наконец, разогнувшись, печально развел руками:

— Нет такой учительницы... Анна Игнатьевна у нас в городе только одна — Северина. Она работает в средней школе. Старый, опытный педагог.

— У нее сын есть?

— Сына у нее нет. Она живет на улице Герцена. Если хотите, я дам адрес... А вдруг? Мало ли что бывает?

На поиски дома, где жила Северина, ушло часа три, и Наташа уже не рада была, что забралась в новый микрорайон, расположенный вдали от центра... Дважды позвонила в квартиру, но никто не открыл дверь. Было уже больше трех часов. Если Анна Игнатьевна работает в первую смену, она скоро вернется. Но если во вторую?.. Тогда она только что ушла... Да и мать ли она Олега?

От холода, утомительного поиска нужного дома Наташа изрядно устала, продрогла, прислонилась на лестничной площадке к батарее, угрелась. Так она простояла часа два. С работы начали возвращаться жильцы дома, и Наташа вдруг сообразила, что у соседей она может узнать, есть ли у Анны Игнатьевны сын Олег. Тогда многое прояснится... Она позвонила в одну, другую квартиру, и какая-то женщина, несколько насторожившись, ответила, что Олег жил в их подъезде, потом он уехал на стройку, только он Севериной не родной сын, а приемный.

— Можно у вас погреться? — спросила Наташа.

Она вдруг почувствовала страшную усталость, будто ей пришлось пешком пройти от самого Волгодонска в Омск. Соседка разрешила ей войти в комнату, но настороженность не исчезла во взгляде.

— Вы кто же Олегу будете? — спросила она.

— Я со стройки... Знакомая. Олег сильно заболел, и ребята прислали меня к его матери, чтоб сообщить. Я с таким трудом нашла ее...

— Олег славный парень, мы его все тут уважали,— уже мягче произнесла хозяйка квартиры,— но ему, знаете, не следовало уезжать... Мать так этого не хотела.

— Вы говорите, он ей не родной сын?

— Да, родители Олега погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было восемь лет... Он учился в классе Анны Игнатьевны, вот она и взяла его к себе, потом

усыновила. Олег в те годы часто болел, но она выходила его. Правда, самой ей это много здоровья стоило. Да, не следовало бы ему уезжать,— повторила она, и в голосе ее послышалось осуждение.— Но, знаете, тут не бывает законов. Каждый поступает, как считает нужным.

— Конечно,— согласилась Наташа.

Теперь ей стало многое понятным в поведении Олега.

Наташа поняла, как трудно было Олегу уезжать на стройку: с родными матерями расставаться легче...

* * *

...Известие о болезни Олега Анна Игнатьевна выслушала спокойно, без оханья и суеты. У нее лишь слегка порозовели щеки. Вначале она только произнесла: «Спасибо, что вы мне сообщили об этом».

Поскольку Наташей был заказан телефонный разговор с Волгодонском, Анна Игнатьевна решила узнать у Баукина новости о здоровье Олега. Если понадобится, она готова была немедленно ехать к сыну.

Вместе они отправились на переговорный пункт.

Ожидая вызова, Наташа и мать Олега негромко переговаривались: о стройке и донском крае...

В беседе незаметно пролетело время, их пригласили в кабину.

Наташа взяла трубку:

— Алло, Виктор Васильевич? — Она знала, что Баукин любит, когда его называют по имени-отчеству, но в трубке зазвучал незнакомый голос — чуть приглушенный, слабый.— Алло, кто у телефона? Мне нужен Виктор Васильевич Баукин! Кто-кто? Олег Рыков?..

Наташа с удивлением обернулась к Анне Игнатьевне:

— Говорит... ваш сын...— и передала ей трубку.

Лицо старой женщины просветлело от радости и изумления.

— Олег, это ты?! Ты откуда говоришь, Олежка?.. Из больницы?.. Как твое самочувствие?..

Наташа не могла понять, как мог у телефона оказаться Олег. Видимо, все это организовал ему бригадир. Ох уж этот Баукин, перед ним никто устоять не сможет.

По бледным щекам Анны Игнатьевны текли счастливые слезы.

Наташа потихоньку вышла из кабины, давая возможность вдоволь наговориться матери с сыном. Ей вдруг захотелось немедленно уехать, вот прямо отсюда помчаться на стройку, к ребятам, сказать им что-нибудь хорошее.

Она оглянулась по сторонам, испугавшись, что другие заметят ее состояние, но все были поглощены своими заботами...

Геннадий Ненашев

ОТ СНЕГА ДО СНЕГА

На берегу Анадырского лимана, неподалеку от города, расположилась рыболовецкая база. Дома маленького поселка вплотную приблизились к воде, протянулись единственной улицей вдоль берега, точно повторяя его очертания. Летом, если смотреть издали, кажется, что дома вышли сюда встречать хозяев своих — рыбаков. Местечко это тихое, уютное. С наступлением весны оно оживает. Приезжают парни и девчата, заключившие договоры на ловлю и разделку рыбы. На базе становится людно и весело. Когда начинается путина, появляются гости — корреспонденты местной газеты и радио, начальство. А осенью снимают невода, разъезжаются сезонные рабочие, все теряют к поселку интерес.

В один такой скучный, томительный зимний день поселковому бондарю Силантию Егоровичу Лыткину от жены Клавдии Тихоновны пришло письмо. Робким неровным почерком она писала, что он, Силантий, якобы совсем ее забыл, и до каких пор он думает болтаться по белу свету, и думает ли вообще возвращаться домой, в деревню.

Силантий Егорович внимательно прочитал письмо, покрутил листок и отложил его в сторону. Задумался. Что тут скажешь — права старуха. Давненько он отбыл из дому, а возвращение все откладывал. Прижился здесь, к людям привык. Податься сейчас? Директор не отпустит. Скоро весна, а там — путина. А в путину он, Силантий Егорович, на базе — главная фигура. Сколько нужно тары отремонтировать и новой собрать — гору! Без тары — лови рыбу, не лови... Под рыбу тара нужна. Нет, без него на базе никак невозможно обойтись. Не отпустит директор, и думать нечего.

Вообще-то Силантий Егорович по профессии конюх. Но за долгие годы жизни чего только не приходилось делать. Когда он приехал на Север «поправить», как он выражался, пенсию, ему сказали, что лошадей здесь нет и надо клепать бочки,— он перечить не стал.

Силантий Егорович взял письмо, отставил его подальше от глаз, чтоб было видней, и перечитал еще раз. Потом оглядел свое жилище — просторную комнату и кухню — и остался недоволен. Человек он был аккуратный, любил во всем порядок, поддерживал его и здесь. Вроде и чисто все, и прибрано, а вот впервые показалось ему, что неуютно как-то, неприветливо. По-казенному выглядит чистота эта. «Нет бабьего присмотра,— определил Силантий Егорович.— Надо, чтоб в доме всегда баба была». Сложив вчетверо письмо, он положил его обратно в конверт. Накинул полушубок, сунул ноги в просторные валенки и без шапки вышел на улицу.

В этом доме через стенку, точно в такой же комнате, как у Силантия Егоровича, жила молодая пара — Олег и Ирина. Здесь, на путине, они встретились, полюбили друг друга да и остались жить постоянно.

Дверь открыла Ирина — веселая тоненькая девушка.

— А-а! Дядя Силантий, здравствуйте. Давненько к нам не заглядывали! Проходите, гостем будете, чайку попьем. Я как раз пирожков настряпала. Скоро Олег должен вернуться. Поехал в город. Решили магнитофон купить.

Силантий Егорович поблагодарил хозяйку, но от чая отказался. Попросил только чистый лист бумаги и авторучку.

— Письмишко старухе решил отписать,— пояснил он.— Получил сегодня от нее. Ну вот и самому, думаю, надо...

Уходя, Силантий Егорович бросил взгляд на комнату молодоженов и про себя отметил, что она хоть и похожа на его собственную, а все же уютней как-то, светлее. Словно сама Ирина с пышными волосами цвета пшеницы излучала этот свет. И решение, возникшее в нем, утвердилось.

Дома, усевшись поудобней за стол и подложив под лист бумаги газету, Силантий Егорович неторопливо принялся писать. После приветов родным и знакомым он перешел к делу.

«Покумекал я тут маленько и решил. Давай-ка, старуха, приезжай сама сюда. Меня все равно не пустют. Работы у меня много, а делать некому. За домом пусть присмотрят Бачурины. Телушку и курей продай. Накажи им, чтобы за огородом тоже приглядывали...»

Далее он подробно описывал, как взять билет на поезд до Новосибирска, где там сесть в самолет, уверял, что работа для нее тоже найдется, и просил перед вылетом отбить телеграмму.

Наконец Силантий Егорович оторвался от письма, удовлетворенно выпрямил затекшую от напряжения спину, прочитал написанное и, решив, что получилось складно, довольный собой, запечатал листок в конверт. Утром следующего дня отправил письмо и деньги на дорогу и стал ждать приезда жены.

Через месяц, в конце апреля, из Хабаровска пришла долгожданная телеграмма, Силантий Егорович поехал в порт. А вечером, перед ужином, в присутствии соседей — Олега и Ирины — Клавдия Тихоновна, полноватая, но энергичная, расторопная женщина делилась дорожными впечатлениями:

— Догадывалась, что не близко, но чтобы так далеко... Если б знала — ни в жизнь бы не поехала! Честное слово! Ну и Россия-матушка, едешь-едешь, а конца края не видно!

— Да что же ты поездом-то поехала? — вмешался Силантий Егорович.— Я же тебе отписывал — садись самолетом!

— Я и хотела наперво. Но потом посмотрела — уж больно дорого. Поскупилась. Вот и решила на поезде. Да и боязно было в самолет-то садиться. Сколько можно, думаю, поездом проеду, а там уж будь что будет!

— Поскупилась... Дорого!..— добродушно передразнил Силантий Егорович.— А сколько дорогой проела? Не дорого? Еще больше, посчитай-ка, и вышло.

— А что проела? Еда у меня своя была! Запаслась, поди, на дорогу. Не выскакивала на станциях по лавкам, как некоторые. Да я и не жалею теперь, что поездом-то... Хоть белый свет поглядела, а то бы и до самой смерти думала, что земля за Ермолаевкой кончается...— Она весело засмеялась.— Я ведь совсем раньше никуда из деревни не выезжала,— обратилась она непосредственно к Ирине. Видно было, что они сразу друг другу понра-

вились.— Да и куда ездить? Ну, соберешься раза два в год в районный центр за покупками, а так все дома. У нас и свой магазин неплохой. Что нужно по хозяйству, все купить можно. Ой, заболталась я совсем, давайте на стол накрывать!

Клавдия Тихоновна встала, подошла к вещам, стоявшим в переднем углу.

— Сейчас вот только разберу немного пожитки...

«Пожитки» выглядели внушительно. Два больших старых чемодана, дорожная сумка и еще куча узлов и узелочков. Из них стали появляться самые разнообразные и неожиданные предметы: две пуховые подушки, чайник, глиняная крынка, умывальник, чугунная сковорода, сковородник.

— И для чего ты это понатащила? — недоумевал Силантий Егорович.— Неужели такого барахла здесь нет?

— Откуда мне было знать, есть или нет! Когда внучка Бачуриных показала на карте, где мы живем, а где вы, у меня даже голова закружилась. В такую даль завозить — откуда все учтешь, думаю. Ведь в хозяйстве мне чего надо! И ложки и плошки... Вот я и подумала. Да и не бросать же добро! В магазин-то не находишься каждый раз. За все денежку плати. Я еще почему на поезде? На самолет-то только тридцать килограммов берут, а за остальные доплачивать.

На стол посыпались свертки, кульки, банки с грибами, огурцами, вареньем...

Силантий Егорович озорно подмигивал Олегу, улыбался. Он знал, что отныне в доме он будет только исполнителем, лишенным права голоса. Так уж повелось с тех пор, как тридцать пять лет назад привел он к себе молодую бойкую Клаву.

— А это тебе, Силантий, гостинец! — она вытащила пузатую нестандартную бутылку, о содержимом которой нетрудно было догадаться.— Друг твой Никанор просил передать. Первачок подкрашенный.

Силантий Егорович принял бутылку и поставил на стол. Разгладив усы шершавой ладонью, спросил:

— Ну, как он там?

— Да как! Пьет, леший. Как пил, так и пьет! И-и не просыхает. А недавно что учудил? Михайловна послала его в сельмаг, а он деньги-то взял и пропил! Что ты с ним будешь делать? Прямо наказанье одно! —

Клавдия Тихоновна хлопнула себя по крутым бедрам, рассмеялась — как бисер рассыпала.— Но работящий! Уж как впрягется... Хорошо работает! За то и держат. Не выгоняют. Самогонку выпросил у кого-то взаймы, принес перед моим отъездом. «Передай, говорит. Силантий до нее хоть и небольшой охотник, а все же когда-нибудь душу согреет».

Долго не гас свет в этот вечер в доме Лыткиных.

Утром Силантий Егорович пошел на работу, а Клавдия Тихоновна осталась хозяйничать.

Когда он вернулся с работы, квартиры своей не узнал. Стол от кровати переехал ближе к окну, кровать перебралась к противоположной стенке, и над ней висел гобеленовый коврик. И кухня подверглась основательной реконструкции.

За чаем Клавдия Тихоновна выговаривала мужу:

— Интересно как-то живете вы здесь, Силантий! Огороды не загорожены. Весь поселок с конца в конец прошла — ни единого прясла. Ну, скотины нет — не зайдет, не потопчет, ладно. Но все равно — собаки там, да и вообще, как это — огород без прясла?

Силантий Егорович молчал. Слушал.

— Живете тут, прямо скажу, Силантий, как варвары. Сколь ни ходила, ни одного деревца не встретила. Мало ли, что живут тут временно. Деревья бы постоянно оставались. Ухода они никакого не просят, а жить с ними куда как веселее.

— Ты подожди, Клавдия, не шуми и на людей не возводи напраслину. Я же тебе объяснял: не растет здесь, вот поэтому и огородов не держат и деревьев не сажают. Люди не глупей тебя и природу уважают.

— Как это не растет? Не сажали, вот и не растет. Земля, она рожать должна! А раз холодней здесь, значит, ухода больше требует. Значит, повнимательней нужно к ней, к земле-то быть.

Как ни убеждал Силантий Егорович жену, та и слышать ничего не хотела. Не могла она, пожилая крестьянка, всю жизнь проработавшая на земле, поверить в то, что на этой земле ничего не родится, и, по ее мнению, только у ленивых земля может оставаться яловой.

Устроилась Клавдия Тихоновна в контору уборщицей

и, кажется, постепенно забыла за работой об огороде и деревьях. В конторе, как и у себя дома, принялась она переделывать все на свой лад. Николай Андреевич — директор рыбобазы — не мог нарадоваться на новую работницу. В конторе воцарилась чистота и порядок. До блеска вымытый пол покрыла ковровая дорожка, а у входа, на крыльце, Клавдия Тихоновна заставила мужа вбить скобу. Рабочие, привыкшие приходить в контору свободно, не особенно заботясь о чистоте обуви, теперь усердно скребли и обметали валенки и торбаса, а продвигаясь по коридору, жались ближе к стенке, чтобы не испачкать дорожку.

В начале мая спали морозы. Зима доживала свой век. Силы ее таяли от тепла проснувшегося весеннего солнца, и кое-где уже оголялись бухты, обнажая прошлогоднюю чахлую траву.

В один из таких теплых солнечных дней Клавдия Тихоновна вновь занялась аграрным вопросом:

— Давай, Силантий, ступай к Николаю Андреичу — пусть нарежет участок! Скоро снег растает. Надо и семена приготовить. Работаешь ты давно, проси участок поближе, кто помоложе, могут и подальше сходить — не переломятся.

Силантий Егорович не выдержал, рассердился:

— Вот зарядила! Участок, участок... Сколько тебе говорить, не растет здесь ничего!

— Как это не растет? — вспыхнула Клавдия Тихоновна.— Не садите, вот и не растет! Земля-то не така ли?

— Вот и не така!

— Не така-а... Лень-матушка, вот и не така! Забыл уже, наверно, как лопату в руках держал. С бочками-то сподручней, накинул обручи — вот и готово! Не така-а!

Осерчав на мужа, Клавдия Тихоновна отправилась сама к директору базы. Она решительно вошла в кабинет, забыв закрыть за собой дверь.

— Николай Андреевич! — начала она твердо и убедительно.— Все уже тает кругом!

— Да-а,— подтвердил директор, глянув в окно.— Весна! Хлопот сейчас, Тихоновна, по горло! Через месячишко — глядишь, залив вскроется, а там начнется...

— Начинать надо сейчас, а не через месячишко. Тогда уже поздно будет.

— Ты о чем, Тихоновна? — недоуменно спросил директор.

— Надо нам со стариком земельный участок нарезать. Я его к вам посылала, да отказался, трутень чертов. Не хочет огород садить! Совсем с вашей рыбой от земли отбился.

— А-а,— понимающе улыбнулся директор.— Ну что ж, Тихоновна, пойдем, укажу тебе участок.— И глаза его заиграли озорным блеском.

Он поднялся из-за стола — высокий, добродушный и, волоча негнущуюся правую ногу, вместе с Клавдией Тихоновной вышел из конторы. На крыльце он остановился, вытянул руку перед собой.

— Во-он, Тихоновна, сопка? Сопка Дионисия называется.

Вдали, посреди черной тундры, гордая в своем одиночестве стояла заснеженная сопка, словно и не коснулась ее весна.

— Ну и что? — теперь недоумевала уже Клавдия Тихоновна.

— Так вот, — директор заулыбался, — прямо от этого крыльца и до самой сопки, Тихоновна, и будет твой участок. Бери его и паши, и паши!

— Это как? — не поняла она, сбитая с толку.

— А так,— уже серьезно сказал директор.— Силантий Егорович правильно сказал — не растет здесь ничего. Мерзлота здесь, Тихоновна, вечная, поэтому ничто и не растет. А за шутку ты прости меня великодушно. Уж очень просьба твоя необычная.

Загрустила Клавдия Тихоновна, сникла. После работы маялась от безделья и часто вздыхала, вспоминая деревню.

— Там ведь сколько сейчас дел! Дел-то сколько! — жаловалась она Силантию Егоровичу.— А тут руки приложить не к чему. Вот ведь грех-то какой!

Когда под окнами, с южной стороны дома, сошел снег и подсохла земля, она отыскала лопату и, чтоб убедиться в существовании этой «окаянной» мерзлоты, вырыла ямку. Копать долго не пришлось. Лопата наткнулась на мерзлую, как камень, землю.

Но это не остановило Клавдию Тихоновну, и она вскопала узкую полоску вдоль всего дома. Земля была липкой и вязкой, как тесто. Клавдия Тихоновна походила

по окрестности, присмотрелась и неподалеку от поселка нашла «настоящую» землю. Вместе с мужем они нанесли ее в мешках. Он хоть и слабо верил в затею жены, но молчал и делал все так, как она говорила. С большим трудом отсыпали они две широкие длинные грядки. На одной Клавдия Тихоновна посадила редиску и лук, на другой — картофель. В низком овраге у самого лимана она обнаружила растущий кустарник и потребовала, чтобы Силантий Егорович пересадил с десяток кустов чуть подальше грядок — для зеленой ограды. Еще она велела ему сбить два узких ящика, приладила их на подоконниках в комнате, засыпала землей и посеяла рассаду огурцов и помидоров. В конторе с помощью Ирины (она работала там бухгалтером) в банках из-под консервов насажала цветов.

Однажды Николай Андреевич поехал по служебным делам в город, и Клавдия Тихоновна отправилась с ним посмотреть магазины. Уехали они на одной машине, а вернулись на разных. Директор на том же базовском «газике», а Клавдия Тихоновна — в кабине самосвала. Кузов машины более чем наполовину был загружен навозом.

— Ну, Силантий Егорович,— сокрушенно мотал головой директор, когда тот вышел им навстречу,— и задала же мне твоя Тихоновна работки! Как пристала с этим навозом. Возьмем и возьмем! Пришлось идти машину клянчить.

Самосвал вывалил навоз, круто развернулся и ушел в город.

— Приехали, значит,— воодушевленно рассказывала Клавдия Тихоновна,— директор по делам, а я ходила-ходила да и зашла на окраину. Гляжу — коровник. Коров много, все справные, ухоженные. Двое рабочих стойла чистят. А навоз-то ха-роший такой! Жирный! Я упросила их, чтобы они его в кучу сгребли, а сама Николая Андреевича искать...

Клавдия Тихоновна раскидала по грядкам навоз, удобрила землю. От навоза земле будет теплее, значит, и рожать ей будет легче.

После того как началась путина, Силантий Егорович приходил поздно, усталый. Не спеша ужинал и сразу ложился спать. Клавдия Тихоновна приглядывала за хозяйством одна. Когда рыбы на базу поступало

много, ходила помогать в разделочный цех. В конторе народу почти не было, и она успевала следить и за грядками, и за ящиками в комнате, и убирать в конторе.

Первым обрадовал и подбодрил Клавдию Тихоновну кустарник. Он прижился на новом месте: из набухших почек тоненькими зелеными язычками проклюнулись листики. Потом кустарник закудрявился в полную силу на радость хозяевам и удивление прохожим.

Со временем в ящиках, что стояли на подоконниках, тоже появились стебельки, потянулись вверх, окрепли. Клавдия Тихоновна втыкала рядом палочки и осторожно подвязывала стебли.

Зазеленело на грядках. Капризная погода доставляла много хлопот. Клавдия Тихоновна накрывала саженцы то кусками стекла, то полиэтиленовой пленкой. Часто взрыхляла под ними землю — помогала дышать.

В конце июля оживилась тундра: зацвели цветы, появились грибы; поспели голубика, морошка.

Понравилась тундра Клавдии Тихоновне. Она почти каждый день приносила по ведру отборных грибов, жарила их на привезенной чугунной сковороде, большую часть раздавала соседям.

— И когда вы успеваете, Клавдия Тихоновна? — удивлялась Ирина, лакомясь морошкой.— Сколько себе забот напридумывали! Отдыхали бы лучше, у вас же возраст.

— Возраст, дочка, не снаружи, а снутри. Другой человек и родится, и старится, а молодым так и не побывает. А я всегда была скора на ногу! И успеть тоже хитрости никакой нет. В преклонных годах сон короток, а день здесь круглые сутки: засыпаешь — день, просыпаешься — день, так что ничего мудреного. В деревне, бывало, и за короткий день столько переворотишь, что здесь на добрую неделю хватило бы. Ты доедай ягоду-то. Я еще принесу. На рыбе-то работа не конфета. А ты хиленькая. Я-то в молодости посправней была.

Незаметно минул август. Путина прошла удачно, и база справилась с планом. Николай Андреевич ходил

довольный: заработки у всех хорошие, значит, и на следующий год рабочие охотно придут на базу.

— Ну как, Тихоновна, твой опытный участок? Дает плоды? Процветает?

— Уже отцвел, а сейчас дает плоды. Да вы заходите в гости, Николай Андреевич.

— Загляну как-нибудь при случае, Тихоновна, обязательно загляну. А за цветы спасибо тебе! — На окнах в трех деревянных кадках пышно разрослись и готовы были вот-вот распуститься цветы, названий которых директор не знал.— Большое спасибо! Сижу в кабинете, как на даче, честное слово!

— Я, Николай Андреевич, вот что думаю: кругом нас трава растет и цветы полевые, а контора наша, как посреди аэродрома стоит. Надо бы дерном вокруг обложить да из полевых-то цветов клумбы наделать. От тундры не бежать надо, а ближе к себе ее приспосабливать.

— Резонно, Тихоновна, дай срок — решим этот вопрос. Вот Егорович твой освободится, еще кого-нибудь подключим. И кусты, как у тебя, посадим.

Однажды к директору базы из области приехал старый друг. Они крепко, по-мужски обнялись, поговорили о делах, о том о сем. Гость закурил, тепло и внимательно разглядывая директора.

— Стареешь, смотрю, Андреич, стареешь!

— С чего ты взял?— возразил директор.

— Симптомы вижу.— Гость кивнул на окна с розовыми цветами.— Дендрарий развел. Верный признак.

— А-а,— протянул Николай Андреевич.— Это не моя заслуга. Тут у нас селекционер живет. Уборщица наша. Не старуха — академик. Последователь, так сказать, Мичурина. Да, кстати, сходим-ка к ним в гости. Хорошие люди, приветливые!

Гость еще издали определил, где живет «академик-селекционер»: дом Лыткиных выгодно отличался от других зеленым окружением.

— Оазис в пустыне!— воскликнул он, глядя на притихший в предчувствии зимы кустарник.

— Ну, принимай гостей, Тихоновна,— сказал директор, входя в комнату.— Решил воспользоваться твоим приглашением. А это мой друг. Между прочим, большой

областной начальник! Знакомьтесь. Прошу любить и жаловать.

— Проходите, милости просим! — взволнованно заходила по комнате Клавдия Тихоновна.— Раздевайтесь, присаживайтесь.

— Клавдия Тихоновна — наш пропагандист озеленения. А это,— директор кивнул на Силантия Егоровича,— лучший мастер по бочкотаре.

Силантий Егорович поднялся с кровати и стоял в некоторой растерянности. Гость снял шляпу, пригладил редкие седые волосы, протянул ему крепкую руку.

— Павел Петрович Дронов,— представился он.

— Силантием звать,— промолвил старик.— Присаживайтесь, гостям мы завсегда рады.

— Ну, Тихоновна, чем похвалишься? — спросил директор, садясь к столу и пододвигая табурет для Павла Петровича.

— Хвалиться не буду, а уж попотчевать вас чем-нибудь найду.

— Давай-ка, Павел, доставай, что у нас там есть!

Павел Петрович открыл портфель и вынул сыр, шоколад и бутылку коньяку.

— Ты, Силантий, пока рюмки достань да скатерть смени! Гости-то, поди, не каждый день. А я сейчас.— Клавдия Тихоновна вышла на улицу.

Через несколько минут она поставила на стол большую тарелку редиски, салат из свежих огурцов и помидоров, щедро пересыпанный луком-батуном.

— Да-а! Теперь вижу, что не зря ты о навозе хлопотала,— сказал директор.

— А вы мне тогда, что? Мерзлота-а!

— Ты-то примешь, Тихоновна?

— А с хорошими людьми и выпить не грех! Почему не выпить?

Все чокнулись.

— Да, Николай Андреевич, с такими людьми нетрудно поверить, что и на Марсе будут яблони цвести! — сказал Павел Петрович, погружая вилку в салат.

— Э-э! Да ты нашу Тихоновну на Северный полюс посели, так она и там хлопок вырастит.

— Ну, хлопок здесь не вырастишь,— серьезно ска-

зала Клавдия Тихоновна.— Но и как попало жить не годится. Раз приехали — значит, и устраиваться надо по-хозяйски. А то я вот смотрю, многие здесь годами живут, а все как командированные. Как на вокзале: на чемоданах сидят. А ведь годков-то на роду каждому точно отмеряно, и никто их потом не добавит. Так что ждать нечего, надо жить везде одинаково.

Налили еще. Все выпили, кроме Силантия Егоровича. Он чуть захмелел, прислушивался к разговору, но сам в него не вступал.

— Я вот чего сокрушаюсь — не уродится, наверное, моя картошка. Сколько ни билась — не успевает она созреть, однако. Холодать начинает. Того и гляди, снег повалит. Совсем немножко бы продержалась погода, оно бы и в самый раз...

— Не горюй, Тихоновна, не вырастет в этом году — будет у тебя картофельный урожай на следующую осень. Я вот в отпуск собираюсь. Привезу тебе из Хабаровска скороспелого сорта.

Когда гости стали прощаться, Клавдия Тихоновна подошла к окну, сорвала два крупных спелых помидора и подала гостям.

— Вот возьмите на дорогу.

Николай Андреевич отказался наотрез. А Павел Петрович поблагодарил хозяйку и положил плоды в свой портфель.

— Не откажусь, Клавдия Тихоновна, не откажусь! Приеду в Магадан, расскажу о вас в обкоме. А это будет вещественным доказательством.

Он повернулся к Николаю Андреевичу.

— А ты подумай-ка о теплице, детишкам она не помешает. — Павел Петрович дружески хлопнул его по плечу.— Не рыбой единой жив человек, директор!

Вышли на улицу. В прохладном безветренном сумраке кружились в медленном хороводе первые снежинки, мягко опускаясь на землю.

Клавдия Тихоновна стояла с непокрытой головой и смотрела, как ложатся они на грядки, на зеленый, неуспевший завянуть кустарник...

«Выживет ли до тепла?»— с какой-то тревожной ревностью подумала она о кустарнике, словно от этого за-

висела и ее судьба: приживется или нет сама в этом суровом неприветном краю. И непонятно, о саженцах или о себе, тихо сказала:

— Ничего, корень-то расейский — выдюжит.

Анатолий Макаров

ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН

Уходя с работы, он, как всегда, позволил себе невинное удовольствие. Мимолетный косящий взгляд в зеркало. В огромном этом стекле, врезанном в мрамор от потолка до пола, словно бы из потаенных, беспредельных его глубин навстречу ему тронулась едва заметная фигурка, она росла прямо на глазах в ритме широких и уверенных его шагов, с тем чтобы у самых дверей с неизменной внезапностью явить вдруг образ молодого мужчины, рослого, загорелого, с яркими глазами, в расстегнутом небрежно и потому как бы летящем следом за ним пиджаке.

Дубовую, бронзой украшенную дверь Борис распахнул без усилий и, придержав ее крепостную тяжесть на вытянутой руке, с комичной галантностью пропустил вперед себя нескольких сослуживцев. Новенькая «Лада»— самая большая игрушка в его жизни, к которой он счастливо и ревниво не мог привыкнуть, бросалась в глаза даже посреди внушительной учрежденческой стоянки. Так ему казалось, по крайней мере. Впрочем, отчасти так оно и было — по причине цвета, не белого и не голубого; а какого-то призрачно-промежуточного: в каталоге его поэтически именуют «белая ночь».

Отперев машину, Борис с облегчением снял душный пиджак — в их «конторе» даже в жару требовали безукоризненной корректности, не признавали никаких ковбоечек, распашоночек, сандалий,— распустил галстук и принялся закатывать рукава, отрешаясь этим своевольным занятием от служебных официальных забот. При этом он перешучивался с соседями, перекидывался лихими словечками на автолюбительском новейшем жаргоне, отмечая про себя не без тщеславия, что, самый мо-

лодой из них, он может в эту минуту говорить с ними, начальниками отделов и главными специалистами, запросто и на равных. А может быть, даже и с некоторым тайным превосходством, потому что они-то знают, им сейчас одна дорога — по магазинам, по рынкам да на дачу, к чадам и домочадцам, а он что — вольный казак, может с душевным размахом использовать разнообразные возможности, какие представляет самостоятельному гражданину личное транспортное средство.

В обществе подруг не спеша прошествовала Оленька, секретарша из соседнего отдела.

— Борис Евгеньевич!— лукаво пропела она.— Привет родителям!

В голосе ее, помимо условленного между ними кокетства и поддразнивания, Борису впервые почудилась определенность намека:

— И вашим нижайший поклон, Ольга Васильевна!— в тон девушке ответил Борис.

Его до сих пор забавляла чинность служебного этикета, вроде бы облагораживающая простоту вполне возможных отношений. Неожиданно для себя поверх автомобильной крыши он внимательно и без стеснения поглядел Оленьке вслед. Ему захотелось окликнуть ее и пригласить в машину, однако, уже раскрывши рот, он все же сдержался, поскольку не привык торопить события и обнаруживать свои намерения на глазах всего уморенного жарой родного коллектива. Борис сел за руль, обтянутый ребристым чехольчиком из настоящей упругой кожи, опоясался ремнем безопасности поперек туловища на манер гренадера наполеоновских времен и, нацепив темные очки в железной оправе, плавно выжал сцепление.

Из переулка он вынырнул на магистраль и некоторое время по инерции все еще думал об Оленьке, правильно ли он поступил, намеренно пропустив ее намек мимо ушей, не переиграл ли? Впрочем, постепенно эффект, знакомый всякому автомобилисту, подействовал на него, и Борис, забыв незаметно о секретарше, с интересом принялся поглядывать по сторонам. Эффект же состоит в том, что человек, едущий в машине по жарким июльским улицам, охватывает взором несравнимо большее число привлекательных женщин, нежели пешеход, кругозор которого, естественно, ограничен и во времени,

и в пространстве. Автолюбитель, он как генерал, принимающий парад, как зритель чудесной циркорамы, к тому же, скрытый за ветровым стеклом, он позволяет себе иной раз взгляды, не совсем согласованные с понятиями о скромности.

Борис совсем недавно, в конце зимы выбрал в Южном порту свою «Ладу» и ездил, честно говоря, неважно и, что хуже, с самоуверенностью дебютанта-везунчика, путал ряды, оскорбительно подрезал, однако шоферы почему-то не материли его, и даже инспектора ГАИ проявляли к нему нежданную снисходительность, вероятно, он всем приходился по душе, хоть и частник, и новичок, да не ханурик занюханный, а наоборот, веселый парень с обезоруживающей улыбкой и стойким, нездешним загаром.

Жил он на Садовом кольце, в огромном доме, где конструктивный аскетизм причудливо смешался с ампирными чрезмерностями — перед самой войной начали возводить такие дома для крупных командиров, артистов-орденоносцев и героев-полярников. Отец его не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к третьим, он возглавлял строительный трест, и въехала их семья в этот дом перед самым рождением Бориса, когда командиры уже назывались офицерами, ордена перестали быть редкостью, которую стоит подчеркивать особо, а дети во дворе играли уже не в полярников, а в разведчиков и партизан.

Борису впервые удалось то, о чем он мечтал со дня покупки автомобиля: почти не снижая скорости, ворвался он в пустой по-летнему двор и, резко затормозив, осадил машину на полном ходу. Словно коня поднял на дыбы. Такую лихую остановку он видел много раз в заграничных фильмах из жизни бескорыстных романтических гангстеров, наяву от таких штучек летит резина, ну да бог с ней, зато каков эффект! Лифтерша, сидевшая возле парадного на табуретке, чуть с нее не свалилась, замахала руками — оглашенный! А ведь какой тихий всегда был, воспитанный, а сейчас чуть не переехал — черт-дьявол!

— Ничего, тетя Дуся,— успокоил ее Борис, запирая машину.— Скоро я от вас совсем уеду.

— Это куда же, Боренька, неуж обратно в заграницу?

— Ближе, тетя Дуся, самую малость. В Теплый Стан. Квартиру там себе отгрохал.

Борис вошел в прохладное парадное с тяжко-жарким пиджаком через руку, лифт оказался занят, и он не стал дожидаться, а побежал вверх по лестнице, как в детстве,— хотя нет, именно в детстве катание в трепетном, дрожащем лифте было для него ни с чем не сравнимым удовольствием, от которого заходилась птичья его душа, скорее уж, как в юности, когда упругая его тренированность легкоатлета и баскетболиста все время искала повода проявиться невзначай в каком-либо бытовом, попутном удальстве. На третьем марше он ощутил одышку и ничуть ей не удивился, все-таки лет пять прошло с той поры, как бросил он серьезный спорт, расставшись с миражами и азартом, с усталостью и весельем сборов, с особым небрежным щегольством тренировочных костюмов, нейлоновых курток, похожих на одежду космонавтов, и кожаных, шикарно волочимых сумок с надписями «адидас» или «пума». Ничего, в той области, какую он себе избрал, хватает своего азарта и своих возможностей для славы. Да и дистанции там, пожалуй, подлиннее спортивных, и дыхание требуется понадежнее. Еще он думал о том, что в кооперативном новом доме вот так вот по лестницам не поскачешь — восемнадцатый этаж! Ладно, зато у него будет наконец собственная квартира, без которой холостой самостоятельный мужчина превращается с постыдной непреложностью в маменькиного сынка, который каждый вечер зависит от того, что собираются делать его любимые и досточтимые предки.

— Боря,— крикнула мать из кухни, услышав, как он вошел,— ты стал удивительно быстро приходить, я теперь едва успеваю с обедом.

— Это и есть, матушка, преимущества автотранспорта, в которых ты сомневалась,— ответил Борис, сбрасывая с наслаждением тяжелые рантовые башмаки,— ужасная жара сегодня.

— Я сомневалась не в автотранспорте, как ты выражаешься, слава богу, мы с твоим отцом поездили, а в тебе. С твоим импульсивным характером как раз сидеть за рулем! Я, когда читаю об автомобильных катастрофах в Америке, просто места себе не нахожу...

— Мама, я же не в Америке!

— Какое это имеет значение! Как будто у нас не бывает несчастных случаев! Конечно, у нас об этом не пишут, и правильно делают, зачем нервировать население...

Дальнейших соображений матери Борис уже не слышал, потому что вознамерился немедленно принять душ. Он привычно распахнул дверь ванной, расстегивая при этом рубашку, и застыл в потном обморочном недоумении — прямо перед ним оказалась согнутая мужская спина, обтянутая линялой ковбойкой.

— Боря,— донесся голос матери,— я забыла предупредить — в ванной слесарь из домоуправления. Умойся на кухне.

Увесистое, соблазнительно круглое мыло пахло табаком, вот уж истино мужской запах, Борис утерся пестрым полотенцем и потом не удержался и поднес ладони к лицу — аромат был легкий и стойкий.

Он сел у окна за стол, покрытый тонкой клеенкой, на которой с убедительным натурализмом было изображено средиземноморское фруктовое изобилие: апельсины с кровавой мякотью, нежнейшие персики и виноградные прохладные гроздья. Борщ, превосходящий самые живописные натюрморты, уже дымился на столе, единственный в мире мамин борщ — Борис подумал с улыбкой, что, пожалуй, в определенном смысле родительская кухня стоит холостяцкой свободы.

В коридоре мать разговаривала со слесарем, благожелательно по своему обыкновению, однако по-хозяйски твердо, без нынешней лебезящей лести, которая вконец разлагает и без того не слишком устойчивую сферу обслуживания.

— У меня к вам еще одна просьба, посмотрите заодно кран на кухне. По-моему, его тоже пора сменить, никакой силой его не завернешь.

Борис оторвался от тарелки и вновь увидел худую сутуловатую спину в простенькой застиранной ковбойке, склоненную над раковиной. Еще на слесаре были джинсы, только не фирменные, жесткие, туго стягивающие бедра, а так, москвошвеевские, пародия из жидкой спецовочной ткани.

— Нормальный ход,— подвел итог слесарь, разгибая спину.— Не стоит менять, еще подержится.

Борис чуть не выронил ложку. Он хотел было от-

вернуться, взглянуть в окно, уткнуться в тарелку, сделать вид, что ничего не произошло, уж больно никчемной и неуместной вышла эта встреча, да и о чем говорить в таких случаях — трудно себе вообразить, однако притворяться стало невозможно. Они уже встретились глазами. Слесарь узнал его. И он узнал слесаря. Он узнал Витьку Буренкова, с которым десять лет учился в одном классе и который последние три школьных года сидел в среднем ряду как раз перед его, Борисовой, партой.

— Вот так, старичок, — с насмешливой задушевностью, принятой среди старых друзей, произнес Борис, подымаясь, — разлука недолгая. Каких-нибудь двенадцать лет. С выпускного вечера на Лесной в клубе Зуева.

Он взял Витьку за плечи и собрался даже его обнять, но, не завершив движения, остановился в замешательстве: они с Витькой никогда не были близкими друзьями и такая интимность выглядела бы, в сущности, фальшивой, к тому же Витька не понимал, кажется, такого броского проявления симпатий. Он вообще стоял растерянный, старательно вытирая ветошью грязные руки.

— Да ты умойся, труженик, — подтолкнул его к раковине Борис, — и давай за стол. Присоединяйся к товарищу. После трудов праведных не грех и отдохнуть. Я тут загляну кое-куда.

Подмигнув со значением, он пошел в свою комнату и оттянул полированную дверцу бара, расположенного в книжной стенке. Вспыхнула лампа, в мерцающей поверхности зеркала отразилась пузатая бутылка знаменитого французского коньяка и геральдические наклейки на вермутовых литровых бутылях.

В эту секунду мать ласково взяла его за плечо:

— Боря! У меня в холодильнике почти полная бутылка водки. Я думаю, это как раз то, что нужно.

Чтобы не возвращаться с пустыми руками, Борис захватил из бара две хрустальные рюмки.

Войдя в кухню, он снова сразу же уткнулся взглядом в худую Витькину спину и только тут понял, что за эти годы она почти не изменилась, эта покатая, давно уже взрослая, мужская спина — работяги и кормильца, обтянутая теперь ковбойкой, как некогда формен-

ной хлопчатобумажной гимнастеркой забытого ныне сизого цвета. Странно все-таки, десять лет проучился он бок о бок с Буренковым и вот с тех пор, как закончил школу, ни разу о нем не вспомнил. Решительно ни разу. Вероятно, по той причине, что в школе никогда не обращал на него внимания, ну есть такой Буренков — ходит в кирзовых солдатских сапогах, курит в уборной, учится лучше, чем можно было бы предположить по общему типу его внешности, то есть двоек не хватает, выезжает на тройках и четверках, вот и все дела. Впрочем, нет, что-то такое случилось однажды, что выделило Буренкова из сизой, как школьная форма, массы безразличных Борису людей, что-то, будто бы даже невольную, негласную связь между ними установившее, только вот что?

Они сели друг против друга, как пассажиры в купе, бутылка «экстры» стояла между ними, початая на треть, в окружении португальских сардин, консервированной розовой ветчины и салата из помидоров.

— Ну, давай, старина, со свиданьицем, — поднял рюмку Борис, стараясь говорить сердечно и как бы подсмеиваясь над самим собой на тот случай, чтобы заранее нейтрализовать ту забытую им неловкость, если уж она, не дай бог, проявит себя. — Расслабься, как дома. Так ты в нашем жэке давно?

— Да нет, — Витька ел степенно и сдержанно, явно контролируя каждый свой жест и потому перебирая время от времени по части хороших манер. Хлеб, например, он цеплял вилкой. — Да нет, у меня же здесь батя работал, еще когда домоуправление было, а не жэк, я и пошел сюда по совместительству.

— По совместительству с чем?

— С НИИ ведомственным. Смену отдежурил — и привет, ну вот и пашу здесь по-тихому. Подымаю уровень жизни. Машину надумал покупать. Хоть «Запорожец» на первых порах.

Руки у Витьки, несмотря на июль месяц, были совершенно бледные — худые, безволосые руки с большими жилистыми кистями. Выпили еще по одной, и Борис с гостеприимной небрежностью выложил на стол пачку «Мальборо» вместе с газовой зажигалкой.

— Смотри, какие у тебя! — подивился Витька. — Придется попробовать. — Он по привычке старательно

размял длинную сигарету своими жесткими пальцами и, прикурив от поднесенного тугого синеватого пламени, сосредоточенно затянулся. — Ничего, где достаешь-то?

— Так, — Борис без всякого умысла прибег к лукавой своей улыбке, неизменно выручавшей его в тех случаях, когда надо было уклониться от прямого ответа, — есть некоторые связи... — Он улыбнулся еще обаятельнее: — Сам знаешь, везде подход нужен.

— Что ты, — солидно согласился Витька, — я с мастером-то своим в институте без банки договориться не могу.

И тут в лице его, по-прежнему сосредоточенном, словно бы не выпивал он с товарищем, а все еще возился с неподатливым краном, на секунду промелькнуло выражение, знакомое до такой степени, что та смутная, повязавшая их ситуация чуть было сама собой не вынырнула из тьмы забвения и не пришла Борису на память. Однако не пришла, задержавшись где-то на грани сознания, будто слово на кончике языка.

— Наших кого видишь? — очевидно, из деликатности поинтересовался Витька.

— Вижу, — ответил Борис, прикидывая про себя, кого из однокашников Буренков может хорошо помнить, народ в классе был самый разный и в смысле утверждения себя в жизни как на подбор успешный на самых разных поприщах, что не могло не умилять стареньких учителей на вечерах встречи. — Баринова Андрюшку вижу, помнишь, толстый такой, белобрысый, на задней парте всегда сидел у окна, ну, хохмил еще на уроках — актером стал...

— Видел его, — улыбнулся Витька радостно, с какой-то почти родственной причастностью, — в кино силен! На той работе девка одна его портрет из журнала вырезала, из этого, как его... из «Советского экрана», я ей толкую, это мой, говорю, кореш, вместе химию прогуливали. Не верит.

— Ну да, — понимающе засмеялся Борис, — она думает, артисты с неба падают, в целлофане. Или в парниках особых разводятся, как зимние огурцы. Севку Парамонова встречаю. Этот по торговой линии. Плехановский закончил, потом академию какую-то хитрую — большой человек!

Борис заметил с удивлением, что старается выражаться вроде бы проще, размашистее, пренебрегая громкими названиями учебных заведений и завидными именованиями должностей, которые в другом месте наверняка произносил бы словно иностранные слова, с особым вкусом и значением.

— Кого еще... Козел нет-нет да прорежется... Ну, Валерка Козлов, диссертацию защитил. Жена у него — дочка Фельдмана, не слыхал? Академик такой, мировая величина, что-то такое по твердому топливу. Ты-то сам как? Не женился? — Скупым точным движением Борис налил еще по рюмке. — А то мы с тобой гуляем, отдыхаем как ни в чем не бывало, а тебя, может, подруга жизни ждет и тоскует?

Витька хмыкнул. Водка подействовала наконец, он перестал стесняться, расслабился, макал хлеб в соус из-под сардин и часто улыбался, обнажая железную простую коронку на переднем зубе.

— Да нет, кому тосковать, я ведь... это, графа «семейное положение» — холост.

— Ну и молоток, — в порыве солидарности Борис хлопнул его по плечу, — учти, умные люди не торопятся. Я тоже, обрати внимание, гарсон, как французы говорят в таких случаях. Мальчик. Игра слов.

— Да и какая, зараза, женитьба! — вдруг в сердцах сказал Витька.— У меня вон сестра восемнадцати лет замуж выскочила, дурища. И к нам его привела, из общаги, порадовала родителей. Да нет, он малый-то неплохой, но ведь народу теперь пять человек!

— Зато на очереди стоите, наверное? — с пониманием обстановки осведомился Борис.

— Стоим — что толку. Пока достоишься. Всю дорогу кто-нибудь обходит. То из подвалов выселяют, то фронтовикам почет и уважение, то дом какой ни то на капитальный ремонт ставят. Ничего не скажешь, все по делу. Тут другой вариант. Сосед у нас один уезжать намылился, квартиру по работе схлопотал. Комната освобождается. Мы и хотим занять, пока то да се. Тем более кто посторонний теперь в такие хоромы поедет, в населенную квартиру, скажи? Бабка одна приперлась и то носом закрутила — окно, видите ли, в простенок, ванна у вас с колонкой — разбирается! Са-

мое главное, тут даже райисполком не нужен, тут жэк наш решить в состоянии.

Было заметно, что не в первый раз излагает он эту историю и всякий раз горячится, требуя у собеседника подтверждения мучительным в своей очевидности доводам.

— Так за чем же дело стало? — Борис поддал в голосе искреннего гражданского участия, как будто не бывший одноклассник сидел сейчас перед ним, а какая-нибудь ответственная общественная комиссия, к сочувствию и справедливости которой не грех и воззвать.

— За начальником. За кем еще? Не мычит, не телится. И отказывать не отказывает, и соглашаться не соглашается. Глухо. И ведь ни одна собака не придерется, все по закону. Прописаны в этом доме тридцать лет, никаким нормам жилплощадь не соответствует...

— Ты не волнуйся, старик, — серьезно и решительно прервал его Борис. Ему приятно было уловить в собственном голосе нотку пока еще редкой для него непустячной мужской озабоченности, той самой, что имеет свойство ободрять понадежнее любых оптимистических заверений. — Сделаем. Нажмем где надо. Что-что, а жилплощадь — дело святое. Да я в крайнем случае отца попрошу. Запросто. Уж на что каменный мужик, а в таком вопросе не откажет. Изыщет возможности, как повлиять на управдома. Найдет связи. У меня ведь тоже с кооперативом волынка была. Двухкомнатная на одного человека, да кто вы такой, да есть ли у вас права на дополнительный метраж? Ничего. К концу лета переезжаю. Подгребай, отдохнем с новосельем. Кстати, может, поможешь чего, без умелых рук зарез...

В глубине квартиры в благозвучной, сдержанной тональности зазвонил телефон.

— Борис! — донесся безличный, едва ли не официальный голос матери.

Этот тон появлялся у нее непроизвольно, когда дело касалось телефонных разговоров, давняя привычка была тому виной, другие годы и другие времена, когда отца могли потребовать к аппарату в любое время суток, из постели, от воскресного стола, а телефон так просто воспринимался в качестве сугубо ответственной связи с высшим, не подлежащим семейному обсуждению миром.

— Прости, старичок. — Борис вошел в свою комнату и, присевши в кресло, взял трубку: — У аппарата!

— Привет, отец! — напористый, жизнерадостный голос с милым картавым выговором, который как бы даже смягчал эту напористость, придавая ей всамделишный, игривый характер, заполнил буквально всю квартиру. Будто бы не из трубки он доносился, а из уличного динамика. Принадлежал этот восторженный голос Алику Громану, сорокалетнему атлетическому мальчику, легкому человеку, вхожему на все премьеры и просмотры, даже если устраиваются они по спецпропускам для одних только действительных академиков и лауреатов Государственных премий, всеобщему знакомцу и приятелю, удивлявшему столицу личным «жучком» достославной фирмы «фольксваген».

Вот ведь странное дело, не было на свете человека, который бы за глаза сказал об Алике что-нибудь приятное, отозвался бы о нем с симпатией или хотя бы с незначащей похвалой, напротив, все его дружно презирали, честили подонком и проходимцем, и тем не менее всем Алик оказывался полезен и везде был принят как неизбежная данность сезона, словно дождь осенью или весенняя распутица, и всюду появлялся, щедро заражая радостью жизни, — розовощекий, вальяжный на заграничный рекламный манер и непременно в компании какой-нибудь красавицы, которую воображение рисовало манекенщицей, солисткой ледяного ревю или даже звездой экрана, чей свет по недоразумению не дошел еще до здешних мест.

— Будем считать, что привет, — насмешливо ответил Борис, поскольку взял себе за правило относиться к Алику свысока и не упускал случая явить ему свою полнейшую от него независимость.

— Что случилось, душа моя, тебя нигде не видно? — У этого Алика была особая подкупающая манера говорить, в сущности, свойственная всякому умелому коммерсанту, он о каждом собеседнике проявлял взволнованную, якобы сердечную заботу, любил вникнуть с ходу в чужие интимные обстоятельства, дать дельный, хотя ни к чему и не обязывающий совет, показать себя человеком сочувствующим и бескорыстным.

— Где это нигде? — холодно полюбопытствовал Бо-

рис, хотя отлично понимал, что имеются в виду две-три квартиры общих знакомых, концерт нашумевшего гастролера да еще большое кафе в центре города.

— Буквально нигде. Пропадаешь, не звонишь, не пишешь. Между тем только о тебе повсюду и говорят: что Бориска да как Бориска? Пасьянс, как без бубнового короля. Законное явление — жених с положением, мужчина с будущим, гражданки в претензии. Их можно понять. Хотя сватовство не мой жанр, я к тебе по поводу скорее прозаическому. Просочилась информация, что ты намерен избавиться от своей системы. Доверять ли источникам? А то назревает интересное предложение...

Убей меня бог, подумал Борис, если я знаю, чем Алик занимается в жизни. Ходили слухи, что он переводчик с одного или даже двух европейских языков, высказывались соображения, будто доверенное лицо одного выдающегося человека, нечто вроде секретаря и наперсника, сам Алик не прочь был намекнуть, правда туманно, на некоторые свои заветные кинематографические планы. Кто же он такой в действительности — Борисом овладела праведная милицейская дотошность, — откуда, в самом деле, такая беспардонная широта образа жизни?

— Послушай, Алик, — начал он совершенно серьезно, будто бы формулируя бог весть какое теоретическое предположение, — тебе никогда не приходило в голову, что законы генетики не успевают за развитием общества, за сменой формаций? Нельзя не признать, что они отстают. Вот у нас, например, рождаются на свет потенциальные маклеры, биржевики, воротилы, нефтяные магнаты и, за отсутствием поприща, вынуждены служить администраторами в филармонии или Мосэстраде.

— Я вижу, душа моя, — нимало не смутился Алик, — что попал тебе под философское настроение. Понимаю, сам подвержен. Временами. Но как же все-таки с комбайном?

— Я передумал, — отрезал Борис с некоторым вызовом.

— И это понимаю, — не обиделся Алик, его трудно было вывести из состояния устойчивого, прямо-таки биологического оптимизма. — Дело хозяйское. Хозяин —

барин. Холостяцкая квартира, гарсоньера, как это еще называется, требует оформления. Соответственного, имей в виду. Если мне не изменяет память, ты как-то интересовался насчет старины... Впрочем, ты ли это был, я ни с кем тебя не спутал? А то тут кое-какие возможности...

— Какие? — заволновался Борис. — Это был я. Так о чем речь? — Он сознавал, что клюет непростительно быстро, мельтешит, теряет лицо, однако со стыдом предчувствовал, что вернуть прежний независимый тон уже не удастся.

— Да так, — теперь уже Алик, удостоверившись, что фанаберия клиента оказалась, как и следовало ожидать, явлением преходящим, впал в утомленное безразличие, чисто формально подергивая леску. Из двусмысленных его замечаний, из велеречивых намеков на разные странные и сложные обстоятельства мало-помалу вырисовался, однако же, эскиз некоей интригующей ситуации. Возник образ некоего солиста из ансамбля фольклорных танцев, который несколько раз с гастролями обмотал земной шарик, даже иероглифы от латинских букв научился отличать и вот теперь по случаю крутого перелома в личной жизни готов уступить достойному во всех смыслах человеку кое-что из фамильной мебели, скупленной предусмотрительно в разное время у московских и ленинградских старушек. Например, письменный стол александровской эпохи, когда просвещенные люди при свете канделябров любили записать некоторые соображения ума относительно разумного общественного устройства.

Последняя картина особенно рельефно представилась воображению Бориса, совместилась с желанным интерьером его будущей квартиры, и он, рассудив, что заноситься все равно уже не имеет смысла, без всяких спасительных для самолюбия околичностей принялся выяснять условия предстоящей покупки.

Через полчаса он вернулся в кухню. Буренков по-прежнему сидел за столом, и видно было, что он так и не поднялся с табуретки ни разу и с места не сдвинулся, все сидел и сидел, будто в приемной учреждения, с терпеливой обреченностью дожидаясь хозяина. Вот интересно, ни с того ни с сего пришло Борису в голову, а что если спросить Витьку, сколько, по его мнению,

может стоить по нынешним временам настоящий александровский стол?

— Извини, старина, — Борис значительно поджал губы, — дела. — И развел сокрушенно руками. — Так говоришь, не женился еще? Молодец!

Витька улыбнулся, но не так, как полчаса назад, не радостно, а словно бы извиняясь за что-то или на прощание.

И вдруг Борис вспомнил. С ошеломляющей точностью подробностей и всех своих ощущений. Если говорят о памяти сердца, то это была память всего его существа. Ну, конечно же, он был связан с Буренковым одним эпизодом жизни, теперь, по прошествии лет, заурядным и даже наивным, но тогда послужившим ему самым первым испытанием достоинства и духа. Даже странно, почему тот пустынный весенний вечер сразу же при виде Витьки не возник перед его внутренним взором.

В десятом классе Борис ухаживал за Наташей Белецкой, дружил с нею, как принято было тогда говорить, на самом же деле это была первая его любовь, однако не школьная, не робкая, на расстоянии, а вполне разделенная, настоящая, со всем тем, чему и положено быть в любви. У него все всегда с самого начала выходило по-настоящему, как и должно выходить в жизни, без каких бы то ни было недовершенностей и недомолвок, с судьбой отношения складывались на основе полной взаимности.

Однажды в апреле, да-да, в апреле, уже в четвертой четверти, незадолго до выпускных экзаменов, он провожал Наташу домой, и у самых дверей парадного их окружили ребята с ее двора, словно бы в долгом ожидании толпившиеся до этого в подворотне. Борис не был ни тихоней, ни трусом и в разных школьных передрягах умел за себя постоять, но, выросший, что называется, в «хорошем» доме, он знать не знал той уличной беспричинной злости, того наглого бешенства, которое, будто сжатая пружина, таилось до поры до времени в каждом из этих парней. Отлупить собирались они его, жестоко и гадко унизить, просто так, ни за что ни про что, а вернее по той лишь причине, что явился он для них легкой добычей, чужаком, не способным к защите. Наташа, в сущности, служила предлогом, не

более того. Вместе с подлым, холодным страхом в низу живота — нормальным, как соображал он теперь, ужасом перед расправой — Борис испытывал еще и горчайшее презрение к самому себе, к своему дрожащему здоровому телу, ибо один только вид этой компании — в кепках из букле, надвинутых до середины лба, чтобы видны оставались косые чубчики, — внушал ему физическое омерзение и совершенно подавлял его волю. Он даже и заслониться-то от удара не сумел бы тогда. Только подставлял бы то правую, то левую щеки, ничуть не думая при этом о христианской заповеди. Если бы в самый последний момент в самую середину круга не протиснулся решительно Витька Буренков. Борис и раньше замечал его в этом дворе или поблизости и считал здешним жителем. Витька, однако, здешним не был. Но не был и чужим — остриженный под бокс, обутый в растоптанные кирзовые сапоги.

Началось то, что на языке переулков и проходных дворов именовалось в ту пору словечком «толковище» — топтание на месте, хватание за грудки, шепелявое козыряние неслыханными подворотными авторитетами. Витька сильно рисковал, оттянув на себя внимание, оспаривая варварский кодекс оскорбленной якобы дворовой чести. Борис понимал, что ему нельзя ни отступить ни на шаг, ни переступить невидимой черты — в любом случае вспыхнула бы драка, и тогда уж обоим одноклассникам наверняка обломилось бы. И все-таки злобное это, на испуг рассчитанное качание мифических прав завершилось вполне благополучно.

— Ты что же, за фрайера держишь? — словно не веря ни глазам своим, ни ушам, возмутился самый жадный до битья малый, брезгливо ткнув при этом безмолвного Бориса грязным большим пальцем.

— За кореша, — жестоко и непримиримо поправил Витька.

— Ну и оставайся с таким корешом, — выругался парень и, прежде чем увести своих, натянул Борису прямо на глаза его солидную ратиновую кепку с большим козырьком — «тушинским аэродромом».

Наташа, едва не умершая от страха, посмотрела на Буренкова как на героя и дрожащим голосом произнесла:

— Спасибо тебе, Витя.

Витька смутился, растеряв сразу свое немалое дворовое мужество, и улыбнулся странной улыбкой, извиняющейся и прощальной. Точно такой, как теперь.

— Слушай, — загорелся Борис, разливая по рюмкам остатки водки, — а помнишь, как ты меня спас тогда?

— Это когда же? — всерьез переспросил Витька. — В доме семь, что ли? Скажешь тоже — спас! Было бы от кого спасать. Это ж так, бакланье налетело, хулиганы...

— Ну, — засмеялся Борис, — кто бы они ни были, а врезали бы мне прилично, да еще при даме, — он выпил и юмористически сморщился, словно веером, помахав кистью руки.

— Ты ее встречаешь? — тихо спросил Витька.

— Кого? Наталью? Бог с тобой! — Борис всплеснул руками.— Это ж так было... шепот, робкое дыханье, грехи молодости. Даже и не представляю, что она теперь делает.

— Врач она,— по-прежнему негромко сообщил Витька,— по детским болезням. Квартира у них с мужем на Фрунзенской. Хороший парень, здоровый. Пацанка у них лет семи, на нее похожа один к одному, ну, прямо дубликат. Глаза такие же, знаешь, не просто синие, а как будто бы размытые чуток, ну вот как художники рисуют акварелью. Или вот еще мрамор такой бывает, с прожилками... А Наташка сама, ты знаешь, мало изменилась. Не как другие, не обабилась. Издали посмотреть, так просто девчонка, походка та же, и волосы так же поправляет, как в классе на контрольной, нижнюю губу оттопырит и дует на них снизу вверх, это уж, видно, на всю жизнь.

Зазвонил телефон. Мать сняла трубку и с тактом опытного секретаря заглянула в кухню:

— Боря, это тебя!

Борис изобразил улыбкой сплошное отчаяние и пошел в комнату.

— Я, конечно, как всегда, не вовремя,— стиль защитной иронии, избранный на другом конце провода как свидетельство женской мудрости, до конца не выдерживался, сбиваясь то и дело на обычную взвинченность и обиду.

— Ну, разумеется, Регина.— В разговорах такого рода, Борис давно это уразумел, важно не возражать, не опровергать уличающие тебя доводы, а напротив, как бы

даже поощрять женскую логику, пока она не проявит себя по своей непоследовательности и тем уж сама себя не опровергнет.— Я как раз теперь принимаю знакомую балерину, и она для меня одного танцует «Весну священную». На музыку Стравинского.

— Господи, ну как ты можешь, как ты можешь? Ты способен когда-нибудь говорить серьезно?— интонация в трубке набирала уже высоту благородной истерики. Регина обожала трагические жесты, как правило, совершенно несвоевременные, и это очень осложняло отношения с ней, тем более что ничего не избегал Борис с таким паническим суеверием, как женских скандалов и роковых объяснений. И все же всякий раз во время подобных сцен он вместе с досадой испытывал еще и легкое удовлетворение. Потому что хоть и хлопотно, но, черт возьми, лестно, когда красивая женщина звонит тебе что ни день и осыпает тебя упреками, и чуть ли не руки собирается на себя наложить.

— Послушай,— начал Борис ровным, вразумляющим тоном, каким говорят с детьми и больными, одновременно протягивая ноги на журнальный столик, по опыту было известно, что сцена эта так быстро не завершится.— Мы же с тобой договорились, что некоторое время не будем видеться и друг друга травмировать. Ты же сама решила, что в данной ситуации это самый разумный выход. Просто необходимость. Для общего блага. Тебе известно к тому же, как много я сейчас работаю. И никуда вообще не хожу. Диссертации не пишутся на вечеринках. Где меня видели? С кем? Перестань, пожалуйста! Я пока еще не святой дух и не могу одновременно присутствовать в нескольких местах. Что, что? Вот именно, не святой! Зато, надо вам знать, не контролирую ваши поступки с помощью ваших же подруг и не устраиваю за вами слежки. Кстати, где ты была вчера вечером?— наступление и впрямь лучший вид обороны.— Как же так дома, если я звонил тебе и никто не снял трубки. Представь себе, все-таки позвонил. Хотя и дал зарок. Тоже ведь нервы...

— Я к тебе сейчас приеду,— это намерение было высказано с такой безоговорочной решимостью, что Борис в одно мгновение снял ноги со столика.

— Регина,— заговорил он напористо,— не делай глупостей, слышишь? Я тебя умоляю. Не сходи с ума. Ну, хорошо, хорошо, сегодня мы непременно увидимся, толь-

ко попозже. Я за тобой подскочу, и мы что-нибудь придумаем. Я же сказал. Ты прекрасно знаешь, что мысли о тебе не идут у меня из головы. Не веришь? Конечно! Ну, хочешь,— Борис устремил взгляд к потолку,— хочешь, например, я скажу тебе, какие у тебя глаза? У тебя глаза, как мрамор с прожилками. С прожилками, с прожилками,— быстро и членораздельно, как текст телеграммы, произнес Борис, оглядываясь и прикрывая трубку рукой.

Потом он, не торопясь, вышел на кухню:

— Так, значит, не женился? Мудрый человек!

Витька, словно заслышав команду, поднялся из-за стола и потянулся за своим облупленным рабочим чемоданом. В таких вот кондовых окованных железом чемоданчиках, вовсе не родственных нынешним плоским щеголеватым «атташе-кейсам», в годы их далекого отрочества, когда быстрее крутились пластинки и медленнее текла жизнь, модно было носить учебники и коньки.

— Я это... пойду, пожалуй,— стесняясь, произнес Витька с преувеличенной деловитостью.— Спасибо. За угощенье, за разговор.

— Так вы уже уходите, Витя?— Борис обернулся и с ужасом увидел, что вошедшая в кухню мать, как всегда благожелательная, излучающая приветливость и снисходительное радушие, протягивает Буренкову зеленую хрустящую трешку. Тот еще больше смутился, потерялся совсем, переложил зачем-то чемодан из руки в руку и посмотрел на Бориса не то вопросительно, не то ища сочувствия.

— Бери, бери,— заторопил его Борис, стараясь вложить в слова солидную дружескую убедительность.— Бери, старина. Нечего церемониться, работа есть работа.

Витька неуклюже, словно за тем только, чтобы не ставить хозяев в глупое положение, взял деньги. Повертел, помял их между пальцами, будто бы недоумевая, что вообще положено с ними делать, и в конце концов сунул в карман ковбойки:

— Спасибо.

Проводив его до лестницы, Борис задержался несколько мгновений на пороге, медленно затворил дверь и со страхом ощутил в груди странную сосущую пустоту. Все правильно, все по делу, убеждал он себя, все так, как и должно быть, как же еще иначе? Выпили, посидели, вспомнили юность — прекрасно!

Впервые в жизни он точно мог указать, где помещается душа, чуть выше солнечного сплетения.

— Что ты, Боря?— забеспокоилась мать, мгновенно, как в те годы, когда был он школьником, уловив его настроение.— Что-нибудь не так? Я что, мало дала? Надо было больше — пять?

— Не надо,— оборвал ее Борис, досадуя на себя за грубость.—Ты дала ровно столько, сколько необходимо.

Он стоял у окна и видел, как Буренков наискосок пересекает жаркий пустой двор, видел его взрослую, привычно сутулую спину. В городской асфальтовой духоте всегда есть что-то тупое, необратимое, какая-то неисполнившаяся мечта, несостоявшаяся надежда. И вновь вспышка памяти озарила Борису тот самый давний, растворившийся в потоке лет апрельский вечер, когда Витька точно так же уходил из двора дома семь, услышав от Наташи «спасибо».

Зазвонил телефон.

— Боря, просят тебя!— с оскорбленным достоинством позвала мать.



Василий РОСЛЯКОВ
Олег КОРАБЕЛЬНИКОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Сергей БАГРОВ
Вадим КОЖЕВНИКОВ
Владимир ЛЫТОВ
Вячеслав ШУГАЕВ
Владимир КАЗАРИН
Михаил СОРОКИН
Виктор СУГЛОБОВ
Александр ПЛЕТНЕВ
Станислав РОМАНОВСКИЙ
Галина ДРОБОТ

Василий Росляков

СОЛОМА ДЛЯ НОКТЮРНА

Конец апреля был дурным в деревне. Серое небо и серая земля и бесконечный мелкий дождичек наводили тоску. Молодая трава едва проглядывала в прошлогоднем сухостое и только подчеркивала тоскливую неприютность дня.

Лег я поздно и безрадостно уснул, но, когда проснулся в мутном утреннем свете, почувствовал, что счастлив необыкновенно. Отчего бы? Вспомнил эту дикую, в сущности, нелепость: солому для ноктюрна. Какая солома? Какого ноктюрна? Нет, я не стал задумываться, не стал разгадывать, потому что боялся: а вдруг это сон? Лежал и смотрел на свежие доски наката, разглядывал там образовавшиеся при распиле разные фигуры. То летучую мышь угадывал, то чьи-то глаза, то крылья, то обнаженную женщину, особенно ее долго разглядывал. Поднятые кверху руки истончались у нее и переходили в новую фигуру. Обнаженных женщин, как и мышей, крыльев и чьих-то глаз на потолке было много, и я разглядывал их и сравнивал подробнейшим образом, насколько одна фигура отличалась от другой, чтобы не думать, откуда взялась эта солома и почему она сделала меня счастливым. Обнаженные женщины с поднятыми руками были похожи, как сестры, но в каждой были заметны все же какие-то отступления, а уж последняя, у самой двери, вообще переставала быть женщиной, а была как расправленная на гвоздиках кроличья шкурка.

У дверного косяка висело ружье стволами вниз, и на него я смотрел. Потом — на оранжевую печку. Для разнообразия я выкрасил ее в оранжевый цвет. Две стены в моей комнате были нежно-голубые, две — цвета крови

или вареной свеклы, а печка — оранжевая. Когда живешь один, помогает.

И все-таки как мало нужно человеку для полного счастья. Я чувствовал, что радость идет именно оттуда, но что там, за этими словами, за этой соломой для ноктюрна, вспомнить никак не мог. Теперь уж я вспоминать стал, но не мог вспомнить.

Вчера, в последний четверг апреля, был в деревне пробный выгон скота. За зиму коровы отвыкают от стада и в первые дни не ладят друг с дружкой, дерутся, могут теленка на рога поднять, затоптать могут, поэтому, кроме пастуха, возле скотины первые дни ходят хозяева, присматривают за коровами. Приучают целую неделю. Этот первый выгон полагается делать в легкий день; их три: вторник, четверг, суббота. Вчера был четверг. Шел дождь. Небо, низкое и сырое, высевало его почти незаметно, видно было только, как стекала вода с черного дождевика на Иване Обрамыче. Он тут ходил, с бабами, свою наблюдал корову, и вода ручьями стекала с его черного капюшона и с его черной спины. Был тут и другой Гульнов, Михаил Васильевич, двоюродный брат Ивана Обрамыча, годов на двадцать помоложе его. Темное лицо Михаила Васильевича посинело от промозглого холода. Он ежился в своей вымокшей телогреечке.

Михаил Васильевич был на деревне старостой. Должность эта идет издалека, от умершей давным-давно крестьянской общины, но получалось, что не совсем она и вымерла. Не бригадир и не директор или председатель назначает очередность на лошадь с плугом, когда пашут на усадьбах под картошку, а назначает Михаил Васильевич. Он же назначает, когда выбирают картошку, он нанимает пастуха, договор подписывает с ним от общества, он же, если понадобится, меняет общественного бугая, старого сдает на мясо и где ни то покупает нового. Так было в прошлом году. Дорофеевский бугай озоровать стал, носился со своими литыми рогами, заборы поддевал, углы домов, за бабами гонялся. Один только пастух не боялся его да еще Алексей Иванович Калинин, кавалер ордена Славы III степени, правда, исключительно когда бывал в нетрезвом виде. В этом виде он даже вступал в борьбу со строптивым общественным бугаем и, бывало, одерживал верх. Михаил Васильевич сдал того бугая, а на вырученные деньги купил нового, смирного,

добродушного. День пробного выгона скота также назначал Михаил Васильевич. В этом году назначил на четверг, на этот легкий день. Откуда взялись и вообще откуда берутся легкие дни — никто в деревне не знал, даже сам Михаил Васильевич. Они были, и это всех устраивало.

Михаил Васильевич тоже был тут со своей коровой, а не баба его, Марья. Марья лежала в больнице. И Михаил Васильевич сам выгонял корову, кормил-поил ее, чистил под ней и доил, топил печь и ходил на работу, он был старшим на пилораме, бригадиром над тремя мужиками: над Калининым Алексеем Ивановичем, кавалером ордена Славы III степени, да над Иваном Обрамычем. Был еще Ухин Михаил Андреевич, но он ушел от них в ночные сторожа, остарел уже, не под силу стало ему катать бревна.

Михаил Андреевич тут же был, с коровой, еще Козлов Александр Яковлевич, парторг дорофеевский, почти бессменный с давних, еще предвоенных годов. Александр Яковлевич привел свою одру с облезлым боком, болела у него корова, едва на ногах держалась, но парторг както все же привел ее, в сторонке стояла, травкой молодой не интересовалась.

— Она у меня падет,— говорил Александр Яковлевич уверенно и даже не без удовольствия, потому что корова была застрахована на хорошую сумму, он ждал, то есть предвкушал получить эту сумму и купить новую корову, молодую и, конечно, здоровую. Он тоже с палкой стоял тут под дождиком, ухмылялся иногда, потому что живым был человеком, веселым, любил порассказывать кое о чем веселеньком. О маньчжурских бардаках, например. Еще был тут пастух Иван, остальные — бабы или старые старухи и не особенно старые, а Лида, например, вообще была молодой и видной деревенской красавицей. Она была в отцовском кавалерийском бушлате армейского цвета. Армейский цвет сильно поблек, но сам бушлат был хорош еще, хорошо обтягивал литую Лидину фигуру.

На ногах у нее блестели черные резиновые сапоги, тоже хорошо обтягивали крепкие икры ног, точно так же, как обтягивали кирзовые сапоги когда-то ноги фронтовых девчонок, связисток и медицинских сестренок наших. Лида похаживала тут с длинной хворостинкой, иногда покрикивала на свою или на чужую

корову, если они сходились и начинали грозиться друг дружке рогами. Покрикивали и другие то и дело.

Почему я так подробно думаю, кто тут был? А потому, что все они топтались под дождиком у меня за окнами, на пустыре, и я долго смотрел на них, на коров и телят с овечками. А потом надоело мне смотреть сквозь плачущие окна, взял я оделся и вышел к ним, плащик натянул, сапоги резиновые и вышел. Правильно говорят англичане: нет плохой погоды, а есть одежка-обужка плохая, это они верно заметили. Мне в резиновых сапогах да в плаще с капюшоном никакой дождь нипочем был.

Это я вчера выходил к ним, в первый день, а сегодня лежу все, сучки на потолочных досках разглядываю, про солому думаю. Вчера, когда я вышел, сосед мой, Терентий Антонович, тоже стоял перед своим домом в кепочке, в стеганочке, ежился, смотрел через очки свои в десять диоптрий, жмурился немного, потому что даже в эти очки плоховато стал видеть. Корову свою он продал осенью, старуха стала прибаливать, не под силу ей стало с коровой управляться. Продал, а видать, жалко, вышел вот, стоит без хворостинки, без коровы, один в сторонке от всех, не за кем смотреть-наблюдать, один.

— Жалко небось?— спросил я Терентия Антоновича.

— Неуж?— ответил он без малейшего возражения.

— Кому продали?

— В Лаврово. А там и лугов-то нету, какие там луга, голодная небось стоит.

— Жалко?

— Неуж не жалко? Продал бы в другое место, где травы много, все же не так жалко. А куда денешься, родне продал, кабы не родня...

— Без молока теперь?

— Молока я сроду не пил, не люблю, а корову жалко.

И мне передалась эта жалость, тоже стал вздыхать, но мне, кроме коровы, отчего-то и самого Терентия Антоновича жалко стало. Три войны отвоевал, в центре мировых событий жил, а теперь вот один стоит, без хворостинки, потому что другие своих коров наблюдают, а он один стоит, в сторонке уже.

— Да-а,— сказал я и пошел к ним, к другим.— Здорово, пастухи!— сказал им.

Кое-кто ответил, кто ближе стоял. Михаил Васильевич руку пожал. Остренький нос у него совсем посинел. Вспомнил я, что почти всю войну он в плену у немцев пробыл, не повезло мужику, а так-то дельный, хозяйственный, бойкий. Сейчас пасмурно выглядел, невеселый был. И не от одного только утра промозглого, дождливого, но и от другого. Марья болеет.

— Ну, что?

— В больницу отвез,— ответил Михаил Васильевич.

— Жалко?

— Чай, баба, не животная, животную и то жалко.

— Заездили вы баб своих, а теперь жалко,— вроде в шутку и вроде не совсем в шутку сказал я.— Ты ведь тоже заездил?

— Ды ну,— не очень уверенно возразил Михаил Васильевич.

— Что «ну»? Водку жрете, а бабы у вас дома не разгибаются, на работу вместе с мужиками, наравне. Домой придет, тебя ж накормить надо, рубаху твою да штаны постирать надо, печь истопить, корову подоить, загнать да выгнать, огород на ней, куры, а ты напился да орать небось начнешь, характер показывать: вот, мол, я мужик, хозяин!.. Заездили...

— Ды ну,— еще тише и неуверенней возразил Михаил Васильевич. Остреньким посиневшим носом шмурыгнул. «Ды ну». А по глазам-то вижу, прав я, в точку попал. И ему, вижу, тоже хоть плачь.

— Вот,— говорю,— вылечат, привезешь домой, дак жалеть надо.

— Надо, конешно,— совсем тихо согласился Михаил Васильевич и стал в эту минуту совсем не похожим на самого себя. Ведь бойкий мужик, матерщинник. Правда, тут все матерщинники, не один он. Когда совхозных бычков перевешивали, месячный привес устанавливали, как он загонял этих бычков на весы, как матерился и лупил этих молодых животных палкой... Не похож был сейчас на самого себя Михаил Васильевич, заездил Марью, знает, что заездил, а теперь хоть плачь, жалкий стоит под холодным дождичком.

— Ты, Петрович, не теряйся,— говорил он мне когда-то,— мы из тебя мужика сделаем.

— Делайте,— сказал я тогда.

А теперь вот нос посинел совсем, невеселый стоит,

с палкой, навалился на палку, неохота без нее стоять и жить неохота.

Рядом Иван-пастух зубы показывал, крупные, улыбался. Он немножко того, только тихо, почти незаметно. Улыбается все, зубы показывает. То ли от простуды у него, то ли от чего другого осложнение получилось на голову, в дом попал, лежал там какое-то время, на родине у себя в Мордовии, а вернулся из того дома, улыбаться стал, жена от него ушла, троих ребят с ним оставила. С ребятами он и приехал в Дорофеево, потому что раньше еще поселились тут родители его — Фекла Сергеевна и Григорий Михайлович, инвалид Великой Отечественной войны.

Потолклись с часик под дождиком и к этому Ивану пошли, к пастуху, обмыть первый день. Развели по домам скотину и — к Ивану, одни мужики, конечно.

Тут уж Фекла Сергеевна дожидалась, приготовила, на столе все стояло, давно все остыло. Затопали мужики в прихожей, сапоги вытирать стали о половик, капюшон откинул Иван Обрамыч, кепки поснимали, вошли.

— Вот квартиру получил Иван мой непутевый,— Фекла Сергеевна руками показывала на одну комнату, где стол был накрыт, и на другую, где кровать стояла и телевизор включенный, в открытую дверь видно было. За стол пригласила. Сели. Кто-то сказал:

— Зачем вы об Иване так? Ребят один, без матери, поднимает.

— Поднимает, яти-мети, бабка поднимает,— и засученные руки показала, какими она ребят поднимает, хотя живет с Григорием Михайловичем в другом доме, на краю деревни.

Стол был плотно заставлен тарелками. Печеные яйца были порезаны пополам, лежали на тарелке, простывшая картошка, сковорода с жареной, но уже холодной рыбой, огурцы соленые и соленый гриб. Огурцы и грибы можно было есть только после четвертой примерно или пятой рюмки, так они солоны были. Иван улыбался молча, про себя, разливал водку в граненые стаканы. В открытую дверь видно было, как хоронили по телевизору министра Вооруженных Сил СССР Гречко Андрея Антоновича. Михаил Васильевич как староста взял первым стакан, повернулся в сторону телевизора, поглядел немного, держа стакан с водкой.

— На этом, на лафете везут,— сказал он.

Все повернулись, чтобы через отворенную дверь смотреть, как везли на лафете в последний путь военного министра. Сидели-то всё солдаты, Иван, правда, солдат послевоенный, в танковых частях служил, до болезни еще, когда еще не улыбался, зато остальные хватили войны под завязку, Михаил Васильевич в плену промучился чуть ли не всю войну. Каждому было что вспомнить, и каждый подумал про себя о чем-то, когда смотрел на торжественный гроб Андрея Антоновича, бывшего воина, маршала и министра. Потом Михаил Васильевич сказал:

— Ну, давайте,— сказал он,— чтобы у Ивана все было по-хорошему.

Выпили за первый день, стали закусывать. Фекла Сергеевна старалась угодить мужикам как мать Ивана, как хозяйка, предлагала закусывать.

— Пейте и закусывайте,— говорила она,— и в телевизор глядите. Кому не видно, можно стул переставить, глядите.

Ей было все равно, что там в телевизоре, хоронят кого или не хоронят, а просто так везут, для нее это не имело значения, лишь бы гости довольны были, выпивали, закусывали да глядели в другую комнату, в телевизор. Она показывала рукой и говорила:

— Глядите.

Мужики выпили по два стакана, встали, надели кепки и ушли. Иван руками разводил, улыбался и недоумевал, ему только разохотилось, ему бы нарезаться сейчас до смерти, с матерью подраться, а тут не успело начаться, все уж и кончилось. День-то рабочий и в самом начале был, некогда рассиживаться, а у Михаила Васильевича Марья в больнице, одним словом, выпили и разошлись, пастуха одного оставили, поскольку его рабочий день кончился.

Вот и все, что было вчера. От пастуха я вернулся домой. Вот и все. Когда я шел от Ивана, сосед мой, Терентий Антонович, все еще стоял, а потом и Варвара Петровна вышла поглядеть на тоскливый дождичек своими удивительными глазами и ушла в дом, а Терентий Антонович остался стоять. Варвара Петровна всю эту зиму в больнице пролежала. Удивительные глаза ее какой-то дальний свет хранили, еще голубенький, ничего уже не осталось, скоро восемьдесят, а в глазах ка-

ким-то чудом задержался этот свет как воспоминание о жизни, о человеке...

Все! Нашел я эту солому! Лежал и искал. Шаг за шагом перебирал вчерашний день и как только подошел к Терентию Ивановичу, как только вышла Варвара Петровна и взглянула удивительными своими глазами на тоскливую улицу, так тут же и вспомнил. И обрадовался, и сильно был опечален в одно и то же время. Потому что это сон был. Со-он. Да и как может прийти в голову здоровому человеку не во сне эта нелепость, эта солома для ноктюрна? Но все-таки бесконечно жаль, что сон. Ведь было в этих словах нелепых что-то такое, необъяснимое и привлекательное, какое-то воспоминание о жизни, о человеке. Было. Потому что не только когда я лежал, проснувшись, но и потом, когда встал, и днем, и даже на другой день чувствовал, и даже вот сейчас чувствую, что идет от них, продолжает идти от этих слов какая-то неясная радость, хотя вроде бы и не должна была идти. Солома для ноктюрна. Какая уж тут радость?! Горе горемычное...

Я заметил, люди охотно рассказывают свои сны, любят рассказывать, чем-то они дороги им. Тем, что это их сны? Может быть, от этого? Оттого, что каждый человек дорог самому себе? Поэтому и сны его дороги самому? Так?

В километре от нашего деревенского холма, в лесу, живет егерь, а раньше, давно еще, до революции, была тут мельница латыша одного, Августа Петровича. Как-то занесло его на нашу речку Судогду, купил деревни, зерно молол окрестным людям, вел небольшое хозяйство, был вдовцом с двумя незамужними дочерьми и старой матерью, Милдой Кондратьевной. У этого Августа Петровича работал наш Ухин Михаил Андреевич, мальчонкой еще. Потом уж остарел он сильно, перешел с пилорамы в ночные сторожа. Михаил Андреевич мужик мягкий, с ласковыми глазами.

«Я, говорит, ласковый был, послушный, всегда был таким, и он любил меня, Август Петрович, и Милда Кондратьевна любила. Приедет, бывало, к матери, а я без отца жил, поглядит, как мы живем, и скажет что-нибудь хорошее про меня. Вот, мол, сынок у тебя ласковый,

послушный, сапоги пришлю ему новые к празднику. И присылал. А Милда Кондратьевна и рубашку возьмет да пришлет, а сам, бывало, подводу пригонит, мешок муки, пшена с полмешка или другого чего, на, мол, корми сына, хороший сын у тебя. А я что, коров пас у них, работа легкая. Милда Кондратьевна в мельничном омуте утопилась, он и счас называется Милдин омут. Отчего утопилась, никто не знает. От гордости. Не захотела старухой жить. Все работников своих уговаривала, то одного, то другого, в омут ее столкнуть. Взойдет на лаву, через речку лава была перекинута, взойдет и просит: «Толькни, деньги дам». По-русски плохо выговаривала: «Толькни, говорит, не надо старая женщина жить». Но толкать никто не соглашался, а самой, видно, страшно, но все ж таки решилась, шагнула с лавы в омут. Только на другой день вынули мертвую. Август Петрович долго тут был, держал мельницу, потом передал ее сельсовету, при Советской уж власти, и стал на ней служить мельником за жалованье. Дочери куда-то подевались, и сам он помер. Хорошо тут было. К празднику, бывало, сапоги новые пришлют, рубашку, оденешься во все новое, а уж меня и девки любить начали, очень я ласковый был».

Сперва Михаил Андреевич в ночные сторожа ушел с пилорамы, а тут вот и помер уже. Три дня полежал и скончался. Ездил я в Ликино, там алкоголиков лечат, и поп у нас там живет, ездил я отпевать Михаила Андреевича, заочно, с его сестрой старшей. Помер Михаил Андреевич от того же самого, пил много. Уж и нельзя было, с сердцем у него непорядки были, а все не пропускал случая, пил. За три дня и помер. Первый день все ругался лежал. Одно слово ругательное повторял весь день. Может, попить тебе подать? На!.. Пошлет этим словом и опять молчит. Чего болит у тебя, скажи? На!.. А глаза ласковые, мягкие, и рот у него тоже мягкий, без кое-каких зубов уже был и оттого еще мягче казался. На!.. И так весь первый день. На другой день ничего не стал говорить, стал молчать, все на свою руку глядел. Поднесет к глазам и разглядывает, разглядывает, на пальцы глядит, на ладонь, на тыльницу, что-то все разглядывал. Весь день руку перед собой держал, туда-сюда поворачивал. Чем-то она показалась ему. Может, жизнь свою читал по ней, теперь уж не спросишь, может, про-

щался с собой, глядел на руку, еще живую, прощался. На третий день и руку свою оставил в покое, не слышал ничего, никого не узнавал уже, без памяти был, а к вечеру скончался.

«Зачем же,— сестре его говорю,— зачем отпевать его у попа? Он же неверующим был и слово нехорошее говорил перед смертью, целый день матерно выражался. Зачем?» — «Неудобно, говорит, закапывать без ничего, так-то, без отпевания, все же человек».

Попа не застали мы, в райисполком уехал. «Ладно,— сказала сестра,— в город Владимир поеду». И съездила, отпела Михаила Андреевича заочно.

А от Ивана-пастуха мы вместе пошли тогда с Михаилом Андреевичем. Мужики на работу заспешили, на пилораму, а Михаилу Андреевичу спешить было некуда, он сторожил ночью машинный двор, и мы пошли с ним, разговаривали по дороге, он про Августа Петровича вспомнил, рассказывать стал, как пас у него коров, вообще все вспоминал про свою жизнь. Потом он завернул к себе на Кусуново, а я к себе, на Малый конец. А тут все еще Терентий Антонович стоял и Варвара Петровна вышла, поглядела на тоскливый дождичек и в дом вернулась. И тут как раз я и вспомнил про эту солому, откуда она взялась для ноктюрна.

День тот удивительный был и уже к вечеру клонился, а сердце мое замирало от счастья и ожидания, потому что я ждал ее на лесной дороге, недалеко от мельницы, от Милдиного омута. Долго ждал. По сухой дороге ходил, и пахло сосновой хвоей в молодом сосннячке, птицы уже не пели, осень была, но тепло еще стояло и тихо было в лесу. По обочинкам и в самом соснячке, очень молодом, никакой травы не было, такая земля тут сухая, и по земле этой стелились рыжие и серебристые лишайники, а кое-где и зеленый мох. Ходил я по этой дороге и на мягком мху лежал, разглядывал странное его устройство, лишайники снимал и тоже разглядывал, потому что хотелось, чтобы время поскорей проходило, очень ждал я. Но потом так увлекся этими мхами и лишайниками, что совершенно позабыл вроде про все другое и не заметил, как она тихо подошла. Стояла она в легких башмачках, маленькая и сама легкая, с темной

косой до пояса и удивительными глазами, робкими еще. Я держал кусок зеленого мха и смотрел на него не сверху, как видится он на земле, а смотрел сбоку, и вот открылся передо мной непроходимый лес из крохотных стволов и их макушек зеленых, и, когда крохотный, непроходимый лес этот вдруг стал показываться мне не крохотным, а натуральным лесом-великаном, поднялся в моих глазах до натуральной величины, чудно сделалось мне, и я оглянулся отчего-то на дорогу, а она уже стоит там, робкая еще. Бросил я кусок этого кукушкиного льна и немного застеснялся, потом спросил:

— Ты?

— Я,— ответила она и подошла ко мне, в молодые сосенки вошла.— А чего ты глядел тут? — спросила она.

— Да вот, хочешь покажу?

— Покажи.

И она присела рядом, хорошо присела, почти по-детски, и я стал показывать. Но сперва спросил, почему так долго не приходила.

— Мамка не пускала.

И я стал показывать этот мох, сбоку, чтобы его тоненькие ножки и ей показались большими стволами и чтобы она тоже увидела лес.

— Ты сделай так, — сказал я, — сделай, чтобы ничего и никого не было вокруг, ни сосенок, ни леса, ни дороги, ни... меня, а только гляди на эти непроходимые дебри, гляди и гляди, и ты увидишь, что это большой непроходимый лес, сосновый бор...

Она прошептала:

— Вижу лес.

— И в этом непроходимом лесу никого нет, ни-ко-го, только мы с тобой. Видишь? Видишь, какие мы маленькие? А лес какой большой и непроходимый?

— А тебе не страшно? — опять шепотом спросила она и хотела вроде придвинуться ко мне, но тут же наоборот сделала — отодвинулась.

— Ничего, — сказал я и посмотрел в ее удивительные глаза, где было столько света и жизни, что я тяжело вздохнул.

— Испугался? — спросила она.

— Да, — сказал я. И сорвал новый пучок другого мха, сфагнума. Она погладила плюшевую шапку его.

— Сфагнум, — сказал я.

— Чтой-то?

— Так мох называется. Торфяной мох. В торфе, кроме осоки и пушицы, сфагнум — главный компонент. Когда он умирает на болоте и уходит на дно, делается торфом.

Она привстала на круглые загорелые коленки и странно посмотрела на меня.

— А ты чего такой? — спросила она и немножко погрустнела.

— Какой?

Но она не ответила, а наклонила голову и стала смотреть на меня исподлобья. И была до невозможности хороша.

— А вот я покажу тебе трубы. Хочешь посмотреть на серебряные трубы?

— Хочу, — ответила шепотом.

И я содрал с земли кусок серебристого лишайника, поднял его так, чтобы и она видела, придвинувшись, и я видел. На серебристой подстилочке, на серебряных ковриках лежали маленькие трубачи и трубили в серебряные трубы, выводили серебряную мелодию. Видишь, сколько тут маленьких трубачей? Видишь, как они трубы подняли к небу, сами лежат, а трубы кверху позадирали? Слышишь, как трубят? Она своей щекой прикасалась к моей, и я действительно слышал, а она прошептала, что ничего не слышит, только видит.

— А ты, — сказал я,— ты еще лучше послушай, еще, еще...

И она еще ближе придвинулась ко мне, наши щеки совсем уже пылали, и тогда она сказала:

— Слы-ышу.

Мне было трудно дышать и трудно говорить, но я говорил, говорил, потому что нельзя было не говорить, все это могло бы кончиться чем-нибудь дурным.

— Вот, — говорил я, — люди ходят по этим лишайникам, по этим зеленым мхам, как по соломе, топчут и не замечают, что наступают и мнут ногами своими такой хороший непроходимый лес, а мы там, в лесу, с тобой, и нас топчут, и по тебе, и по мне ходят, как по простой соломе, и по этим серебряным трубам, и по маленьким трубачам ходят, тоже давят и сами не знают этого.

И когда она еще немножечко прижалась ко мне ще-

кой, потерлась слегка и чуть меня не погубила. Я сказал:

— Это кладония. Лишайник такой.

И опять она отпрянула и странно на меня посмотрела.

— Это кладония, — повторил я, — а есть еще пармелия лесная, альпийская и так далее, тоже лишайники.

Я поднялся и встал, и она встала, робкая. И мы вышли на дорогу и пошли по ней. Она сказала:

— Ты очень умный, я боюсь тебя.

— Я совсем не умный, я просто хороший.

Она сказала:

— Тебе всех жалко?

— Да, всех,— сказал я.

— И мне тоже всех-всех.

И мы пошли и долго-долго ходили по сухой лесной дороге, и когда вошли в большие сосны, в бор, то этот сосновый бор показался мхом, кукушкиным льном, и мы, маленькие, бродили среди его золотых стволов, и солнце уже садилось, и золотой сумрак стоял в бору, и мы ходили в этом золотом сумраке. Мы ходили и молчали, она не боялась меня. Она заговорила первой, неожиданно. Уже темнеть начинало понемногу, мы прошли мимо Милдиного омута и вышли скоро на просторную поляну, небольшое поле открылось перед нами.

— Смотри, — сказала она неожиданно и остановилась. — Смотри, звезда.

Действительно, на востоке загорелась, как уж она загорелась, мы не заметили, чистая и счастливая звезда. Счастливая потому, что вся сияла от счастья.

— Звезда, — повторил я.

Она оглянулась и спросила вдруг:

— Зачем Милда Кондратьевна утопилась?

— Никто не знает, от гордости.

— Как от гордости?

— Не хотела жить старой, гордость не позволяла.

Она не сразу отозвалась. Спустя минуту сказала:

— А я никогда не буду старой.

— Никогда.

Потом приблизилась ко мне и прижалась, как от испуга.

— Что это? — сказала она чуть слышно и показала на темный силуэт.

— Это солома, — сказал я. — Солома Августа Петровича.

Мы подошли к этому стожку и сели, прислонившись спинами к нагретой за день душистой соломе. Мы сели так, чтобы видеть перед собой счастливую звезду. Сидели и смотрели на ее счастливое сияние и на другие голубые звезды, выступившие по всему бархату ночного неба.

— Слышишь, как пахнет солома? — спросил я.

— Слышу, — ответила она и подняла голову, и лицо ее под звездой, под ее светом было невыразимо прекрасным.

— А бывает у тебя, что жить грустно? — спросил я.

— Нет, — она покачала головой. — Мне всегда весело жить, если дома не ругают.

— Нет, не то, — сказал я, — совсем другое. Ведь к нам душа прилетает с неба, и к тебе с неба прилетела, как только ты родилась, и ко мне, а потом она всю жизнь живет с нами на земле и страшно тоскует по небу, тоскует, а не может туда улететь, если улетит, значит, мы умрем, и вот она тоскует, а я слышу, как она тоскует, и мне делается грустно жить.

— Значит, моей душе, — возразила она, — весело жить со мной, она не хочет на небо и не тоскует.

— Пока, может, и не хочет, — сказал я, — а вот выйдешь замуж, детей народишь, а мужик пить будет, а потом и поколотит тебя раз, другой и третий, и такое пойдет, что захочется твоей душе на небо, и ты увидишь тоже: жить грустно. Заездит тебя муж и душу твою заездит, а потом ты заболеешь и умрешь.

— Ты не говори так, — сказала она. — Я не пойду замуж. Ты лучше про что-нибудь другое говори, про серебряных трубачей... Нет, не надо про них. Лучше вот про солому. Зачем она тут лежит? Зачем ночью лежит?

— Надо у Августа Петровича спросить. Это его солома.

— Нет. Она лежит, чтобы мы сидели на ней и смотрели на звезду. Так?

— Так. Это солома знаешь для чего? Для ноктюрна.

— Чтой-то? — опять она удивленно повернулась ко мне.

— Для ноктюрна, — повторил я.

— Для какого ноктюрна, Тереша? Откуда ты все чужое знаешь?

— Да какой я Тереша? — сказал я. — Ты что, не видишь? Я сосед ваш.

Она вскрикнула и вскочила на ноги. Но я поймал ее и не пустил. Я не пускал ее, крепко сжимал ее в своих руках, успокаивал, говорил что-то, чтобы она не плакала, не кричала, но она плакала, билась, вырывалась из моих рук. Я все держал ее, не пускал, так старался удержать в руках, что постепенно, чтобы легче было удерживать, умостил ее у себя на коленях. Она вся трепетала, билась, но вырваться не могла и, всхлипывая, постепенно притихла у меня на руках, как ребенок. А я все говорил, говорил, чтобы окончательно успокоить ее, я говорил, что это же замечательно, что солома для ноктюрна, потому что ноктюрн — это ночная песня, а мы слушаем сейчас как раз песню ночи, песню ночного неба и ночной звезды, ты же слышишь эту песню, слышишь? Слышишь, как поет наша звезда, ты же первая увидела ее? Слышишь, слышишь, слышишь?

Она притихла, даже немного прижалась ко мне, но не отвечала, а я все спрашивал и спрашивал, и наконец она отозвалась тихонько:

— Слышу.

И тогда я нашел рукой ее лицо и стал вытирать ей слезы и уже хотел поцеловать мокрое от слез лицо, но тут на улице раздался одинокий женский голос и разбудил меня. Мычала корова, и невидимый за мокрыми тучами самолет протянул над утренним миром свой гром, отчего слабенько прозвенели стекла. Я лежал, проснувшись, и был счастлив необыкновенно. Я лежал, разглядывал сучки на потолочных досках, перебирал вчерашний день, искал эту солому, а когда нашел, встал и оделся. За окном, как и вчера, топтались хозяева возле своей скотины, опять вода стекала с черного капюшона и со спины Иван Обрамыча, и так же стоял в сторонке, возле своего крыльца, Терентий Антонович, тосковал по своей корове. Мы покурили с ним, а потом вышла Варвара Петровна, тоже поглядела немного на привыкающее стадо, на второй уже день выгона, на тоскливый дождичек, и мне было очень странно

видеть ее, странно было думать, что она ничего не знает, и я сказал тогда:

— Варвара Петровна, а я во сне вас видел сегодня.

Она посмотрела на меня голубенькими глазами, в которых еще теплилось воспоминание о жизни, и что-то шевельнулось в их глубине, вроде улыбки.

— Не спужался? — спросила она. — Такую-то старую ведьму не дай бог во сне увидеть.

— Нет, — сказал я, — не испугался. — И больше ничего не сказал.

Чуть-чуть разошлись тучи в одном месте, и выглянуло солнышко, и сильней потянуло ледяным ветерком. Володька, внук Терентия Антоновича и Варвары Петровны, с удочками вышел, потопал к реке. Окончил во Владимире ПТУ, поработал немного, теперь в армию уходит, на флот определили.

— По моим стопам пошел, — сказал Терентий Антонович, — в моряки.

— А что, — спросил я, — на море лучше?

— Неуж не лучше?! Земли никакой нету, топать не надо.

Потом опять скрылось солнышко, а дождик ледяной так и шел, не переставая.

По ночам такие ветры свистят, что и впрямь «на столе у меня шелестит, поднимается дыбом бумага». Последний день пробного выгона упал на Егория. С утра уже запасмурнело и затеплело. Просто удивительно, как играет природа. Весь апрель и в первые дни мая стояли редкие ледяные холода, а последняя неделя еще и дождливая свалилась, ни с того ни с сего мягко, пасмурно и тепло чуть ли не по-летнему. А потому что Егорий — шестое мая. Он же и Юрий, Юрий-теплый, вот откуда тепло. Последний день мужики и бабы ходили возле стада, завтра Иван угонит скотину на луга, а сегодня он не вставал еще, не могли поднять, потому что вчера, перед Егорием, перед Юрием-теплым, так набрался, что с утра не могли поднять, мужики поднимали, а не смогли. Фекла Сергеевна все время на букву «б» ругается... Сегодня Егорий, надо икону вокруг стада таскать, а он — пьяный, со вчерашнего дня лежит, не поднимешь. По-русски Фекла Сергеевна

говорит бойко, но неразборчиво, с акцентом, и слова жует, и черные слова у нее, как из пулемета, летят тоже неразборчиво, только отдельные сильно выделяются.

— Ах ты б...— пьяница, дурак,— ругается она неразборчиво, спотыкаясь, несет от своего крайнего дома икону. Прижимает богородицу к грудям и торопится в валяных сапогах с калошами, спотыкается и бубнит по-черному — б... и так далее. Не переставая ругаться, передает она бабке какой-то богородицу и крестится.

— Дурак, пьяница, — ругаясь, истово крестится.

Потом запели старухи, стали петь и креститься: «Христ-о-ос воскре-есе живо-от дарова-а...»

Пели одни и те же слова, не знали больше и этих смысла не знали, но пели дружно и фальшиво, на дичайший мотив, напоминавший старинную пьяную песню. Лица у всех старух были торжественные, серьезные. Они держались толпой возле изгороди Марьи Михайловны, крестились и пели. Потом Фекла Сергеевна опять взяла богородицу и пошла, спотыкаясь и сильно клонясь вперед, к стаду, вокруг него. За Феклой Сергеевной двинулись все старухи, они обносили икону вокруг разбредшихся коров, телят и овечек, чтобы они были здоровы в этом году и не подохли.

В прошлом году я смотрел на этот обряд из окна, и все мне тогда показалось в чистом свете, потому что не слышно было ни этого «живот дарова», ни дичайшего распева, ни черной ругани Феклы Сергеевны. Теперь я был на улице и все слышал. И до слез жалко было этих баб и старух, их ушедшей, для чего-то прошедшей жизни. Пристроилась к ним и Варвара Петровна, хотя уже и без коровы. Видеть ее было мне трудней всего, потому что всего неделю назад я слушал с ней серебряных трубачей, смотрел на них, как они лежали на серебряных подстилочках и трубили, потом мы сидели под стогом соломы недалеко от Милдиного омута и смотрели на счастливую звезду, слушали ее музыку, песню неба и тихой земли. И пахло свежей соломой для ноктюрна, и она плакала, всхлипывала, робкая еще. Как же она быстро так превратилась в старуху с жиденьким фальшивым голосом — «живо-от дарова-а-а»?!

Участник этой жизни и другой жизни, столичной, я глядел и слушал в день Юрия-теплого это старое-престарое кино. Иван лежал пьяный, приученные уже друг

к дружке, мирно и тихо паслись коровы, телята и овечки, длилось молебствие несчастных женщин. Не досмотрел я, не дослушал, ушел домой, в избу, включил приемничек и, настраивая, попал на Грига, на его фортепьянный концерт, оказавший огромное влияние на творчество писателя Астафьева. Играл гениальный пианист Кьелл Бекклунг в сопровождении оркестра Норвежской филармонии, дирижировал Одд Грюне-Хегге.

Олег Корабельников

СТОЛ РЕНТГЕНА

Были времена, когда он не брал в рот ни капли спиртного. Тогда он бродил по своей большой квартире с больной головой, глотал анальгин, пытался читать книги, но дурное настроение не проходило. Чтобы хоть немного облегчить свои муки, он запирался в спальне, вставал на четвереньки и стоял так подолгу, втянув голову в плечи и стараясь не моргать. Вскоре тело его затекало, шея деревенела и начинало ломить поясницу. Было очень тяжело сохранять такую позу, но это хоть немного отвлекало его от влечения к спиртному. Пенсию ему присылали по почте, и эти дни в начале месяца были для него наиболее мучительными. Ему хотелось на все деньги купить водки, чтобы весь последующий месяц простоять в углу комнаты возле дивана в стиле ампир, прислонясь боком к чугунной статуе Давида. Только тогда ему было действительно хорошо и покойно. Он чувствовал себя человеком, как бы ни было абсурдным чувствовать это, превратившись в большой и красивый стол.

Сам процесс превращения, или, как он сам называл это про себя — метаморфозы, был простым и болезненным. Когда ему становилось невмоготу и головные боли вконец изматывали, он наливал водку в хрустальный фужер (попроще посуды у него и не водилось), раздевался догола, забирался в угол комнаты, вставал на четвереньки и, придерживая бокал одними губами, опрокидывал его в рот. Закусывать не полагалось.

Потом он замирал, пригнув голову и прислушиваясь к своему телу. Он чувствовал, как выпрямляется спина, как ноги деревенеют; видел, как кожа на руках стягивается в жгуты, приобретает цвет старой бронзы и как

из этих жгутов образуются венки и ниспадающие гирлянды. То, что происходило у него на спине, он не мог видеть, но чувствовал, что и она становится гладкой, полированной поверхностью красного дерева. На боках его прорезывались прямоугольные щели, разрастаясь, они обрамлялись бронзовыми розетками, и посреди прямоугольников вырастали личинки замков в форме щита с двумя орлиными головами. Голова его уплощалась, втягивалась в шею, а шея — в туловище и превращалась в литое украшение — овальную розетку из листьев аканта. Тогда глаза его перемещались туда, где замочные скважины на ящиках стола черными широко расставленными зрачками смотрели на комнату, за окно и моргать не умели.

Сам он вытягивался в длину и высоту, каждый раз удивляясь, откуда в его худом теле берется этот резерв роста. Но объяснялось все обыкновенно: тело его становилось пустым внутри, и внутренности, деревенея и бронзовея, выворачивались наружу, превращались в облицовку стола в стиле классицизма конца восемнадцатого века.

Когда метаморфоза заканчивалась и ощущение разрыва и перемещения проходило, он застывал и старался ни о чем не думать. Впрочем, думать ему было нечем. Мозг растекался причудливым орнаментом вдоль крышки стола, извилистым и симметричным, и мысли тоже становились тугими, бронзовыми, повторяющимися.

В таком положении он оставался долго, иногда дня два, в зависимости от дозы выпитой водки. Никто к нему не приходил, друзей он растерял, клиенты обходили его дом стороной, а дети давным-давно разъехались по всей стране и писем ему не писали.

Образ жены, потерянной и преданной им, ассоциировался у него с диваном стиля ампир. Когда-то в самый разгар его увлечения стариной, он приметил этот диван у одного старика. Диван ему так понравился, что ни о чем другом думать он уже не мог. Старик запросил большую цену. Тогда он тайком от жены заложил ее шубу, благо было лето, купил диван и торжественно водворил его в своей комнате, еще заставленной ря-

довыми венскими стульями. К зиме он думал накопить денег и выкупить шубу из ломбарда. Но накопленные деньги пошли на чугунного Давида и на трехсвечовый стенник из патинированной бронзы. Жена, и без того измученная страстью мужа к вещам, узнав о продаже шубы, долго плакала, потом сказала: «Лучше бы ты пил», — и уехала к сыну, навсегда.

С тех пор он часто, глядя на диван, его шелковую обивку, его манерные ножки, его подлокотник с золочеными головками Медузы, вспоминал жену, которая тоже не писала ему и, наверное, ждала его смерти, чтобы приехать в эту квартиру, открыть настежь балкон и с наслаждением сбросить вниз комодики, стулья, козетки, шкафы мореного дуба, статуи и статуэтки.

Всего этого было слишком много для нее и слишком мало для него. Он рыскал по антикварным магазинам, брал отпуска без содержания и наведывался в тихие старинные городки. Там он безошибочно выбирал нужные дома, заходил, рекомендовался художником и высматривал, выпрашивал то подсвечники, то темные картины, одиноко висящие среди современных эстампов. Домой возвращался разоренным и радостным.

К нему постоянно приходили разные люди, приносили свертки, он торговался подолгу и со вкусом, всегда в свою пользу, продавал одни вещи, покупал другие, находя в этом большую радость, и в конце концов собрал прекрасную коллекцию, приобретя много врагов и завистников.

Раньше он работал реставратором в одном хорошем музее, работу свою любил, только каждый раз, закончив заказ, оттягивал время возврата, подолгу любовался красивой вещью и очень хотел оставить ее себе. Потом и сам стал покупать. Реставратор он был хороший, в большом городе заказов хватало, брал работу и на дом. Научился расчищать иконы и картины, знал толк в бронзе и посуде, книгах и скульптуре.

Когда он остался один, совсем один в большой квартире с высокими потолками, где каждый шаг был радостен и опасен (вдруг заденешь шкаф с фарфором), то по-настоящему ощутил, как его жизнь связана с невидимой жизнью вещей. О каждой из них он мог рассказывать долго, взахлеб, как гордый отец о талантливых детях. Он знал имена мастеров, знал до тонкостей тех-

нологию превращения дерева и бронзы в красоту, знал слишком много, чтобы быть счастливым.

И только один мастер, одна вещь превратили его жизнь в муку. Мастера звали Давид Рентген, жил он в конце восемнадцатого века, и один из предметов, сработанных им, — письменный стол, увиденный реставратором в запасниках музея, стал навязчивой мечтой, неутолимой жаждой. Вещь принадлежала музею, купить ее было невозможно, а украсть тем более. Тогда он сделал хорошие чертежи, фотографии, снял слепки и принялся за работу. Целыми днями, запершись, он возился с красным деревом, пилил, полировал, искал такой же рисунок древесных волокон, лепил восковые накладки, чтобы здесь же, дома, отлить бронзовые детали стола. И когда, намучившись, истратившись, он последний раз провел тряпочкой по гладкой поверхности стола, то почувствовал себя настолько счастливым, что обнял свое детище, прижался к его благоуханному телу и долго шептал ему самые нежные слова, стараясь не закапать слезами нежный лак.

Целую неделю он не отходил от стола, спал рядом, на полу, обняв золоченую ножку, втайне гордился своей победой над мастером Рентгеном и показывал стол всем приятелям, разумеется, наврав им о подделке. Те искушенно ахали и, должно быть, завидовали.

Но потом, еще раз посетив запасник, он вдруг увидел настоящий стол настоящего Рентгена, и это впечатление, стертое собственной работой, настолько испортило ему настроение, что, придя домой, он сел на пол возле своего стола и весь день проплакал.

Мастер Давид Рентген обманул его. Оттуда, из восемнадцатого века, он смеялся над ним, жалким копиистом, дерзнувшим равняться с мастером. Как будто бы все было похожим, точным, симметричным и чистым, словно столы вышли из одной мастерской. Но не хватало самой малости — не хватало руки и сердца мастера. Неповторимой руки и непревзойденного сердца.

С этого дня он и запил. Пил водку, много, с омерзением, в одиночестве. Он возненавидел себя и всех людей заодно. Люди представлялись ему лишь переходным этапом на пути к рождению вещи — совершенной и прекрасной. Вещи во всем отличались от людей. Плоть их была твердой и бессмертной, формы чисты-

ми, и сама их неподвижность говорила о мудрости. В пьяных мыслях своих он видел людей, суетных и бренных, материалом и инструментом, слугой и покровителем вещей. Вещи с большой буквы. Всю жизнь человек занят производством вещей, и лишь избранники, мастера, поднимаются до искусства, уходят в вечность, но все равно их тела сгнивают наравне с другими людьми, остается имя, легенда и, самое главное — остается вещь как единственное оправдание не напрасной жизни человека.

Именно это, то, что он вдруг открыл для себя, когда изменить что-либо было невозможно, разломало и исковеркало оставшиеся дни его жизни. Он понял, что никогда не был мастером, и напрасно он старался окружить себя чужими вещами, блеском чужой славы и чужого величия.

Понял, что он — ничто.

И однажды, выпив больше нормы, он поднял руку на своего любимого сына. Он разрубил стол топором на мелкие щепки, бронзовые накладки распилил и, сложив в стеклянную банку, налил азотной кислоты. Бронза, шипя, растворилась: клубы едкого коричневого дыма наполняли ванную, оседали на голубом кафеле, вызывали кашель. Он запер ванную, заколотил дверь и с тех пор не мылся. Щепки он сжег в своей плавильной печи.

Протрезвев, он увидел пустое место между диваном и чугунным Давидом. Такого отчаяния ему еще не приходилось испытывать. Он катался по полу, кусал свои несовершенные руки, он ненавидел себя, он хотел перестать быть человеком.

Чугунный Давид, тезка мастера, опирался на меч и смотрел себе под ноги с мягкой улыбкой. Он не был человеком, он был вечен.

Мастер Рентген, однофамилец того Рентгена, что открыл Х-лучи, смотрел сквозь толщу двух веков, усмехался и грозил пальцем. Он уже не был человеком, он воплотился в вещи и обрел через них бессмертие.

Тогда реставратор в полном самоуничижении решил покончить с жизнью. Он возненавидел в себе человека. Он взял веревку и, завязав петлю, долго ходил по квар-

тире, выискивая подходящий крюк или гвоздь. Но на крюках висели хрустальные люстры, а на гвоздях — хорошие картины. Он боялся повредить вещи своим мерзким телом, поэтому отбросил веревку и стал искать нож, чтобы вскрыть вены. Но все ножи были коллекционными, бритвы — только старинные, и он не решился осквернять искусство своей бренной плотью. Из всех ядов в доме нашлась только водка, он напился до беспамятства, и в этом состоянии, наполовину потеряв человеческий облик, окончательно продал свою душу.

Дьявол явился к нему в образе чугунного Давида. Скульптура шевельнулась, осторожно спустилась с постамента, подошла к лежащему реставратору и прикоснулась мечом к его шее.

Тот хрипел, икал от выпитой водки, кружилась голова, и вещи шевелились. Ему показалось, что Давид разомкнул свои чугунные уста и сказал ему торжественно и внятно:

— Встань, отринь покровы, уподобься столу и будь вечен.

Тогда, вняв услышанному, он с трудом разделся, встал на четвереньки, покачиваясь, выпил еще водки и отринул от себя все человеческое. Всю свою мягкую болезненную плоть, свои слабые руки, всю свою слизь, мякоть, жижу, смертную и смрадную, свое ненасытное сердце. Он отрекся от своей принадлежности к человеческому роду и страстно пожелал стать столом, стать частью бессмертного искусства, неистребимого и вечного.

И когда тело его претерпело в корчах и муках метаморфозу, он ощутил всем своим деревянным, ароматным и чистым телом, как обновление превратило его в то, чем он был всю свою жизнь, но только смутно догадывался об этом, — он стал письменным столом.

Так продолжалось с месяц. Каждый день он превращался в стол, стоял и ни о чем не думал. Глазами — замочными скважинами — он раскосо взирал на свою комнату, на все эти вещи, близкие и понятные. Он ощущал свою близость всему этому великолепию и жалел только об одном, что не может посмотреть на себя со стороны, пока не догадался придвинуть зеркало в

черной раме, в котором и увидел себя в образе того самого стола, что не так давно уничтожил собственными руками.

Это принесло ему новые муки. Он старался хоть раз превратиться в стол работы мастера, но это не зависело от его воли. Выпитая водка неизменно делала свое дело, и несовершенное тело превращалось в несовершенный предмет. Наверное, в этом была своя закономерность.

Тогда реставратор попробовал бросить пить. Он слонялся по квартире, разговаривал с Давидом, заигрывал с фарфоровыми пастушками и страдал от головной боли. Он стал забывать свое имя, на телефонные звонки не отвечал, двери не открывал. Только по необходимости выходил из дома пополнить запасы консервов и водки. Водку он покупал ящиками, прятал ее в шкафу мореного дуба и ключ старался потерять. Но ключ всегда оказывался у него в кармане, а дверца шкафа сама собой распахивалась перед ним. Вещи сговорились. Они мстили ему за излишнюю любовь. Они смеялись над ним. Он бродил голый, немытый, обросший седыми свалявшимися волосами. Свое отражение в зеркале внушало ему отвращение, тогда он занавесил все зеркала черным бархатом, словно в доме был покойник. Но тело его отражалось в застекленных шкафах, преломлялось, и без того уродливое, в посуде и бронзе. Спасение было в одном — превратиться в стол.

Когда водка прекращала свое действие, он снова претерпевал метаморфозу. Деревянная плоть его размягчалась, вворачивалась внутрь, наполнялась соком и слизью. Он снова становился человеком.

Если он выпивал бутылку водки, то обратное превращение задерживалось на два дня. Больше выпить он не мог, а способа продлить свое отречение от человечества не знал.

Он вспомнил о своем старом друге, коллекционере, таком же самоотреченном и неистовом, как он сам. За свою долгую дружбу они не раз перехватывали друг у друга хорошие вещи, постоянно обменивались, обманывали, обижались, ссорились и снова сходились. С высоты своего деревянного интеллекта реставратор увидел,

как ничтожна страсть человека, и решил посмеяться над своим жалким другом. Он позвонил ему и сказал, что решил подарить тот самый стол работы Давида Рентгена. Друг не поверил в такую царскую щедрость, но реставратор убедил его, сославшись на то, что уже стар, болен и хочет, пока не поздно, раздарить лучшие вещи своим добрым друзьям — настоящим ценителям искусства. Далее он объяснил, что утром его дома не будет, так пусть его друг не затруднится взять ключ под ковриком, забрать стол и захлопнуть за собой дверь. Он верит своему старому другу и полагает, что тот лишнего не возьмет. Друг пообещал, клятвенно заверил в своей вечной признательности и хотел приехать тотчас же.

Наутро реставратор с трудом выпил бутылку водки и стал ждать, крепко упираясь в пол четырьмя негнущимися ногами. Друг приехал рано. Он привез с собой двух сыновей, втайне презиравших страсть отца; втроем они вытащили стол на двор, со всеми предосторожностями погрузили стол в машину и торжественно перевезли на свою квартиру. Они водрузили стол в освобожденный угол, и новый хозяин долго не мог отойти от него, поглаживая его, лаская, не веря своему счастью.

Стол еще ни разу не испытывал человеческого прикосновения. Оно показалось ему приятным. Он еще раз убедился, как хорошо быть красивой вещью и насколько лучше быть произведением искусства, нежели творением природы. Он смотрел на чужую квартиру, на все эти вещи, похожие на его собственные, смотрел на друга, постаревшего в вечном наслаждении прекрасным, и думал о том, что же тот скажет, когда через два дня увидит вместо стола голого и грязного человека, во всем своем бесстыдстве стоящего на четвереньках в углу комнаты.

К счастью, в то утро друг был в квартире один. Нет нужды описывать его сердечный припадок, запах корвалола, астматическое дыхание. Когда ему удалось втолковать о возможности метаморфозы, то он воскликнул:

— Ты самый счастливый из людей! О, как я завидую тебе! Быть столом — это самое прекрасное на све-

те! Быть столом и не думать о грудной жабе, о близкой смерти, долгах, неблагодарных детях, старой жене, о всех проблемах человеческой жизни. Друг, научи меня стать столом!

Реставратор усмехнулся. Он не любил людей. Не любил и старого приятеля. Он не хотел мучиться один от своей нелюбви. План его исполнялся. Они разыскали одежду, реставратор оделся, и оба вышли на улицу.

Была суббота, улицы, заполненные людьми и машинами. На них смотрели открытые двери магазинов, яркие витрины, зазывающие людей, дразнящие их никелем и шелком, полированным деревом и красивыми этикетками. По пути к дому им пришлось преодолеть сплошной человеческий поток, льющийся в двери универмага. Люди втекали туда бурлящей волной, озабоченные, спешащие купить новые вещи, столь необходимые им в этот день. Обратно шел другой поток. Люди несли кастрюли, тугие свертки с одеждой, эстампы, торшеры. Они бережно прижимали к себе эти вещи, предвкушая, как изменится их жизнь от этой покупки.

Приятели улыбнулись. Они презирали людей. Они полагали, что нужно покупать только вечные вещи, лишь то, что уже выдержало испытание временем.

Дома он заставил друга раздеться. Тот, смущаясь, выполнил приказание и, дрожа от холода, встал на четвереньки посреди комнаты. Рыхлое его тело, хрипящее дыхание, слабые руки, обвисший живот вызвали улыбку жалости и презрения. Реставратор налил ему водки, тот выпил, потея и стуча зубами о рюмку. Пришлось выпить еще. Друг то и дело падал животом на пол и засыпал. С уголка рта стекала мутная слюна. Он был просто вдребезги пьян. Метаморфоза не наступала.

Реставратор посмотрел на него, еще раз подумал о несовершенности человека и о своей собственной исключительности и привычно ушел в другое бытие, превратился в стол.

Когда друг протрезвел, то увидел, что в комнате никого нет, а стоит только стол и скалится двуглавыми орлами. Это разозлило его. Он оделся, вымылся на кухне, посидел в кресле, думая о разном.

Вскоре позванивающий хрусталь люстр, плавные повороты фарфоровых пастушек, золоченый багет, шелк

обивок, гобелены, тисненая кожа книг — сказали ему вслух то, о чем он мечтал эти годы.

Он решил убить стол и присвоить все его вещи.

В чулане с инструментами он нашел плотницкий топор, долго примеривался, замахивался — и со всей силы ударил по полированной поверхности. Красное дерево дало трещину.

Стол видел все это, но у него не было возможности да и желания предотвратить удар. Он ощутил, как тело его разваливается на куски, теряет целостность, как оно раздробляется, рассыпается, расчленяется. Боли не было.

Человек, разрубивший стол, уронил топор и убежал в дальнюю комнату. Ему вдруг представилось, как обломки дерева и осколки бронзы превращаются в изрубленного человека, — и ему стало жутко.

Но, успокоившись, он рассудил, что все не так уж и страшно. Давид, тезка знаменитого мастера, звякнул мечом, напольные часы проиграли гавот. Он осторожно заглянул в комнату. Стол лежал разрубленный, изуродованный, ручки от ящиков в виде перевитых полотенец отлетели в сторону. Человек ходил по комнате и ласкал вещи, приручал их к себе.

Рассортировав вещи, он взял с собой то, что мог унести сейчас, за остальными решил приехать завтра. Он совсем не думал о возможном возмездии, трупа не было, а изуродованный стол мог только запутать следствие. В последний раз оглянувшись на комнату, он увидел то, что так не хотел видеть.

Бронза размягчилась на глазах, она приобретала цвет плоти, красное дерево растекалось темной кровью, осколки стола превращались в мертвое тело человека.

Первым желанием было убежать из дома, но потом он рассудил, что оставил слишком много улик, и вернулся с порога, дрожащий, бледный, страдающий одышкой и болью в сердце. Но прикоснуться к останкам так и не смог.

Тогда, в смятении, он выпил прямо из горлышка оставшуюся водку, разделся, встал на четвереньки и попробовал еще раз превратиться в вещь, уйти от ответственности, уйти от людей и человеческих законов.

Чугунный Давид шагнул с постамента, мягко прикоснулся к его склоненной шее игрушечным мечом.

Медуза приоткрыла веки, и человек ощутил, как деревенеет его тело, стекленеют глаза и голова наливается свинцом.

Сквозь узкую прорезь он увидел себя, отраженным в застекленном шкафу.

На полу стояли часы в пузатом футляре, и тяжелый свинцовый маятник равномерно отбивал секунды.

Возможно, последние.

Виктор Астафьев

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ...

Загулял наш конюх. Поехал в райцентр вставлять зубы и по случаю завершения такого важнейшего дела загулял. Рейсовый автобус ушел, и он остался ночевать у свояка.

Кони (их было семеро — два мерина, две кобылы и трое жеребят) долго бродили по лугу и, когда я шел от реки с удочками, вскинули головы и долго смотрели мне вслед, думали, что, может, я вернусь и загоню их, но, не дождавшись никого, сами явились в деревню, ходили от дома к дому, и я решил, что они уснут на лугах или прижавшись к стене конюшни, нагретой солнцем со дня.

Поздней ночью я проснулся, пошел на кухню попить квасу. Что-то остановило меня, заставило глянуть в окно.

Густой-прегустой туман окутал деревню, далее которой вовсе ничего не было видно; и в этой туманной пелене темнели недвижные, как бы из камня вытесанные силуэты лошадей. Мерины и кобылы стояли, обнявшись шеями, а в середке, меж их теплых боков, опустив головенки, хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и спали тонконогие жеребята.

Я тихо приоткрыл окно, в створку хлынула прохлада, за поскотиной, совсем близко, бегал и крякал коростель; в ложкý и за рекой Кубеной пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье утробное и мерное доносилось еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит у самого старого, надсаженного мерина в сонно распустившемся нутре.

Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть смеженные глаза, осторожно переступал

с ноги на ногу, настороженно вслушавшись — не разбудил ли кого, не потревожил ли? — он еще плотнее вдавливал свой бугристо вздутый живот в табунок и, сгрудив жеребяток, успокаивался, по-человечьи протяжно вздыхал и снова погружался в сон.

Другие лошади, сколь я ни смотрел на них, ни разу не потревожились, не пробудились и только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он и возьмет на себя главную заботу — сторожить их, спать вполусон, следить за порядком. Коли потребуется, он и разбудит всех, поведет куда надо. А ведь давно не мужик и не муж этим кобылам, старый, заезженный мерин, давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы, обрекли на уединенную, бирючью жизнь. Но вот поди ж ты, нет жеребца в табуне — и старый мерин, блюдя какой-то нам неведомый закон или зов природы, взял на себя семейные и отцовские заботы.

Все гуще и плотнее делался туман. Лошади проступали из него — которая головой, которая крупом. Домов совсем не видно стало, только кипы дерев в палисаднике, за травянистой улицей, еще темнели какое-то время, но и они скоро огрузли в серую, густую глубь ночи, в гущу туманов, веющих наутренней, прохладной и промозглой сонной сырью.

И чем ближе было утро, чем беспросветней становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. В Кубене ударил коростель, пытался перескрипеть заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они сюда оттого, что я долго сидел за столом, горел у меня свет, и лошади надеялись, что оттуда, из светлой избы непременно вспомнят о них, выйдут, запрут в уютной и покойной конюшне, да так и не дождались никого; так тут, возле нашего палисадника, сном и сморило.

И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовителей, точнее, любовью конюха сохраненный и все еще работающий табунок деревенских лошадей, что сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни изведал, вот это древнее чудо — спящие лошади среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие

на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные тихим покоем, все — все это древнее, вечное нетленно.

И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села, смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою.

А кругом туман, густой белый туман, и единственный громкий звук в нем — кряканье коростеля, но к утру устал и он, набегался, умолк. Вышарил, наверное, в траве подружку, затаился с нею в мокрых, бело цветущих морковниках. И только соловьи щелкали все азартней и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину вечной песней любви и жизни.

Сергей Багров

РЯБЧИКИ НА ЗАВТРАК

Андрей немного устал: третий час на ногах. На ремне, перекинутом через плечо, — кожаный портфель. В портфеле — электробритва и купленные на скорую руку подарки матери и отцу. В поношенном сером пальто, шляпе с заломленными полями, очках, хмурый Куницын сейчас походил на фельдшера медицинского пункта, который спешит на вызов к больному, боясь опоздать.

В декабре рано приходит вечер. От леса по снежным полям ползет подсиненная тень. Солнце садится в березняк. Небо на закате искрасна-бурое, словно топленное в русской печи молоко. Под небом, дымя голубыми столбами, стоит деревня Захаров Лог.

Минуло семь с половиной лет, как Андрей покинул деревню. Ему повезло. На Урале, куда пригласили его дружки по армейской службе, он устроился в «Леспроект», занимавшийся изысканием нижних складов, дорог и лесных поселков. Казалось, жизнь затолкала его в это учреждение для того, чтобы он до конца своих дней продвигался по службе. Да и худо ли? Был таскальщиком рейки — стал инженером. И это не предел. На душе у него было размягченно и спокойно, как у всякого, кто заведомо знает, что ждут его впереди приятные перемены. Как вдруг принесли ему это письмо — мятое-перемятое, все в клею и без марки. Понял Андрей — письмо из деревни. Но кто написал? Об этом ни слова не сообщалось. А если и сообщалось, то трудно было установить — до того неряшлив был почерк. Многих слов нельзя было разобрать. Лишь в конце письма удалось прочитать несколько строк, из которых он

узнал, что мать у него «ослабла и остарела, а батя, хотя и здоров, но беспомощен, как дите».

Андрей с тревогой в душе вспоминал родную деревню. И мать свою вспоминал, сидящую у окошка, — улыбчиво-тихую, с сухонькими руками, в которых мелькают железные спицы и недовязанный серый чулок. И отец вспоминался — крупнолицый и рослый, возвращающийся с работы в своей необъятно широкой фуфайке, пахнущей хлебом и табаком. «И все из-за этой учебы, — думал Андрей, — из-за нее не могу к старикам собраться. Шесть лет ухлопал на институт. Стал начальником полевого отряда, выбился, что называется, в люди, а вот родителей — позабыл...»

Сердце Андрея заныло: так далеко он от дома и отпуск использован целиком, а до другого отпуска ждать чуть ли не год. «А отпроситься за свой счет? Хотя бы дней на десяток?!» — Приободрился Куницын и в этот же день заглянул в кабинет директора института.

Сергей Сергеевич Поликарпов, мужчина в годах, с сединой, рассыпанной, будто соль, по верху волос, сидел за столом с добродушным видом хорошо отдохнувшего человека. Выслушав просьбу Андрея, он сочувственно улыбнулся:

— Не то время, Андрюша, дел непочатый край. Тебе предстоит ехать не к старикам, а в столичный «Гипролестранс». Поглядишь, как работают главные инженеры проектов, поучишься кое-чему.

— Для чего? — удивился Андрей.

— Чтоб готовился к должности главного инженера.

— Нашего института? — не понял Андрей.

— Нашего, — сказал Поликарпов и, нажав кнопку звонка, кивнул открывшей дверь секретарше: — Машенька, будьте добры, устройте Куницыну командировку...

Если бы не письмо, Андрей ехал бы в эту командировку с тщеславной мыслью: не кого-нибудь выделили, а его. Приятно и лестно. Был простой инженер, и вот без пяти минут — главный. А что это значит? А это прежде всего: отдельный с двумя телефонами кабинет, зарплата на сто рублей выше и возможность раз в квартал бывать в больших городах. Но письмо отравляло эту приятность, и Андрей чувствовал только потерянность и вину.

Второй день, как он в пути. Самовольно, минуя Москву, где надлежало остаться, он купил билеты на Вологду, после на Устье и вот теперь уже без билета шел по зимней дороге к Захарову Логу. Шел, успокаивая себя: «Только один вечерок. Только взгляну на родителей — и назад. Утром же и уеду. Командировка от этого не пострадает».

При виде родных посадов Андрей приубавил шаг, улыбнулся, и стало ему как-то славно и безмятежно, как в далеком-далеком детстве, когда не надо заботиться ни о чем и нет тебе никаких неприятностей и волнений. Строгая синева горизонта, сумрак ближних дворов, кисти ягод, свисавшие с веток рябины, все дышало воздухом отчего края.

Не прошел Андрей и сотни шагов, как встал, точно его схватили за плечи. Но сзади не было никого, а впереди, в проулке, он разглядел высокого мужика и низенькую старушку. Старушка шла семенящим шажком и вела за батог мужика, который свободной рукой поддерживал коромысло с двумя деревянными кадцами. Из кадец плескала вода.

Сердце Андрея заныло. Он понял, что здесь, на этой земле, без него, случилось что-то нелепое, страшное, злое, чего поправить уже нельзя. А если ошибается? А если это другие? — вспыхнула было надежда. Но старушка в эту минуту повернула к хоромам с такой знакомой беседкой, с таким знакомым крыльцом. «Мамка моя... А батя-то, батя...»

Андрей стоял, сжимая пальцами доски забора, и слушал, как в зашумевшей голове вставали вопросы: «Что у отца с глазами? Почему не сообщали в письмах?»

Андрей хмуро окинул ряды домов, не узнавая улицу детства. Совсем-совсем она стала другой. И окна в избах не те. И родители, как чужие. И показалось ему, что он никогда здесь и не жил, что ошибся, явившись сюда.

Он зашел на крыльцо, обмел голиком ботинки и, взяв с перил горстку снега, потер виски. Дверь пустила его в тепло. Нестерпимо ярко брызнул включенный свет. Андрей зажмурился и сказал:

— Здравствуйте!

Отец, огромный и неуклюжий, в сто раз латаной

гимнастерке и ватных штанах, тыча воздух руками, сделал к сыну беспомощный шаг, повалив при этом вверх ножками табуретку.

— Андрейко!

И мать бросилась к сыну, маленькая, сухая, обняла его и, блестя глазами, заголосила:

— О-ё-ё, Дрюшенька! А мы-то ждали тебя! Так уж мы ждали! Чуяло сердце: далеко сосна, да веет родному лесу...

Андрей поставил портфель и, раздевшись, повесил пальто рядом с толстой фуфайкой, от которой пахло землей и навозом. Обежал глазами кадцы с водой, стол с зеленой салфеткой, засиженный мухами репродуктор и висевшего на ватных штанах беленького котенка.

— Ну и как живем-поживаем? — спросил, стараясь казаться веселым, хотя где-то под самым горлом стоял тоскливый вопрос: «Неужели отец нисколько не видит?»

— Да по-всякому, Дрюшенька! — ответила мать, кивая седой головой в сторону мужа. — Батьку, воно, на пензию вывели, а я на колхозном дворе, все хожу за телками. По сто да и боле в месяц-то получаем. Живем при деньгах. А ты тамо как? Не женивсе?

Вопрос для Андрея не из приятных. Расстегивая портфель, пробубнил:

— Женился, дак всяко бы написал.

— А пора бы, пора семейкой-то завестись.

— Все в лесу да в лесу, дак и некогда.

Мать улыбнулась:

— Чего в лесе-то, Дрюшенька? Чего делаешь-то там?

— Да все, — ответил Андрей, — я же писал. Просеки прорубаем, съемки всякие, пикета́ж.

Ничего не поняв, но почуяв, что сын при ответственном деле, старая предположила:

— Ишь она! Пикета́ж? Тут небось планови́тую голову надо.

Андрей вынимал из портфеля коробку конфет, полевой бинокль, лакированные черные туфли. Вынимая, задумчиво говорил:

— Учимся, мать. Без учебы нынче высоко не прыгнешь.

— Терпенье надо, — заметил отец.

А мать сложила руки на животе:

— Изломал небось всю голову от ученья. Молоденькой, а плешина на голове.

Андрей, краснея, подумал, что мать, наверное, нечто подобное скажет и про очки, потому их снял и спрятал в карман вельветовой куртки. Но мать, желая узнать все обстоятельно и подробно, спросила:

— Глядельчики-ти носишь давно?

— Нет, нет, — поспешил успокоить ее Андрей, — недавно, совсем, можно сказать, на днях.

— О-ё, Дрюшенька! Ты хоть сколько-нибудь да видишь. А батька-та твой... — Мать поежилась, замигала, и ее рябоватое, в мелких морщинках лицо как-то сразу все остарело. — Не жалослив милушко-бог к нему оказался.

Держа в руке полевой бинокль, Андрей еще ниже склонился над стулом и исподлобья взглянул на отца. Отец стоял, опираясь одной рукой о приступок печи, второй — о выступ полатей. Был он прежним здоровяком — румяноскулый, русоволосый, из-под нависших бровей каменно и спокойно смотрели глаза.

— Чего со зреньем-то, батя? — тихо спросил Андрей.

— Да на работе оставил.

— Хоть немного-то видишь?

— Кабы видел, разве таким бы был вялым?

Рука Андрея выпустила бинокль, и тот стукнулся о сиденье стула.

— Чего это там? — улыбнулся отец.

— Это... Это бинокль. Помнишь, как ты хотел его... Зря, выходит, привез... Думал, за рябчиками походим.

Отец пошарил рукой по подпечью. Нашел батог. Прошел с ним к окну. Посмотрел, будто зрячий, на тускло синевший прилесок.

— А что?! И походим! — сказал с вызовом и бахвальством. — Я мужик ремесло́вый! Для начала сброжу один. Рябко́в жалаешь на завтрак?

— Ну как... — растерялся Андрей.

— А так! Считай, что оне на столе!

Андрей с сомнением покачал головой: «Во-о заливает. С чего это он? Вроде еще не выпил...» Сунув бинокль в портфель, он уселся на лавку и грустно подумал: «Эх, батя, батя... Неужели ничем тебе не помочь?!»

Мать куда-то все убегала. Возвращалась назад с тарелками, кринками, сковородами. Отец топтался возле стола, выставляя из горки стеклянные стопки.

За столом после двух полных стопок Андрей маленько позахмелел. В потеплевшей от водки груди поднималась тихая радость. Он снова взглянул на отца. Минуту назад, изучая его, он испытывал чувство, какое бывает, когда видишь избитых людей. Теперь же он видел в отце обычного рослого мужика, каких часто встречал где-нибудь на повале деревьев или разгрузке барж, спокойно-покладистых, умеющих много работать, непременно с большими руками и всегда с безотказной спиной, на которую можно валить даже то, что бывает ей не под силу. Выпив еще одну стопку, Андрей спросил:

— Что же все-таки у тебя со зреньем?

— Андрюха! Чего об этом и говорить. Случайное дело.

— Случайное, да не больно, — вмешалась мать, — лезешь, куда другие не лезут. Вот и мучайся после тово. О-ё-ё! Была в доме радость. А где-ка ноне она? С батожьем вдоль заборов бродяжит... — В голосе матери слышались отзвуки давнего горя, что однажды вошло в ее душу, да так с тех пор в душе и живет.

Отец тяжело навалился на стол:

— Говорить-то надо с понятьем. Без понятья можно и поднаврать. Я, к примеру, другое скажу. Сам себе на радость никто не живет. Ни худой человек, ни хороший...

Андрей снисходительно улыбнулся. Отец у него все такой же. Раньше все искал правду да справедливость, а теперь еще о радости толкует.

— Я, батя, кажется, с тобой не согласен. Ты сказал: сам себе на радость никто не живет. А разве жизнь у нас не на том стоит, чтобы радость себе создавать?

— Радость зависит не от тебя, — сказал отец убежденно, — от людей зависит она. Вот так-то, Андрейко. Послужи на людей, и они на тебя послужат. Вот в чем радость-то наша. А коли этова нет, дак и радости не бывало.

— А что же тогда бывало? — заспорил Андрей. — Если вот она, вот! Захотел ее — и схватил, и держу, как добычу, и никому-никому не отдам!

— Да какая к прахам это радость?! Это только бли-

зи́р. Бойся, Андрюха, близи́ра. Он многих сбивал с пути. Лучше, Андрейко, служи на людей.

— Мелешь, старый, бог знает чего, — снова вмешалась мать. — Послужи на людей? Ты служил вон на Сана Дианова, вот и живешь теперь доведенный.

Отец отклонился к стене, слегка обиженный и виноватый, на румяном лице улыбка:

— Доведенный — еще не порченный. Как-никак от меня есть и прок. Небось живу не впустую. Колхоз, спасибо ему, заданьем не обделяет. Корзины плести — давай! Грабли делать — пожалуйста! Могу и тяжелое! Летось вон кто для строительства клуба камни из берегу выворачивал? Я выворачивал! Мужики по троенке не могут, а я один! Силой-то я, как конь молодой! И сердце работает — у-ух! Рабо́тное сердце, хоть ставь в самолет заместо мотора.

— А все-таки, что у тебя с глазами? — упрямо спросил Андрей.

— Э-э, чего там! — отец провел рукой по лицу, словно снимая с него румянец. — Дело-то прошлое. Корчевал с Саном Диановым под общественный луг черный лес. Он с бульдозером, а я в помощь ему — где топориком, где просто рукой. Хорошо у нас шло. Только пни на́ сторону летели. А тут возьми у трактора-то с одной стороны отва́л и нарушься. Сано кепкой на пальчике вертит. Приварить, говорит, ничего не стоит, давай поехали в мастерские. Прикатил туда. Нашли сварошный аппарат, защитную маску. А на маске по стеклышку трещинка — тонкая-тонкая, ровно кто обронил катушную нитку. Увидел Сано ее, говорит: «Надо поопастись». Я заругался: «Згузал?! Дай-ко сюда!» Приткнул электродик к железу. Видеть-то должен бы снопик огня, а я заместо него вижу белых зайчишек. Много их, много, и каждый заскакивает в глаза. Пока варил, насобирал их целую голову. Размышляю промежду дел, сейчас-де закончу и всех вас живешенько прогоню. Маску снял. Глянь?! А глаза-то мои не светлый полудень видят, а черную ночь... Вот какое, Андрейко, со мной приключение вышло.

— И давно это было?

— Ну как... Шестой вроде год.

— Шестой? А я-то чего не знал? Чего в письмах-то не писали?

— Э-э, брат. *Худое писать о худом, что батогом* с похмелья по невинному лбу.

— Как это?

— А что расстраивать-то прежде? Не знал — и слава богу. Спокойнее хоть жил.

В груди у Андрея смешались в одно жалость к отцу и страх за него, и стало ему по-мальчишески горько, и он поднялся, растроганный и смущенный. Но в эту секунду отец, почуяв, видно, его волнение, сделал рукой тот коротенький жест, каким предлагают себя послушать.

— Ты, Андрейко, на нас не пеняй. Живем не хуже людей. А кое-кого и получше. Чего другие слепые не могут, то про нас не скажи. На непрожитый-то остаток, даром что нету глаз, а глядим и видим его и даже чуем в нем стариковськую нашу походку...

Отец долго еще говорил, и сын, слушая, проникался к нему сочувствием и заботой. «Как же я завтра уеду? Чем объясню? Что я проездом, в командировке, и домой заглянул по пути? Нет, такое нельзя. Но что же, что же другое?»

Проснулся Андрей с чувством мрачного беспокойства, словно кого-то обманул, и надо это скорее поправить. В закрытое занавеской окно просилось морозное утро. Из кухни плыл запах овсяных блинов. Одеваясь, Андрей прислушался. Никто не ходил, никто не гремел ухватами и чугунами. Лишь где-то над печкой тоскливо пострекивал сверчок. Андрей направился в кухню. Но там не было никого. Мать, наверное, на работе, обряжает телят. А отец? Заглянул Андрей за ситцевый полог, где стояла большая кровать, — но та заправлена одеялом. Посмотрел с приступка на печь — на печи одни валенки да фуфайки.

Андрей накинул отцовский ватник, в котором тут же и утонул, вышел в холодные сени:

— Ба-а-тя?

От крика зашевелилась висевшая под потолком морозная паутина. Открыл дверь на поветь. Удивился: груда новых лопат, грабли в углу, белевшие тут и там косьевища, топорища, две пары обитых лосиной шкурой охотничьих лыж. Как в столярке. Андрей поправил

съезжавшую с плеч фуфайку: «Неужели все батя сделал? Да как это он? Ну, надо ж...» Андрей покачал головой и с видом заботного мужика, которому дали задачу, а он не умеет решить, прошагал на крыльцо.

Утро разгоралось. На снежные огороды уверенно и уютно ложился заревой свет. На охлупнях бань перекликались вороны. Андрей вспомнил вчерашний вопрос. Было в вопросе что-то тревожное, нервное, и решить его надо было сейчас. В чью пользу решить? В пользу родителей или в свою? Андрей сжал пальцы, не замечая, что сжал их вместе со снегом, который лежал на перилах крыльца. Он почувствовал, как сыновье, жившее в нем всегда где-то рядышком с сердцем, стало медленно гаснуть, и он ощутил в себе упорного человека, каким приходилось ему бывать при необходимости. И понял Андрей: оставаться в деревне больше ему нельзя, пора собираться в дорогу.

Он долго еще стоял на крыльце, как вдруг изумился, когда на тропе прогона увидел высокую фигуру отца, который шел, хватаясь одной рукой за шаткие прясла, второй — опираясь о длинный батог. Шел с берестяным пестерем, настолько широкий, настолько большой, что, казалось, тесно было ему меж прясел. Андрей достал носовой платок и протер очки. Но отец продолжал идти, громко скрипя валенками по снегу. Андрей растерянно улыбнулся. Где-то в тихих закрайках души шевельнулось и завставало растроганно-кроткое, молодое, — и вспомнилось то позабытое чувство, которое так волновало его в мальчишках, когда навстречу ему, дыша богатырским здоровьем, шел с лесным гостинцем его синеглазый отец. И сейчас он шел в лохматой бараньей шапке, полушубке с кудрявым воротником, большеногий и большелицый. Андрей, путаясь в рукавах фуфайки, суматошно сбежал с крыльца:

— Батя?! Куда это ты ходил?

Отец снял пестерь и, откинув круглую крышку, вывалил в снег трех рябых, пахнущих хвоей и перьями птиц.

— За лесным мяском. За им самым, Андрейко. Али забыл, чего я тебе сулил?

— Не забыл. Но послушай! Ты бы мог запросто заблудиться?!

— Ну да? — Щеки отца раздвинулись — он снисхо-

дительно улыбался. Кинув рябков в пестерь, махнул рукой в сторону свежего следа: — Прогончик-то эво какой! С него небось не собьесся!

— А в лесу-то, в лесу-то как?

— А тоже не больно мудро. Я ведь далеко-то не хожу. По визире, от елки к елке. Силки-то под ними как раз и ставлю. Ночью поставил, а утром взял. — Голос отца был уютный и теплый, будто грелся он на печи и теперь спускался оттуда. — Погоди, Андрейко. Мы с тобой еще много дел сочиним. И за зайцем в Демьяновский Волок сбродим, и за рыбой на Печельжицу. Поживешь-то ты у нас долго?

Вопрос был ласковый, легкий, но он застал Андрея врасплох. Решенное минуту назад стало казаться невероятным.

Отец ждал, сняв с головы лохматую шапку и обивая ею с валенок снег. Андрей смотрел на него с удивлением и испугом, как смотрят дети на сломленных горем взрослых людей. И понял Андрей, что если он заикнется сейчас о своем отъезде, то этим такую обиду отцу нанесет, от какой и зрячий-то человек оправился бы не скоро.

Обив с валенок снег, отец взвалил на плечо пестерь и, щупая батогом дорогу, прошел к столбяному крыльцу.

— Батя! — окликнул Андрей.

Отец повернулся. В своей лохматой бараньей шапке и полушубке, занявшем почти полкрыльца, он был похож на забытого древнего человека, который, казалось, пришел из ненашего века, желая увидеть нынешний день, но увидеть его не сумел и от этого стал бесконечно печален.

— Батя, — сказал Андрей, приближаясь, — а когда мы за зайцем пойдем в Демьяновский Волок?

— Можно и завтра.

— А за рыбой на Печеньжицу?

— А уж это, сынок, сам решай. Отпуск-от долог ли у тебя?

— Долог,— откликнулся Андрей и помрачнел, вспоминая с досадой командировку, в которую он не уехал, за что и придется теперь отвечать.

Он поправил сползавшую с плеч фуфайку и огляделся по сторонам. Утро нежно сияло. От багрового го-

ризонта, от труб, выпускавших в небо синие сваи дыма, от заваленных снегом дворов наносило холодом и печалью.

— А может, и не придется! — сказал себе вслух Андрей, и сердце его отчаянно застучало, как если бы он совершил поступок, которого от него никто никогда не ждал. И как просто! Андрею виделись на чистом листке разборчивым почерком выведенные слова:

«Прошу уволить меня по собственному...»

Андрей услышал, как на плечо мягко-мягко легла большая ладонь. И почувствовал он себя под этой ладонью каким-то маленьким.

— Не надо, — сказал отец.

Андрей вздрогнул, молчал.

— Чую: обманываешь себя, — объяснил отец, — ведь не в отпуск ты к нам приехал.

Андрей встревоженно улыбнулся, поправил очки, и вдруг в груди у него затомилось и стало расти какое-то благодарное, гордое чувство.

— Насовсем приехал, — сказал он, стараясь, чтоб голос его звучал естественно и спокойно.

— Нет уж, Андрейко. Нам со старухой эдакой жертвы не надо. Спасибо тебе, что приехал на нас поглядеть. И собирайся-ко в путь-дорогу. По голосу слышу: не ты хозяин времени своему. Когда назад-то тебе? Сегодня?

— Сегодня, — сказал Андрей виновато.

— Ты, Андрейко, себя не казни. Не твоя вина, что жизнь тебе выпала городская. Так, видно, написано на роду. А об нас не тужи. Наша жизнь не на нитке висит. Мы еще много тропинок истопчем...

Уходил Андрей с туго набитым портфелем. У колодца остановился. Попрощался со стариками и, закинув портфель на плечо, одиноко направился по дороге. У околицы обернулся и увидел свою одряхлевшую мать, которая шла семенящим шажком и вела за батог отца. Отец ступал осторожно — большой и высокий, с русоволосой взлохмаченной головой, держа в свободной руке долговорсую шапку, которой время от времени гладил себя по лицу. «Плачет!» — дошло до Анд-

рея, и грудь его встрепенулась на горьком щемящем вздохе.

Было морозно. Солнце спряталось в облака. С рябиновой ветки скользнула на землю снежная струйка. Где-то скрипнула дверь. Скрипнула тонко-тонко, словно жалуясь на судьбу.

Вадим Кожевников

ЛИЛАСЬ РЕКА

Я стоял на корме катера рядом с Голубевым, согбенно опираясь о поручни, и смотрел на реку как на чудо. Как на некое радостное живое существо с бесконечно вытянутым, прохладно голубым, глянцевито блестящим прозрачным телом, вольготно возлежавшим в обширных берегах, за пределами которых сплошной громадой возвышались вечнозеленые хвойные таежные дебри.

Можно было думать, что река купалась в этих берегах. И хотелось улыбаться реке. Здесь все завораживало своим величием, своим покоем.

Голубев сказал задиристо, продолжая задумчиво глядеть на грациозно бегущие за ними вслед упругие волны в белых локонах пены:

— Река! Ведь это неописуемо, а мы пишем. — Скорчил брезгливую гримасу и произнес, нарочито шепелявя: — Река, лентообразный поток пресной воды, двигающийся по земной поверхности от возвышенных мест к низменным под влиянием силы тяжести. — Плюнул за борт, заявил: — Все равно, как песку наелся.

— Так это вы, специалисты, так пишете!

— Ну! Ну! Полегче, — сказал, улыбаясь, Голубев,— а то я вас вопросиком унижу, как бы вы сформулировали понятие идеальной жидкости, без чего немыслимы расчеты гидросооружений, для созерцания которых вы сюда и прибыли...

Действительно. Я был потрясен зрелищем строительства очередной величайшей в мире гидроэлектростанции — огромного завода без кровли. Завода, надетого словно железобетонный гигантский хомут на одну из величайших рек в мире. Безмерная, преобразованная в турбинах и генераторах мощь, которая выльется много-

миллионнокиловаттной электроэнергией в тяжкие медные провода, вознесенные ввысь стальными опорами мачт, шагающими по огромному земному пространству, и станет их преобразующей всемогущественной, всетворческой силой. И плотина цвета серого гранита, перегородившая реку, была подобна гладко обтесанному горному хребту, созданному словно мощью самой природы, а не человека. Но создали ее люди, свершив библейское чудо. Своей повелительной силой воздвигнув поперек реки из окаменевшего бетона стену размером с горный хребет.

Но ни у кого из этих людей не было освещено за это деяние чело самосветящимся божественным нимбом. Люди работали, а когда человек работает, лицо его обретает отчужденное, сосредоточенно озабоченное выражение. И мысли их были обращены не к тому, что они уже свершили, а к тому, что еще предстоит сделать, и у каждого из них было свое дело, и из совокупности сделанного всеми вырастало это величайшее в мире сооружение, вслед за которым намечалось строить еще более величайшее, и многие из них, завершив работы по своей специальности, перекочевывали на этот новый объект, еще более величественное сооружение, где уже закладывался нулевой цикл, который можно воспринимать всегда как первый день сотворения нового мира на земле.

Словом, созерцать все это мне была предоставлена полная возможность. Но на журналистские опросы люди соглашались весьма неохотно. Говорили:

— Передовики? Вот, пожалуйста, на доске Почета! Посмотрите подшивку многотиражки, там все толково про достижения напечатано. Отстающие, конечно, есть, освещаются ежедневно в листовках «Комсомольским прожектором», как и прогульщики, нарушители технологической и вообще дисциплины. Но вот что самое у нас интересное. Побеседуйте с бригадами, которые перешли на единый наряд. — При такой рекомендации лицо человека обретало воодушевление и гордость. — Единый наряд, надо вам прямо сказать, не только коммунистическую сознательность воспитывает, но уже дал эффект роста производительности труда, сплочение коллектива, взаимоответственность...

И здесь мне снова довелось переживать то же самое,

что я пережил, побывав на моторостроительном заводе, видя на стендах двигатели, в малых габаритах которых размещены такие мощности, что ими смещаются обыденные понятия — времени, пространства, движения. И если взять в руку детали этих механизмов, то по сравнению с ними самые изысканные ювелирные изделия выглядят как грубая слесарная работа.

Но этим деталям назначено выдерживать чудовищные вулканические напряжения, такие же температуры и после тысяч часов работы выглядеть как новенькие. И когда я держал некоторые из них в руке, легкие, как рыбья кость, и столь же дивно прихотливой и совершенной формы, которая сотворяется только самой природой живого организма, я испытывал изумление перед гением человеческого творчества, воплощенным в этих изделиях.

И я был весь во власти этого ощущения — чуда труда человека. Но разговора, как творится это чудо, у меня на заводе не получилось. Собственно, этот разговор был, но велся он совсем в ином плане.

Мне с увлечением рассказывали о том, что внес нового в заводской коллектив метод работы бригад по единому наряду, как это высветлило духовные, нравственные, творческие качества людей, что именно с такими качествами можно смело идти сквозь проходную нашего времени прямо в коммунизм. И доказывали правоту своих прозрений цифрами и фактами достигнутых многомерных показателей.

Ну что же, значит, наступило такое время, когда изделия, сотворенные человеком, являются прямой овеществленной силой его знания, духа, убеждений. И без постижения самого создателя предмета вряд ли следует восхищаться одной технологией, потребной на то, чтобы такой предмет сработать, как бы он ни был удивителен сам по себе. Но, между нами говоря, изобрести литератору образ человека гораздо легче, чем открыть его во всей его полноте, чтобы он и вобрал в себя самое характерное, что столь необычайно отличает нашего обыкновенного человека от людей всех иных времен.

Я знал, что среди знаменитых гидростроителей Голубев пользовался большим уважением, хотя сам он никогда не возглавлял ни одной стройки, но, будучи видным специалистом по проблемам гидродинамики,

принимал участие в разработке проектов уже многих гидростанций.

Это был человек крупного телосложения, с большим, открытым, несколько костистым лицом и светло-серыми, частенько насмешливо прищуренными глазами. О себе он сказал:

— Я, собственно, нахожусь здесь довольно-таки в двусмысленном положении — считаюсь перебежчиком. — И пояснил: — Поскольку методами гидродинамики можно исследовать также движение газов, если скорость этого движения значительно меньше скорости звука в рассматриваемом газе. Но при скорости движения газа, близкой к скорости звука или превышающей ее, начинает играть заметную роль сжимаемость газа, и тогда методы гидродинамики уже неприменимы. Такое движение газа исследуется в газовой динамике. Так вот, я увлекся теперь изучением не жидкостей, а газов. Пониме? Ну, словом, с земных дел подался в небесные. Участвую в создании авиадвигателей, наделенных способностью в три эм. Не разумеете? Тогда вот: лайнер, на котором вы изволили сюда прибыть,— это самоходная баржа по сравнению с тем, что является предметом, ради которого я и оказался, по мнению моих коллег, изменником. — Он расправил плечи, мечтательно и добродушно улыбнулся и сказал: — Но, признаться, я все-таки на всю жизнь влюбился в наши сибирские реки и покинуть их не могу в силу особой привязанности. Поэтому связи мои с гидростроителями остаются в силе.

Привязанность к рекам сибирским! Я тоже сам это испытывал. Нет на земле рек похожих. И каждая бесконечно изменчива в своем облике, ибо она источник жизни и живет своей жизнью.

Могущество Сибири можно обозначать могуществом ее рек с их бесчисленными ветвями притоков.

Лесные богатства Сибири, питаемые ее реками, — это ее зеленый океан с вечнозелеными нетленными хвойными громадами, казалось, подпирающими своими вершинами плотные слои небесного пространства — бессмертные хранилища драгоценной чистоты воздушной среды. Если б не полноводье сибирских рек, плавучий панцирь Арктики оковал бы замертво, навечно, необъятно и гибельно для всего живого материк. Реки

Сибири своими мощными водами атакуют льды Арктики, сокрушают их и теплом своим защищают материк от ледового плена.

Водные сокровища Сибири в их истинной, всевозрастающей для жизни планеты ценности еще полностью не постигнуты, не оценены достойно. Они творят жизнь, исполнены всесильной энергии жизни.

Реки Сибири проложили человеческой отваге пути сквозь недоступные пространства и своей силой внушали человеку веру в свои силы одолевать неодолимое.

В эти дни проходило совещание в штабе строительства гидростанции, на которое прибыли из Москвы ученые, представители министерств и ведомств. Эти совещания были подобны совещанию в штабе фронта. Докладчику предоставили десять минут, оппонентам от трех до пяти. Решения выносились тут же, и те, кто должен их выполнить, незамедлительно покидали совещание. Изредка Голубев подавал, озабоченно сощурившись, реплики. Но, очевидно, содержание их было столь значительно, что они мгновенно становились объектом обсуждения. Здесь никого не убеждали. В ходу были только аргументы предельно сжатые, как формулы уравнений для решения сложнейших задач с многими неизвестными. Если выступающий говорил более пяти минут, председательствующий прерывал его, но не за нарушение регламента, а за нечеткость, расплывчатость вносимого предложения или ответа на предложение. Да, здесь каждое слово было весомо, энергично и бездельные слова отвергались. И я завидовал умению этих людей в нескольких словах изложить самое существенное, главное. Как в действующем механизме не может быть лишних деталей, так и в их выступлениях не было лишних, нерабочих слов. И когда совещание кончилось, ко мне подошел Голубев с изможденным и даже похудевшим за эти дни лицом и сказал, отдуваясь:

— Ну, прогнали испытания по всем параметрам с полной нагрузкой.

— Турбины? — спросил я.

— До турбин дело еще не дошло, — снисходительно улыбнулся Голубев, — их еще монтируют. Друг друга в упор проверяли, кто, как, на что годен. Некоторых даже в обязанностях перемонтировали. Из руководителей

перевели в руководимые в связи с малым запасом прочности знаний и слабым умением ими пользоваться. — Он потянулся и вдруг заявил с воодушевлением: — А что, если нам с вами взять и мотануться по реке? Мне — для обмысливания кое-каких возникших чисто технологических проблем, вам — для созерцания прекрасного.

Я охотно согласился, тем более что после беседы с бригадиром комплексной бригады Евгением Ивановичем Сазоновым мне самому надо было кое-что осмыслить.

Мы сидели с Сазоновым на бетонноскальном гребне плотины, оттуда, с ее авиавысоты, открывалась панорама всей стройки, весь ее рабочий фронт, и башенные краны возвышались над нами, простирая в поднебесье свои долгие стрелы с еле зримыми нитями тросов с подвешенными к ним немыслимыми стальными тяжестями, которые, казалось обретая летучие свойства, поднимались ввысь сами по себе.

Стройка с этой высоты выглядела как плацдарм, на котором действуют части и подразделения мотомеханизированной армии. Люди были в машинах, и машины эти казались дистанционно управляемыми, подчиняясь целеустремленной, организующей их работу и движение единой и мудрой воле.

Сазонов, морщинистый, худенький, седоватый, но с моложавыми голубыми озабоченными глазами, в чистенькой, узковатой даже для его комплекции спецовке, опоясанной широким толстым брезентовым поясом верхолаза с прикрепленными стальными петлями и с такой же тяжеловесной стальной пряжкой, вначале все беспокойно озирался на оставленный им участок работ его бригады. Но потом, как бы смирившись, опустил глаза, пожевал губы и спросил:

— Вас как интересует, для себя или для газеты?

— И то и другое.

— Если для печати, так про нас много написано, даже больше и ни к чему.

— Это почему же?

— Да так, показатели наши — вон они. — Сазонов кивнул на доску, где были выписаны показатели его комплексной бригады на сегодняшний день, который,

опережая самое время, фактически мог быть отнесен к восьмидесятому году.

— Ну, давайте тогда просто так, про жизнь.

— Так она у меня длинна, всего не упомнишь.

— Воевали?

— А как же, как и все. У меня братьев семь, всей толпой нам не удалось. По очереди на фронт уходили. Отец у меня богатый на детей. Еще две сестры тоже на фронт сбежали в санинструкторши. Вернулся с войны, от братьев одни портреты остались. И извещения. Но семейство у нас, как было, в полном составе.

— То есть как это?

— А так, как похоронку родители получат, так сразу из детдома себе в усыновление брали ребятишек. Ну, я женился, от себя еще двоих девчушек добавил. Сестры на фронте себе женихов нашли, те их и увезли по разным городам.

— Так ведь трудно было такую кучу воспитывать?

— Завод помогал. Родители привыкли к тому, чтобы в доме всегда суета была. А без нее какая жизнь? Нету жизни. На заводе отец с людьми и дома — тоже. Отец бригадой в мартеновском командовал, ну и дома такой же, но только малолетней. Опыт имел: нас вырастил в людей, ну и приемышей такой же манерой выращивал, как и нас. На принципе самообслуживания и полного друг к дружке доверия и уважения. Ребятишки приемные, братишки мои, конечно, горькой судьбы, сироты войны, из эвакуированных. Самый младший, так он после фашистского концлагеря, у него там кровь брали. Специальный бункер для малолетних имелся для снабжения кровью фашистов на фронте. Слабый очень парнишечка был. Ну, мы его всем гуртом выходили. Теперь на заводе в начальника цеха вырос. А я вот в гидростроители подался. Отец еще в девятьсот пятом баррикады строил, а я, значит, плотины для социализма. — Усмехнулся. — Если вас про единый наряд интересует, так я вам так объясню. Маркс, к примеру, на сюртук ссылался, а я, допустим, на пиджак, вроде как на вас. Если рассуждать по сдельщине, то для шитья пиджака — у каждого своя специальность. Каждый за свою работу получает отдельно, сколько сработал, столько и заработал. Но если кто брак сдал? Пиджак получился уцененный. Факт? Факт! Кто страдает?

И потребитель и производство. За такой пиджак ни материального, ни морального стимула никому не будет. А единый наряд, коротко говоря, по готовой продукции всем оплата за работу с прибавкой на квалификацию, и качество, и количество. Значит, все мы не только каждый за себя, а каждый за всех, при этом с общего котла на всех больше получается, потому что каждый в каждом заинтересован, каждый каждого подтягивает, обучает. Как наряд закрываем, на совете бригады все обсуждают: кто как работал, кто получше, тем добавка, кто похуже — снимаем часть с получки. Все по совести решаем и вознаграждаем коллективом публично при всех, сколько кому причитается.

— Но ведь не все у вас добросовестно работают?

— Ясно,— сказал Сазонов.— Не без этого. Но от многоглазого коллектива не скроешься — все рядом, все заметно. Рабочая совесть — она лучше всякого ОТК. Она ОТК, только непрерывного действия и воздействия.

— Но ведь бывают прогулы, отклонение от норм поведения...

— У каждого сбой может быть. Обсуждаем. Кроме того, книгу записи имеем. Книгу рабочей совести. В ней обязан при таких случаях человек собственноручно описать и объяснить свой проступок.

— А если не захочет?

— Убеждаем.

— А если не убедите?

— Значит, он бригадный устав не признает, тогда его и бригада не признает за своего товарища по работе.

— Тогда уходят?

— Уходили, а потом возвращались, просились обратно. Потому что по единому наряду и выгодней работать и по-человечески приятней.

— А если у кого квалификация недостаточная?

— Тогда наша вина — мы же лично в каждом заинтересованы, чтобы каждый у нас свою квалификацию высил и даже несколькими профессиями овладевал, чтобы простоев оборудования не было. Словом, получается такая картина, как, скажем, дома в дружной семье, все друг про друга все знают, все друг за друга беспокоятся, все друг за друга в ответе, и все друг за друга держатся. Кроме того, имеется совет бригадиров. Ну это уже большая сила. Не посоветовавшись с советом, решения не

принимают. Получается вроде как наша бригадирская Советская власть по всему плацдарму стройки. Ну и, конечно, всего того, что жизни людей касается, их достоинства, престижа, благополучия. И вполне понятно, уж кто-кто, а мы, бригадиры, соображаем заинтересованно, в смысле того, что касается организации производства, техники ее использования. Механизации, рационализации и всего прочего, от чего производительность нашего труда зависит.— Сазонов вздохнул, осведомился: — Ну что? Может, хватит? Это я вам только, конечно, попросту и на скорую руку. Вообще-то еще всяких коллизий хватает. Одно — каким человек должен быть, другое — какой он есть. И всегда, каким он должен быть, останется для нас всех целью жизни, для всех, кто при нас живет и после нас жить будет.— И Сазонов снова стал беспокойно озираться на тот участок, где работали его люди.

— Но, очевидно, такая атмосфера сложилась в вашей бригаде благодаря влиянию и лично вашему.

— А при чем здесь я? — удивился Сазонов.— Такое движение по всей стране пошло, зачали его машиностроители, а мы подхватили. А мне лично, что ж...— Сазонов задумался, потом, помедлив, сказал: — Вот говорим мы: коммунистический труд! А он должен не только производительность поднимать, но и человека. Я вас нудить нашими цифровыми показателями не стану, но вот люди у нас в бригаде срослись, это цифрами не докажешь. Ну а чем? А вот, к примеру, приходят на работу в положенное время, а уходят позже. Смену отработают, а сидят, не расстаются, разговаривают каждый о своем, а всем интересно. Не сразу, значит, домой тянет. С моей точки зрения, это большой человеческий показатель, хоть его ни в какую графу и не впишешь...— Посмотрел рассеянно в бездну котлована, сказал: — Вот на фронте мы сильно солдатской дружбой сроднились, идешь в бой, знаешь, пока кто живой — выручит до самой своей смерти, а выручит, так то высшая мерка надежности в человеке за человека,— взглянул на меня уже пытливо, произнес настороженно: — Я это к чему. Конечно, тут не то же самое. Но если люди друг другом так заинтересованы — значит, коллектив. Значит, бригада общим делом дышит.

— Я вас понял...

— Ну, вот! — обрадовался Сазонов.— Значит, существо учуяли. А все остальное поглядите в подшивке газетной, там все: и цифры, и факты, и выкладки, как и что у нас получается в смысле всех причитающихся с нас показателей...— Поднялся, кивнул на прощание и полез ввысь по арматурному сплетению, туда, где с опущенными забралами на лицах ютились сварщики и перед каждым из них трепетало бело-звездное свечение.

Я перешел к противоположному краю плотины, к той стороне, где уже натекало из реки будущее море.

Отсюда хорошо была видна просека в тайге, подобная бесконечному ущелью, на дне которого стояли опорные мачты с многовесными гирляндами изоляторов и тяжко обвисшими кабелями высокого напряжения. Это по ним теперь потечет превращенная исполинская энергия могучей реки, работая на всю страну. Я стоял на вершине каменного гигантского монолита плотины, словно изваянного из серого гранита, возведенного волшебным трудом человека. И мысленно перед моим взором вставало видение солдатского окопа в разрывах огня, стали, где, учащенно дыша, люди выжидали сигнала к атаке. Подняться из этого окопа было равно тому, чтобы выйти на расстрел. А они поднимались и шли. Шли и побеждали. И снова окапывались на следующем плацдарме, и снова, учащенно дыша, выжидали сигнала к атаке, и снова бой — во имя людей, за человека, каким он должен быть и какой он есть, такой обычный и столь необыкновенный, наш советский человек.

Широко и просторно плыла река, вольготно раскинувшись в своей сверкающей красоте. И когда на обрывистом берегу вырастали изломанные башни утесов, они походили на угрюмых стражей, которые караулят реку, чтобы она от них никуда не убежала и никто не похитил ее.

Река лилась под небом, укрытая небом, и по ней плыли белые пушистые облака. Потом ее стали тискать каменные, скалистые берега. И здесь она помчалась водяной лавиной.

Холодные чистые воды ее были столь прозрачны, что казалось, мы невесомо парим в ущелье, дно которого

выстлано свежевымытой блещущей галькой и глыбами камня, бородато поросшими водорослями, шевелящимися словно от дуновения ветра. Парим. Парим, увлекаемые не водным, а воздушным течением, будто на планере.

Отвесные слоистые стены ущелья отражались зыбко своими мрачными тенями и выглядели на воде, словно призрачные скалистые ее подводные гряды.

Там, где на дне реки покоились огромные обломки стен ущелья, река бесновалась над ними, тужась смести их со своего пути, вздуваясь упругими буграми водяных мышц, хрипя и рыча разъяренно над этими препятствиями, упорно крутя вокруг них свивающиеся в водовороты свои струи, напряженные, как туго натянутые нейлоновые тросы.

Река мчала нас. И я испытывал состояние невесомости, какое испытывает каждый из нас — во сне, в детстве.

Голубев обернулся ко мне и сказал:

— Ну что, здорово я угощаю вас рекой. Вот пожить бы при ней бакенщиком. А нам на земле тесно, в космос лезем. Кстати, при ее же собственном содействии.

— А при чем здесь река?

— При том, что для получения сверхлегких, сверхпрочных и сверхчистых сплавов потребны и колоссальные энергетические источники, питающие сверхмощные агрегаты, где почти при плазменных температурах выплавляются искомые материалы для одоления пространства со сверхзвуковыми скоростями в условиях обычного авиационного обитания с соблюдением правил при состоянии невесомости.

— И что при вашей новой инженерной специальности лишает вас возможности смотреть на реку не просто как на реку, а лишь как на некий электроэнергетический источник.

— Ну, это вы зря,— усмехнулся Голубев,— специальность человека не обесчеловечивает, как бы он ей ни был предан. А с этой рекой меня многое связывает.

— Вы что, сибиряк?

— В сущности, да. Но прибыл я сюда, если хотите знать, в годы войны. В теплушке с эвакуированными ребятишками, хилый, слабый, заикался. Все мы были полудохликами, многие во время бомбежки раненные. Меня, например, довольно основательно порезало вышибленным взрывом оконным стеклом. Порезы зажива-

ли плохо, лежал забинтованный. Почти не спал, плакал. Как все мы, о родителях. И была с нами тоже наша ленинградская, даже с одного дома, где я проживал, тоже сильно стеклом порезанная девчушечка, белобрысенькая, худенькая, скелетик. Но если многие из нас от слабости, от переживаний были уже как бы безнадежными и ко всему от этого равнодушными, то в этой девчушечке, хотя, когда она засыпала, нянька всегда пугалась, принимая ее уже за покойницу, было столько воли к жизни! И даже не к своей жизни, а за нашу тревога: бывало, сползет с постели, вся в прилипших к телу бинтах, обходит койки и каждого трогает, спрашивает: «Ты живой?» И требует: «Ты смотри, живи теперь обязательно, раз всех кормят так, что даже все не влезает».

Ели мы действительно помногу и хищно, не испытывая вкуса пищи, торопливо ее глотали, и локти на столе вокруг миски широко, защитно расставляли, все боялись, что отнимут.— Голубев закурил жадно, продолжал неохотно, скорбно, словно заново переживая пережитое: — Ну, детьми в том понимании, какое у нас теперь существует, мы уже не были, что, конечно, трудно было понять и постичь нашим сердобольным воспитателям. Какие нам игрушки для развлечения ни придумывали — все зря. Способность к детскому воображению у нас отсутствовала. Хлопнет сильно дверь — мы под стол. Как рекомендовалось во время бомбежки. Если кто из наших ребятишек умирал, относились к этому спокойно. К покойникам мы привыкли еще дома. Возможно, я тогда самым дохлым был и по ночам больше других бессонно от тоски хныкал. Только девчушка эта, Нина ее звали, повадилась ночью ко мне под одеяло забираться, лежит, прижимается и шепчет сухими губами, прислонясь к уху, чтобы других не беспокоить. Сердито шептала, настойчиво: «Мы тут подъедим, поправимся, а потом с тобой на фронт убежим и будем убивать фашистов, украдем ножики из столовой и будем их резать, и за папу, и за маму убивать будем, и за ребят с нашего двора, которых в бомбоубежище завалило. Но для этого надо сильно наесться, поздороветь, чтобы в ходячие попасть, и всех обманем и убежим».

И всегда она, каждый раз заново, придумывала, как легче в вагон пробраться, сколько еды надо на обратный

путь запасти и какое время нам понадобится, чтобы отъесться получше и сильнее от этого стать.

Однажды воспитательница застала нас с ней спящими в одной койке. Ну, понятно, как воспитательница на такое реагировала. Но Нина заявила ей с достоинством: «Ну и что такого, раз мы с ним с одного двора?» Выслушав возмущенные и негодующие упреки, сказала сердито: «Ничего вы не понимаете! Когда вся квартира во льду, кто будет спать в одиночку, тот застынет насмерть. Всегда у нас из разных квартир непомерших ребят собирали и всегда в одну кровать укладывали и со всех квартир одеялами накрывали. А кто в одиночку, те помирали».— Голубев смял в руке окурок и, не решаясь бросить его в реку, подавленно произнес: — Вот этот скелетик, Ниночка, меня, можно сказать, к жизни вернула,— девочка с нашего двора и дома, которого уже не было.

И, видимо желая переменить тему разговора, осведомился:

— Ну, какое на вас произвел впечатление Евгений Иванович Сазонов? Вы же с ним беседовали...— Выслушав, снова как обычно с чуть насмешливой улыбкой пошевелил губами.— А ведь это, можно сказать, мой брат. Его отец Иван Филиппович забрал меня из детдома и усыновил, как он заявил, взамен своего сына, павшего на поле брани. Женя, его младший, вернулся с фронта покалеченным и сразу в цех... Вот, знаете, есть люди как бы с прирожденно развитой духовной культурой, высокой человеческой чуткостью — так вот это семья Сазоновых; горе, постигавшее их не однажды, они переживали каждый в себе, безмолвно, ради друг друга. Я не знаю, насколько применимо слово «деликатность», но в высшем смысле его это было проявлением ее самым самоотверженным.

Когда я прибыл в их семью, меня никто ни о чем не расспрашивал. Я вошел в жизнь этой семьи так, что сам не заметил — это произошло столь естественно и обычно, будто иначе и не могло быть.

И единодушие этого семейства исходило от отца. Сильного, крепкого, всегда пахнущего окалиной и с пожизненно загоревшим от жара мартенов лицом. Со всеми он разговаривал одинаково деловито, без снисхождения к возрасту, как равный с равным. Ни от кого из нас,

ребят, не требовал соучастия по домашним заботам, но если кто из нас проявлял самостоятельность, это подробно обсуждалось за столом с таким же уважением, с каким Иван Филиппович рассказывал о своей работе в цехе. Нас не приучали к труду, нас вовлекали в труд, потому что главное, что почиталось в семье,— это способности человека, выказываемые в труде.

Вопреки обычаю фотографии павших на фронте сыновей Сазонова были без траурных рамок, без букетиков бессмертников.

Сидя за столом, Иван Филиппович часто оборачивался к фотографии того или другого сына и говорил о нем как о живом, с гордостью.

— Василий в плечах узковат и долговяз для прокатчика. Но кто его разворотливей? Никто! Он полосу, как в цирке шелковую ленточку, обернет с ходу — и в калибр; не успеет уйти полоса, а он другую таким же манером; двумя-тремя клещами работал: пока двое клещей в кадке с водой остывают, он третьими клещами полосы мотает; а стан двухсотпятидесяти, на нем мужики работали — шея не менее сорок шестого размера, и те на лавку после десяти минут, сырые от пота, валились, а Вася все как играет, инерцию понимал, ею пользовался умно, работал с расчетом, осмысленно. Я вот помню полосу в валках заело, и стало ее корчить, бросать из стороны в сторону. Так все разбежались, а Вася один на один ее как гадюку клещами зажал и натягивает, чтобы кого ею не покалечило. Надо думать, на фронте он так же надежен — по рабоче-солдатски.

А Миша на заводе механиком был, так и на фронт ушел механиком-водителем. Вот он любую машину понимал, как все равно человек человека. Большой любитель техники. Уж чего-чего, а его танк пропрет через любое препятствие, потому что двигатель всегда ухоженный.

И Голубев, как бы очнувшись от этих воспоминаний, сказал совсем иным тоном, ему только свойственным:

— Что касается младшего сына Сазонова, Евгения Ивановича,— с ним вы познакомились. Это человек удивительной открытости, чем он и привлекает к себе людей. И я бы от себя добавил — увлеченностью людьми. После окончания школы я хотел идти на завод к отцу...— Голубев поперхнулся,— к Филиппу Ивановичу. Но на семей-

ном совете постановили, чтобы я поступил в политехнический. Филипп Иванович категорически заявил: — Если ты когда в Ленинград захочешь, так как же мы тебя отпустим без высшего? Такой город знаменитый, а мы, выходит, тебя у нас до полного ума не довели. Нет уж, выучись на всю полную катушку, тогда и вали...— Голубев смолк и погрузился в созерцание реки.

А река все текла и текла, бесконечно преображаясь по мере того, как изменялись ее берега. Цвет неба, солнечные отсветы, которые блистали на ее поверхности — все это словно ее одеяние. И по реке разбегались длинные гибкие волны, будто сверкающие складки ее одеяния, и когда солнце стало близиться к заходу, река порозовела, но у берегов воды ее обрели пасмурный оттенок, и только на стремнине она самоцветно блистала еще, пропитанная насквозь светом и от этого глубинно-прозрачная.

— А что Нина? — спросил я.

— Нина? — переспросил Голубев, потупился, сказал глухо: — Думаю, завтра к утру мы будем проходить таежный распадок, который, собственно, сейчас не таежный распадок, а один из крупнейших рудников по добыче руд весьма редких и весьма ценных.

— Ну и что?

— А то,— почему-то раздражаясь, сказал Голубев,— когда я, будучи студентом, отправился сюда, в этот распадок, в качестве коллектора, то здесь я и встретил Нину в составе самодеятельного геологического отряда, который она, по существу, возглавляла. И, представьте себе, это уже была не скелетик в бинтах и коростах, а весьма привлекательная девушка с ворохом упругих, блещущих, как солома, волос, на обилие которых она всегда сердилась и почти герметически туго обвязывала косынкой. И знаете, на лице у нее остались от порезов стеклом белые шрамики, когда она сердилась, они еще сильнее белели.— И пояснил: — Я это к чему такие роскошные подробности... Вот Стендаль писал, что Рафаэль искал красоту, копируя самые красивые из встретившихся ему женских головок и исправляя их недостатки. По-моему, зря. Симметрия и гармоническое совершенство нужны в технике, но не в живой человеческой природе. Она богаче и многообразней.

— И вы влюбились?

— Мог бы! Но знаете, когда девушка остроумна при всех обстоятельствах от неукротимой в ней живости ума и всегда обуреваема деловой деятельностью, то надо стать ее подчиненным на всю жизнь — или самого себя посадить на цепь. Но вообще обстановка, в которой жил и работал отряд, не способствовала ни тому, ни другому.

Распадок, по дну которого протекал заболоченный родничок, был похож на лесистое ущелье, где в парном воздухе роились, как жгучая копоть, гнус, комариные тучи, слепни, словом, эти летучие хищные твари могли доводить человека до бешенства, до исступления. Все были в болезненных расчесах. А в сетках можно было задохнуться в этой таежной испарине. Мы сначала рубили просеку, затем копали поисковую траншею, и все это от восхода до захода солнца, которого мы не видели в этих всегда сумрачных таежных дебрях. Питались мы рыбой и пресными блинами. Пили чай с хвойной заваркой. Обтрепались, закоптились от костров, дымом которых пытались спасаться от этой жалящей сволочной мелюзги. И вид у нас был леснобандитский. А скорей нищенски жалкий, таких сразу кладут на больничную койку без предварительного осмотра.

А Нина, представьте, величала нас братьями-разбойниками. И когда я, уснув у костра, спалил значительную часть бывших личных брюк, она сказала мне: «А ну повернись, сынко! — и стала хохотать и приговаривать: — Это у тебя не мускулюс максимус, а полный их минимум».— Это так она выразилась о моей оголенной заднице и захотела собственноручно исцелить ожоги подорожником, уверяя, что она знакома со знахарским шарлатанством. А когда я ей сказал, что у нее у самой там, где полагаются у женщины выпуклости, одни впадины, она торжественно объявила: «Это я нарочно, чтобы у нас тут не было торжества моего соблазнительного феминизма, все-таки вы все тут в некотором роде полумужчины».

Мы работали, как каторжники, и нас тошнило от запаха земли в траншее. Придя в исступление от укусов, мы пробовали обмазываться глиной, но это слабо помогало.

Как самодеятельный молодежный геологический отряд, нас снабдили скупо снаряжением, питанием, ра-

бочим инструментом. Кроме того, у профессуры института существовало убеждение, что здесь нет и намека на полезные залегания.

Руководителем отряда был доцент Ивушкин, но он больше занимался рыбалкой или унылым ухаживанием за Ниной, чем нашей работой.

Однажды ночью мы сидели у костра, отдыхая в дыму от гнуса, и Фомичук, прибившийся к нам старатель, изгнанный из артели за лень и невезучесть, мощный мужчина с покатыми, как у медведя, плечами и могучим, как у гладиатора, торсом выпаривал на огне что-то из своего исподнего снаряжения, Нина склонилась к нему и с негой осведомилась:

— Скажите, Фомичук, я вам нравлюсь?

— А что, ничего,— не оборачиваясь произнес Фомичук, не прерывая своего занятия.

— Вы могли бы изменить со мной своей жене?

— А я безбабый,— равнодушно сказал Фомичук.

— Ну тем более, чего проще.

Фомичук оглянулся на Нину, спросил:

— Это к чему такой разговор скоромный?

— А вот Николай Николаевич Ивушкин,— она указала на Ивушкина своим угловатым худым плечом,— считает, что стесняться в наших условиях нам нечего и не для чего. Он говорит, что человек хотя и принципиально новый вид животного, но животное в нем существует, и подавлять животное в себе бессмысленно и даже вредно.

Фомичук нахмурился, спросил неприязненно:

— Так мы от кого по-евонному, от скота или зверя?

— Нина! — срывающимся голосом заявил Ивушкин.— Это что? Провокационный выпад?

— Вот как сейчас Фомичук скажет,— взволнованным голосом произнесла Нина,— так я и поступлю.— Ну, Фомичук, что мне сказать ему? — Нина снова пошевелила плечом.— Да или нет?

Фомичук оглядел Ивушкина внимательно, помедлил, сказал сипло:

— Так ты вот какую канитель здесь разводишь. Барышня вкалывает топором и лопатой, а ты к ней вяжешься. Да знаешь, что ты после этого последняя вошка? — И сказал, обращаясь к Нине, с упреком: — А ты зачем тут фигли-мигли разводила, сказала бы по-

просту — пристает! Ну я бы его прихватил за жабры, к реке отнес и попридержал в воде до захлеба. Остудил. Откачал, но бить бы не стал, зачем же его бить, это нехорошо, неуважительное хулиганство. — Обратившись к Ивушкину, пояснил: — У нас в артели стряпуха на всех одна, но пока с тайги не вернемся, считаем, никому не доступная.

— А когда вернетесь? — спросила Нина.

— Ну, это как кому пофартит,— сказал Фомичук.— У нас на этот счет строгий обычай: пока в тайге, не балуй.

— Ну вот, видите, обычай,— сказала Нина, обращаясь к Ивушкину,— с обычаем следует считаться.— И засмеялась так заразительно и звонко, что даже впервые здесь Фомичук разразился рыком, широко обнажая свои беззубые десны с потерянными от цинги зубами.

— Кстати, когда остатки нашего отряда зазимовали здесь, буквально подыхая от голода, этот Фомичук наладил нам связь с бакенщиком, проживающим на острове с довольно-таки миловидной супругой. Бакенщик основался безвыездно на острове, в силу того, что на фронте его лицо было сильно искалечено, а без людей, его жена, мол, перестала замечать его лицо. Бакенщик никого не пускал к себе на остров, но делился с нами последним. С бакенщиком общался Фомичук. Опытным взглядом бывшего фронтовика разглядев его повреждение, Фомичук, как он нам сказал, заявил ему:

— Ну что ты, чудак, ходишь с такой рожей? Да тебе как фронтовику без очереди и промедления в больнице какую хочешь новую наладят.

Может, это сообщение Фомичука подкупило бакенщика на его самоотверженную щедрость. Ну, словом, с его помощью мы не только выжили, но и добыли в шурфе куски породы с драгоценными вкраплениями.

Нина ослабела, у нее началась цинга, я отвез ее с Фомичуком на остров и оставил на попечение бакенщика, а сам с образцами в мешке пошел пешком вдоль реки в сопровождении Фомичука.

На прощание Нина нам сказала с насмешливой улыбкой на костистом бледном лице:

— Так что ж, ребятки, пионерский наш лагерь закрываем. Робинзонаде конец. А жаль, вы все такие

симпатичные.— И, обращаясь к Фомичуку, сказала нежно: — А вас я просто от души полюбила.

Фомичук промолчал, но потом я слышал, как он строго наказывал бакенщику:

— Кормить ее так, чтобы она с недожеванным куском засыпала. Совсем без тела девка. Умная, смелая, живучая. Но без фигуры, какая у нее судьба, никто за себя взять не пожелает. Понял? На твою ответственность оставляю. Я человек мягкий, ленивый. Но ежели что, потом всю твою избу по бревнышку раскидаю и в реку.

Мне же Нина сказала:

— Ну, вот я снова дистрофичка.— Спросила, зажмурясь: — Ты меня такую помнишь: скелетик в бинтах, как я об тебя грелась?

Вот тут я и решил с ней навсегда, на всю жизнь. Но она поняла и вызывающе гневно сказала:

— А теперь проваливай. Но если трусишь до базы добраться, оставайся. Здесь люди жалостливые, не выгонят приживалу...

И я ушел, кивнув ей только. Мне очень хотелось поцеловать хотя бы ее руку, лежащую, как высохшая ветвь, поверх цветастого одеяла. Вот какие дела были в этом у нас распадке, которого сейчас нет, а есть рудник, построенный на современном высокомеханизированном уровне.

На этом Голубев смолк. Река уже текла под звездным небом, и звезды жили на поверхности реки, трепещущие, как бы только что всплывшие из ее глубин, источающие свет живые существа.

От реки пахло холодом, а от тайги — настоем, душистым, смолистым, теплым и терпким.

Голубев потянулся и сказал:

— Насчет ужина сообразим, пристав где-нибудь к тихой заводи. Предупреждаю, я гурман не столько в пище, сколько в обстановке для ее принятия. Чем ближе к природе, тем яростней аппетит.

— Позвольте, ну а дальше что?

— Дальше? Потом образцы я доставил. Сложили их в экспозицию геологического музея на полку. И больше с геологами не связывался. Но Нина добилась разрешения на экспедицию, выскандалила где-то там, в инстанциях, буровой станок. Через год в эти же инстанции прибыли керны с таким богатым содержанием редкого

металла, что были отпущены средства на оконтуривание рудного тела. Материалы поступили в правительство, правительство приняло решение. А Нина что ж, Нина лауреат, член-кор. и те пе и те де. Между прочим, этот металл нами, инженерами-механиками, используется для изготовления сверхмощных двигателей для сверхскоростных сверхдальних и те пе и те де. Словом, в коловращении естества и река, и горные рудники, и энергетика, и моя новая специальность связаны одним общим узлом.

— А Нина? Ведь вы же ее любили и, очевидно, она вас?

— Возможно, даже более того, я считаю, что проскочил мимо огромной любви со своей стороны, конечно. Поскольку, будучи не чужд сентиментальности и не обладая достаточной силой воли, не решился сказать ей о своей любви. А вернее, боялся с ее стороны какой-нибудь снисходительной шуточки по этому поводу. И не понял, что скрывалось за ее гордостью, недоступностью...

Я с ней встретился не столь давно на одном совещании. Красивая, статная, уже немолодая женщина, с мешочками под глазами. Она сделала блестящий доклад. Я подошел поздравить ее, когда она с достоинством улыбалась всем поздравлявшим ее с успехом. Мы вышли с ней в вестибюль. Она сказала вдруг потерянно, с отчаянием в голосе:

— Ах, какие мы с тобой были дураки, какие дураки! — И отвернулась, и стала копаться в сумочке, очевидно, в поисках платка. И, не найдя его, сказала мне досадливо: — Ах, какой ты! Ну, почему свой не предложишь? Видишь — разнюнилась баба. — Возвращая платок, сказала уже совсем иным тоном: — Ну, как доклад?

И я, глупея, потерянно стал рассуждать о ее докладе так, словно участвую в его обсуждении. И даже сообщил, что оставил гидродинамику и перешел на газовую динамику, и найденные возглавляемой ею экспедицией богатые месторождения редкого металла являются для нас весьма перспективными при проектировании и создании новых сверхмощных двигателей. Она снисходительно слушала, кивала. Потом твердо пожала мне руку и сказала:

— Благодарю за информацию, жалею, что не смогла использовать ее в докладе.— И все...

— И вы не решились?!

— Нет, не решился,— сказал, болезненно морщась, Голубев.— Не решился. Есть чувства, которые превышают обычные представления о любви. Возможно, мы с ней и не в равной степени испытывали нечто подобное друг к другу. Непонятно? Но это так!

Мы причалили к берегу заводи и вышли на тинистый берег, окруженный мрачной таежной чащей. Мы сидели у горящего костра, как на дне шахты, окруженные со всех сторон непроглядной тьмой.

Выплескивая из ведра с ухой тугую, серую пену деревянной ложкой, Голубев говорил оживленно:

— Вот это жизнь! Река! Тайга! Уха! Что может быть лучше?! Но если у человека есть мечта и он даст ей прокиснуть, такого человека, как говорил нам Фомичук, за жабры — и в воду до захлеба, после откачать и по шее.— Наклонившись, он сказал мне доверительно: — Над лопаточками турбин с присадками этого самого металла мы сейчас колдуем, представьте, в сплаве с другими он передает им свои свойства. При удаче сулит величайшую фантастику. Именно фантастику, как инженер вам говорю, именно фа-антастику.— Взяв миски, он пошел их мыть к реке и вдруг позвал меня.

И когда я подошел, я понял, зачем он звал меня.

Взошла полная луна и залила все своим недвижимым сиянием. И река купалась в этом сиянии, плескалась в нем, огромная, прекрасная, сверкающая и, казалось, сама источающая такое же сияние.

— Вот видите! — почему-то обидчиво произнес Голубев.— Ну что это? А начнешь объяснять, ерунда какая-то получается.— Вздохнул.— Так вот и в жизни кое-что бывает, не подчиняется словам — и все.

А река все лилась и лилась, неустанно, хорошея, могучая, просторная и несказуемо прекрасная, полная жизни и удивительная, как сама жизнь.

Владимир Лытов

ТОРБАСА ИЗ НЕРПЫ

Отступая, море обнажило буро-зеленые спины рифов, и, прыгая с одного камня на другой, Глеб ушел шагов на пять — десять от берега. При этом слизь приросших к камням водорослей дважды подводила его. Он соскальзывал в воду и вымок до колена.

...Досадно. Удалось ведь подойти к нерпам очень близко. Тридцать метров! В руках у него было четыре камня, каждый величиной с кулак. Он положил их перед собой и попробовал один на вес. Гладкий камень удобно лежал в ладони, и сердце у Глеба сжалось от предчувствия возможной удачи.

«Только бы они вернулись,— подумал он.— Только бы вернулись!» Это было очень важно для него.

Тридцать метров — хорошая дистанция. С третьего или даже со второго камня можно было попасть нерпе в голову. Там, где переносье. Говорят, что нерпа погибает даже от легкого удара в это место. Там какие-то у нее центры... Первым камнем попасть невозможно, разве если только повезет. Но если бы успеть бросить два камня!

«Жалко, что нет копья»,— подумал Глеб.

С копьем, конечно же, было бы больше шансов. Четыре года назад оно летело у него даже под семьдесят метров. Если бы он не повредил руку, то уже давно мог бы стать мастером. Но на эти проклятые тридцать метров он мог бы бросить копье очень точно. Хоть в переносицу! Он вспомнил, как привычно и удобно ложились пальцы на грубую обмотку. Когда копье было в руках, он чувствовал себя втрое сильнее.

— Жаль, что нет копья,— повторил Глеб вслух. И вдруг невольно представил, как неуклюже бьется нерпа с его копьем в голове. Его нерпа!

Дальше было бы все просто... Шкуру снимают, кажется, как чулок. Это просто...

Он долго смотрел в море, и у него поплыло в глазах. Он сморгнул и переступил с ноги на ногу. Далеко, то тут, то там чернели из воды сразу две головы. Глебу казалось, что нерпы смотрят в его сторону.

«Они не подплывут так близко, потому что видят меня».

В ботинках захлюпала вода. По телу прошел озноб. Азарт охоты стал угасать в нем, и он, наметив место, где ожидал нерпу, со злостью побросал туда один за одним все камни. Последний камень лег точно в цель...

«Все равно я не успел бы бросить четыре камня,— подумал он, вытирая руки о бока куртки.— Надо копье. Это верняк — копье!»

Холодная дрожь не проходила, и он вспомнил о крабах, которые варились на костре там, на берегу. Он оглянулся на берег и удивился, увидев у костра человека.

Банка была снята с костра, и человек, сидевший спиной к Глебу, обжигаясь, выдергивал из нее красные, с белым мясом клешни и расправлялся с ними так, будто это были его собственные крабы.

— Привет! — сказал человек, когда Глеб подошел к костру.— Я вот снял их с огня. Не дай бог, если бы они переварились!

— Здравствуйте,— не ответил, а скорее спросил Глеб, усаживаясь на камень с другой стороны костра. Ему надо было видеть лицо этого человека. Кто он? Зачем пришел к его костру?

— Переваренный краб — это не краб,— сказал человек.— Точно?

— Не знаю,— ответил Глеб.— Я еще никогда не ел крабов. Первый раз... В отливе поймал.

— Да ты что? — удивился человек.— Так бери скорее!

Он взял банку в руки и переставил ее через костер поближе к Глебу. Из банки шел пар, и крабы плавали в кипятке, но человек даже не поморщился, когда взял ее в руки.

— Ты только не обижайся, что я похозяйничал тут. Ведь если бы они переварились, это было бы совсем не то!

Он выхватил из воды огромную клешню и протянул Глебу. Глеб несколько раз перекинул ее в руках, пока не остыла, и принялся добывать мясо. Оно было слегка соленым и упругим, но приятным на вкус. Таким приятным, что Глеб, подобрав около себя отполированную волнами палку, стал одну за другой таскать клешни из банки.

— За кем это ты гонялся с камнями? — спросил человек, насмотревшись, как Глеб неумело и жадно расправляется с крабами.— Не за нерпой ли?

— За нерпой,— ответил Глеб.

— Зря,— сказал человек.— Что она, дура?

— Знаю, что зря! — рассердился Глеб.

Человек заметил это, и больше они не говорили о нерпах. Они сидели и молча уминали крабов, пока банка не опустела.

Глебу очень хотелось узнать, что это за человек пришел к его костру, словно в собственный дом, и, словно в собственном доме, так непринужденно распоряжается едой. Но человек замолчал, и Глеб предусмотрительно не задавал вопросов.

— Ну, спасибо,— сказал человек, отвалившись на спину и заложив руки под голову.

Пока он сидел, Глебу не казался таким большим. Но, растянувшись, оказался здоровым мужиком с красным обветренным лицом, с большими, просто неприлично большими и тоже красными кистями рук. Глебу стало не по себе. Он всегда чувствовал себя неловко перед тем, кто мог оказаться сильнее его. Глеб был сильным, ловким, но человек, хотя бы внешне оказавшийся сильнее его, настораживал. К тому же от незнакомца исходило ощущение какой-то необузданной свободы, дикости и независимости.

— Ты что здесь делаешь? — спросил человек.

— Ловлю крабов! — с вызовом ответил Глеб. Ему было важно не попасть под влияние этого человека. Ему казалось, что отвечать на вопросы — значит потерять часть своей независимости.— А ты? — не сдержался он, спросил.

Человеку было лет сорок на вид, и Глеб не сделал

над собой усилия, обратившись на «ты». Слишком запущенным показался ему этот тип.

— А загораю! — ответил человек весело.— Но ты зря кипятишься. Если не хочешь разговаривать со мной, так и скажи. Я отдохну немного и уйду. Только мне хотелось бы поговорить с тобой. Бывает же так, что хочется поговорить с кем-нибудь по-человечески, а?

— Ладно,— сказал Глеб.— Прости, если обидел.— Он потрогал ботинки — они еще не просохли — и стал натягивать их.— Я изыскатель. Здесь будут строить рабочий поселок, и мы приехали снимать место.

— Как тебя звать? — спросил человек.

— Глеб. А тебя?

— Хром. Фамилия Хромов — вот и Хром.

— А имя?

— Имя есть. Да такое имя, что ты зови меня лучше Хром. Это как имя. Все так зовут.

Он потянулся к мешку, лежавшему на земле рядом с ним, и высыпал оттуда целую горку крабьих ног.

— Принеси-ка водички,— попросил он.— Сварим еще порцию.

Когда Глеб вернулся с водой, костер опять разгорелся. Они устроили банку в самом центре огня и стали ждать, пока закипит вода. С моря тянуло холодом, и Глеб протянул промокшие ноги поближе к пламени. Он сидел лицом к морю и видел черные точки нерпьих голов над волнами.

Вода в банке закипела. Хром сбросил туда крабов и минуты через две вытащил банку из огня.

— Ну вот,— сказал он, дуя на пальцы.— И готово уже.

Они опрокинули банку прямо на плоскую поверхность камня и, обжигаясь, обливаясь водой, которая вытекала из крабов и затекала в рукава, занялись ими.

— Послушай,— сказал вдруг Глеб.— Нельзя ли где-нибудь здесь раздобыть нерпью шкуру?

— Можно, наверное, хотя и трудно сейчас. Строго стало. Да только зачем она тебе? Ничего путного ты из нее все равно не сделаешь, а бросить под ноги...— Хром пожал плечами.— Только зря зверя губить.

— А торбаса? Шьет здесь кто-нибудь торбаса?

— На продажу вряд ли. Себе шьют местные. Да ты что, охотник?

— Нет, мне нужны женские,— сказал Глеб.— В подарок.

Хром перестал жевать и внимательно уставился на Глеба.

— Баба-то красивая? — спросил он.

— Нормальная,— сказал Глеб.— Красивая.

— Жена?

— Нет.

— Торбаса—подарок царский,— протянул Хром.—Не дешевка.

— Она того стоит.— Глеб, поколебавшись, сунул руку за пазуху куртки.— Вот, посмотри, если хочешь.

Хром отбросил в сторону пустую клешню и, вытерев руки о голенища сапог, двумя пальцами взял фотографию. Он долго рассматривал ее, то поднося ближе к глазам, то отводя вытянутую руку в сторону. Глеб ждал, что он скажет.

— Возьмет?

— Что? — не понял Глеб.

— Примет подарок?

Глеб пожал плечами.

— Такая просто так не возьмет,— уверенно сказал Хром, возвращая фотографию.— Я-то знаю.

Глеб с сомнением посмотрел на него.

— Чего смотришь? — усмехнулся Хром.— Я ведь не всегда был таким задрипанным. И в городе жил, да вот сплыл.

— Да нет,— смутился Глеб.— Просто... я пропал, если она не возьмет.

— Человеку легко пропасть,— сказал Хром задумчиво.— Очень легко. Меня вот на этот берег как выбросило? Из-за бабы.

— Из-за бабы?

— Я же тебе говорю, что не всегда был таким замшелым. Интересно жил. А вот обиделся...

— На нее?

— Да на все! И на нее тоже. Ну, да ладно,— поднялся он с земли, большой, тяжелый, забросил на спину мешок.— Все! Наелся, отдохнул — и вперед по шошейке! — Он так и сказал «по шошейке», улыбнувшись глазами.

Глеб тоже поднялся и протянул ему руку.

— Ну-ну,— сказал Хром, не отпуская его пальцев.— Да ты не хиляк!

— Да и ты не хиляк! — улыбнулся Глеб.

Хром захохотал, и Глеб увидел, что у него нет двух зубов впереди. «Шошейка!»

— Ты вот что, заходи от нечего делать. Я теперь здесь сторожем. Барахлишко у геологов караулю.— Он повернулся и пошел прочь.

Шагов через двадцать Хром вдруг обернулся.

— Эй,— крикнул он.— Иди-ка сюда. А ты мне понравился,— сказал он, когда Глеб подошел.— Мы достанем твоей красавице торбаса. Купим. А еще лучше, если ты сам добудешь нерпу.

— У кого? — спросил я.

— У кого? У моря! Вон там.— Хром показал рукой на противоположный берег бухты.— Добудем шкуру и обменяем ее на торбаса. Немного приплатишь — и бабенка твоя только ахнет.

У Глеба разгорелись глаза.

— И ведь это будут не торбаса, что пошел да купил! — с выражением продолжал Хром.— Эти она возьмет! Эти ты сам добудешь!

— Да нет, все равно их сошьют не из этой шкуры,— сказал Глеб.

— Но ведь ты добудешь нерпу! Так и скажи ей, что они из твоей нерпы. Потом и сам в это поверишь, и не будет никакого обмана.

— Хорошо,— сказал Глеб.— Если ты меня возьмешь, я поеду. Только скажи, где тебя найти.

— Я сам тебя найду. Тут я все знаю. Только ты подумай. Если не хочешь, так и скажи!

— Я хочу!

— Тогда жди,— сказал Хром.

— Но ведь ты говорил, что нельзя убивать нерпу. Строго...

— Твоя бабенка стоит риска. Стоит ведь? А потом ты же сказал, что пропадешь, если не добудешь ей нерпу. Любовь, если это она самая, стоит риска. Так ведь? Вот и рискни.

Через два часа они были уже на пути к тому месту, где, по словам Хрома, была спрятана лодка. Она стояла на якоре, но цепь была длинной, и лодку немного отнес-

ло, так что Хрому — он был в болотных сапогах — пришлось подтянуть ее к камням, и Глеб неловко прыгнул в нее.

— Тише ты! — прикрикнул Хром.— Дно проломишь!

Он приподнял брезент, лежавший на дне лодки, и бросил из-под него Глебу брезентовую куртку с меховым воротником и резиновые сапоги.

— Натяни это, а то в своих корках дуба дашь. Здесь не Черное море — Охотское,— сказал он.— Лодка течет, так что иногда придется поработать.

Глеб с удовольствием скинул мокрые ботинки и, намотав портянки, сунул ноги в холодные, но сухие сапоги.

— Куртка тоже тебе! — сказал Хром.

Пока Глеб натягивал куртку, Хром отгреб веслом подальше от камней и запустил мотор. Лодка неторопливо пошла от берега, и сразу стало холоднее. Глеб плотнее натянул куртку, поднял воротник. Хром сидел сзади и ловко правил лодкой. Лишь однажды он подставил ее под волну, и Глеба с ног до головы окатило солеными брызгами. Хром чертыхнулся и велел Глебу вычерпывать воду.

— Слушай! — крикнул Глеб.— А куда мы едем? Разве нельзя было там?

— Нет! — ответил Хром.— Мы же без лицензии!

— Значит, мы — браконьеры?

— Ты смотри-ка! Он только об этом узнал!

— Вдруг поймают?

— Может быть, и поймают. Но ты же знаешь, из-за чего идешь на страдания?

— А ты?

— Я? — нахмурился Хром.— Мне бы раньше, еще давно, надо было кое-чем рискнуть. Понял? Не дрейфь! Риск — благородное дело, если, конечно, из благородных побуждений...

Часа полтора лодка шла к месту, на которое Хром показал Глебу утром. Лодку они поставили у самого берега, развернув носом в море. Хром опять приподнял брезент и достал оттуда винтовку и коробку с патронами. Горсть патронов он всыпал в карман, остальные сунул обратно под брезент. Потом они облюбовали себе группу камней неподалеку от лодки и залегли. Хром зарядил «тозовку» и устроил ее на камне.

— Все,— сказал он.— Теперь только ждать.

Глеба лихорадило, и он ничего не мог поделать с этим. Когда он только начинал выступать на соревнованиях, его точно так же лихорадило, пока не наступила его попытка. Копье снимало дрожь. Потом он заметил, что выступает удачнее, если его трясет перед стартом.

Хром, в надвинутом на глаза берете, лежал рядом и не сводил с моря глаз. Нерп было много, но очень далеко от берега. Он знал, что придется терпеливо ждать, пока они успокоятся после шума моторки.

— Куртку-то заправь под себя,— сказал он вдруг.— Чего лежишь на камнях!

Глеб лег поудобнее: сунул руки в карманы куртки и втянул голову в плечи. Стало теплее, и лихорадило меньше. Потом дрожь совсем прошла, и Глеб почувствовал, что засыпает. Он несколько раз ловил себя на том, что закрывает глаза: и старательно моргал, чтобы не уснуть, но его все равно клонило в сон. В конце концов он задремал. Задремал так сильно, что испугался, когда Хром ткнул его коленом в бок. Глеб мгновенно высунул голову из тепла куртки. Хром кивнул в сторону моря. Глеб поднялся на локте, вытянул шею.

Совсем рядом, так что он различал ее глаза, из воды торчала голова нерпы. Хром осторожно отодвинулся в сторону, уступая ему место у винтовки. Глеб пополз к ней, но оказалось, что у него опять дрожит подбородок, и он никак не мог не только прицелиться, но и прижаться к прикладу щекой.

Хром смотрел на нерпу. Он ждал выстрела, но его не было. Тогда он оглянулся на Глеба и увидел, что ствол «тозовки» ходит ходуном. Усмехнувшись, он протянул руку и взял винтовку. С минуту Хром ждал, пока нерпа снова не замрет на месте, потом навел мушку на шею как раз в то место, где она уходила под воду.

Глеб увидел, что он только что тронул пальцем спусковой крючок, и раздался выстрел.

Как подброшенный пружиной, Хром вскочил на ноги и, не выпуская «тозовки», бросился к лодке. Спотыкаясь о камни, Глеб побежал за Хромом и с ходу прыгнул через борт. Хром, оттолкнув лодку, вскочил следом и рванул шнур. Мотор не завелся. Хром, чертыхаясь, рвал шнур.

— Нерпу ищи! — крикнул он.— Следи нерпу!

Глеб забегал глазами по морю и ничего не нашел. Зарокотал мотор, и лодка рванулась вперед.

— Где? — Хром азартно и тяжело дышал, и голос его хрипел.

— Не знаю, нет ее! — ответил Глеб.

Хром положил лодку на правый борт, и они стали кружить на месте.

Нерпа вынырнула в стороне от них.

— Все! — крикнул Хром.— Теперь она наша!

Нерпа, высунув голову из воды, смотрела на приближавшуюся лодку. До нее оставалось метров двадцать, когда нерпа скрылась под водой. Хром тотчас сбросил газ. Через несколько секунд нерпа вынырнула опять. Она уходила в море. Хром дал газ, и лодка опять пошла к нерпе. Глеб сидел на носу. Он видел, как нерпа следила за ними, а потом скрылась. На этот раз Глеб успел заметить, что в том месте, где она ушла под воду, осталось бурое пятно.

Хром перестал нервничать. Всякий раз, когда нерпа уходила от них, он спокойно сбрасывал газ и ждал ее появления.

В последний раз нерпа вынырнула совсем рядом и не стала ждать их — поплыла в море. Хром круто развернулся, положив борт на воду, и пустился за ней. Расстояние между нерпой и лодкой стало быстро сокращаться. Глеб теперь очень ясно видел ее блестящую спину.

— Все! — сказал Хром.— Теперь она твоя!

Он прибавил газ, и вдруг нерпа закричала. Закричала, как насмерть перепуганный ребенок. У Глеба оборвалось сердце. Нерпа перестала уплывать от них. Голова ее неподвижно торчала над водой. Она смотрела прямо на Глеба и кричала. Смотрела глазами смертельно уставшего человека.

Глеб не мог пошевелиться под этим взглядом. Он видел, как из ее глаз катятся слезы.

...Пока доплыли до берега, нерпа раза два срывалась с багра. Хром ругался про себя, но Глеба не трогал. Тот неподвижно сидел впереди, сжавшись в комок: так, что Хром не видел его головы из-за воротника куртки. Глеб только каждый раз вздрагивал, когда Хром втыкал в нерпу багор, и съеживался еще сильнее.

Ловко объехав рифы, Хром пристал прямо к берегу. Круглые камни с грохотом прошлись снизу по дну лодки.

— Помоги! — сказал Хром.— Хватит переживать! Ты что думал, она снимет шкуру, а сама будет жить дальше? — Он выпрыгнул прямо в воду и принялся накидывать на нерпу кусок сети. Глеб увидел, что у него красная, заросшая черными волосами, бычья шея.

— Давай! — сказал Хром.— Бери конец и тащи. Я не управлюсь один.

Глеб неловко перешагнул через борт и встал рядом с ним. Конец сети был мокрый и скользкий. Ноги все время скользили по водорослям, поэтому им пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось вытащить нерпу на берег.

— Передохнем малость.— Хром мокрыми руками полез в карман за папиросами,— и будем сматываться, пока нас не застукали.— Он устало опустился на камни и лег, опершись на локоть.

Хром был доволен охотой, собой и всем на свете.

— Нет, мужик,— сказал он, выпуская через нос серые струи дыма.— Охота есть охота. И, пока убьешь зверя, обязательно окунешь руки в кровь. И с этим ты ничего не сделаешь.

— Ты что, не мог сразу убить ее? — неожиданно даже для себя зло крикнул Глеб.— Если не можешь стрелять, незачем брать в руки ружье!

— Дурак! — спокойно сказал Хром.— Если бы я ухлопал ее сразу, она бы утонула прежде, чем мы добрались до нее. Осенью она жирная и плавала бы сколько хочешь, а сейчас утонула бы, и все.

Хром подчеркнуто спокойно докурил папиросу, прикурил от нее вторую и подошел к нерпе. В руках у него появился нож. Глеб не успел отвернуться, как Хром полоснул, и под разошедшейся кожей обнажился слой жира. Глебу стало противно и жутко, но он уже не мог ни отойти, ни отвести глаз.

Хром работал быстро, но деловито и умело, и, глядя на его окровавленные руки Глеб подумал вдруг, что сам он гораздо хуже Хрома, для которого в убийстве этой нерпы жестокости не больше, чем в рыбной ловле.

«Хром и не знает, что жесток,— думал Глеб.— А я с самого начала знал, что иду убивать. Знал, что омерзительно убивать беззащитного зверя,— и сделал это».— И от этой простой мысли на душе у него сделалось совсем скверно.

Хром деловито работал, а Глеб не мог оторвать от его рук взгляда. Он просто ненавидел, ненавидел и боялся этого человека, так профессионально убившего беззащитного зверя и так легко, как у костра с крабами, расправившегося с ним.

Сняв с нерпы шкуру, Хром взял топор и вырубил большой кусок мяса.

— Собакам! — сказал он Глебу, подмигнув как ни в чем не бывало.— У меня прижились две дворняги. Беспризорные... Сожрут за милую душу!

Мясо и шкуру он спрятал под брезент и велел Глебу садиться. Глеб забрался в лодку и не выдержал — оглянулся. Остатки нерпы лежали на камнях. Красное сочное мясо и белый, как бумага, жир. Хром подхватил тушу багром, они отвезли ее подальше от берега и бросили. Она медленно скрылась под водой.

— Все! — сказал Хром.— Концы в воду. Поехали!

Он дал газ, и лодка пошла вдоль берега. Опять стало холодно, и Глеб глубоко спрятался в куртку.

Из тепла воротника он видел выпуклую поверхность моря, далекие силуэты синих скал, освещенные закатным солнцем вершины, и было странно и горько сознавать, что он может любоваться всем этим после того, что сегодня случилось.

Глебу было очень плохо, потому что знал, что все равно не откажется теперь от шкуры. И Ирина наденет торбаса на свои ножки и будет радоваться, и ни на секунду не задумается о том, что для того, чтобы достать такие торбаса, нужно было убить зверя, который плакал и кричал, когда его убивали.

Вячеслав Шугаев

МИЛАЯ ТАНЯ

На севере он жил давно, по его словам, совершил здесь, среди фиолетовых каменных гор, три жизненных витка. Первый, беспечальный и стремительный, пронес его по Витимским гольцам, по якутским болотам и марям. Рубили базовые склады, пробивали зимники к чуть теплившейся тогда стройке, тянули линии электропередачи — сладковатый привкус спирта по утрам, ведро ледяной воды на смуглые двужильные плечи, дребезжащий лязгающий вездеход с прорванным, прожженным брезентовым верхом. И как бы в созвучии с размашистой, просторной жизнью тогда его звали все Арсюхой. Даже начальник стройки, подчеркнуто чопорный Тышляр, как-то на «летучке», забывшись, сказал: «Придется поднажать, Арсюха...»

Второй виток начинался в свежей, чистой до гулкости комнате Нины Афанасьевны и обещал движение медленное, по самой длинной орбите: семья, дети, их отрочество и юность, тихий и ясный закат в окружении внуков. Нина Афанасьевна, пухленькая, резвая, румяная женщина с певучим голоском, говорила в то апрельское мглисто-серое утро: «Только не уходи надолго, Арсений. Тебя не было, я ни-чего не знала. А теперь я не смогу-у без тебя. Арсе-ений, не пропадай»,— и, захватив розовыми маленькими ладошками его чугунные скулы, наклонялась над ним и целовала маленькими оттопыренными губами; он потом шутил: «Клюй, клюй свои зерна». Но скорый на встречи и разлуки Север не захотел, чтобы она возвратилась из отпуска, о чем сама Нина Афанасьевна написала так: «Не мо-гу. И без тебя не могу, и там жить не могу. Приезжай. Милый, милый Ар-се-ний. Слышишь, как я грустно пою твое имя?»

Он не поехал, сходил лишь в отдел кадров, взял ее трудовую книжку, отправил. Вдогонку перевел ей немного денег на новоселье.

Пришло зрелое одиночество с горечью житейских неудобств, но и с самовластною завораживающей размеренностью — на этом, как он называл его, витке торможения он надеялся осмотреться, прикинуть хотя бы начерно будущие дни и кого-то или чего-то дождаться. Завел собак, двух рыженьких карело-финских лаек. Они, деликатно повизгивая, не торопясь броситься на грудь, не узнав настроения хозяина, встречали его по вечерам в двух полупустых комнатах сборно-передвижного дома.

Весенняя охота со снеговой, синё взбрызгивающей под ногами жижей, с теплыми, внезапными туманами по вечерам, настоянными на зеленой горечи тальников; осенняя охота в золотых, прозрачных распадках, с серебряным лосиным ревом над утренним, легким куржаком — и столько чистой, невыразимой тоски вплеталось в летящее, зовущее серебро, что спина леденела от восторга. И как бы вырытый между охотами, между другими досужими днями — котлован, котлован! Некое, по представлениям Арсения Петровича, вместилище случайностей, зримо обозначенная закономерность, набитая этими случайностями. Заморозили бетон, кран сошел с рельсов, затопило насосную — котлован был неутомим. Подчиняясь ему, ненадолго одолевая его, занятый только им, Арсений Петрович тем не менее все чего-то ждал.

Он усмехался, когда слышал: «Власть Севера, северный плен, северное притяжение»,— и скуластое его, большелобое, с широким, крупным носом лицо кривилось, морщилось: экие, мол, глупости, сочиняют да еще проговаривают их вслух. Он был убежден, что, помимо дурной привычки не считать деньги, естественные желания: покрепче привязаться к работе, к дому, к окрестностям и без нужды от добра добра не искать. Верно, в отпуске, где-нибудь на южном берегу, сквозь смореные солнцем веки начинал проступать зеленоватый закат над сумрачно-фиолетовыми горами и пробивались сквозь сонное дыхание моря звон, переливы безымянного ручья под тяжелыми, почти черными листьями моховки — дикой смородины. Вот тогда и подмывало перенестись каким-нибудь чудом к этому ручью. Впрочем, думал Арсений Петрович, если бы он прирос, допустим, к калуж-

ской земле, то вот так же бы подмывало перенестись под какой-нибудь старый дуб среди поля ржи.

И все же Арсений Петрович не мог устоять, когда слышал: «Ну это же северянин!» — не мог не откликнуться враз помолодевшей, доступной любому бесшабашию душой на этот восхищенно-почтительный возглас, подразумевающий в нем мощь и ширь натуры и, конечно же, денежную мощь. Хотя после был отвратителен себе до какого-то серого мелкого озноба, но в том же отпуске, к примеру, откупал рестораны, устраивал тысячные пикники, сам богатырствовал в застолье, уверял разную шушеру, что может пить водку только пивными кружками — иначе «не берет».

Вот таким купцом-молодцом пронесся он однажды по Гагре, в сущности никого не удивив и даже не всколыхнув банной духоты этого городка, переплыв на каком-то кораблике в Феодосию, круглосуточно держа в ресторане открытый стол для пассажиров и для команды. В Феодосии показалось скучно, переехал в подмосковный санаторий, где ранним августовским утром был разбужен перепуганной, невыспавшейся дежурной:

— Товарищ, там три машины за вами! Вы что, уезжаете? Предупреждать же надо!

С трудом вспомнил, что вчера долго и скучно гулял с какими-то девицами по московским ресторанам, потом, возвращаясь, дал таксисту задаток, просил приехать на трех машинах — «компанией в Ясную Поляну поедем».

Спустился к таксистам, двоих отпустил, одного оставил, пошел в купальню. Окунулся в теплую, розово курящуюся воду, поплавал, сел на берегу в тяжелых, черных, холодно-мокрых трусах. И хоть отдыхал третий месяц, был белый, оплывший, весь какой-то студенистый. «Противно, ох, как противно!» — вздохнул Арсений Петрович, поддел горстью серой, глинистой грязи, потерся ею и снова полез в пруд. Над ним влажно зашелестела береза, только-только с верхушки прихваченная дымно-желтым солнцем, вспыхнули кресты и звезды на лазурной маковке церквушки, стоявшей на бугре, на той стороне пруда. Тихо, ясно, как бы оберегая и приветствуя эту рань, зазвонили колокола.

Не вытираясь, брезгливо морщась, будто наглотался тины, Арсений Петрович пошел к машине. И пока шел,

решил: «Переменюсь. К черту все! На кого я похож? Какое-то скотство, грязь, эти девицы вчерашние — переменюсь или не знаю что с собой сделаю». Сел в машину, уехал в аэропорт и через сутки входил в свои полупустые комнаты в сборно-передвижном доме.

Переменился. Бросил пить, за два месяца выходился по гольцам так, что тело стало тугим и звонким, как крепкая, сухая лиственница. Отпустил бороду — выросла светло-каштановая, скрывшая его тяжелые скулы и широкий крупный нос, приглушившая густо-чайный, несколько сумрачный блеск его глаз. Выписал целую охапку газет и журналов, набрал в постройкомовской библиотеке книг — библиотекарша записывать устала. Нашел в старом карьере маленький, с ноготь, гранатовый огурчик, заказал для чего-то перстень — то ли в честь своей новой жизни, то ли чтоб не сглазить ее — сам толком не знал. Появилась новая привычка: покручивать перстень на пальце, поглаживать — вроде сосредоточеннее думалось при этом. Потирая шершавые, неотшлифованные спинки гранатиков, Арсений Петрович часто усмехался: «Гулял истово, истово бросил — добра не жди. Можно сказать, на четвертый виток пошел. В полете и разберемся».

По вечерам, накормив собак, читал. Или писал письма. Он неожиданно пристрастился к этому писанию: разыскал по чемоданам старые записные книжки, выбрал из них адреса полузабытых приятелей, каких-то двоюродных братьев и сестер, кому раньше отправлял только открытки к праздникам, да и то через раз. А тут вдруг потянуло подробно описывать здешнюю жизнь, с пейзажами и характерными фигурами на их фоне, здешние нравы с перечислением свадеб, юбилеев и кушаний, украшавших их. Письма выходили длинными и вроде бы остроумными, не без доли праведнического пыла, который возникал как бы самовольно из теперешней его трезвости и безгрешности.

Скопив несколько отгульных дней, каждый месяц летал в областной город — в поселке понимающе говорили: «Правильно. Душу отведет — и назад. Что же на глазах-то куролесить?» Арсений Петрович знал об этих разговорах и снисходительно удивлялся недостатку воображения у своих подчиненных и товарищей: «Насчет души все верно, дорогие мои. Душу отведу — и назад.

Да на свой лад. Мне этот лад дорог, а вам и знать необязательно».

Сидел в гостиничном ресторане, обедал. Поглядывал за окно, где свистела в коричнево-сизых сучьях февральская метель — свет, должно быть, исходил из серой, мыльной мглы на востоке, откуда мчались острые, сизовые всхлесты, а уж потом их догонял рваный, обвальный свист.

— У вас свободно? — спрашивала женщина в черном кружевном шарфе под собольей, чуть надвинутой на лоб кубанкой.

Пока она садилась, Арсений Петрович заметил, что она тонка, гибка и, видимо, подчеркивает это: черный, отливающий серебром свитерок заправлен под широкий, замшевый, туго стянутый пояс.

Подвинул ей карту, пепельницу — не взглянув, кивнула, сразу же открыла карту. Большие, овально сглаженные прямоугольники очков были в странном, неуловимом соответствии с нежно-впалыми, смуглыми щеками — без очков, подумал Арсений Петрович, лицо не было бы таким законченным, таким... Он не нашелся, каким. «А ведь она где-то неподалеку работает. Или живет. Метелица — с ног сшибает, а на ней ни следа нет. Даже не разрумянилась».

— Вы из редких металлов? — напротив гостиницы стоял институт редких металлов.

— Из редчайших,— за стеклами холодно, черно, округло посмотрели на него.

— Извините.— Арсений Петрович взялся за перстень, повертел, погладил его.

Она ела, чересчур отставляя, оберегая губы, точно беспокоилась за помаду, хотя они были естественно темны и вишневы — мельком отметил Арсений Петрович, он снова поглядывал в окно, позвякивая ложечкой в стакане.

Видимо, она была голодно раздражена, но вот отошла, смягчилась, за стеклами прищурились черные, без зрачков глаза, живо и влажно заблестели. Спросила, кивнув на перстень:

— А вы, значит, специалист по редким камням?

— Увы, я в них ничего не понимаю.

— Как же так? С бородой — и не геолог. Вы, наверное, где-нибудь дрейфуете, что-нибудь покоряете?

— Сегодня же сбрею бороду. Это никуда не годится, вводить в заблуждение такую...— Арсений Петрович замялся.

— Подумайте, подумайте. Хоть уж комплимент будет редким.

— Ох! Извините меня, сиволапого. Такую прелестную женщину.

— Стыдно. Надеюсь, только борода мешает разглядеть ваш стыд.

— Для того и отрастил.

— А все-таки скажите, хочу угадать, вы занимаетесь чем-то близким к земле?

— Угадали. Я потопы устраиваю. Была земля — и нету. Вместо нее водная гладь. Гидростроитель я.

— Зачем же вы так? Вы же не бог.

— Не бог, не царь, но — человек.

— Ах! Ах! Ах!

Он рассчитался, но не вставал.

— Можно я еще с вами посижу?

— Посидите. Время ваше, не мое.

— А можно узнать уж заодно, как вас зовут?

— Таней.

— Татьяна... А дальше?

— И вам и мне хватит Тани.

— Таня, только не обижайтесь. Можно я приглашу вас куда-нибудь?

— Вы что здесь делаете, гидростроитель?

— Да ничего. Ну, можно сказать, в командировке.

— Тогда понятно. Командировочные утехи. Тоска, пустой вечер, жажда развлечений, предпочтительно в женском обществе. Вот уж действительно тоска. Нет, не хочу.

— Таня, правда! Пусть тоска, пусть пустой вечер, но отчего же не увидеться? Никогда не виделись и вдруг — посидим, поговорим. Или пойдем куда-нибудь. Я же вас не съем.

— Попробуйте.— За стеклами остывающая, какая-то отдаленно-мерцающая чернота.— Вы мне позвоните. Вот телефон. Если ничего более интересного не случится, пойду с вами.

— И на том спасибо.

Позвонил.

— И куда же мы пойдем, Арсений Петрович?

— Можно в театр, можно в концерт. Вот тут прочитаю сейчас в афише. Можно в ресторан.

— В такую холодрыгу, в такую пургу. Конечно, в ресторан.

Удивилась, что он не пьет.

— У вас что, больное сердце?

— Зарок, Таня. До лучших времен.

— А я с удовольствием выпью. Закажите, пожалуйста, водки. В нашей богадельне как на улице.

— Таня, а почему по телефону вы назвали меня Арсентием? Вы забыли, что я Арсений.

Смутилась, прикусила губу, вспыхнула.

— Не забыла. Но почему-то в ту минуту захотелось сделать вид, что забыла. Извините.

Сняла очки, открыв неожиданно густые, с рыжинкой брови. И без очков глаза были больше, с грустною, переливчатой, вовсе не близорукой чернотой.

Он чуть плеснул себе водку в бокал с минеральной водой.

— Неловко совсем дистиллированным быть. Таня, на Севере есть довольно грубый, но небессмысленный тост. Будем! То есть будем знакомы, будем друзьями, будем сердечно близки.

— Ни-че-го себе! Этак за один тост вы чуть ли не в родственники выбьетесь. Нет. На Севере очень торопятся. Давайте спокойнее: за знакомства, в которых потом не раскаешься.

— Можно и так.

Через минуту, глядя с неким отстраненно-щемящим чувством на ее заалевшие, чудесно ожившие щеки:

— Вот уж не думал не гадал, что такой вечер мне выпадет. Таня, можно узнать, как вы живете?

— Во-первых, не радуйтесь. Я не подарок. Во-вторых, если не о чем спрашивать, помолчите.

— Я же вам не на улице кричу: как живете? Можно же всерьез отвечать.

— Я не замужем. Живу на квартире. Приближаюсь к тридцати. А вы, конечно, холостяк?

— Я как-то не поспеваю за вами. Почему — конечно?

— Бросьте эти командировочные хитрости. Все вы холостяки, и у всех у вас разбитая жизнь.

— Бог с вами, Таня! Откуда вы это взяли?

— Знаю. А может, чушь говорю. Захотелось — сказала.— Надула губы, резко почиркала вилкой по салфетке.

— Вот это мне понятно. Захотелось — и весь спрос. Ну, наконец-то и крупу принесли.

— Какую крупу?

— Ну вы же как мышь. На крупу надулись. И я подумал...

Улыбнулась, вздохнула, достала из сумочки сигареты.

Он рассмешил ее, рассказав, как однажды, на охоте, спросонья принял свою же собаку за медведя и как быстро, ловко убегал на четвереньках в кромешной тьме и ни разу ни обо что не ударился.

— Вы молодец. Я боялась, вы начнете какие-нибудь героические северные истории. Про спирт, про молчаливое мужество, как волосы по утрам к тюфяку примерзают. А вы — смешное и очень милое.

Разговорилась и она. В вычислительной группе их института одни женщины.

— Одни романы и увлечения,— сказала Таня и улыбнулась.— Если бы все слезы, которые пролились в нашей группе, собрать вместе, их очень даже бы хватило на ваши турбины или как они там называются. Целая бы гидростанция на слезах работала. Представляете, от слез влюбленных женщин весь ваш Север бы осветился.

Арсений Петрович ждал, что сейчас перед ним развернется полотно, этакий свиток причудливых и печальных связей, каких-то персональных дел и личных драм — о них так любят поговорить счастливые до самодовольства женщины или, напротив, круглые неудачницы. Но Арсений Петрович пропустил поворот — она вдруг остановилась на собственных влюбленностях, вернее, на многочисленных ухаживаниях за нею, из которых все ухажеры выходили посрамленными, осмеянными, сраженные ее неприступностью, остроумием, язвительностью. «Нет, это был просто невозможный тип!» — смеялась Таня, и голос ее сиял каким-то счастливым, льющимся полногласием. Глаза ее — очки она так и не надела — победительно, напряженно щурились, плескалась в них влажная, засеребрившаяся чернь. Со смеющихся губ на маленький, смугловато-блестящий подбородок как бы

перебегали, перескакивали легкие морщинки, скорее даже дрожащие легкие тени.

И Арсений Петрович улыбался: «Господи! Какие глупости болтает! А ведь была умной и насмешливой.— Но улыбался все равно с охотою.— Ну и черт с ними, с глупостями. Ведь слушаешь же. И не возмущают они тебя. И будешь слушать. Милая — удивительно. И руки — смуглые, сухие, узкие — печальные, что ли? Грустные? Нет. Вроде сами по себе, а все что-то перебирают, передвигают. Тревожные — вот какие! Ну и ты на глупости-то, надо сказать, горазд».

Он растрогался, взял Танину руку, хотел поцеловать.

— Нет, нет! Я не люблю. Еще чего.— Он, видимо, перебил ее, и она опять надула губы, резко отодвинула рюмку.

У ее дома, черного, просевшего пятистенника, под медленным редким снегом, оставшимся от метели, Арсений Петрович спросил:

— Таня, а можно я хотя бы в щеку вас поцелую?

— В другой раз. Если удастся.

Назавтра он улетал. Позвонил перед самолетом.

— Таня, а можно я о вас думать буду?

— Что, вам делать больше нечего? Ох и чувствительный народ эти северяне. Ну, привет северному сиянию.

В самом деле думал о ней, улыбаясь в бороду, потирая грудь, непостижимо соединяя в воспоминаниях нежную смуглоту ее щек со счастливо звенящим голосом: «Это был просто невозможный тип!» — милая, какая она все-таки милая.

Прилетел в марте, позвонил:

— Таня, добрый день. Если помните, это Арсений Петрович.

— Здравствуй...— Помолчав, добавила: — те.

— Пустое «вы» сердечным «ты» она случайно заменила... Напрасно переправили, Таня.

— Неужели стихи начали сочинять? До чего вы дожили.— Он гмыкнул, смущенный ее невежеством и чрезмерной трезвостью шутки. Впрочем, смущение быстро вытеснилось — он очень хотел ее видеть.

Встретились в сумерках — сверху, до крыш, прозрачных и синевато-льдистых, внизу — дымно-серых, теплых, согретых, видимо, сухим уже, пыльным асфальтом и весенним возбуждением толпы. Он привез с собой красной рыбы, котелок черной икры, вяленой сохатины — хотел угостить Таню.

— Пойдемте ко мне. Обещаю ужин в северном исполнении.

— Вы с ума сошли! Чтобы я! Пошла в гостиницу к какому-то бородатому мужику. Ни за что.

— Тогда выходите за меня замуж.

— Ага. Белых медведей поеду смешить. Какая из меня северянка! Весна, а я зябну. Что мы там делать будем? В жестокие морозы и в жестокие сроки возводить ГЭС?

— Таня, а можно вас попросить...

— Можно, можно! Что вы все время такой разрешительный? Говорите прямо и ясно, кто я вам такая, чтобы разрешать?

— Таня, только не говорите потом в кругу своих женщин, своих сослуживцев... что вот, мол, сваталось ко мне одно бородатое пугало, а я его наповал отшила. Будьте добры.

Она остановилась.

— Ну что вы! — сказала вдруг поникши и дрогнувши. Взяла под руку.— Пойдемте, Арсений Петрович, на остров.

На острове, до лета замеревшей водной станции, было светлее, чем в городе, ноги задевали о вытаявшую черную полынь, и ее слабый, сухо-пыльный дух провожал их, пока они ходили. Таня молчала, все шла чуть впереди, как бы по золотистым, оплывшим дымной радугой уличным огням, из-за темноты опустившимся ниже острова. Свернула к скамейке, присела, потянула его за рукав:

— Хотя бы в щеку... Вот помню.— Щека была тепла, упруга и тоже отдавала полынным веем.

Снова отчужденно пошла чуть впереди, легко, тонко, наклоняясь на ходу, кутаясь в воротник, хотя ветра не было. «Озябла совсем. Одна, все одна, привыкла зябнуть. Бежит-то как тоненько, господи!» Арсению Петровичу так стало тревожно за нее: куда вот клонится, зачем так кутается, прячется, что с ней будет? — что он

догнал, обнял за плечи, что-то утешающее, горячее, хорошее хотел сказать ей, но сказал только:

— Ох, Таня, Таня.

Стояли на ее крыльце, вышла хозяйка закрывать ставни. Таня познакомила их.

— Марья Дмитриевна,— поклонилась маленькая беленькая старушка, при незакрытом окне Арсений Петрович успел рассмотреть ее.— Что же вы не проходите? Самовар горячий. Угощай, Татьяна, кавалера-то.

— Не приглашаю, вот и не проходит,— сказала Таня.— У товарища ужин в гостинице стынет. Пока, Арсений Петрович. Не выпрыгните на ходу из самолета.

— Ох, Таня, Таня.

В апреле, прилетев, не стал сразу звонить. Зашел на базар, у печального, с перевязанной щекой кавказца купил корзину бело-розовых махровых пионов. Окунул нос в прохладно-влажные бархатистые лепестки:

— Что-то пахнут слабо?

— С дороги, дорогой. Устали, отдыхают. Отдохнут — голова будет кружиться.

Думал оставить цветы у Марьи Дмитриевны, а уж потом идти к Тане. Но она сама открыла дверь. В брюках, в белой пушистой кофточке, тесной в груди, на плечах платок с лазоревыми разводами по черному полю. Хмуро посмотрела на пионы:

— Шикуете? Князь северный. Вот теперь попробуй не впусти вас.

— Вы хвораете, Таня?

— Ремонт в нашем институте. Ну и чтоб не мешались, негласно распустили.

— А я-то думал уговорить Марью Дмитриевну не выдавать меня и оставить открытку в корзине: «От неизвестного, со всею его любовью».

— Так уж и со всею...

В ее комнате, оклеенной обоями в мелких розовых бутончиках, была открыта форточка, и апрельский, пахнущий нагретыми мокрыми крышами ветерок вкусно перемешивался со свежим сигаретным дымом. Старое настенное зеркало в вишневой резной раме, комод этого же дерева и этой же работы, круглый стол под белой льняной скатертью у большого, простеганного тонкими ремешками дивана.

— Садитесь на диван, складывайте руки на коленях

и готовьтесь к ужасному наказанию: будем коротать время.

Заглянула Марья Дмитриевна, поклонилась-поздоровалась, увидела корзину с пионами:

— Ох ты! Богатство какое. Да перед самой пасхой — вот уж правда, Татьяна, светлое воскресенье у нас будет.

Убежала на кухню, загремела ведрами, зазвенела банками, чуть зарумянившись сухоньким, сморщенным личиком, расставила цветы в воду. Потом у себя в комнате громко скрипела дверцами шкафа, хлопала крышкой сундука со звонкими пружинами — собралась и куда-то ушла.

Таня молча ходила от букета к букету, наклонялась к ним, касаясь лепестков губами, растягивая, раскрыливая при этом концы лазоревого платка.

Вздохнула:

— Да, все-таки замечательно! — Села к нему на диван.— Ты, должно быть, думаешь, у меня кто-то есть? Никого, никого. Да и ты то ли есть, то ли нет.

— Таня, а ведь можно выйти за меня замуж.

— Глупости какие! — Придвинулась, обняла, с неожиданной силой и страстью поцеловала — пахнуло прохладными пионами. Ладони Арсения Петровича почувствовали, какая у нее гибкая, непокорно-молодая спина.— Нет, нет. Я сама...

— Ну вот. Доигрались,— говорила после, стоя у открытой форточки и куря.— Теперь что же? В самом деле за тебя замуж. Только у тебя противная, пыльная борода.

Он, подойдя сзади, поцеловал склоненную, охолодавшую уже под ветерком шею.

Майским воскресным полднем, выйдя из самолета, Арсений Петрович разыскал в вокзале парикмахерскую, сел в кресло, обмахнул рукой вокруг бороды:

— Долой,— заранее смущаясь голого лица и посмеиваясь над этим смущением.

Оттопыривались в зеркале губы, тяжелел нос — «хоть не смотри, честное слово»,— вздыхал Арсений Петрович.

Бритый, с цветами — жених женихом — взошел он на Танино крыльцо.

Открыла Марья Дмитриевна, долго вглядывалась, не узнавая, а узнав, заплакала, потянула передник к глазам.

— Я вам телеграмму хотела дать, да не знала куда. Адреса-то не нашла.

Он молчал, напряженно выставив цветы, точно загораживался ими.

— Нету Тани-то, нету-у...— Марья Дмитриевна спрятала мокрое личико в передник.— Сердце-то слабое было... А тут простыла. В три дня, в три дня-я, батюшка...

Он положил цветы на перила, приклонился к крылечному столбу.

— Прямо сгорела...

Он почувствовал, как неприятно вспотели голые щеки и губы.

— Где ее... положили?..

— На городском, вон на той горе.

Думал, никогда не поднимется на эту гору — так было жарко и так тяжело подчинялись ноги. Ходил и ходил по красным глинистым дорожкам, под свежей листвой тополей и рябин — Тани нигде не было, затерялась на этом печальном, ярко зеленеющем пространстве. И у Марьи Дмитриевны не спросил, в какие ворота, в каком углу. Негромко ударил барабан, и негромко, устало вступил оркестр — Арсений Петрович испуганно оглянулся: померещилось. Но в удалении, на еще не засаженном пустыре стояла черная машина, стояли, опустив головы, люди. «Да, и по воскресеньям тоже»,— отвернулся Арсений Петрович.

Он понял, что сегодня Таню не найдет. Сел на лавку под высокий куст боярышника. «Таня, милая Таня...» Закинул голову.

В вечереющем, но все еще жарком, бесцветном небе где-то летел самолет. Его не было видно, и молочно-белый, чуть розовеющий след будто бы сам по себе совершал виток. А рядом с ним проступал уже голубоватый, нагой, прозрачно-веселый месяц.

11 Заказ 309

Владимир Казарин

ВОЛГАРИ

Случилось так, что начальник Волжского нефтеналивного пароходства Пронякин проклял солнце. И не сгоряча как-нибудь, нет. Были на то серьезные причины...

Два года назад, в начале марта, когда из Астрахани вышли на вскрытие реки ледоколы «Днепр» и «Кубань», Пронякин часто останавливался у огромного, едва ли не во всю стену окна, хозяйски оглядывал снежную ширь Волги, на которой все гуще темнела обозначенная вешками зимняя переправа, вслушивался в перестук капели и удовлетворенно подмигивал огромному, в полнеба, солнцу:

— Давай, давай, крутолобое, содействуй!

И солнце содействовало. Слабенькие ручейки с каждым днем набирали силу, вскачь бежали к реке, подтачивали лед, и он становился ноздреватым, рыхлым; казалось, ткни пальцем — и наружу, вспениваясь упруго, хлынет истосковавшаяся по воле и белому свету вода.

Ранняя весна облегчала задачу ледоколам и обещала необычно скорое открытие навигации. Предвкушение большой удачи волновало, пьянило Пронякина, и он, проходя коридорами, задиристо (откуда только взялось!) посматривал на враз похорошевших девчушек из управления, что небольшими группами, по две — по три, болтали на лестничных площадках. И еще, это тоже подметил Пронякин, все, как одна, небрежно поддерживали ладошкой левой руки локоток правой, в которой праздно дымилась сигарета.

«Ишь ты, — удивленно восхищался Пронякин, — сколько раз управление сокращали, а все-таки, видно,

мало». И беспечно улыбался. Сильный, он любил прощать мелкие промахи и слабости других. Особенно в хорошем настроении. Впрочем, иного настроения он почти и не знал. Невероятно удачлив был Пронякин.

В одно время прокатилась такая волна — омоложение кадров. Подхватила расторопного капитана и вознесла на высоту, о которой он в повседневных хлопотах своих и не помышлял. В новой должности Пронякин вел себя поначалу тихо. Шутники не без основания взялись утверждать, что новоиспеченный начальник войдет в историю пароходства как человек, ниспровергший пословицу о новой метле.

Жизнь у всякой волны короткая. Набежит круто, шумно опадет и схлынет, уступит место другой. Не все стоящее вынесла на поверхность та капризная волна, но попадались и самородки вроде Пронякина.

В министерстве он едва не прослыл консерватором. Другие выколачивали себе танкеры да числом поболее, а этот клянчил баржи-нефтянки. И был в этом, оказывается, свой смысл.

Судостроители запускали в серию большегрузные танкеры. Где им работать как не на Волге? Дадут и без просьбы! А вот баржи — строительство их потихоньку сворачивалось — может, и поискать вскоре придется. И не прогадал. Несамоходная флотилия Пронякина долго покрывала убытки дорогостоящего танкерного флота.

Пока судостроительная промышленность исправляла допущенный перекос, налаживала выпуск секционных барж, Пронякин решал другую задачку: искал линии, на которых бы танкеры оправдывали себя, давали прибыль.

— Вы у меня вот где сидите, — выговаривал Пронякин капитанам «пятитысячников» и звонко хлопал себя по короткой, крепкой шее. — Если бы не баржи, без штанов бы остались. Стыдно... смотреть на вас не хочется.

Капитаны обижались:

— Не слишком ли круто берешь, Семен Лукич?

— Не круто! — отрезал Пронякин. — Мы нефть возим, как братья Артемьевы сто лет назад. Вы хоть это-то понимаете? Или ждать будете, когда жареный петух клюнет? Вы посмотрите, что получается: везем мы

нефть до Ленинграда, передаем морякам, а те прямиком ее — в Финляндию. В Астрахани суда «Каспара» на подхвате. До Махачкалы, Актау бегают. А задумывались вы, сколько времени и денег перевалка из одного судна в другое стоит?.. Словом, так: в море пойдем! Дипломов у нас морских нет? Учиться будем заново!

И замелькали тогда в газетах сообщения о выходе волгарей в Каспийское, Азовское, Белое моря, на Балтику. Вошло в обиход выражение «смешанные перевозки по варианту «река-море».

Тесна уже стала Пронякину Волга: только размахнулся — уже катит зима, запирает суда в затонах едва ли не на полгода. И потому осенью отправил он два нефтерудовоза работать на Черное море. Редкая выдалась зима — часто штормило, потом грянули небывалые для тех мест морозы, пошли льды. И ничто так не радовало Пронякина, как короткие радиограммы, что суда его работают нормально.

Но вот сошел снег, сошел удивительно быстро. Проплыли вниз одинокие льдины, тощие, некрасивые, как клочья порыжевшей ваты. Самое время щедро ударить ливням, грозам, всколыхнуть, переполнить Волгу — и раздвинет она берега, широко разольет по лугам и протокам. А ливней и гроз не было. Раскаленной белой болванкой торчало над головой солнце. Непостижимо быстро мелела река, открывала давным-давно забытые мели и перекаты, о которых и знать не знали новейшие карты. Однако Пронякин долго не мог поверить, что на «короле» шлюза Горьковской ГЭС уровень воды составляет меньше трех метров. А поверить было нужно. Весна несла в Поволжье неслыханную во все времена засуху. Ее дыхание обожгло Пронякина, на какое-то мгновение он растерялся, отдал единственно верное, как тогда ему казалось, распоряжение — отправлять суда с большим недогрузом.

В первый же месяц план рухнул. На быстроходном катере мотался Пронякин по всей Волге, по всем пунктам погрузки и выгрузки, просил, настаивал, требовал сократить сроки обработки судов, судорожно клал под язык валидол при виде танкеров, часами ожидавших шлюзования. И все-таки он нашел то, что, сам не подозревая, искал постоянно.

В раннее июльское утро огромный плот по частям проводили через шлюзовые камеры. Шел он, видно, из мест недальних — с Керженца или Ветлуги, и плыл вместе с ним по реке стойкий запах сосны. Бесшумно плескала вода в могучие кряжи. Что-то выискивая, бегала по ним, часто перебирая ножками, серенькая птичка с тонким, как карандаш, хвостиком.

Плот отводили к противоположному берегу. Серенькой птички было уже не разглядеть, едва уловимо снова попахивало от воды соляркой, и Пронякину неудержимо захотелось удрать в лес. Не в тот, что, высвеченный насквозь солнцем, боязливо тянулся к реке, а в другой, частый, высокий, с зеленым небом из крон, с тяжелым падением капель росы на мягкую подстилку хвои.

«Все это глупости», — не без сожаления думал Пронякин и долго, точно завороженный, смотрел, как медлительные, еще не отошедшие от сна сплавщики соединяли разрозненные звенья плота в единое целое.

И вдруг где-то там, в подсознании, мелькнула и пропала спасительная мысль, даже не сама мысль, а только тень ее, но Пронякин встрепенулся, повеселел, озорно окинул взглядом Волгу и погнал катер в районное управление флота. Он еще и сам толком не знал, какой приказ отдаст судам. Но в телетайпной коротко и четко продиктовал: «Всем следующим Ярославль, Пермь, Череповец, Финляндию загружаться под завязку. Пронякин».

В тот же день два небольших танкера были сняты с перевозок и переброшены в зону шлюзования. Мысль Пронякина была проста: переваливать часть груза с «пятитысячника» в малотоннажный танкер, пройти шлюзование, а потом снова взять с него груз на борт.

Надежда выполнить навигационный план не покидала Пронякина до поздней осени. Даже в ледостав он не прекратил перевозки, а только смещал их с первыми льдами все ниже и ниже по реке до того часа, пока и само Каспийское море не заполонили льды.

Вытянуть план не удалось. Впервые за многие годы. Но Пронякин не унывал, смотрел на мир весело, счастливо. Шутка ли, на равных потягаться с засухой! И на следующий год, когда Средняя Волга едва отходила от жгучего февраля, порывистый ветер уже под-

хватил над пароходством флаг, возвестивший о начале новой навигации. Но прошло две недели, три, и былой радости как не бывало. Засуха, редчайший случай, по прогнозам надвигалась снова. И Пронякин проклял солнце. Он отгородился от него глухими шторами, но, перемещаясь, солнце лезло в каждую едва заметную щель, и Пронякин яростно дергал шторы то в одну сторону, то в другую, пока светлое пятно на паркете не исчезало.

У всего есть начало, у всего есть конец. Пришел час, когда Пронякин увидел на полу солнечный зайчик, не вскочил, не бросился к окну, а только отвел взгляд в сторону, на старый фикус. Потом он поднялся, крутанул кресло. Тоненько повизгивая, оно сделало несколько оборотов, остановилось. Пронякин еще раз крутанул его, теперь в обратную сторону, вспомнил без особого удивления первый день своего вступления в новую должность.

Пароходство он принимал от опытного речника Еремеева, некогда усердного и удачливого руководителя, которого состарили не столько годы, сколько неумение быть самостоятельным. Поговаривали, что старый волгарь так легко давал себя понукать, что в конце концов пароходство стало подобно кораблю с застопоренными двигателями. То погонит его ветер вправо, то влево, иной раз вынесет на главный фарватер, а иной на такую посадит мель, что своими силами и не сняться.

Суетливая поспешность, с которой Еремеев сдавал дела, радостная удивленность, что вот, гляди ты, дотянул благополучно до пенсии, вызывали у Пронякина легкую усмешку.

Мятый, точно изжеванный телком, китель, лоснившийся воротничок, подпиравший затылок (на этот воротничок часто наталкивался взгляд), сами собой связывались с неудачами Еремеева, и Пронякин не испытывал к своему предшественнику ничего, кроме снисходительного почтения.

Когда было покончено со всеми формальностями, и Еремеев, тихо ступая, пересекал кабинет, чтобы присесть на один из стоящих в длинном ряду стульев у стен, сутулость его как будто стала меньше, а в глазах, в выражении стертого, без каких-либо резких черт

лица, придающих физиономии человека своеобразный характер, мелькнуло что-то вроде живого огонька, своевольного, дерзкого. Это было так неожиданно, что Пронякин напрочь забыл о лоснившемся воротничке, своем желании пройти к большому двухтумбовому столу зеленого сукна, опереться твердо о него руками, как бы пробуя прочность, и опуститься на стул с высокой старомодной спинкой, который он решил заменить вращающимся, как на судах, креслом, чтобы помнить, кем ты был и откуда пришел.

Озабоченно молчали черные коробки телефонов, плавали пылинки в низких лучах скупого зимнего солнца, упал тихо желтый лист фикуса, ствол которого был подвязан к бамбуковой лыжной палке.

Пронякин подсел к Еремееву, тоже непроизвольно опустил руки между коленей, переплел пальцы. А тот заговорил, как бы продолжая давний разговор: «Понимаешь, какая штука, я вот все думаю, что нужно сказать тебе. Совет дать? Советчиков у тебя всегда много будет. Горячий ты, необъезженный. Это хорошо, хорошо. И не позволяй седлать себя подольше.— Говорил Еремеев медленно, как бы ощупью добираясь до того главного, ради чего он затеял тяготивший его разговор.— Давно показалось мне... Да нет, что там показалось. В самом деле, где-то не стал я хозяином положения, обстановки. Понять-то понял, сердцем почуял, а вот побороть себя не смог».

Эти слова Еремеева долго тревожили Пронякина. Но чем прочнее становился он на ноги, тем реже и реже вспоминал предшественника. Да и правда причин не было. Еще мальчишкой, переплывая не раз Волгу, он усвоил простую истину — целить всегда выше того места, к которому хочешь пристать. И вот только теперь почувствовал, что его неудержимо сносит течением, и не соломинка ли все то, за что он пытается ухватиться?

Неслышно постучав, вошла секретарь, подала сводку, Пронякин привычно пробежал ее глазами, отбросил было на край стола, снова схватил и долго смотрел, пытаясь осмыслить увиденное.

Закурил, зашагал по кабинету, то и дело посматривая на листок бумаги с густыми колонками цифр, машинально ткнул сигарету в подставку графина с несвежей водой, нажал кнопку селектора.

— Воронцов, а «сто девятый» без балласта на погрузку шел?

— Да что вы, Семен Лукич,— прогудел бас главного диспетчера.— Зотов не юнец, чтоб на такую глупость пойти. Сами знаете.

— Это я знаю. Но вот как сумел он загрузиться за шесть часов при норме десять, этого я не знаю. Подумай и скажи.

«Нет, без балласта, конечно, Зотов не пойдет,— прикидывал Пронякин,— балласт у него был. А время загрузки говорит о другом. Врет? Тоже исключено... — Он вновь принялся вышагивать по кабинету и вдруг остановился, пораженный догадкой.— Да он что, с ума сошел?..»

Над простором реки стелется вечернее солнце, мягкое, ласковое. Танкер рассекает надвое золотисто-багряную гладь, волны дробят ее, но далеко за кормой она вновь смыкается и пылает еще ярче. Опускаясь все ниже и ниже, солнце вскоре скрывается за игольчатой кромкой леса, воздух густеет, наливается синью.

Капитан танкера «Волгонефть-109» Александр Григорьевич Зотов сумрачно восседает в темноте ходовой рубки на высоком кресле, шутливо именуемом «троном». Днем после Чебоксар проходили один из сложнейших на всей Волге участок: триста километров — перекат за перекатом. Большую часть дня капитан провел на мостике, и три часа, в течение которых он пытался уснуть, нисколько не освежили его.

«Или годы дают о себе знать? — спокойно, как о чем-то постороннем, не относящемся к нему лично, спрашивает себя Зотов и соглашается: — Человек не машина, чтобы каждую навигацию ночей не спать... Тесно на реке стало. Бывало, идешь полдня, встретишь сухогруз или плот и радуешься: живую душу увидел. А сейчас — вроде сквозь толпу протискиваешься. Со всех сторон напирают, аж бока болят.— И хотя в этих рассуждениях Зотова все правильно, в нем исподволь, незаметно рождается зыбкое, пока еще неосознанное чувство протеста.— Это что же,— недоумевает он, — или я взаправду на берег сбежать собрался?»

Зотов сидит, устало прикрыв ладонью глаза, и рулевому Коле Чеснокову, практиканту речного училища, кажется, что капитан дремлет. Это и радует и пугает: с одной стороны, вроде бы доверие, а с другой... Кому хочет-

ся первую в жизни навигацию начинать с ЧП! Но когда показываются сигнальные огни встречного судна, капитан подает голос:

— Пропусти, Николай, «Композитора» по левому борту.

Рулевой облегченно откликается:

— Есть по левому!

Короткие вспышки неоновой лампы выхватывают из темноты поручни шлюпочной палубы, вентиляционный стояк, провода антенны. Вскоре слева стремительно наплывает и с мягким шелестом проносится мимо яркий и шумный, как праздничный проспект большого города, пассажирский теплоход «Композитор Чайковский».

«И как только узнал, что «Композитор» идет?» — загорается любопытством рулевой, оглядывается на капитана, хочет спросить, но не решается: тот вроде бы опять дремлет. А Зотов в который раз мысленно возвращается к событиям проходившего перед началом навигации актива, совсем не похожего на предыдущие.

Встречались раньше капитаны после зимних отпусков шумно, бестолково-радостно. Пронякин коротко докладывал о готовности флота, ставил задачи, и вот тут начиналось самое главное. Один за другим поднимались капитаны, объявляли социалистические обязательства экипажей на навигацию, немного торгуясь и осторожничая.

— Это что же, Михалыч, берешься ты всего пятьдесят тысяч перевезти? — спрашивал Пронякин старого капитана Ожогина.— Танкер новый осенью получил?

— Получил,— согласно отвечал Ожогин.

— Так что ж ты? Или к сыновьям рейса два собираешься сделать? Пожалуйста! Только прихвати попутно и груз, чтоб порожняком не гонять. Возражений нет? — это Пронякин обращается уже к залу.

Сыновья Ожогина капитанят на Енисее. Все это знают и великодушно решают:

— Пускай сходит!

Ожогин смеется со всеми и нерешительно тянет:

— Ну, если тысяч пять...

— Итак, «сто второй» берется перевезти пятьдесят пять тысяч тонн,— подхватывает Пронякин.— Кто больше?

— Пятьдесят пять тысяч и я, пожалуй, потяну,— скромно подает голос ветеран пароходства Чекин в на-

дежде проскочить «без задева» под шумок зала. Да не тут-то было.

— Ай-яй-яй! Да что ж ты меня подводишь, Чекин? Я думал, он сейчас как выдаст, чтобы другим стыдно было мелочиться, а она...— И Пронякин отворачивается обиженно в сторону.

— Да стар я, Семен Лукич. Через год на пенсию пойду. Сколько можно тянуть?

И смеются уже глаза Пронякина.

— Да как же так! Два месяца назад вновь женился, в молодых ходишь, а говоришь — стар?

По залу шалой волной катится хохот:

— Прознал ведь, прознал, а?..

Чекин тоже смеется, разводит руками, мол, что тут поделаешь.

«На этот раз все по-другому обернулось,— с сожалением думает Зотов.— Прошлый год многих посадил в калошу; прогнозы на нынешний — тоже хуже не придумаешь. Значит, опять неприятности, нервотрепка. Пронякин толкует о плане, а капитаны свое тянут, предлагают освободить их от несения вахт.— Тогда Зотов смолчал. И зря.— Капитан смог бы подняться на мостик в любое время суток, когда требует этого судовая обстановка... Свеженький поднимается, неизмочаленный. Глядишь, аварий поменьше будет. Это ж разве можно по такой малой воде ходить!.. И резерв командного состава пора создавать,— неожиданно для себя решает Зотов.— Заменять время от времени экипажи, давать передышку. Восемь месяцев теперь навигация и все восемь мимо дома с песнями. Старички, те ладно, притерпелись, а вот молодые поплавают три-четыре годика и на берегу начинают работенку подыскивать. Худо и без того с кадрами, а тут еще и сами текучке пособничаем...»

Невеселые мысли томят, одолевают Зотова. Ему бы бежать от них, сторониться, а он, наоборот, все худое вытаскивает, нижет одно на другое.

Зотов достает сигареты. Полупустая пачка напоминает, что в прошлый раз в плавмагазине не оказалось «Шипки». Надо бы заказать «плавучку», иначе останутся ребята без курева. Но вместо того, чтобы связаться с Горьким, капитан долго смотрит на неподвижную спину рулевого, спрашивает:

— Ты после училища дальше пойдешь учиться?

— Там видно будет,— обрадованно отзывается тот.

— «Там видно будет...» С самого начала надо знать, чего хочешь в жизни. Известно тебе, что капитан Чесноков был знаменит на всю Волгу?

— Слышал от матери!

— «Слышал...» — огорчается Зотов.— Да тебе его жизнь надобно знать, как все волжские плесы хорошему рулевому. Читал о нем книгу?

— Нет,— тоже сердится младший Чесноков.— Он мне дед по материнской линии!

— Знаешь ли, что его именем толкач назван?— продолжает вопрошать Зотов. Рулевой молчит, и капитан, не дождавшись его ответа, роняет в сердцах:— Эх ты!..— и удаляется на шлюпочную палубу.

Ночь светлая, тихая и спокойная. Сочный, на удивление плотный воздух, нысыщенный лунным светом, кажется, сам по себе источает прохладную голубизну. Внизу на темной воде лежат слабые отсветы огней машинного отделения, в них холодно вспыхивают гребни набегающих встречь волн.

Повздыхав, поостынув немного, Зотов спрашивает себя: «И что это я взъелся на парня? Родню свою не знает, дел дедовских? Эка невидаль. А собственный сын — что знает он? Кондитером стал, пирожные печет. Тьфу ты, пропасть, видеть их не могу.— Он сплевывает за борт и поворачивается в сторону рулевого.— А парнишка вообще-то ничего, с характером. Зря я его так».

— Ты не серчай, не посчитай, что я тебя ругаю,— возвратившись в рубку, оправдывается Зотов.— Ругать я тебя в другой раз буду, когда подашь сигнал на расхождение со встречным и не доложишь, что он принят, не продублируешь по рации. А что о деде своем ни шиша не знаешь, обидно. Не первый ты на реке в роду дорогу торишь, продолжаешь. Это понимать надо. Ты потомственный волгарь, и спрос с тебя особый. Слабины не жди. Я тебя неспроста в свою вахту взял. Учить буду, любя, но и драть тоже...

Разговор с рулевым потихоньку разгоняет тревогу у капитана. Три дня назад он нарушил инструкцию по загрузке танкера. Она предписывала откачать балласт и только потом принимать груз. Зотов совместил две операции. «Тут что главное,— говорил он механикам,—

главное — вести откачку и загрузку так, чтобы сохранить как есть дифферент на корму». И это удалось. Едва ли не в тот же день Пронякин запросил по радио: «На берег захотел, под суд?» Что же, риск, конечно, был — мог переломить танкер. Ну, а Пронякин разве не рисковал, посылая речные суда в море? Да еще куда, на Каспий! Там осенью так прижмет... А Зотов что? На плечах-то у Зотова ведь тоже голова, а не кочан капусты. В другое время, может, и подкинул бы эту идейку специалистам, пусть сами рассчитывают, как тут быть. Только нудное это дело — воевать с инструкциями. Они в каких верхах разрабатываются — пока эта машина раскрутится, сколько воды утечет! И еще — Пронякин. Зотову он в прошлый раз не понравился. На активе ждали его появления, будто выхода любимого артиста, разве что с мест не вскакивали, в ладоши не били, дамочки цветы не бросали. И правда, хороший мужик: не злой, не злопамятный. «Быль молодцу не в укор,— любил говорить,— если эта быль поросла пылью». И слово держал крепко. А начинать заново, как бы с нуля, когда не висят на тебе прошлые грешки да и слава тоже, всегда лучше. Это одно. А другое — легкий он. Тащить такое пароходство — ой как, наверное, тяжело! А он всегда с улыбочкой. Как бы дела ни складывались, все равно, бестия, улыбается. Верит крепко, что все будет как надо. И ты веришь. И вот на тебе: актив, и совсем другой Пронякин. Нету улыбочки, исчезла. Хоть и шутил, как прежде, да мрачно. Кто говорит, план не потянет, того с собой в новую пятилетку не возьмем. И так сказал, будто всех разом в воду окунул. И ясно стало, о чем он: завалим, мол, план. А год за собой и всю пятилетку потянет...

«Нет, тут ты просчет допустил,— убежденно решает Зотов, имея в виду Пронякина.— Сам веру потерял и в людях убил. Теперь мне вот судом грозишь. А сам-то риск любишь, знаешь ему цену. Все пароходство сейчас небось на ноги поднял, считать заставил: можно ли? И выгода какая? А выгода большая, товарищ Пронякин, большая. Если все суда подхватят, план с небольшим хвостиком можно сделать. А впереди еще два года. Не век же засухе быть, все наверстаем. Да и сообразил ты это, понял. Ведь не остановил же нас...»

— Слышишь, Никола, не остановил же он нас!—

восклицает вслух Зотов.— Судом пригрозил, а не остановил. Ай да Пронякин. Молодец, чертяка!

Рулевой, пожалуй, единственный человек на судне, не знавший о радиограмме, виновато улыбается, не понимая, кто грозил судом, кто кого должен был остановить и отчего капитан обнял его.

В четыре утра Зотов сменился с вахты, выпил на радостях рюмочку коньяку с лимоном, долго ворочался в постели, возбужденный. Около полудня к нему в каюту осторожно заглянул радист. Зотов проснулся, но не подал вида, поглядывал, как тот на цыпочках пересек каюту, переложил тихонько все бумаги на край стола, а на их место положил радиограмму, прижав ее часами с тяжелым браслетом.

Когда радист вышел, Зотов поднялся, придерживая рукой трусы с ослабевшей резинкой, тоже, как и радист, ступая осторожно на носки, подошел к столу.

Наискосок, едва не с одного угла листка в другой, бежали слова: «Прости горячку. Мысль верна. Спасибо. Поздравляю команду, желаю успешного завершения рейса. Пронякин». И чуть пониже: «Ура! Наша взяла!» Это, конечно, добавил от себя радист.

В эти самые минуты, когда Зотов читал радиограмму, Пронякин ждал катер, чтобы ехать на нефтебазу, посмотреть на загрузку танкера по зотовской схеме. Он стоял у распахнутого окна, смотрел задумчиво на реку, вода которой, серебрясь, плавилась в жарких лучах.

Катер «Янтарь», вспоров неподвижную гладь, подскочил к дебаркадеру и остановился, погасив за собой пенную дорожку. Пронякин, прищурившись, взглянул напоследок на солнце, подмигнул ему:

— Светишь, крутолобое? Ну, свети, свети. Мы еще посмотрим, кто кого.— И, взяв с вешалки фуражку с золотым крабом, поспешил на катер.

Михаил Сорокин

ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ

Реденький утренний дождик, который загнал Дмитрия Алексахина в ближайшую хату, был ему благословенным подарком. Вот уже несколько происшествий случались с Алексахиным — и все невдалеке от хаты Марьи Толокиной.

В свою очередь, довольна была и Марья. Алексахин — единственный дамский портной в Успенке, а Инке, дочери, пальто надо осеннее, да не какое-нибудь,— по городскому фасону, прямо из журнала, который Инка привезла от тетки из Одессы.

В другое время Алексахин, обожавший утренние моционы, не то что на дождь, а и на потоп не обратил бы внимания, а тут подставил ладонь, обнаружил на ней водяную пыль и поворотил к Толокиным. Он действовал расчетливо: Люба, жена, уехала с бригадой в поле, Сережка еще спит и во сне видит свой первый класс, в который он пойдет через месяц.

— Я цыганский барон! — стал напевать Алексахин и постучал щеколдой.

Дверь ему открыла Инка.

— Здрасте! — сказала она. Инка была необыкновенно хороша в этих куцых стареньких босоножках, в этом простеньком платьице, с этими зелеными, немного ленивыми глазами.

— Я в цыганку влюблен! — переключаясь на речитатив, сообщил Алексахин.— К вам можно?

— Входите, дядя Дима.

В доме Марья Толокина поставила ему новенький стул, принесенный из горницы. Алексахин с удовольствием осмотрелся, однако никого не заметил, кроме Инки, подпиравшей спиной притолоку.

— А на дворе дождь,— выручила Алексахина Инка и засмеялась. Он тоже засмеялся, а когда перестал смеяться, то увидел около себя бутылку «Столичной». Марья загружала стол отменной закуской. Инку она вытурила из хаты, чтобы не стесняла мужика, Алексахину же сказала:

— Невиданно, чтобы гость голодным зубом клацкал,— и сама сунула горлышко бутылки в зазвеневший стакан.

— Мне это против режима,— заволновавшись, хотел отказаться Алексахин. Впрочем, отступать ему было некуда. Он принял от Марьи стакан. Жидкость сквозь стекло отсвечивала тихо и грозно.— Точно так, Мария. Пусть Инесса в обед приносит матерьял. Сниму мерку.

— Ты уж по журналу-то, Ефимыч...

— Журналы года имею постоянно,— ответил Алексахин.

Он поднял стакан, выпил, оставив для приличия толику на донышке. Марья подвинула ему помидоры, яйца, морковный пирог. Закусив, он вытер руки о полотенце, стал прощаться.

— Значит, пусть приходит,— повторил он.— В обед. Раньше я занят.

Несколько затуманенный, возвращался Алексахин домой. Проскочила мимо председательская «Волга». Председатель полоснул его сумрачным взглядом, однако кивнул.

Тоже чудак! В прошлом году орденом наградили, все у него в колхозе, как в моторе. А какую узость допустил! Довольно, мол, шляться по вечерам да под занавески засматривать. Это он ему, Дмитрию Алексахину, такую бестактность в глаза бросил! Люба твоя, говорит, в передовых рядах идет. Стыдно! Другие тоже отслужили и теперь как люди: на тракторах сидят, на фермах работают. А ты иголкой стране рапортовать собираешься? Вытурим из колхоза по тунеядству!

— На Луну, что ль? — невинно уточнил Алексахин.

Председателя окатило злостью. Прикинул, наверное, в уме, куда он, в самом деле, может загнать тунеядца Алексахина? И, ничего такого не подобрав, лишь пообещал:

— На Луну — это для тебя близко. Можешь не сомневаться, я тебе райское место отыщу.

Алексахин сдаваться не собирался и сказал:

— Меня в армии, как талант обнаружился, от строевой подготовки освобождали.

— Хо, талант! — дернул головой председатель.— Тоже талант.

На Луну Алексахина не послали и на трактор не посадили. Поковырялся месяц в бригаде, а потом бабы защитили. Шутка сказать, дамский портной!

Председатель оставил Алексахина в покое, хотя из принципа по-прежнему обшивать родню возит в город.

...Дома Сережка сказал:

— Пап, к тебе дядька Федоринчук приходил. Пальто спрашивал.

— Умойся,— махнул рукой Алексахин.

Этот Федоринчук, старая кочерга, надоел ему выше горла. Девки у него зрели, зрели, да и перезрели. Бросился колхозный бригадир обшивать-наряжать обеих чад. Первая, Даша, сама явилась к Алексахину. Даша по фигуре статная ходит, высоко откинув голову, однако лицом в батьку: брови встык у переносицы, на подбородке вдавлинка — признак крутой натуры. А на поверку Даша застенчивая. Пока просила сшить костюм с юбочкой, чуть платок не изорвала на лоскуты от робости и смущения.

На Алексахина в ту пору накатило. Талант у него рвался из упряжки. Он осторожно провел ладонью по узкой Дашиной спине, легонько определил талию, отодвинулся, подумал и сказал:

— Я тебе, Даша, сделаю костюм на полнейшем вдохновении и личных возможностях... Наденешь обнову — от женихов отбоя не будет. Я из тебя, Даша, портрет Неизвестной сделаю.— И Алексахин величавым жестом указал на картину, которую он привез из города Волгограда, куда ездил повышать квалификацию.

Взял он с Даши недорого. Люба, ненавидевшая его ремесло, но обожавшая минуты, когда он передавал ей заработок, накричала: «За что же ты шил, дьявол рыжий? Чтоб девку пощупать?.. Или я у тебя кривобокая какая!»

Кипятилась Люба неистово, прямо сказать, норовила ошпарить обидными словами с головы до пят. Но Алексахин все перенес и вдохновению своему остался по-солдатски верен.

Предсказание его Даше насчет женихов сбылось отчасти. Стал провожать Дашу Василий Криванчиков, тихий, не уверенный в правоте своих поступков парень, ученик на молочнотоварной ферме. Он водил ее к дому под руку и вежливо здоровался с Федоринчуком, хоть и виделся с ним за день раз двадцать.

Сердитый дядька Федоринчук, если при нем поругивали Алексахина, обыкновенно помалкивал. Спросили бы его, почему, ответил бы: «Нежный. Скрипач. Ему разве на уборке? Ему на свадьбе пиликать — заместо Никиты Журавля. Глух стал Никита: просят польку, а он тебе барыню».

И вот этот чертов рычала привел за руку еще и Татьяну, вторую свою дочь: «Шей пальто, Алексахин! Да такое, чтобы... Сам знаешь!» Чего же не знать. Учетчик Вася Криванчиков зажег в душе бригадира лучезарные надежды. Правда, то ли вторая его, Татьяна, не повлияла на талант Алексахина, то ли еще что, сшил он ей пальто добросовестно, но без должного подъема и цену заломил, как в первоклассном дамском ателье. При этом не намерен был уступать ни копейки. Федоринчук не упустит случая поторговаться. Потому, видно, и пришел за обновой сам, без дочери...

Готовые вещи Алексахин держал в старом гардеробе, выставленном в сенцы. Тут был свой психологический расчет. Пока он ходит, без спешки извлекает пошиву, у заказчика достаточно времени проникнуться должным уважением к его профессии.

Алексахин принес пальто, сшитое федоринчуковой дочери Татьяне, и стал напяливать пальто на себя — обмяться.

Был такой ритуал. В готовом пальто он выходил во двор, сгибался, приседал, прислушивался: если шов слабый, то себя сразу покажет. Ритуал был обязательный, однако хранился в тайне. Появляясь во дворе, Алексахин закрывал калитку на засов.

Вернувшись в дом, он прошелся по комнате, помахивая руками, будто ветряк. Со стены, с картины на него смотрела своими прекрасными, надменными глазами Неизвестная. Сильно уязвляла Алексахина ее красота, ее выпуклые глаза, ледок во взгляде. «Привез мадаму!» — ругалась Люба.— При ней раздеваться стыдно. Подменили тебя в Волгограде. И прежде был ве-

тер, возле девок терся, а теперь еще и на стену налепил».

— Тебе что! — сказал Алексахин, обращаясь к Неизвестной. — А мне еще с Федоринчуком торговаться...

Вопреки его опасениям, дядька Федоринчук полез за кошельком без дальних разговоров.

— Одобряю,— густо сказал он своим бригадирским голосом, даже стекло звякнуло — привык объясняться без микрофона с публикой.

«Мало я с него положил,— подумалось в это время Алексахину.— Пуговицы мои, и бортовка как-нибудь ценится». Он уже хотел деликатно намекнуть доброму с утра Федоринчуку, как вдруг заметил: из толстых, плохо гнущихся пальцев бригадира выскользнула и бесшумно спланировала на пол пятерка.

— Получай,—сказал Федоринчук. Стекло снова отозвалось на его голос.— Одобряю... — Он похлопал своей тяжелой, как дубовый валек, ладонью по плечу Алексахина: — Умеешь!

Алексахин в ответ тоже хлопнул его где-то посередине спины:

— Зато председатель не одобряет, сверлит дрелью при встречах.

— Ты меня правильно пойми,— уточнил Федоринчук, вешая на руку обернутое простыней пальто.— Я в одном с председателем согласный. Негоже единолично. Открыть мастерскую, а тебя главным, ну вроде как заведующим...

Проводив его, Алексахин двумя пальцами поднял трофейную пятерку и, подумав, сунул ее в отдельный карман.

Он ждал Инку Толокину. То есть не поймите превратно! Дмитрий Алексахин не был никогда ветреником каким-нибудь. Нет, же! Не считайте его, ради бога, таким! Большое село Успенка, а настоящий портной один — Дмитрий Ефимович Алексахин.

На курсах в Волгограде учили: у портного, что у художника,— глаз зоркий. А как художник, ответьте, пожалуйста, не преклонит свою голову перед совершенством фигуры? Тоже и Алексахин — преклонял.

Хлопнула калитка. Он метнулся к окну и даже крякнул с досады. С необъятным узлом держала путь к крыльцу сама Марья Толокина. Следом спешила Инка.

— Ля-ля-а!— мысленно пропел из оперетты разочарованный Алексахин.— Жизнь легка, жизнь легка-а!..

Марья дальше порога двинуться не рискнула и приглашение проходить в хоромы деликатно отвергла:

— Чего пол-то следить? — и подтолкнула Инку:— Постарайся, Ефимыч, по журналу-то...

— Мария,— проговорил Алексахин.— Ты все-таки садись. Дневальных не требуется. Не вызывай во мне поспешности.— После этого он заглянул Инке под густые ресницы:— Так что мы выбираем?

Инка раскрыла журнал, указала и быстро скосила глаза на Алексахина. Ей, наверное, показалось, что выбрала она такой невероятно сложный фасон, что он сейчас обидится, прогонит ее, откажется шить, и они с мамой потащут свой узлище через всю длинную улицу, которая окажется прямо-таки бесконечной. И все будут смотреть и смеяться: Инка свой заказ назад потащила! Такой фасон определила — ни один мастер не угодит.

Алексахин стал думать. Инкины волосы свесились над журналом.

— Убери патлы,—тихо велела Марья.— Волхова неразумная.

Инка сопнула по-детски носом и отстранилась. Алексахин тоже выпрямился, достал записную книжку, карандаш, клеенчатый сантиметр. Момент наступил ответственный.

— Сюда,— сказал он и, взяв ее за холодные пальцы, осторожно отвел на середину комнаты. Инка стояла, прижав по-гимнастически ладони к бедрам — еще не лебедь, еще все в ней торчком, никакой плавности.

— Дылда выросла!— снова проговорила Марья, подавляя счастливые нотки.—Причесаться не могла... Ты уж, Ефимыч, по журналу чтоб...

Алексахин велел подать материю и ловким взмахом набросил ее Инке спереди, потом отошел, прищурился:

— Все. Насчет примерки сообщу.

Инка облегченно засмеялась. А Марья пригласила:

— Заглядывай в перерывах, Ефимыч!

Оставшись один, Алексахин выпил в сенцах квасу. Некоторый шум в голове после Марьиного угощения исчез, и он приободрился. Раскинул материю на столе, разгладил ее ладонями, помял, даже понюхал, словно бы привыкая к ней, прилюбливаясь. Затем положил сверху

узкий металлический метр, холодивший руки, как штурвал неведомого корабля, и принялся неторопливо, с наслаждением подтачивать цветной мелок. Портной в момент раскроя — тот же минер: ошибается один раз.

К вечеру он скатал в рулон куски материи. Завтра можно сметывать. А на сегодня хватит.

Забегал Сережка. Алексахин накормил его, сел на ступеньки и закурил. Вернулась с поля Люба, накинулась было, но узнала, что Сережка обедал, заметила на столе рулон с кроем, а на машинке деньги от Федоринчука и успокоилась, стала хлопотать по хозяйству.

— Зеркало надо купить,— напомнил Алексахин, угадывая подходящее к случаю Любино расположение духа.— Настоящее, от пола до потолка. Человек должен в рост себя видеть.

— Купи. Кто тебе не дает?

— В городе надо,— сказал он, не чуя подвоха.— У нас же не бывает.

— Вот и покупал бы в городе,—усмехнулась Люба.— А то нашел, чего оттуда тащить. Эту!..

Алексахин, бросив окурок, поднялся с крыльца и сказал:

— Пройдусь.

— Иди!— с тихой обидой сказала Люба.— Иди уж на свои моционы. Иди. Мне управиться надо. Спокойней без тебя. Привыкла!

— Разве я не обеспечиваю? — спросил он надменно.

— И то,— согласилась Люба с прежней тихой ровной внутренней обидой, которая Алексахина пугала больше крика. —В глаза бабам смотреть не хочется. Посмеиваются! Тебе, мол, что, Люба. У тебя-то мужик на особенном положении. А того не прояснишь им, дурам, что на мне из-за этого твоего положения: и сена самой запаси, и в бригаду лети, и за Сережкой гляди. А у мужа что? Он в городе таланту обучился!..

— Чужие слова повторяешь,— сдерживая себя, сказал Алексахин.

Удаляясь от родной калитки, он чувствовал правоту своих слов. И все-таки что-то мешало ему сегодня оставаться самим собой. Встречая односельчан, он непроизвольно прибавлял шаг, делал озабоченное лицо. «Рановато я...» — определил причину Алексахин, стыдясь этой своей мысли.

Проулками выбрался он к речке, приостановился было возле песчаной отмели. Однако и тут все было по-иному: у самой воды пахло пыльными бурьянами, парным духом прошедшего по косогору стада. Из зеленой ряски выдралась лягушка, уставилась, раздувая горло.

— Тьфу! — сказал Алексахин и запустил в лягушку камешек. «Не ценят меня! — горько заключил он.— Валом валят с заказами, а — не ценят... Которые от честного непонимания, а которые в зависти. Ну, а Люба-то зачем?.. Зря не взял ее с собой в город. Сказывается теперь разрыв в уровнях, в этом загвоздка. Оперетку бы вместе посмотрели, на пароходе прокатились и все такое остальное».

Было уже к сумеркам, и звуки из села доносились отдельно — каждый сам по себе, словно пустые изнутри, гулкие. У Алексахина давно першило в горле и хотелось пива. Дальнейший маршрут наконец определился.

... После чайной Алексахин окунулся в густейшие сумерки.

— Не ценят! — продолжал он распаляться.— Все... не ценят. Марья Толокина, эта понимает. Инка вот понимает тоже. Я ей такое демисезон сошью! Потому что могу... А Люба? Ведь все до копейки— на, бери, распоряжайся по своему разумению!.. Нет, все дело в уровнях, точно!

Тут он вспомнил о пяти рублях, лежащих в отдельном кармане брюк, и вовсе разошелся. А что? Он разве виноват, что Федоринчук обронил пятерку? За это он не ответственный. И прогулять бы сейчас мог. Так не прогулял же! «Обрадуется старина»,— подумал он, распираемый собственным благородством. Ноги сами несли его теперь к Федоринчуку. Бригадир ужинал. Положил ложку, пошире раскрыл оконные створки.

— Я тебя слушаю,— сказал.

— Когда ты рассчитывался,— напомнил Алексахин,— то ничего у нас не оставил?

— Оставил. Да спохватился... Любе спасибо, вернула пропажу, на слово поверила.

— Ну, бувайте,— произнес несколько ошеломленный Алексахин.— Я ведь именно по этому вопросу.

Дома Сережка что-то бормотал во сне, а Люба дышала неслышно, видно, ждала. Алексахин снял рубашку, разулся, достал Федоринчукову пятерку, бросил на

край стола. Подождал: может, Люба заговорит первой? Она молчала. Тогда он прошлепал по привычке на крыльцо, попытался снова найти утерянную ниточку своих мыслей, распалять себя «уровнями». Желанного успокоения не было... Когда ложился в кровать, Люба спросила:

— Куда носило-то босиком?

— Курить,— сказал Алексахин.— На вольный воздух.

Он еще помолчал, вспоминая что-то последнее и важное. Потом, в порыве, признался:

— Слышишь, Люба. А «Неизвестную» я завтра уберу. Твоя правда.

— Сдурел!— шепотом отозвалась Люба.— Пусть... Хорошая она. Лупоглазая!

Виктор Суглобов

ВСЕ ОТ ТЕБЯ МОИ СТРАДАНИЯ

В пять часов вечера Слава Самохин дописал последнюю строчку и с удовольствием закрыл тоненькую папку «дела». «Дело» совершенно плевое, кончится наверняка миром до суда, а пришлось потратить на него целый день: ехать на место, опрашивать соседей...

В комнату не слышно вошел Коля Бусыгин, исполнявший в последнее время обязанности начальника оперативного отдела вместо болевшего без конца Антипина. Коля спешил и не тратил времени на дипломатию.

— Будь другом, Слава! Прокатись в Озерки, привези мне одну красну девицу: ей в город срочно надо.

— А две не надо?.. С какой стати?! Я тебе что?.. У тебя отдел, свои люди.

— Все в разгоне, Слава. Я бы сам слетал, да у тещи день рождения: жена не поверит, что некого было послать,—демонстрация, скажет, и больше ничего.— Коля искренне огорчился, опустился на стул, задумался.— У меня Толстых один остался, но ты же знаешь, как охоч он до женского пола. А девчонка, честно говоря, что надо.— Коля, как мандат при голосовании, поднял перед собой фотографию.— Видал, какая пава!

У Славы сердце остановилось и воздух застрял в горле, потому что на фотографии была Таня Бакланова, его бывшая одноклассница, несколько неестественно снятая «под артистку».

Коля обрадовался произведенному эффекту.

— Ты успеешь на последний автобус... Она тебя встретит, ты выйдешь, возьмешь ее за белы рученьки — и назад.

— «Она тебя встретит...» — передразнил его Слава:

им овладело какое-то странное возбуждение.— Встретит...

— Да нет...— Коля почуял, что дело слажено.— Она точно тебя встретит. Сейчас объясню... В общем, она озерская, работала в Новосибирске продавщицей. Их там накрыли во главе с директором: кого спрятали до суда, кого под расписку. Нашу красавицу тоже отпустили, потом хватились на допрос, а ее и след простыл. Понятно, запросили нас... Я позвонил в сельсовет — тут, говорят, который день мать дожидается. Мать-то, оказывается, как раз перед этим отпросилась и к ней поехала. Ну вот, эта теперь сидит и только выходит автобус встречать...

Слава взял фотографию, посмотрел на нее и положил в карман.

Таня жила в том же доме, где почта, с обратной стороны, но остановка была рядом, и Таня могла первой увидеть его хоть с остановки, хоть из окна своего дома. А Слава этого не хотел: специально забегал домой переодеться в штатское. Собрался было в библиотеку к Наде предупредить, что может не успеть проводить ее после работы, но почему-то передумал. Что-то задержало. Ну, не было такого, чтоб вот надо забежать, и все! Это вышло совсем неожиданно. Он даже не ощутил страха потерять ее — такую красивую, стройную, рассудительную. Хотя он давно понял, что лучшей жены ему не найти. Она все знала: как правильно питаться, одеваться, лечить простуды или ушибы. При этом всегда мила, весела: редко что могло испортить ей настроение. Ее не смущало, что Слава милиционер, тем более что сейчас у них и форма приличная и содержание. Слава и сам понимал, что форма новая — это хорошо, зарплату добавили — тоже хорошо, но когда Надя говорила об этом, что-то в том было нехорошее... Минуя знакомые очертания бань и пригонов, шел по едва приметной тропинке и думал об истории появления в Озерках Таниного отца. Когда Слава приехал сюда учиться в девятом классе, его уже не было в живых: умер от старых ран,— но историю его появления здесь знал каждый мальчишка, и каждый повторял ее при случае, как легенду, с небольшими художественными отклонениями. Но какова бы ни была доля неправды в этих

рассказах, одно было определенно — это был самый уважаемый человек в деревне. Говорили, что он девять лет прослужил на флоте, был разведчиком, участвовал во всяких десантах, подрывался на минах, тонул, много всякого другого с ним случалось за долгие годы морской службы.

Начальник районного узла связи мичман запаса Трошин так сказал о нем председателю колхоза Ивашкину, которого, говорят, не любил:

— Привез тебе нового заведующего в отделение связи. Что этот парень повидал, не дай бог, чтоб тебе приснилось... Я револьвер должен оставить, сам понимаешь, деньги, ценности, так что тут с ним поосторожнее.

Ему немалых усилий, наверное, стоило держать в себе насмешливую улыбку, когда лицо председателя привычно загорелось от гнева, а потом стало каменно-серым.

— Нарочно мне шлешь сюда!.. — шипел Ивашкин.

Трошин пояснил:

— Хороший парень! Боевой, дисциплинированный. Ну, а дальше кто его знает — в душу ведь не залезешь... Поработает — разберешься.

...Широко расставив ноги, в тельняшке с засученными рукавами, стоял новый заведующий у низкой городьбы своего казенного дома и смотрел по сторонам — на тихую, изнывающую от зноя деревню, на широкий плес, уходивший рукавом в озеро, на матово-зеленую кромку бора по ту сторону воды. Оседала поднятая трошинской полуторкой пыль, и в этой пыли гнала гусей к озеру молодая, красивая женщина, похожая на индуску. Красавицу эту, вдову из кубанских эвакуированных, Ивашкин еще в войну привез из города вместо умершей в родах учетчицы. Она долго и удивленно взирала на непривычную стать невесть откуда взявшегося здесь матроса, но ничего не сказала и не спросила.

В жилой и служебной половинах почтового дома новый заведующий навел флотский порядок и с видимым удовольствием его поддерживал. И, как со временем убедились деревенские, он каждый день свой воспринимал с удовольствием: жара или холод, грязь или пыль — все ему по душе, и все он улыбается. «Ничего,— говорил он мужикам, приходившим пожаловаться на какую-нибудь стихию,— была бы голова цела».

Вечером лишь иногда можно было заметить на его

лице едва уловимую тень — то ли усталости, то ли сожаления о прожитом дне. В такое обычно тихое закатное время он надевал флотское, садился с баяном во дворе, и в чистом, отстоявшемся воздухе широко растекались плавные звуки вальса «Амурские волны» или «На сопках Маньчжурии». Бабы на огородах поднимали головы от гряд, замирали и прислушивались, потому что играл он очень душевно.

Каково же было удивление для всей деревни, когда черноволосая учетчица пришла однажды на почту и при толпившемся там народе, отдышавшись, настойчиво спросила:

— Почтарькой меня возьмете?

Отделению требовалась такая единица, но плата была так мала, что никто не соглашался, и заведующий носил почту сам.

На другой день новая «почтарька» уже бегала по деревне с тяжелой дерматиновой сумкой и на все вопросы отвечала: «Похудеть хочу!» А через месяц она насовсем пришла в жилую половину почтового дома и на завистливые смешки мужиков: «Не страшно ли жить с таким бугаем» — смеясь, отвечала: «Живу, между прочим, как за генералом».

...Сугубо сухопутная сибирская деревня глубоко уважала бывшего матроса, и это уважение переносило на весь его дом и семью. Слава не помнил, чтобы кто-то где-то говорил о Тане плохо. И Таня жила легко, раскованно и была точно из другого мира. Или так казалось, потому что она всем нравилась.

Старую, низкую городьбу давно не подправляли. Солома на пригоне сгнила или провалилась, и голые, иссохшиеся жерди на крыше неровно торчали в разные стороны. Ничего тут не изменилось, только все постарело и выглядело почти убогим. Часто потом бывая в Озерках, Слава ни разу не подходил сюда с этой стороны. Да вот оказался нечаянно, и защемило под сердцем. Сколько вечеров простоял он вот тут за кустами талины, глядя на окна, ни на что не надеясь и думая только о том, что там за окнами, она.

Темные окна привычно смотрели на Славу и он чувствовал, что сейчас она там, хотя в доме и нет света: на-

мерзлась, наверное, на остановке, а теперь сидит у окна, которое выходит на улицу, и ждет, выглядывает автобус.

Слава перешагнул ограду, осторожно потянув за веревочку, поднял щеколду и неслышно вошел в сени. Постучал и, не дожидаясь ответа, дернул дверь на себя. В прихожей, освещенной сумеречным холодным светом, исходившим от снега, он увидел Таню. Она сидела на лавке у стола и, похоже, дремала, положив голову на руки.

— Здрасьте,— сказал Слава неестественным голосом, так, что самому противно стало.

Таня подняла голову, вглядываясь, и, ничуть не удивившись, проговорила:

— А-а, Славка... Ты за мной?

Слава молчал. Он чувствовал себя ужасно растерянным.

— Спасибо, Славка,— сказала Таня, прямо глядя ему в глаза.— Спасибо, что ты приехал, а не кто-то другой.

Слава хотел возразить, что он тут ни при чем, что его послали, так как больше некого было, но вспомнил, что это неправда, не чистая правда, а врать что-то совсем не хотелось. Вообще ничего не хотелось. И к Тане он ничего не испытывал: ни неприязни, ни радости, что видит ее. Он сидел и думал, что в жизни есть вещи непонятные, нелогичные. Вот он, Слава, таскал в детстве огурцы с чужих грядок, подсолнухи с колхозного поля, даже как-то рыбу из чужих сетей. А чтобы Таня украла что-нибудь — он этого представить не мог и теперь не представлял. Не укладывалось это в голове, хотя по роду службы своей многое уже научился укладывать и раскладывать без особых эмоций. Но по роду службы он знал и другое — иного наивного человека можно так опутать, что он и знать не будет, что давно под статьей ходит.

— Удавиться хотела,— продолжала Таня,— да мать жалко: одна останется на всем свете... Хотя все равно жизнь уже кончилась... и для нее тоже, как только все всё узнают... Господи! — вздохнула она.— Какая я все-таки дура! Представляешь? Не захотела извиниться перед каким-то сопливым студентом. А он оказался практикантом-юристом. Через месяц приходит с официальной проверкой. Директорша наша и так и сяк, а у него уже все написано: когда, кому, сколько и почем. Так она меня чуть не убила, директорша. «Дура, говорит,

ну, нагрубила, ладно — ну, извинись! Язык не отсохнет».

«Обе вы дуры!» — хотел сказать Слава, но промолчал. Но обида поднималась в душе — и он не вытерпел.

— По-вашему, мы только тем и занимаемся, что сводим личные счеты?

— Нет, конечно,— отозвалась Таня.— Ты извини, Слава, я не хотела тебя задеть. Но... но вы тоже люди — разные, конечно. И если случай представится...

— Никто бы не воровал, так нас вообще бы не было,— повторил Слава свою любимую фразу. Однажды случайно ее подслушал начальник райотдела и с видимым подвохом спросил: «Ты любишь свою работу, Самохин?» — он был со всеми на «ты». «Люблю»,— ответил Слава несколько растерянно, так как почуял подвох. «А что бы ты делал, если бы никто не воровал?» Слава задумался, первый раз, кажется, и сам же нашел ответ: «Я бы служил в армии». Начальник хмыкнул и молча удалился к себе.

А Таня слово в слово повторила то, что он слышал тысячу раз на допросах.

— А кто у нас не ворует?.. Кому красть нечего?!

Слава не стал возражать или объяснять, что это обычное оправдание. Он лишь напомнил, зачем приехал.

— Ты бы собиралась, Таня... Автобус придет — мы поедем.

Таня заплакала.

— Слава,— говорила она, всхлипывая,— побудь до утра, что тебе стоит. Я приехала к маме, а ее нет: она ко мне уехала. Она должна вернуться, она догадывается, что я дома... Вдруг завтра приедет первым автобусом... Я должна ее увидеть, понимаешь?..

— Я на службе, Таня,— мягко объяснил Слава.

— Ты мне простить не можешь... — Голос у Тани зазвенел от злости.—Ты ведь кружил когда-то около этого дома, неровно дышал на меня...

Это была истерика. Таня, все распаляясь, выхватывала из памяти самые обидные, самые неприятные моменты его неловкого ухаживания, стараясь побольнее задеть Славу, он же ее почти не слушал: давно научился в таких случаях автоматически отключать сознание, пока человек не устанет. Он понимал, что за три дня сидения в этих стенах у Тани много всего накопилось и выговорится она не скоро, но время еще было, может быть,

даже больше, чем нужно, а так как ускорить он ничего не мог, то ему другого и не оставалось, кроме как ждать.

Но сидеть у порога на голбчике ему надоело. Слава поднялся и, не глядя на Таню, подошел к другому окну у нее за спиной. Из окна была видна часть улицы с парадным крыльцом сельсовета, освещенная электрической лампочкой в плафоне за проволочной сеткой, какие вешают в скотных дворах. На крыльце, на его коротких перилах сидели долговязый, патлатый мальчишка и невысокая, но статная девчонка в болоньевой куртке. Мальчишка что-то рассказывал, а девчонка болтала ногами и, похоже, совсем не слушала.

Слава смотрел на знакомую, убеленную снегом улицу, крыльцо, на котором он не раз стоял, поджидая автобус и поглядывая на Танины окна, и отчего-то невыносимо больно защемило сердце. От обиды, что ли, щемило — оттого, что в природе все ладно и объяснимо, а у них, у людей, так нескладно и необъяснимо. Любой первоклассник объяснит, почему, например, выпал снег, но никто не объяснит, почему эта женщина, которая сейчас изо всех сил старается причинить ему боль, много лет приносила гораздо больше страдания одним своим существованием. И ни логика, ни знание психологии — никакие знания вообще не спасали от этого.

— Таня! — дождавшись паузы, проговорил Слава.— Я здесь почти случайно... Я не знаю, зачем я согласился... Но я не хочу тебе зла сейчас, и ты меня не разозлишь.

Таня запнулась, умолкла, и тишина снова заняла свое место между ними. Таня нарушила ее.

— Прости... Я третий день почти сижу вот так, не сходя, и только тем и жива, что на десять рядов вспоминаю детство. Когда я была маленькой...

Когда Таня была еще совсем маленькой, она любила просыпаться рано. Бывало, откроет глаза ни с того ни с сего, увидит синюю ночь в серебристом промерзшем окне и тут же закроет глаза. Мать размеренно и шумно хлопочет на кухне, а Таня по звукам угадывает каждое ее движение. Вот она наливает воду в чугун. Последняя струйка сбегает со стенок ведра, а чугун не полон, и мать пойдет сейчас в сени и будет пустым ведром разбивать лед в кадке с водой. Потом она дольет чугун до краев, с глухим пристукиванием задвинет его в печь и сядет чистить картошку.

В доме становится тихо, только неторопливо хрустит под ножом ядреная картошка и, словно фасолевые стручки лопаются, пострелнвают в печи. Теперь хорошо слышно, как в больших мягких валенках ходит за стенкой отец — переносит посылки в сани. Хитрый и злой Карька уже запряжен. Зная свою длинную и «бродную» дорогу, он фыркает и сердито звенит удилами. Но отца он уважает, а может, боится и ведет себя смирно, стоит там, где его оставили посреди двора, не лезет ни к сену, ни к городьбе, которую страшно любит грызть, стоит и ждет, когда отец напьется чаю с горячей пресной лепешкой, выйдет вместе с матерью во двор в тяжелом, с собачьим воротником тулупе, рухнет в задок саней, сунет под себя кнут, чтобы не потерять, и чистым, прогретым голосом скажет: «Вперед, Карька. Полный вперед!»

Мать после этого уйдет доить корову, и в доме станет еще тише. Таня тогда посильнее зажмурит глаза, вытянется, как может, на своей широкой взрослой постели под стеганым одеялом, так что перестанет ощущать свое тело, закружится, закружится вместе с кроватью и провалится в сон, полный видений о прекрасном принце, спасающем ее от неволи злого Кощея. Принц будет все время разный, и нельзя будет его потом вспомнить, а Кощей один и тот же, очень похожий на объездчика дядьку Степана.

На самом интересном месте она проснется неизвестно отчего, вспомнит, что к возвращению отца надо сделать уроки и покормить отрубями синичек, которые уже, наверное, слетелись на бревна возле пригона. Можно будет еще сходить на пруд, покататься на санках с крутого берега, но лучше дома подождать отца. Он собирался за соломой и обещал Тане взять ее с собой, чтоб она сама правила Карькой.

Ах, как хорошо ехать по полю, по едва накатанной санной дороге! Все вокруг белое, и Карька от ушей до копыт весь в белом куржаке. Таня в шубейке, в теплых варежках стоит в передке и изо всех сил дергает вожжи, но Карька не слушается и плетется такой ленивой рысью, что и пешком обогнать можно. Тогда отец делает вид, будто хочет достать из-под себя кнут, и Карька начинает вскидывать задом, переходя на галоп.

Но и галоп его не лучше рыси, только оглоблями стучит громче да задом своим так противно мотает, словно

хочет сказать: «Ладно-ладно, я побегу, но удовольствия вам особого не доставлю».

А Тане кажется, что мчатся они невиданно быстро. И кажется, мчанью этому не будет конца. Потому что так хорошо, так все хорошо: и снег, и поле, и мороз, и папка, и мамка, и учительница, и хитрюга Карька — все хорошо!.. И такой восторг охватывает Таню, что она вдруг приседает, прижимает руки к груди и начинает визжать. Карька не выдерживает и резко устремляется вперед, да так, что вот-вот вырвется из оглобель.

Отец, хохоча, обнимает Таню, перехватывает вожжи и пытается сдержать Карьку, как бы не запалился. Но не так легко теперь это сделать. Карька весь в воспитателей своих — колхозных конюхов — ленивых-преленивых, которых сам Ивашкин, бывало, на сенокосе не может раскачать ни угрозами, ни посулами и которые ни с того ни с сего вдруг как подхватятся перед самым обедом валить прокос за прокосом — и уж ни бригадир, ни приехавшая со стана всегда желанная повариха не могут их остановить.

Таня училась во вторую смену. По улице, залитой белесыми сумерками, она торопилась домой. Дома, как перед праздником,— светло, жарко, пряно и густо пахнет свежими самодельными дрожжами. Таня любит этот запах в доме. А если подойти к самому столу, на котором сушатся дрожжи, и подышать подольше и поглубже, то голова начинает сладко-сладко кружиться. Но мать ругала за это: «Ишь, пьяница растет».

Как она любила ужинать с отцом и матерью! Как она их любила...

— Боже мой! Неужели все это было?.. Неужели когда-то я любила вставать рано и радоваться, что так рано начинается новый день в жизни... Какая глупая и счастливая была пора.— Таня повернулась к окну, потерлась лбом о чуть запотевшее стекло.— Какой снег выпал... настоящий снег.

А за окном уже ночь, небо в непроглядных тучах, сквозь них едва-едва просвечивает луна. Но все видно: улицу, дома, пристройки — они лишь слегка размыты первозданной белизной снега.

Издалека чуть слышно донесся вой автомобильного мотора. Он все возрастал, и к нему понемногу примешивалось характерное дребезжание старого автобуса. Таня

отодвинулась от окна, встала и в нерешительности глядела на Славу. Он сказал, не оборачиваясь:

— Сиди, Таня, завтра поедем.

Автобус проехал, развернулся и остановился почти у Таниных окон. Откуда-то появились обрадованные пассажиры и торопливо полезли внутрь через плохо открытые двери. Последней впорхнула девчонка в болоньевой куртке, махнув на прощание долговязому парнишке. Парнишка тоже ей махнул и тут же сунул руки в карманы, всем своим видом выражая невозмутимость. Когда автобус тронулся, он долго провожал его взглядом, потом повернулся и медленно пошел в другую сторону.

— Ты, наверное, есть хочешь? — спросила Таня.

— Не отказался бы.

— Я картошки пожарю...— Она задернула занавески, включила свет и вытащила из-под лавки ведро с картошкой.— А ты пока печь растопи.

Слава мельком огляделся, избегая прямо смотреть на Таню. Ничего тут не изменилось за много лет — все так же просто, чисто и уютно. А он с детства любил этот деревенский уют с большой, но аккуратно сбитой глиняной печью в прихожей и приткнутой сбоку маленькой печкой с плитой: любой ребенок в доме может легко ее растопить. Крашеные лавки, столы, шкафы — все это было привычно ему и казалось красивым своей целесообразностью.

Он нашел топор с поломанным топорищем, наколол щепы, и через несколько минут печь уже гудела и стреляла.

Печная дверца и плита быстро нагрелись, и от них потекло живое тепло. Слава придвинул и свалил набок небольшую скамейку, сел на нее и стал смотреть на огонь за раскалившейся, малиновой дверцей, беспрестанно вспыхивавшей маленькими яркими точечками: наверно, это сгорали от прикосновения с нею невидимые пылинки.

Присев на корточки у ведра, Таня как-то очень по-домашнему и очень грациозно чистила картошку. Слава искоса поглядывал на нее, и снова щемило сердце от тихой обиды, что она не жена его и никогда ею не будет — теперь уж наверняка. Он вздохнул и уныло спросил:

— Как ты попала в эту систему?

— В торговлю, что ли? — не отрываясь от дела, переспросила Таня.

— Нет... То есть... Ну да, в торговлю — из-под прилавка.

— Постепенно...— Таня усмехнулась.— Хотя мы и не занимались этим — продавцы, я имею в виду... Мы должны были только помалкивать, в случае чего дружно и убедительно, цифрами подтверждать, что дефектура была реализована как положено...

— Пересортицей баловались...

— Тоже... Ну, в общем, директорша занималась всей этой бухгалтерией, сводила там на бумаге.

— Но и вы с этого имели?

— ...Да,— не сразу ответила Таня.

— Много?

— Это уже допрос?

— Нет, конечно... Просто любопытство.

— Ну... Кому как покажется... Директорша говорит, достаточно, чтобы всех нас отправить в «женский монастырь», она так называет...

— Понятно,— сказал Слава.

Таня помыла картошку, принялась ее резать, одновременно рассказывая:

— Я поступила в театральное, ты знаешь, но меня отсеяли на первом курсе. Домой не поехала: стыдно. Пошла в торговлю из-за прописки. Можно было на стройку — там тоже прописывали... Но не пошла — испугалась грязной работы. Ну, и потом матери помогала: конверты, марки продавала, билеты лотерейные — дело вроде знакомое... Думала, год какой-нибудь... А посмотрела, как люди живут, как одеваются, и пошло: то надо, другое надо. Связи нужны — блат попросту. Ну и деньги тоже, без денег и по блату не купишь...— Таня говорила неторопливо, с остановками и, кажется, хотела, чтобы Слава перебил ее, спросил, чтобы хоть как-то выразил свое отношение. Но Слава молчал и почти не слушал ее исповедь, мало чем отличавшуюся от многих уже слышанных им. Он уже знал примерно, что будет дальше, и знал, что независимо от деталей кончится тем, что все будут виноваты, кроме нее.— ...Позалезла в долги,— продолжала Таня,— у матери просить стыдно. Думаю, ладно, еще год: прибарахлюсь немного, с долгами рассчитаюсь. Перешла в другой магазин, переманила начальница: пре-

мии обещала ежеквартально. Ну, я поняла скоро, что это за премии. Да, думаю, ладно, до лета как-нибудь дотяну, а там уволюсь...

Слава угрюмо наблюдал, как Таня налила масла в сковородку, навалила туда картошку, посолила, помешала ее. Он смотрел и думал: почему она стала такой? Как она к этому пришла? Его давно уже мучил вопрос: почему они к этому приходят? Часто неглупые, ничем от природы не обиженные люди?! Но думать над этим всегда мешала конкретность очередного дела: он должен был выявить конкретные причины и связи, которых всегда невероятное множество. И может быть, потому, что сейчас этой задачи не стояло, он начал кое-что понимать.

Картошка быстро изжарилась, и они молча поужинали.

А впереди еще был длинный вечер и длинная ночь.

— Что-то уж очень тоскливо,—сказала Таня с усмешкой.— Я хоть и преступница, но все-таки женщина! Ты меня развлекай.

— У вас была радиола,— вспомнил Слава.— Цела она, нет?

— Что? Включить?

— А пластинки остались? Те еще?!

— Какие? — спросила Таня и тут же догадалась: — Посмотри сам. Там они все.

Двери между кухней и комнатой не было: только дверной проем, завешенный старыми плюшевыми шторами. Не зажигая света — его достаточно попадало из кухни,— Слава одну за другой перебирал толстые и тяжелые пластинки в протертых конвертах и никак не мог остановиться на чем-то: он точно листал старую, любимую в детстве книгу — взял, чтобы найти запомнившееся место, да и увлекся, потому что каждая страница оказалась на памяти и каждая вызывала приятные, хотя и несвязные, полузабытые ощущения. И когда простенький, но невероятно трогательный голос Великановой запел:

Ты на прощанье мне сказал «до завтра»,
Я помахала вслед тебе рукой...—

Слава точно оцепенел и не пошевелился, пока пластинка не зашипела и не остановилась. Он поставил «Осенние листья», «В тихом городе своем», «Киевский вальс». Все эти старые, бесхитростные мелодии с такими простыми

и близкими словами были попеременно самыми любимыми в доме у сестры, и пластинки с ними очень скоро заигрывались до шипа, за которым уж ничего нельзя было разобрать. Позже, на школьных вечерах, звучали другие мелодии, побойчее, и слова были другие: все больше про лунные и звездные пути, про чужие галактики, но теперь трогали душу почему-то те, старые.

— Ну хватит, Слава! — полужалобно-полунастойчиво сказала Таня, появившись в дверном проеме.— Что-нибудь другое... Там долгоиграющие, я привозила.

Слава молча переключил обороты, поставил наугад небольшую мягкую пластинку и, как бы освобождая угол с радиолой для Тани, отступил к окну. Из окна этого далеко видна была пустынная улица, уходящая во тьму ясными огнями окон и высвеченными возле них ближайшими палисадниками с голыми прутьями малины и кустами смородины, в которых, точно ватные, застряли маленькие комочки снега.

Ты, лишь только ты
умеешь годы возвращать,—

низко и ровно заговорил женский голос под современный аккомпанемент.

...ты, лишь только ты
мне принесешь весну опять!
Ты, лишь только ты
тревожный сердца слышишь стук.
Ты, лишь ты
стоишь в конце моих разлук...

И продолжал взволнованно, будто читал мысли и чувства Славы:

Все от тебя мои страдания,
когда не слышу голос твой.
Все от тебя морозы ранние
и все туманы над рекой.
Все от тебя весны горение,
в зеленом пламени трава.
Все от тебя лучи весенние
и в сердце добрые слова...

Слава стоял, слушал и чуть не плакал: так разбередили его эти слова и музыка на манер старого танго, и так это похоже было на то, что он испытывал все эти годы. Но Таня вдруг быстро шагнула к радиоле, и песня с хрипом оборвалась.

— Хватит! — зло сказала Таня.— Я хочу спать... Я тебе на кухне постелю... Где будешь — на голбчике или на печи?

Он лег на голбчике. На печи высоко и долго еще будет жарко от неостывшей плиты.

Трудные мысли ворочались в голове у Славы. Он все думал над тем, как она к этому пришла. Почему они к этому приходят? Теряют веру в людей, в добро... А была она у них, эта вера? У Тани, например? Настоящая вера — она в трудностях рождается. А Таня со своими трудностями не справилась и веры своей — настоящей, взрослой — не обрела. Взросление — это обретение веры, сколько бы это ни продолжалось. Без этого нельзя... без этого человек разлагается... и отравляет жизнь другим. Славе, сколько он помнит себя, никогда не было легко... И сейчас — повидала бы она столько, сколько ему приходится видеть, так никакой бы, кажется, веры не хватило. А надо, надо верить, что это не вечно, а так бы и суетиться не к чему...

Прошел час или два. Таня у себя в комнате пошуршала постелью и, похоже, встала. Слава насторожился, прикрыл веки и привыкшими к темноте глазами проследил, как Таня в едва надетом халатике промелькнула в полуметре от его головы и выскользнула за дверь.

Слава поднялся, мигом надернул брюки — и на секунду замер. Это был один из тех щекотливых и неприятных моментов, каких порядочно в его работе. Если Таня задумала что-то и он проследит, помешает ей, то выйдет нормальная служебная предусмотрительность; а если нет — получится гадость.

Но он не провидец — и, значит, должен идти.

Ему повезло: Таня бросила наружную дверь открытой, и Слава мог следить из темноты сеней, оставшись незамеченным.

Так они и мерзли: Таня во дворе, у городьбы, но у нее хоть что-то вроде галош на ногах, а Слава босиком, на холодном полу.

Поискав глазами, он обнаружил в углу какие-то сапоги. Они были старые, грязные и так малы, что стоять пришлось на цыпочках. И стоять долго: Таня плакала, а Слава ждал и не знал, что предпринять. Потом решился и неудобной, дамской походкой пошел через двор.

— Хватит, Таня! Пойдем! — сказал он как можно мягче.

Таня повернулась к нему и вдруг, точно падая, схватила его за плечи, прижалась дрожащим телом.

— Слава!.. Слава!.. — проговорила она и громче заплакала. — Ты крепкий, настоящий... Ты любил меня, я знаю... Я, конечно, дура набитая!.. Красота нас, баб, губит... Но ведь мы не чужие, Слава! Меня, наверное, посадят... А ты мог бы потом жениться на мне? Или не положено тебе... на такой. Мог бы, а?..

Слава обнял ее, гладил ее плечи, шершавые от холода руки. Он забыл про холод, про тесные сапоги, про ночь, про то, где он и зачем он здесь. И если бы какая-то, самая смертельная опасность угрожала ему сейчас, он бы не шелохнулся, не тронулся даже с места.

Но у Тани зуб на зуб не попадал, и Слава очнулся, повел ее в дом. Он хотел остаться в кухне, но Таня его не отпустила. Он нашел какие-то теплые вещи, накинул на Таню и на себя. Потом они сидели, тесно прижавшись друг к другу.

— Ты же часто был в Новосибирске, — унимая дрожь в голосе, проговорила Таня. — Почему ты не пришел ни разу? Ты же знал, где я работаю.

— Но ведь и ты знала, где я живу... и работаю.

— Ты мужчина... Ты, наверное, гордый? Да?

— Не знаю... Не мог... Я все про тебя знал, какая ты приезжала — красивая, модная. Тут потом неделями говорили о тебе.

— Если бы ты был со мной рядом, ничего бы, может быть, не случилось...

Слава не ответил. Он подавленно думал о том, что эта ночь скоро кончится и вместе с утром наступит то, чего нельзя уже изменить. Странно подумать, как они встанут, оденутся и пойдут к автобусу. Странно подумать, что она будет сидеть рядом со всякой шпаной. Там-то, в колонии, все же не так: научат шить какие-нибудь палатки или рукавицы, жить будет в доме, похожем на общежитие, только что за забором... Но одно все-таки можно изменить: уйти очень рано, затемно, и встретить автобус в лесхозе. Если там окажется мать — будет лучше: в чужой деревне. И ему будет легче со своей обязанностью, не так больно... Странно все же устроена жизнь, если вдуматься. Вот обязанность — что это такое? Перед

кем? Перед чем?.. Перед Колей Бусыгиным? Перед людьми? Перед законом?.. Или перед собой? Но почему и откуда она взялась? И почему она сильней всех его мучений?

— Мне теперь ничего не страшно — ни суд, ни тюрьма,— успокоенно говорила Таня.— Лишь бы ты не забыл и не бросил меня потом. Мы так будем жить потом, что все позавидуют.

— Ты поспи... Попробуй немного поспать.

— Я и так уже почти сплю... Но мама... Господи! Как она все это переживет...— Она умолкла, слезы подступили ей к горлу.— Какая же я дрянь!

Она долго и тихо плакала. Потом все-таки уснула со слезами на щеках. И Слава, кажется, задремал. Но только так, краешком глаза, потому что сразу услышал, как кто-то проехал задами на парных санях. Пустые, видимо, сани шли легко: только чуть погромыхивали вальки и крахмально скрипел снег под полозьями. Кто-то, наверно, решил пораньше, по первопутку сгонять за сеном, чтобы до солнышка обернуться, пока первый, ненадежный снег не растаял... Но не исключено, что он и сопрет чье-нибудь сено. Привезет затемно, а утром снежок растает — и никаких следов, ищи потом свищи. Слава посмотрел на часы: без четверти четыре. Если поступит жалоба, легко будет выяснить, кто и для чего брал коней в такую рань.

Пора было вставать, чтобы часам к семи не спеша дойти до лесхоза. И если автобус пойдет в Озерки, они могут не ждать его, уехать на любой попутной машине. Так будет лучше даже, потому что в автобус насядет много озерских, да попадется еще кто-нибудь из знакомых — начнутся дотошные деревенские расспросы, от которых и глухонемой разговорится.

Снова защемила сердце привычная боль, отступившая было на время. Слава медленно и неслышно одевался на кухне, а боль саднила и жила как бы сама по себе. И одновременно где-то в сознании или в подсознании жили то слова Коли Бусыгина: «...возьмешь ее за белы рученьки и назад...», то голос певицы, бархатно выговаривающий: «Все от тебя мои страдания...» И от этого так хотелось плакать, как в детстве от непонятной обиды.

В глубокой, все поглотившей тишине лишь доносилось из комнаты ровное Танино дыхание. Она спала так,

как спится, наверное, только дома, и, может быть, снилось ей, как она маленькой девочкой ясным, морозным вечером возвращается из школы, громко перекликаясь с подружками. Звонко скрипит снег под ногами, звонко разносятся их голоса — и так хорошо и совсем не холодно оттого, что дома тепло и чисто, как перед праздником, и мать с отцом не садятся ужинать, ждут ее и от нечего делать обсуждают деревенские новости...

Ровно в четыре он подошел и тронул Таню за плечо. Таня проснулась, глянула на него непонимающе.

— Почему?.. Еще же так рано.

Слава объяснил.

— Конечно, так будет лучше,— согласилась Таня.— Выйди, пожалуйста, я оденусь.— И через минуту спросила: — А кто же корову подоит и поросенка накормит?.. Соседка на меня понадеется.

— Напиши записку — оставим ее в двери, когда пойдем.

За ночь еще подсыпало снегу. Матово-синий, он слегка искрился при свете открывшейся меж белесыми облаками луны, и на него боязно было ступать — немного боязно и приятно. Они шли мимо темных домов и молчали. И всю дорогу почти до лесхоза они промолчали. Перед тем, что неотвратимо надвигалось впереди, все слова казались ненужными и фальшивыми.

Получилось, как Слава предвидел: автобус пошел в Озерки по приморозку, но Таниной матери в нем не было,— они уехали на попутной машине. Таня совершенно расстроилась, не знала, что и подумать. Ей казалось, что мать, не застав ее в городе, сразу догадалась, где она, и вернется или позвонит хотя бы из любого почтового отделения: это ведь так просто. Но Слава понял и тихо, чтобы никто не слышал, объяснил Тане, что мать, узнав о случившемся с нею, побежала скорее всего в милицию. А там ее тоже хватились — и она подумала самое страшное, что ее и в живых уже нет. А когда Коля Бусыгин нашел ее вчера по телефону и получил указание доставить немедленно, мать уж никуда не поехала.

В половине девятого Слава появился в отделе. Коля Бусыгин обрадовался ему, как родному. Он уже полчаса томился, не зная, докладывать начальству или еще подождать. Он уже позвонил в сельсовет, в Озерки, узнал, что автобус вечерний был, но совершенно пустой и ника-

кого Самохина там никто не видел ни вчера, ни сегодня, тем более что у председателя гостила дочка из города и он сам провожал ее сегодня на утренний автобус.

Коля ходил по комнате, рассказывал и облегченно улыбался. Потом подошел и провел рукой у Славы за спиной.

Слава не понял, хмуро посмотрел на него.

— Ты чего?

— Да я подумал: может, ты этот — Карлсон, который с пропеллером...— И расхохотался, страшно довольный собой.— Надю твою видел вчера возле библиотеки: очень об тебе волновалась. Ждала, наверное, долго.

— Я пойду, посплю часа три: после обеда буду, если кто спросит.

— Иди-иди, я скажу,— подтвердил Коля; помыкал что-то себе под нос и весело и фальшиво запел: «Все от тебя мои страдания».

Слава оглянулся в дверях и посмотрел на него так, что Коля смутился; он очень любил петь, а все над этим посмеивались, потому что со слухом у Коли было неважно.

— Жена пластинку привезла из города... Путевая песня.

Слава ничего не сказал и вышел.

Через час Таню увезли, а недели через три состоялся суд. Директора и двух ее ближайших сподвижниц отправили в колонию, а Тане присудили два года условно с выплатой в пользу государства около семисот рублей. Мать после суда вернулась в Озерки, продала все, что можно, и уехала на Кубань вместе с Таней.

Выяснить их адрес не представляло особой сложности, но Слава так не хотел: навязывать себя не хотел. Если нужен будет — Таня его позовет. А не позовет — так и носить ему свою боль.

Он осунулся, поскучнел, перестал ходить в библиотеку. Это заметили, начали приставать с расспросами. А Слава отмалчивался. Но тут Надя неожиданно для всех вышла замуж за школьного физкультурника — и все стало понятно. Так что Коля Бусыгин с подчеркнутой проницательностью сказал однажды в большом кругу:

— Проворонил девку, молчун!

И все с ним согласились, потому что таких девушек, как Надя, в райцентре было немного.

Александр Плетнев

ДО УТОМЛЕНИЯ СЕРДЦА

Иннокентий Кокорин работал в шахте двадцать шестой год. Нечаянно в голову пришла блажь: посчитать, сколько угля добыл за свою жизнь. Может, и не совсем нечаянно — он всегда много думал. Додумался и до этого. Взял клок бумаги, карандаш и сосредоточился: «Что это я, дурак? Как тут сочтешь? Если бы за год... Хм, за год-то можно. Да умножить на двадцать пять». И в пять минут сосчитал. Отбросил отпуска, выходные, больничные — а болел он всего два месяца: восемнадцать лет назад ломал ногу — и больше никогда ни гриппа, ни хрипа. Даже пять дней вычел: три дня без содержания на свадьбу и два дня, которые просидел в молодости на го-городской комсомольской конференции.

Словом, посчитал. Сменную среднюю цифру занизил на всякий случай, для ровноты. Первые десять лет лопатой уголь кидал — и вышло двадцать восемь с половиной тысяч тонн; в пятнадцать остальных лет добыл комбайном сто одну тысячу тонн. Сложил. Сто двадцать девять тысяч получилось.

Это число огорчило донельзя. Он даже бумажку от себя откинул. Стал глядеть через окно веранды на сад, суставчатые корявые ветки которого заснежнели от мая, надулись темно-розовыми почками так, что полопались с закругленных кончиков, проклюнулись тугой белизной. «Чего эти тыщи? Шахта вон за год по восемьсот тыщ намолачивает,— думал разочарованно.— Вот столько бы мне, так...— Иннокентий даже сморщился от досады, что так неожиданно мал вышел итог.— Суетимся, суетимся, муравьи, а оглянешься...» Ему зачем-то втемяшилось сравнивать свою двадцатипятигодовую добычу угля с го-

довой добычей шахты, а сравнение это получалось совсем не в его пользу.

Долго сидел с каким-то тоскливым тяжелым чувством: «Вот живем, брыкаемся... Да. Через три года — пятьдесят — пенсия... Туда-сюда — и голубой городок, а там не посчитаешь и не поглядишь вот так на сад. Тьма на веки веков».

Иннокентий длинно вздохнул. Нет, что мало наработал — это не главная причина его расстройства, а может, и главная, кто знает? Он часто думал, зачем живет и зачем умирать будет? Ну, живет — это как-то ясно или не ясно, но все же видно: и женщин любил, и работал, и дочерей вырастил, дом этот, сад... Ну, еще лет пятнадцать, от силы двадцать — шахтеры не долгожители. А что потом? Проваливался сознанием в это «потом», и аж мурашки по спине бежали: «Ведь забудут, собаки. Сто двадцать девять тыщ — тоже гора немалая, да еще за три года подвалю. А где она, гора-то? Следом и улетает в трубу. Тьфу! Да что я, один, что ли? Миллионы приходят и уходят. Не от святой же... этой самой я клок. Они меня забудут, а их — другие, так и будет колесо крутиться. Чего об этом думать? От дум счастливей не станешь. Надо о жизни думать. А как о ней думать? Работай, да и все. Ох-хо-хо...»

Открыл книгу Толстого «Казаки», но нет, сегодня не читалось.

Закатное солнце арбузной сочностью напитало мелово-пепельную тучу через прореженный проем, а сверху на ее высокий край прилег чистый свод неба, и кроны деревьев сада чернели серебряной вязью на голубом, а ниже ветви и стволы словно подтаивали в слабом жару.

Положив голову в широкие, точно выточенные из камня ладони, Иннокентий через полуприкрытые веки пропускал мягкий розовый свет, и он, этот свет, будто лился в душу, обмывал сердце теплым и печальным. «Хорошо как, мама моя! Жил бы и жил нескончаемо». Представил плотную голубую россыпь оградок и памятников под этим вот светом на пологом склоне сопки, у сквозной березово-черемуховой рощи. Роща теперь утратила тяжесть для взгляда, взвесилась серо-зеленым дымком младенческой листвы в прозрачном воздухе. Ниже кладбища — газовой накидкой лужок, а вдаль глядеть, то долина километров на пятнадцать до волнистого сопоч-

ного среза, а надо всем этим — густой синевы небо и заря через тучу. Боже мой! И сотни, и тысячи лет будет роща, будет лужок, будет долина и сопки, и заря — все будет, только...

Иннокентий как бы из небытия, потусторонним взглядом, с жадностью оглядел видимое и воображаемое, и в самом деле что-то мутнеть стал свет в глазах и тело будто неметь, остужаться стало под сырой, знобкой тяжестью.

— А-а! — глухо вскрикнул Иннокентий, голову резко вскинул, руки грохнулись на стол. Сердце, почувствовал, в ребра колотилось; воздух тянул с жадным шумом, так, что грудь распирало, словно действительно сбросил с себя лишающую жизни тяжесть.

— Ну-у, бра-ат,— сказал дрожливым голосом,— жизнь-то осознавай, да и в яму-то живьем не прыгай. Не йога эта самая.

И еще почувствовал: «Вот она, первая придавка сердца; тесно ему делается. А ничего. Главное — осознать себя всего до донышка. Смерть всем страшна, да страшатся ее по-разному: одни как его... инстинктом, как скотина, другие — разумом. Скотина-то, кроме страха, ничего с собой не унесет, ничего не потеряет. А что же унесет разумный?..

Туча сверху и снизу сжалась, уплотнилась, вытянувшись в длинную сизую полосу, очистив место для заката; солнце повисло на ее карнизе алой каплей. Земля перетянула каплю к себе и стала быстро ее впитывать. Иннокентий широко распахнутыми глазами глядел на солнце, будто видел его в последний раз, и не заметил, когда скрылась последняя искринка. «Ну, чудеса! Разболтал душу будто малохольная девка-печальница».

Поднялся, по веранде прошелся, прислушиваясь к покою дома, только с улицы, от соседа Скачеева, доносится мягкое тиканье: Пашка гвозди колотит.

Куда что делось? Давно ли дом звенел — и своих, и чужих детей — голосами. С ночной придешь — поспать не дадут. А теперь — одна в техникуме, другая в университете, только деньги высылай. И Татьяна будто взбесилась: работу суточную нашла в охране. Кукуй тут один. Иннокентий сел, потянулся прогонистым телом, в котором где кости, где мышцы — не отличишь: так скипелись они в жаркой и долгой работе.

Татьяна не раз говорила: «Телом — из дуба тесанный,

а сердцем — ну прямо невеста из одной слезной нежности».

Чувствовал за ее словами скрытый укор и даже насмешку над своей душой, дескать, баба ты, Кеша, хоть и в штанах. Обижала этим страшно, потому что его душевность принимали за слабодушие — и кто принимал! Самый родной человек на земле! Уж понять бы перепонять друг друга за столько-то лет пора. Правда, не по-мужицки любил ее и дочерей: несдержанно, до утомления сердца. Бывало, с дочерьми играть заведется, так весь изомлеет от радостного восторга. Успокоятся, на колени их возьмет, прижмет к себе, а сам уж тревогой болючей опален, в глазах такое, будто у него детей сейчас отнимут навсегда.

«Опять сошлися тучки в одну кучку,— улыбалась жена.— Чего почудилось-то? Чего забоялся посередь ясного дня, в полном здравии? О себе побольше думай, а с ними,— указывала на детей,— ни беса не доспеется — не в шахте, поди».— «Глупая, мир-то какой стал, а? Вся земля машинами раскатана... Ездим по правилам, ходим по правилам. А вдруг да чуть-чуть ошибся? На малой ошибке жизнь-то повисла. Вон Пашка на рыбалку ездил...» — «Да знаю,— перебивала Татьяна.— Тыщу раз слышала».— «Нет, не знаешь,— упрямился Иннокентий. — А знаешь, так не сознательно: не дошло до тебя... Волосок на лампочке стрясся... Пашка поворачивает, а лампочка не мигает. Тут грузовик ему в бок и въехал. Хорошо — два ребра, а то... Поняла? Волосо-ок!» — пересказывал настойчиво. «Господи, боже мой! — всплескивала Татьяна налитыми белыми руками.— А пастухов в степях громом убивает, а купаются — тонут, а волки в лесу?! Что ж, по-твоему, не родиться теперь?» — «Это же природа, дуреха! А то сами на себя капканы ставим»,— возражал он вяло, чувствуя правоту жены и потому слабея в своем убеждении.

«Кто смерти не боится, тот жизни не любит,— думал Иннокентий.— Однако и вправду что-то я закособочился: надо бы душу по уровню установить, чтоб ни туда, ни сюда не перетекала...»

Небо на западе было лимонно-светлым, а с востока уже ночь росла, потому и сад был словно затоплен не воздухом, но темной прозрачной водой, в которой каждая почка, каждый сучок виделись с четкостью чугунной.

Иннокентий смотрел, как сосед Павел Скачеев влез по лестнице под самую крышу дома, стал приколачивать там какую-то рейку. Потом быстро, по-обезьяньи перебирая короткими руками и ногами, спустился, стал озираться. Лицо широкое, плоское, нижняя челюсть выдвинута, рот растянутый, тонкогубый, нос маленький с вывернутыми ноздрями — чистая горилла. Схватил лопату, стал что-то копать у фундамента. Он, Скачеев, и в шахте на минуту не присядет, и домой придет не успокоится: стучит, рубит, копает, пока спать не свалится. Штабель досок пятый год с одного места на другое перекладывает: сегодня доски в саду, завтра — у сарая, а там — еще куда упрет.

Всю жизнь мозолят глаза друг другу Иннокентий с Павлом через метровый заборчик. Само собой, Иннокентий тоже не сплошь после шахты рассиживается, особенно в сезон. По ранней весне выстрижет все лишнее из деревьев и кустов, высеет в парник капусту — ранницу и зяблицу, — чтобы в июне — вилок, в ноябре — кочан; трава нацелится к выклюву, а у него уж картошка высажена в грядки, а тут и многолетние цветы нужно окопать, однолетки высеять...

— Бабская глупость,— кивает Скачеев на цветы.— Мужику заниматься этим совестно. А то есть еще диколоном мажутся. Тьфу!

— Красиво,— возражал Иннокентий.

— Чево, чево? — напрягал Скачеев внимание, хотя слышал отлично.

Павел Скачеев умудрился до наших дней уголь добывать лопатой. Если бы он жил не по-соседски с Иннокентием Кокориным, то Иннокентий, наверное, не знал бы, что есть на шахте маленькая бригада, которая до сих пор «лопатит», достает из старых завалов «заплатки» — когда-то брошенные пласты угля.

— Хм,— удивлялся иной раз Иннокентий.— Как же вы лопатами-то?

— Как?! Черпай больше, кидай дальше да почаще. А то сам ты не кидал?

— Кидал. Да когда ж это было? Теперь-то лопатить по морали стыдно.

— Работать стыдно? — Скачеев уставлял в Иннокентия совиные глаза.— Ишь, как они расфруктились! Стыдно им.

— Перед пенсией-то тяжело лопатой. Шел бы в механизированную бригаду, хоть подручным.

— На комбайн, что ли? — моргал Павел совиными, точно обтягивающими глаза шторками, белесыми веками.— Ну, как же! У него электрическая жилка порвется, а я — сиди. Это вы сидеть любители.

Он всегда как-то выворачивал разговор, все старался оскорбить Иннокентия, но тот терпел — ему до души Скачеева добраться не терпелось, поглядеть, чем жив человек.

— Завтра, к примеру, вашу бригаду прикроют, вот и придешь к нам,— пытался запереть Скачеева Иннокентий.

— К вам? Нет, не приду,— говорил сосед убежденно.— На мой век лопаты хватит.

— Любишь лопату?

— Зачем? Баба она, что ли? Я работать люблю.

Иннокентий, сбитый таким ответом с толку, соображал, что на это сказать. Думал и Скачеев, потом произносил своим, будто пропиленным ртом:

— По мне, так я бы комбайны те все на-гора поднял, поплавил на лопаты.

— Как?! — Иннокентий аж подскакивал и садился опять, удивленный до крайности.— Жить тебе комбайны не дают, что ли?

— Почему — даю-ут,— отвечал спокойно. И вообще, чем Иннокентий больше волновался, тем Скачеев делался невозмутимее.— Мне комбайны не мешают, они вам, дуракам, жизнь портят. Вы же в шахте — шель-шевель: не вырабатываетесь, а на-гора вам дурь в головы прет. Вон цветочки... — показывал на кусты золотого шара, переваливште свое «золото» через забор.

— Цветы — дурь?

— Ну, а что ж? Картошку прикупаешь, а землю — под цветочки. Дурь и есть.

— Да-а,— протягивал Иннокентий. — Вот это дух!

Скачеев, приподнимая подбородок, недвижно глядел высоко над землей, и если бы Иннокентий его не знал, то мог бы подумать, что человек погружен в высокую мечтательную думу. Клешнятые ноги Скачеева едва доставали до земли, хоть и скамья была низкая, руки рудстойками-времянками выпрямленно уперты чуть не в укос в ска-

мью — так коротки они по отношению к широкому и длинному торсу.

Огромная мощь чувствовалась в кубастом теле Скачеева. И он сам и его слова позывали Иннокентия как-то по-особому глядеть и на его огород, и на сад, и на постройки: хотелось обнаружить во всем этом что-нибудь уродливое, мрачное, в соответствии с самим Скачеевым, но все — и молоком белеющая в цвету картошка, и широкорожие подсолнухи, и ягодные кусты, дом и летняя кухня — все было возделано и слажено по закону полезной красоты. Ни одной дурной травинки и декоративного цветка, но желтопенно цвели огурцы, цвела семенная капуста, цвели подсолнухи... Весело и легко стоял дом, обшитый тесом и выкрашенный в небесную краску, большеглазо смотрел в три части света. «Да, дела его... Чего ж плохого?.. Все прекрасно... — думал Иннокентий.— Главный его труд там, под землей, а здесь — тоже не само собой, не забава...»

— О чем думаешь? — спрашивал у Скачеева проникновенно и сердечно.

— А ни о чем,— помолчав, отвечал тот.— Чего мне думать? — и покачивался туда-сюда, как бы притираясь к скамье, кулаки плотней упирал в доску, точно ожидая напора чуждой ему силы, которая должна его столкнуть со скамьи.— Это вы все думаете. Политикой занимаетесь и думаете.

Для Скачеева политикой занимаются все, кто читает книги. И сколько было: трудится Скачеев на усадьбе, а Иннокентий с книгой сидит на лавочке под кустом сирени... Нет, вспоминай не вспоминай хорошее в жизни, а все кажется, не было лучше тех минут, когда оставался с книгой. Когда еще кости не отгудят после шахты, когда сладко истекает из тела усталость тяжелого напряжения, тогда, зимой ли, за столом, при настольной лампе (Иннокентий, из уважения к книге, никогда не читал лежа), летом ли, в шумной тени, осенью ли, когда день в золотом сиянии от края до края, а вокруг, вблизи, все замирает в кроткой мечте о будущей весне,— всегда он открывал книгу с какой-то тревожной и радостной опаской, будто перед неведомой дорогой: куда заведет она его, каких людей, какую жизнь покажет?..

Так вот Иннокентий при досуге с книгой, а Скачеев — с лопатой... Ну, и трудись себе, коли труд в радость. Так

нет: потихоньку, незаметно у заборчика оказывался, на лопату опирался и глядел стоялым взглядом на Иннокентия, ждал.

— Чего тебе? — поднимал лицо Иннокентий.

— А так, ничего...— Срывал с Иннокентиевой стороны заборчика травинку, разглядывал ее с ложным интересом.— Не скажешь ли, что за растение это у тебя? Какой полезности плод родит?

— Это сор, и родит сор,— серьезно отвечал Иннокентий, понимая намек Скачеева.

— Вон еще есть,— поводил рукой Скачеев.— У овоща соки тянет. Или не понимаешь?

— Понимаю,— задумывался Иннокентий.— Да огород что мир: в нем все растет.

— Так-так...—Скачеев разминал травинку, брезгливо отбрасывал.— Выходит, всему жить дозволяешь? И вредному?..

Ишь, как присобачивал: «дозволяешь». Иннокентий откладывал книгу, как-то напрягался весь, точно ему предстояла драка, как в молодости за Татьяну.

Я же пропалываю. А до какой травинки руки не дойдут, так что не без этого.

Скачеев, вроде забыв и про разговор, и про Иннокентия, долго молчал, оглядывая небо.

— Парит и парит, а дождя нет,— говорил наконец.— В забое теперь не продохнешь.

— Да-а,— соглашался Иннокентий и тянулся к книге, но Скачеев опережал:

— Я ведь тоже, было, политикой смальства...

— Читал?! — удивлялся Иннокентий.

— А как же. Отец, спасибо ему, за ухи оттянул.

— Зря,— жалел Иннокентий.

— Чего — зря?

— Да отец-то...

— А-а. Не зря.— Скачеев почему-то смеялся, не меняя лица, только телом тряс да глаза больше округлял.— Сидел бы, как ты, а трава бы овощ давила,— говорил, отсмеявшись.— Бо-оль-шой вред — книжки: они в сторону от работы уводят. Их бы собрать да пожечь.

Иннокентий внутренне вздрагивал, будто на сердце кто-то со злом кипятку плескал, и такой гнев охватывал душу, что говорить тяжело было: слова не вылетали, а выползали через спазму.

— Жгли уже. Ты не первый такой.

— Кто? — Деревянное лицо Скачеева отмякало от интереса.

— Находились. Гитлер, к примеру. В Китае... Ладно, что тебе, свинье, рога бог не дал...

— Пожег бы, коль властишка была,— спокойно подтверждал Скачеев и опять оглядывал небо.— Нету дождя, хоть умри,— говорил уходя.— Илья-пророк разленивился вконец, зараза.

— Да ты... это... Как на тебя солнце глядит и не портится! — вскакивал Иннокентий с лавки, топтался на месте, почти не помня себя, а Скачеев, содрогнувшись, орудовал лопатой, безразлично-глухой к его возмущению. «Все, враг ты мой до гроба,— думал Иннокентий, но сердцем отходил скоро:— Дурной бес, да труженик и не у власти — какой от него вред».

И читал Иннокентий медленно: глаза по строчкам не бежали, словно не читал, а разглядывал, чтобы чего не упустить пробежкой нужное, возвращался к прочитанному, отрывался от книги и подолгу думал, уходя мыслями в мир книги, и сам не замечал, когда думы перетекали в его действительность, в его мир. И все дивился: сам знал, чувствовал, видел — и все это умирает в тебе же, тонет, как в болоте, а писатель все высказал за тебя и так просто, как просто идет дождь и мокнет земля или как вот проста эта заря тысячелетняя.

Покойный отец говорил: «Если языком не расскажешь, то пальцами не растычешь». А другой человек, ныне пенсионер, главный технолог шахты, Кузьма Евсеевич Холмов, с которым Иннокентий часто встречался в библиотеке, сказал: «Книга красна не письмом, а умом».

А еще Холмов говорил: «Книгочей — он разный: многие читают от скуки или от пустого интереса. Такой читатель глотает что ни попадя, как птица баклан, которая за день до ста килограммов рыбы через себя пропускает. Эта обжора любую макулатуру проглотит, а через час забудет. А ты, я вижу, из редких— читаешь не для утехи, но для жизни, а потому советую: читай только великих. Тебе их, дай бог, успеть прочесть — на дребедень времени не трать. В великих книгах, хоть в современных, хоть в тех, что сто и триста лет назад написаны, ты не увидишь свое, наше узнаешь. И знай: книга не только

радость, но и боль душе приносит, что совокупно и возвышает человека».

Холмов составил для Иннокентия список книг — двадцать восемь писателей, подсказал, что читать сначала. «Вот, пожалуй, тебе и хватит, а не хватит, тогда вместе подумаем и добавим еще».

Бывало и такое с Иннокентием: держал в руках прочитанную книгу с языческим испугом души: как же в этом прямоугольном брусочке умещается столько времени, столько судеб, столько земли и света? Ведь его, этот брусочек, можно нечаянно обронить в воду, он может сгореть в пять минут, его могут изорвать ребятишки, а взрослые вымести с мусором. Тот же Холмов, дай ему бог сто лет жизни, такое наоткрывал Иннокентию о книге. «Все, что есть на свете,— говорил он,— все товар, даже мусор товар, только книга не товар. То есть ее вроде бы продают, но это только так кажется, потому что продают картон и бумагу в виде книги, а содержание невозможно ни продать, ни купить...»

За Татьяну, холостым был, дрался с Иваном Киреевым не однажды. Дрался до кулачных вывихов, до утраты человеческого подобия. Рожи оба черно-лиловые носили чуть не полгода — на шахте от насмешек проходу не было. Иван был роста с Иннокентием одного, да коренаст и крепок, что дубовый сутунок. Думал Иннокентий: не отобью Татьяну — жить незачем. Не силой одолел Ивана, а характером. Сошлись в последний раз, склубились в мордобое, да Иван признал:

— Стой! Стой, стерва жилявая!— Стойт, юшку из носа пускает, по-рыбьи воздух ловит.— Скотина ты дикая, так ли теперь девок делят? Отступишься — нет?

— Нет. Сам пропаду, но и ты никогда не залечишься.— А у самого один глаз запух, не видит, в зрячем — земля шатается.

— Ладно, подавись ею, — сказал Иван без злобы.— Мне еще человеком охота быть.

И ушел навсегда.

Позже все комком давило в груди, мешало что-то смутное, а потом отрыгнулось словами Ивана: «...человеком охота быть». Значит, Иван уже тогда знал, что унизительно отстаивать счастье сплошным мордобоем;

не зря скотиной назвал: лоб крепкий — и бодайся, сила есть, ума не надо. Иннокентий, обвариваясь запоздалым стыдом, понимал: как мало тогда в нем было силы человеческой. Однако если с обратной стороны поглядеть, то что было бы, коль Ивану Кирееву Татьяну уступил? Ни ее, ни дочерей и, быть может, ни шахты, ни этого дома с садом— ничего бы не было, то есть было бы что-то, но все-все не так, а не так Иннокентий жить не хотел. Мороз кожу драл, если представлял, что — не так. Значит, правильно, что бился. Знать, Ивану, сопернику, Татьяна была не так нужна, если лапы поднял, сдался. А коли так, выходит, что он-то и поступал не по-людски, раз сомнение имел. Пошел он к лешему, Иван тот.

— А ты почему не выбирала? — допытывался у жены.— Бились за тебя, как солдаты за какую-нибудь бездушную высоту. Ведь увечье могло быть.

— А мне чего, когда вы дураки? — усмехалась Татьяна,— молоденькая была — от лести дух занимался. У других девчонок ни одного, хоть какого-нибудь нет, а за меня два сокола перья рвали. По глупости и стояла, не разнимала вас.

— Что ж, тебе все равно было: я или он? — замирал, подавляя в себе ревность.

— Как же — все равно?! — удивлялась Татьяна, при этом ее яблочно-гладкое лицо теплилось изнутри бесхитростным светом матери и жены.—Не все равно,— заключала со вздохом.— Тебя сразу выбрала. Знала, что Иван не устоит против тебя.

Дочери родились, ну, и как водится: то корь, то свинка —болезни какие-то обязательные детские, а Иннокентию-то! День — в шахте, ночь просиживал над кроватками. Чуть клюнет носом, призабудется сном петушиным, спохватится: «Проспал, бес такой!» А чего проспал, когда и врачи, и лекарства — все во время — болезням разрастаться не давали. И все равно на детское хворое личико часами глядел и, казалось, видел, как бродит болезнь в жарком тельце. И как бессильно хотелось вытянуть, вобрать в себя ихние болезни теперешние и те, что наперед приключатся! Все думалось Иннокентию, что, пока он вот так дежурит, и спящему дитю легче.

— Ты чего дуришь-то?— сердилась спросонья Татьяна.— Без сна износишь сердце, детям же вред принесешь.

— Сердце от насилия изнашивается,— возражал Иннокентий.— Оно спать не желает, зачем мне его заставлять? Не то счастье, что во сне.

...Одним дуракам, говорят, клады даром даются. А тут за что ни возьмись, все дорогое, что душу радостью томит — все через большой труд, через боль... Только книги на сто процентов задарма. Всего и труда — подняться на второй этаж бытового комбината в библиотеку. Но это куда ни шло: взять книгу в библиотеке, пусть даже в магазине купить, почти одно и то же, ибо, как говорил Холмов, картон да бумага дорого не стоят. Дорого не стоит и прочесть книгу, а потому убивался Иннокентий в думах: в мире ничто, даже самое малое, даром не дается и, если ему (такое ценное!) дается, считай, даром, то кто-то платил эту разницу, не может быть, чтобы не платил! Иннокентий подолгу, с каким-то тайным суеверным интересом, разглядывал портреты писателей, и все поражало его одно — их схожесть с обычными людьми. И он понимал, что писатели и есть великие плательщики, они-то и платят за свои книги. Но чем платят? Трудом? Жизнью? Тут, должно, все в кучу смешивается. В книге-то, бывает, по сто человек — попробуй-ка за всех перерадуйся, перестрадай, родись и умри за каждого... Богу одному, если бы он был, такое под силу.

Иннокентий на шахте иной раз пытался на людей глядеть так, чтобы все узнать про них, не спрашивая, все понять в них глубоким проглядом ума. Да какой там! Как муха в стекло тыкался: светло и видно, а не проникнуть. Себя-то не знаешь толком, куда еще других познавать?!

...Вот и в этот вечер голову мучил: куда жизнь дел? Откуда и зачем пришел в белый свет, а раз уж пришел, то почему уходить в никуда? Это книги все, точно, они, на думы толкают — Скачеев прав, да и без него ясно. Скачеев-то, может, счастливей от незнанья. Говорил же Холмов, что книги боль приносят. И о радости он же говорил. Эх, к черту все! До заворотка мозгов додуматься можно.

Затемнело уже. Свет включил и ослеп на минуту. Книгу опять взял и снова отложил — голову нагрел думами разными — гудит. Спать уж пора. В бумажку с подсчетами снова уставился. «Сто двадцать девять

тыщ,— думал механически,— сто двадцать девять...»

Мысли разбежались, рассыпались, что горох по полу, с трудом собирались к цифре. Та-ак, а если в вагоны-эшелоны уголь ссыплем, что тогда? Шестьдесят тонн в вагон, пятьдесят вагонов... Черк, черк — сорок три эшелона. Ну, елки-палки, что это за число-то опять тощее такое!

Расстроился Иннокентий вконец: «Нашел, дурень, дело — считать. Тоже, главбух с руками-копытами, спал бы уж лучше».

Встал, но еще глядел на свою арифметику: что-то не отпускало, тянуло к ней. Какое-то сомнение мутило разум: «Не так, не по тому отвесу «стреляю» в наработанное. Наперекосяк и видится мало... Дай-ка я их сцеплю, эшелоны-то».

Прицепил. Ага! Грубо — в составе пятьсот метров. На бумаге-то как легко! Раз! И сорок три эшелона в один склещил. А что это? Мама родимая! Двадцать один с половиной километр! Иннокентий откинулся на спинку стула, глаза прикрыл. Он даже ослабел от волнения. Но это была, так сказать, первая волна удивления. В воображении он пошел прямо от шахты вдоль рыжих махин-вагонов, груженных горушками для утряски, пошел, немного удаляясь в сторону, чтоб побольше было видно вагонов в перспективе. Пять километров прошел окраиной города, четыре — болотистой низиной до электростанции, а дальше разместил свой состав не по железной дороге, а по асфальтовой, потому что по ней он много ездил и знал расстояние до районного села Черновки. Взошел на тягучий перевал и... Нет, не рассказать о чувстве Иннокентия Кокорина! Сперва назад поглядел и не увидел конца состава: он где-то затерялся среди крошечных строений города, а впереди — обогнув широченную долину так, что на противоположной стороне вагоны виделись мелким ожерельем; потом вытянулись в тонкую ржавую проволочку и скрылись в Черновке. А ведь до Черновки восемнадцать километров! Значит, состав дотянется до деревни Стеклянухи (до нее от Черновки как раз три километра) да еще за деревню выставится на полкилометра. Но что этот кончик где-то там, у горизонта! Отбросить можно этот кончик для ровного счета, и не заметишь убытка от состава. Его, если б и видно было, то бусинками меньше про-

сяного зернышка. Пятьдесят зернышек, три тысячи тонн. Иннокентий их, эти тонны, нарубил комбайном за полгода, а лопатой больше года кидал. В самом первом зернышке-вагоне лежит пылинка от общей несметной массы угля — пятнадцать тонн, добытые Иннокентием в свою первую в жизни смену под землей. Что помнится? Что забылось? Но первую смену, умри он теперь и воскресни, все равно не забыть.

Добирались со Скачеевым с километр до угольной камеры, где согнувшись, где ползком. А камера — шириной метров семь да высотой три с половиной, будто духовка. Иннокентий стал сбрасывать с себя мокрую от пота и капежа одежду. Торопился. Тело, казалось, кричало: сбрось скорей, а то задохнусь. «Охолодись»,— кивнул Скачеев. Во тьме где-то словно большая птица крыльями хлопала — вентиляционная труба. Подошел к трубе, а из нее — воздух, точно громадный кто дышит горячим. Над головой трещит, будто горох на раскаленной сковороде, стонет глубинно — кровля усаживает лиственничные рудстойки обхватной толщины.

Иннокентий озирался, шарахался сначала. «Не мечись»,— сказал Скачеев. Он уже второй год работал, цепкий, как клещ и бог всезнающий.

Если бы в забое только уголь брать! Ой, нет, да еще раз нет! Уголь брать — полдела, а может, и того меньше. Выходит, что если перевести побочный труд на добычу угля, то состав удлинится до сорока трех километров.

Работал Иннокентий в ту смену так, как будто пьяный помогал петь, не зная слов: подхватом да вдогонку. Скачеев не тыкал носом, не поучал: помучишься — научишься.

И еще: все ему виделось неправдашным, какой-то глупой и жестокой игрой. Как и зачем он попал в эту преисподнюю? Неужто по своей воле? Ведь небо, деревья, трава, ветер — все (страшно подумать!) отделено от тебя полукилометровым монолитом пород. Он мысленно возносился на дневную поверхность и оттуда, мысленно же, глядел через эту толщу на вентиляционный штрек и камеру. Штрек ему виделся трубчатой соломинкой с камерой на конце, похожей на воздушный пузырек с булавочную головку.

А в кровле то весело потрескивало, то глухо и часто

гукало, точно там кто-то бегал тяжелый в кованых сапогах, то удаляясь, то приближаясь. Мнилось, что штрек уже сплющило и он остался живым в недоступной людям могиле. Пот льдинками скатывался по желобку спины, а волосы шевелили каску. Лицо стыло, должно бледнел мертвенно.

Горного дела не знал, думал, глупый, что все полкилометра сразу и давят. «Эй!— то и дело окликал Скачеев,— чего рот разинул?» Он подходил, кайлом тыкал в щель, и с полтонны угля из борта камеры коржом грохалось на то место, где работал Иннокентий.

Но это было в конце смены, когда кидал лопатой уголь. Основное же впечатление слилось в бесконечное одно: штрек-нора, он, распластавшийся в этом штреке, рывками тянет проволочной удавкой литую, точно колонну, лесину и твердит мстительно и озлобленно: «Скотина, сволочь, сволочь!..»— пока не обволакивает всего ослабляющим душу безразличием.

Вот что такое пятнадцать тонн угля, что лежат в самом первом вагоне состава! А он хотел пятьдесят вагонов отбросить для ровного счета.

«Устóсался?— спросил Скачеев в конце смены и ободрил:— Ничего, привыкнешь».

Нет, не привык Иннокентий к такой работе; он даже возненавидел ее и ушел бы из шахты навсегда, но закрыли камерный способ добычи угля; а лавы открыли. Ну, тут воздух сквозной, и лес — по конвейеру прямо в забой, да лопата осталась все та же: широченная, как кресало. Кидает, бывало, уголь и думает: как бы сделать, чтоб сама лопата кидала? Маленькую такую машину бы, вроде плужка: крути за ручки, а она черпает уголь. Пока думал, туда-сюда — двадцать тысяч тонн накидал. А машину той порой другие придумали, наверняка не державшие лопаты в своих белых руках.

...Так и сидел Иннокентий с закрытыми глазами, запрокинув лицо в потолок, а мысленно все стоял на перевале. Даль направо и налево. И всю эту даль перехлестнул, опоясал состав, а он, Иннокентий,— муравьишкой посреди большой земли.

— Не может быть,— сказал он вслух.— Не может быть.

Осторожно положил руки на стол и долго глядел на них, неподвижные. «Выходит, на земле почти все под-

ряд великие? И Скачеев — тоже? Вот тебе раз! Да Скачеев много ли меньше за жизнь наворочал, хоть и лопатой? Попробуй, угонись за ним».

Открытие этого неправдоподобного состава так тряхнуло Иннокентию душу, что он вроде раздвоился: ощущал себя обычным, каким он был всегда, и еще вот этим... Ну, как бы это высказать? Да не высказать никак! Разве так бы сделать, чтоб его напарники по бригаде увидели с перевала тот состав, что видел он. «Вот,— сказать бы им,— моя работа и ваша такая же. Теперь знаете, какие мы?»

Так хотелось поделиться прямо сейчас своими чувствами — терпенья нет! Оно ведь, хоть беда, хоть радость, если на одного навалится, и раздавить может.

У Скачеевых тоже свет на веранде. Ужинают. Бумажку с подсчетом — в карман и пошел к ним.

Скачеев отужинал, сидел, осоловелый, курил. Заметно было, что сон налил неодолимой тяжестью его неугомонное тело — только глаза открыты. Евдокия, облокотившись, в темь окна глядела, думала.

— Садись,— очнулась она.— Татьяны нету, что ли?

— Да нету.

— Тоскливо одному,— посочувствовала. Со стоном подняла оплывшее тело от табуретки, стала убирать со стола, коротко переступая большими ногами.— И мы тебе не ансамбль, шибко не развеселим. Мой вон, готовый.

— А я на минуту.

Скачеев затыкал окурок в селедочные объедки, кулаками уперся в край стола, собрался идти спать.

— Слышишь, Павел Тимофеич...

Иннокентия волнение не отпускало, но он уже понял, что не туда пришел с этим волнением. Опять же бумажку уже вынул, разгладил на столе. Отступать было неудобно. «Может, этим и такого дуба прошибу»,— подумал. А Евдокия уже заглядывала через плечо:

— Чего это?

— Это?..

Иннокентий, было приопустив крылья, начал опять взлетать.

— Это то, что мы не знаем себя. Тут вот ответ,— стукнул по бумажке.— Например, ты мужа знаешь?

— Пашку-то?— Евдокия поколыхала себя смехом.— Чего его не знать? Вот он сидит, сыч.

— «Сидит». А кто сидит? Павел Скачеев, и все? Нет,— покачал головой,— не все. Сколько он за жизнь угля добыл? Не знаете? И я не знал.

Иннокентий сделал паузу: вот, мол, сейчас и оглушу, тем более что глаза Скачеева опять посветлели, выкруглились.

— А добыл ты, Павел Тимофеич, столько эшелонов, что если слепить их в один, то как раз от шахты до Черновки будет.

Иннокентий немного убавил в длине скачеевский состав по сравнению со своим. Хоть тот комбайнами уголь не добывал, но работал на год больше. И лопатил: ты — одну лопату, он — две.

— Зачем сцеплять эшелоны-то? Кто ж такой состав повезет?— Скачеев моргнул раза два, по-куриному выбелив веки. «Как же ему не выбило их углем?— некстати подумал Иннокентий о глазах Скачеева.— Ведь совсем снаружи».

— Да не повезет. Зачем везти?— загорячился он, думая, что до Скачеева не дошел главный смысл.— Это столько ты наворочал! По шестьдесят тонн в вагоне, а вагонов — один к одному — до Черновки. Восемнадцать километров. Понял?

Скачеев еще поморгал, а Иннокентий ждал: «Вот сейчас его разоймет, пронижет!»

— А ты не сосчитал, сколько вагонов хлеба съел? Или — мяса?— Скачеев ткнул пальцем в обглоданную кость, поднялся.— Вот она, политика-то... От книжек совсем свихнулся. Хм... Пошел я спать. Потолкуй тут с бабой.

Иннокентий к дверям. Евдокия — следом.

— И гляди ты на него, идола,— вроде оправдывалась за мужа.— Что он знает-то? Сыч и сыч.

Уже у калитки был, когда она, высунувшись в освещенный дверной проем, спросила:

— Он что, взаправду столько угля накрушил?

— Правда.

— Подумать только!— удивилась, но не искренно, а из-за сочувствия к Иннокентию.— Что ж, всю жизнь ведь вы с ним в шахте. Как смолоду занялись, так...

...Иннокентий стоял в саду то ли с обидой, то ли со

стыдом в душе: «Такие составы, а может, и подлиннее, ой, сколько ребят имеют,— думал Иннокентий.— Но не слышал ни от кого об этом и сам больше никому — ни слова. Каждый о себе знает, сколько ему хочется знать. Мало знает, значит, его время не подошло. Подойдет — задумается, узнает. Конечно, помогать бы надо думать-то. Со знающими жить интересней».

Тьма и покой. Небо в звездных туманностях. Иннокентий долго глядит через сквозную крону яблони на эти туманности, длинно вздыхает, то ли от облегчения, то ли от тяжести, и уходит спать.

Станислав Романовский

НАБЕРЕЖНАЯ БЛОКА

Труднее всего было просыпаться.

Всякий раз, принимая пробуждение как последнее, все-таки... все-таки... не силой воли, нет, не желанием жить, нет, а просто по привычке Мария Сергеевна Тропинина вылезала из-под тяжелого армейского полушубка, лежащего поверх одеяла, умывалась из железного, в наплывах льда, умывальника и двигалась по комнате, где на потолке, на стенах, на подоконнике настыл лед, и не было сил сколоть его и привести жилище в порядок.

В эти блокадные дни пришла весна, грело солнце, не по-ленинградски яркое и участливое. Единственное окно в комнате выходило на восход, и Мария Сергеевна подставляла заоконному солнцу лицо, отчего, как она полагала, щеки ее становились румяными.

Потом она завтракала, одевалась, запоясывала полушубок широким ремнем, на котором висел револьвер в лаковой кобуре, натягивала шапку-ушанку и, прежде чем выйти на улицу, стучала в соседнюю квартиру, где жил профессор Никандр Иванович Макуха, чтобы узнать, жив ли он.

Обычно профессор не откликался на ее стук. Мария Сергеевна без спроса входила в просторную, как учреждение, квартиру, и Никандр Иванович, лежа на кровати, скрипел из-под одеяла:

— Живой, Мария Сергеевна, живой.— И нередко прибавлял при этом:— Во всяком случае, я так думаю.

На тумбочке она оставляла ему ломтик хлеба из своего пайка — твердый, ровный, как выпиленный из туфа.

— За какие грехи мне, Мария Сергеевна? Убей господь, не припомню.

А иногда с вялой веселостью интересовался:

— Мария Сергеевна, вы состоите милиционером, а не продавцом в булочной? Я могу предположить, что вам выдают дополнительный паек. Но мне-то за какие грехи?

В добрые довоенные времена профессор Никандр Иванович Макуха изучал крылья бабочек, был непререкаемым авторитетом в Европе и Америке, и однажды Мария Сергеевна спросила: зачем ему бабочкины крылья? И тут же испугалась, что своим вопросом обидела старика, и стала говорить, что, как она понимает, изучение нужно для того, чтобы крепить мощь нашего воздушного флота, и она, как член Осоавиахима... Профессор не обиделся. Долго, с задумчивым воодушевлением он объяснял, что исследует крылья не только бабочек, но и стрекоз и даже божьих коровок... И что, пожалуй, трудно сразу выявить те благодатные последствия, которые даст это исследование.

Сегодня он не откликнулся на ее шаги. Мария Сергеевна подумала, не умер ли он, и остановилась у кровати старика. Он подал из-под одеяла далекий голос:

— Мария Сергеевна, простите... Вижу сон...

Она оставила брусок хлеба на тумбочке рядом с кроватью и вышла на улицу из этого холодного, как ледник, дома.

Грело солнце. Сияли сосульки.

Белый, в черных проемах прорубей, полыхал снег на Неве.

Мария Сергеевна прислонилась спиной к стене, прикрыла глаза, слыша красное солнце под веками. Лицо ее, почти как загаром, покрыла еле заметная розовая корочка тепла.

Она очнулась от резких, рубящих шагов.

Шли матросы.

Они шли с винтовками, в черных бушлатах, черных шапках, черных клешах, и снег, как сахар в крепких зубах, неправдоподобно яростно скрипел, грохотал и раскалывался под их башмаками.

Она отделилась от стены, выпрямилась, поправила ремень с тяжелым наганом и улыбнулась матросам — всем лицом улыбнулась, на котором запеклась розовая корочка солнца.

Матросы шли мимо, видели ее улыбку, скользили по

ней глазами, уходили, и снег еще долго грохотал под матросскими коваными башмаками.

Город жил.

На сверкающем снегу Невы копошились черные люди, набирали воду в ведра, беззвучно, оглушенные солнцем и тишиной, в которой все еще грохотали шаги отряда матросов, двигались, поддерживая друг друга. По набережной старик провез на салазках старуху, сгорбленную до самых колен. На детских санках с белыми полозьями женщина провезла гробик, неестественно маленький, сколоченный из посылочной фанеры, где сохранились довоенные надписи, сделанные чернильным карандашом. Ребятишки проволокли бочку с водой на зальделом днище — вода выплескивалась из черного, оплавленного льдом стеаринового цвета нутра бочки, взлетала и светилась. При этом Мария Сергеевна перехватила завистливые взгляды ребятишек — они смотрели на ее наган в лаковой кобуре. Две старухи вели под руки молодого человека в длинном пальто, из-под которого выглядывали тонкие, как палки, ноги в обмотках и ботинках, схваченных, чтобы не развалились, медной проволокой, поблескивающей на солнце. Люди двигались посреди белого, замерзшего, залитого жгучим солнцем дня, живые везли мертвых, мертвые следовали туда, куда их везли живые, и Мария Сергеевна не ощущала границы между ними, если бы... Если бы не грохочущий снег под башмаками матросов. Если бы не мальчишки, что проволокли бочку со стеклянно светящейся водой и не бросили бы завистливые взгляды на наган в лаковой кобуре...

Это был участок Марии Сергеевны.

Здесь жили живые люди, и если в довоенное время они делились на тех, кто с разной степенью громкости говорил о своих бедах, и тех, кто справедливо полагал, что жалобы унизительны, то сейчас не жаловался никто. Они все, или почти все, поняли и приняли истину: жаловаться, когда всем трудно, не надо.

Вот мужчина средних лет в пыжиковой шапке провез на салазках свежевыструганный гроб с двумя коричневыми сучками на крышке.

Мария Сергеевна мгновенно вспомнила, что за эту неделю она, пожалуй, в третий раз видит эти два коричневых сучка. Пожалуй... Совпадение? И мужчину это-

го она видит в третий раз на неделе — это точно. Такой шапки больше ни у кого нет на ее участке. В третий раз он отвозит родных или близких на кладбище. Люди умирают подряд от голода. Их не успевают хоронить. Беда не ходит одна — смерть повадилась в семью этого человека.

Мария Сергеевна поймала себя на том, что она идет за ним и смотрит на два коричневых сучка на сосновой крышке.

Мужчина шел вдоль Невы неторопливой скорбной походкой и не подозревал, что за ним следует Мария Сергеевна.

Они поравнялись, и она спросила не столько голосом, сколько глазами:

— Кто?

Он посмотрел на нее карими недоверчивыми глазами и ответил не сразу:

— Мать.

И пошел быстрее, обгоняя прохожих, и солнце светилось на сосновой крышке, лавирующей среди черных медленных людей. Как все произошло дальше, Мария Сергеевна поняла позднее. Мужчина шел быстро и, пропуская встречную санитарную машину, вынужденно, разом замедлил шаги. Санки же по инерции подались вперед под уклон. Веревка вырвалась из рук мужчины, и санки помчались, набирая скорость и покачиваясь, ударились в парапет набережной, гроб опрокинулся, раскрылся... И из него, обгоняя друг друга, весело запрыгали буханки хлеба. Золотистые, они раскатывались в разные стороны по белу снегу и замирали — одна, другая, третья...

Мужчина, не оборачиваясь, рванулся в ближайший переулок.

— Стой! — закричала Мария Сергеевна. — Сто-ооой!

И не услышала своего голоса.

Она бежала, на бегу выпрастывая наган из тесной, твердой, как створки раковины, кобуры. Наган не слушался и не давался в руку.

— Стой! Стрелять буду!

Мужчина не остановился.

Расстояние между ним и Марией Сергеевной увеличивалось с непостижимой быстротой.

Задыхаясь, женщина поймала на мушку пушистую

пыжиковую шапку, чуть приподняла ствол револьвера и нажала на спуск. Грохнул выстрел, и вспышка его была неразличима среди этого слепящего дня. Руку Марии Сергеевны жестко подбросило.

— Сто-ооой!

Мария Сергеевна успела заметить, что пуля попала в самый верх пыжиковой шапки и просекла ложбинку в меху.

Мужчина кинулся к подъезду с железным козырьком, поддерживаемым узорчатыми кронштейнами, рванул на себя дверью.

Дверь не поддавалась.

— Сто-ооой!

Мария Сергеевна подбежала к мужчине и выстрелила над самой его головой. Брызнули полыхающие солнцем сосульки, и осколки льда осыпали преследуемого с головы до ног.

Он повернулся к Марии Сергеевне лицом и поднял обе руки вверх.

Она не была готова к тому, что преследуемый так легко сдастся, так покладисто поднимет руки, и автоматически нажала на спуск. Пуля опять угодила в зеленую бороду сосулек на козырьке подъезда, и лед опять окатил мужчину с головы до ног.

И тишина.

Тишина. Тишина. Тишина.

Только осколки льда, подскакивая, звенели под ногами мужчины и женщины. И еще было слышно, как тяжко дышат оба — Мария Сергеевна и незнакомец.

Она навела наган на задержанного и дожидалась, когда у нее успокоится дыхание.

Мария Сергеевна плохо видела незнакомца, а он, не опуская рук, разглядывал ее, и она стала видеть его лучше: нестарое, с румянцем, лицо, обросшее вьющейся бородкой, карие глаза и особенное их выражение — в них были загнанность, тоска, злость, любопытство...

Внезапно он улыбнулся и сказал с удивлением:

— А красивая вы!

Мария Сергеевна задышала часто-часто. Никогда прежде она не слышала таких слов. Ни разу в жизни никто не признавался ей в любви. Она была не хуже, не лучше своих сверстниц, но все они, кроме нее, даже самые некрасивые, еще перед войной вышли замуж, а она нет.

Любовь обошла ее, и Мария Сергеевна смирилась с мыслью о том, что, честно исполняя служебные обязанности, она не изведает семейного счастья. Почему обошла ее любовь, Мария Сергеевна не знала. Возможно, потому, что всю жизнь — в школе, в милицейском училище, на работе — она занимала ответственные посты: секретарь комитета комсомола, председатель местного комитета и так далее. Сослуживцы говорили про нее:

— Не женщина, а боевой товарищ.

А Мария Сергеевна была женщиной, в большей степени женщиной, чем большинство ее подруг, что вышли замуж, нарожали детей и успели устать от любви. Наверное, в свое время мужчины влюблялись в нее, не обиженная внешностью, она всегда была на виду. Но никто никогда не говорил ей о любви, полагая, по-видимому, что «у нее кто-то есть». А у нее никого не было, никогошеньки, никогда, и ее черемуха отцвела.

— А красивая вы!

Лицо Марии Сергеевны вспыхнуло девичьим румянцем. Она подумала: «Как хорошо, что сегодня я сумела погреться на солнце и выгляжу сейчас не такой худой и страшной...»

А лицо ее разгоралось, и она хотела поднести к щекам обе руки, чтобы остудить румянец, и руки ее потянулись к щекам.

Среди пылающего солнцем дня она видела румяное лицо незнакомца, его карие, любующиеся ею глаза, и сама она мысленно представила себя со стороны — дерзко помолодевшую, с полыхающими, как маки, щеками, пленительную женщину, и замерла от сознания собственной красоты.

И руки ее, тянущиеся к лицу, чтобы остудить румянец, ощутили тяжесть нагана.

И остановились, замерли руки.

Она подумала, как бы не выронить оружие, сжала его и даже прищурилась, целясь в грудь незнакомца.

Видимо, все это получилось негрозно. Румянец еще играл на ее щеках. А на лице жило благодарное и доверчивое выражение, потому что незнакомец тихо попросил:

— Руки можно опустить?

Она ответила:

— Да...

Он опустил руки, снял варежки, стал разминать пальцы, не спуская глаз с Марии Сергеевны, подышал на них.

А кругом собирался народ — большей частью старухи и дети.

К приезду милицейской машины люди собрали все до единой буханки — их оказалось пятнадцать с четвертинкой,— на чистом снегу, на солнышке сложили в ровную поленницу и встали в сторонке.

Задержанного, двух свидетельниц, Марию Сергеевну и хлеб отвезли в отделение милиции в зарешеченной машине.

Мария Сергеевна написала протокол, где точно указала время, место, обстоятельства задержания преступника и обосновала три своих выстрела. Свидетельниц, расписавшихся в протоколе, который им прочитала вслух составительница, отвезли домой на машине. С неожиданной запальчивостью Мария Сергеевна заявила начальнику милиции, что третий выстрел был лишним. Преследуемый уже поднял руки, а она пальнула у него над самой головой. Выстрелы надо актировать.

— Заактируем,— сказал начальник милиции литовец Алексес Ремейкис, которого все звали на русский лад Алексеем Петровичем.— Почему ты так переживаешь?

Мария Сергеевна растерялась:

— Из-за чего?..

— Из-за третьего выстрела.

— Я не переживаю.

— И не переживай. Ты нашла склад хлеба. Триста маленьких ребят можно накормить. А если у преступника еще есть хлеб? Разве он один доставал продовольствие? Как ты думаешь, Маша?

— Я его не спрашивала.

— Спросишь. Дело поведешь ты. Людей у нас в отделении — ты, да я, да мы с тобой.

Мария Сергеевна и себе не призналась в том, что ее обрадовало поручение Ремейкиса. Ее грело уже ставшее воспоминанием: «А красивая вы!»

Она попросила дежурного привести преступника в комнату следователей — в помещение средних размеров, где тесно стояли пустые столы.

Ввели подследственного.

Он оказался не таким, каким только что был при свете слепящего дня, ниже ростом, лицо серое, глаза не ярко-карие, а какого-то неопределенного цвета.

С разрешения Марии Сергевны он сел на стул и, не поднимая головы, сказал простоватым голосом:

— Чего там говорить? Надо ехать ко мне на квартиру. А так чего говорить?

— Откуда у вас столько хлеба?

— Откуда? Из магазина.

Он поднял голову и посмотрел на Марию Сергеевну. И ей подумалось, что глаза его наливаются карим ласкающим светом.

И усмехнулся:

— Не из одного, конечно... Потом он глухо спросил: — Там сколько буханок было?

— А вы не помните?

— Не помню.

— Сейча-ааас,— ласково протянула Мария Сергеевна, не торопясь, выдвинула ящик стола и достала протокол, нет, не протокол, а чистый бланк и заглянула в него.

— Пятнадцать буханок и четвертушка,— объявила она.

— Значит, я навестил шестнадцать магазинов. Как это делается? Да что говорить-то? Поехали ко мне на квартиру, вы все сами увидите.

— Любите кататься?— спросила Мария Сергеевна.

Он сказал с неуверенной улыбкой:

— Это вы в том смысле: любишь кататься — люби и саночки возить?

— Саночки вы, по-моему, повозили достаточно.

— ...Можно и пешком пройти. Я тут недалеко живу.

— Почему же пешком?— улыбнулась Мария Сергеевна.— Ради такого случая мы вас прокатим на вороных.

Зарешеченная машина доставила Марию Сергеевну, милиционера, шофера и подследственного к его жилищу. Жил он в нескольких кварталах от отделения милиции в вымершем доме, где почти не было жильцов, и понятых пришлось звать из соседнего подъезда.

Комната преступника была уютной. Стеллажи с книгами, письменный стол, кровать, диван, туалет. Кафельная печка была еще теплой, и милиционер прило-

жил к кафелю красные ревматические ладони и сказал:

— Вот где греться-то!

— Ташкент,— подтвердил шофер.

— Ташкент — город хлебный,— улыбнулась Мария Сергеевна.

У себя в комнате задержанный попросил разрешения снять верхнюю одежду. Движения его обрели уверенность, голос окреп, глаза заблестели.

Он выдвигал ящики старинного письменного стола и выкладывал на зеленое сукно столешницы скальпели разных размеров, коробки с акварельными красками, колонковые кисточки, пузырьки с тушью, стиральные резинки, металлические перья...

Хозяин квартиры помедлил, из глубины нижнего ящика достал большую кожаную готовальню и раскрыл ее. Внутри на алом бархате покоился набор инструментов, блистающих никелем. На изнанке крышки готовальни тисненым золотом горел герб Российской империи. Бархат алел и алостью своей походил на парное мясо; а чертежные инструменты — на хирургические.

— Таких готовален,— сказал ее владелец с гордостью,— таких готовален во всем мире единицы.

Милиционер посмотрел на Марию Сергеевну, и она попросила задержанного:

— Ближе к делу.

— Это и есть дело,— сказал тот.— Я кончил полиграфический институт, и эта готовальня — фамильная драгоценность.

— Ближе к делу.

— Это и есть дело!.. С помощью ее... и прочего... Я чертил, рисовал, изготавливал хлебные карточки и получал на них хлеба столько, сколько хочу. Я могу и сейчас, в вашем присутствии, изготовить хлебную карточку. Правда, вам придется запастись терпением...

— Не сейчас,— перебила Мария Сергеевна.

— Жаль. У меня сохранились образцы моей работы. По-моему, они достовернее оригинала...

Он положил готовальню на стол, из книжного шкафа извлек том Мильтона, раскрыл его на нужной странице, где лежали хлебные карточки.

Милиционер разглядывал их на свет, помял в пальцах.

— Можно нам?— попросили понятые.

Милиционер посмотрел на Марию Сергеевну и разрешил:

— Можно. Только осторожно.

— Секретов у меня нет никаких,— говорил арестованный.— Необходимо графически точно воспроизвести оригинал на бумаге соответствующего качества. Вот оригинал. Вот копия. Для вашего правдоподобия копию, как это делают сейчас товарищи, можно слегка помять...

— А дальше?— спросила Мария Сергеевна.

— Очень просто. Я иду в хлебный магазин и на эти карточки получаю хлеб. Потом этот хлеб уже известным вам способом доставляю на квартиры и обмениваю на ценности. Серебро не люблю. В природе его много, и стоимость серебра искусственно завышена...

Он внезапно вспотел и попросил разрешения сесть.

Он сидел спиной к письменному столу, лицом к посетителям, вытирал обильный пот и жаловался:

— Голова закружилась...

— А ваши коллеги?— спросила Мария Сергеевна.

— Какие коллеги?— с усилием выговорил он.— Все делал я сам. Даю честное благородное слово...

— Благородное! — не выдержал один из понятых.— Вешать надо таких благородных!.. На площадях вешать!.. Чтобы люди видели...— И всхлипнул:— Мы стоим, а он, гад, сидит.

— Садитесь, товарищи,— распорядилась Мария Сергеевна.— В ногах правды нет.

Все сели, кто где — на стульях, на диване, на кровати, и было слышно, как люди дышат и кашляют.

— Понимаю,— с еще большим усилием сказал арестованный.— Я вас понимаю. Меня будут допрашивать, чтобы я назвал соучастников. А где я их возьму? Пока я в состоянии соображать, я говорю, что их нет и не было... Я не знаю, как вам доказать это... Я могу поклясться матерью...

— Матерью! — подал голос тот же понятой. — Если бы мать знала наперед, она бы растоптала такого сыночка!..

— Подождите,— попросила Мария Сергеевна.

— Что, я неправду говорю?— не унимался понятой.— У меня... трое... от голода...

В тишине Мария Сергеевна тихо спросила преступника:

— Ценности где?

— Сейчас.

Тот опустился на колени, полез под кровать, достал оттуда эмалированный ночной горшок голубого цвета, снял с него крышку, вынул слой мелованной бумаги, высыпал содержимое горшка на стол, на зеленое сукно: кольца с перстнями и без перстней, серьги, кулоны, браслеты, вставные челюсти — целые и половинки с желтыми золотыми зубами...

— Освещение не то,— говорил задержанный.— Сумерки. При дневном свете все это, знаете ли, производит впечатление. Играет! Вот, обратите внимание, зеленый алмаз — дрезденский. А это синий — флорентийский. Вот самый редкий савойский алмаз — черный.

Люди молчали, и обладатель драгоценностей прибавил:

— Без преувеличения могу сказать: все это равно стоимости одного районного центра с прилегающими деревнями и селами...

— И людьми?— спросил милиционер, на что задержанный ничего не ответил. Милиционер спросил еще: — Челюсть-то ты с мертвого снял?

Полиграфист возмутился:

— Я трупы не обворовывал. А эта челюсть, по-моему, не с золотыми зубами, а с медными. Я ее взял — человека пожалел...

— Обманули тебя?— посочувствовал милиционер.

Задержанный подержал в руках половинку челюсти с желтыми зубами и аккуратно положил ее около груды драгоценностей.

Положил и, ни на кого не глядя, выпрямился, всем своим видом показывая, что он готов ко всему и ждет дальнейших вопросов или распоряжений.

— Жить-то тебе хочется?— спросил тот же самый понятой.— Нет желания на осине... как Иуда?..

Задержанный ответил:

— Такого желания нет.

После необходимой процедуры обыска, подробной описи имущества, составления соответствующих документов подсудимого увезли в милицию и определили в камеру предварительного заключения. На все эти хлопоты ушло много времени, и дело близилось к рассвету. Домой ночевать Мария Сергеевна не пошла, подремала у

печки в отделении милиции и с утра продолжила допрос подсудимого.

Он зяб, кутался в пальто, невыспавшимися глазами смотрел на стены, на окна, изредка на Марию Сергеевну и поначалу отвечал односложно и вяло. Она вела допрос добросовестно и не находила в задержанном ничего от вчерашнего мужчины с яркими карими глазами, который, конечно же, искренне сказал ей при самых неподходящих обстоятельствах:

— А красивая вы!

Припоминание этих жарких слов грело Марию Сергеевну, и она, разглядывая преступника со скрытым и спокойным волнением, задавала необходимые вопросы. Волнение ее уживалось со спокойной же брезгливостью, и брезгливость эта адресовалась ему сегодняшнему, а не тому вчерашнему, залитому неистовым весенним солнцем.

— Как вы дошли до жизни такой?— спросила Мария Сергеевна.

Он не понял и попросил повторить вопрос.

— Как вы дошли до жизни такой?— возвысила голос женщина и поймала себя на том, что эту фразу прежде она не раз произносила на заседаниях комитета комсомола или месткома, где разбирались персональные дела.

«Вероятно,— подумала Мария Сергеевна,— можно спросить и по-другому, иначе поставить вопрос. Но я так привыкла. Да и старшие товарищи тоже так спрашивают. А потом, что в этой фразе такого плохого? Почему она сейчас мне не нравится?..»

— «Дошел до жизни такой...» Шел вот и дошел. Как? А никак! Сам не знаю как. Надо подумать, в самом деле, как? Как-то ведь дошел. Я буду говорить и думать одновременно. А то ведь я не особенно задумывался. Какой-то философии у меня не было. Или была?— спросил он себя или Марию Сергеевну и долго не сводил с нее проснувшихся карих глаз.

— Сколько вам лет?— спросила она.

— Тридцать четыре. Тридцать пятый. Я, наверное, лет на десять вас старше?

В его вопросе Мария Сергеевна уловила скорее лесть, чем комплимент, но не обиделась на нее, а подождала, не скажет ли он еще чего-нибудь.

— ...Как я дошел до жизни такой? Я сын священника. Нет, отца у меня не трогали. Он с матерью... батюшка с матушкой!.. Живет в городке на Волге и служит молебны за победу над супостатом. Так у них принято. После того как вы отменили бога...

— Мы его не отменяли,— перебила Мария Сергеевна.

— Не вы лично, а Советская власть. В общем, после того как бога отменили...

— Разве бога можно отменить?— удивилась Мария Сергеевна.

— Вопрос не простой,— опять польстил следователю допрашиваемый.— Бога, конечно, отменить нельзя. Можно издать декреты, разрушить храмы, сжечь священные книги. Но бог останется богом!.. Я хотел вот что сказать... В разгар борьбы с религией отец внушал мне, что от гонений вера только крепнет. И я верил в бога до тех пор, пока не застал отца в алтаре со служкой церкви — бывшей монашкой, дебелой такой женщиной...— Подследственный потер лоб и спросил встревоженно: — Кажется, я предал своего отца?

Мария Сергеевна молчала. Он попросил умоляюще:

— Скажите... Я предал своего отца или сказал для пользы дела?.. Я ничего не пойму... Я ни на кого не писал доносов... Нет, вы не молчите!.. Я предал своего отца или нет?

Она вспомнила далекие-далекие слова, услышанные от бабушки, и произнесла их раздельно:

— Ты сказал.

— Новый Завет!— подхватил сын священника.— Евангелие от Матфея? Слова вылетели, их не поймаешь. Но не для наговора эти слова. Когда я застал в алтаре... Я сразу... Нет, пожалуй, не сразу перестал верить в бога. Я осмелел. Я перестал бояться темноты. А до этого боялся заходить в темную комнату. Правда, я побаивался пьяных. У них нет логики в поступках. Отцу, чтобы не расстраивать, я не сказал, что не верю в бога, и поступил в полиграфический. В армию меня не взяли из-за врожденного порока сердца. Я и дверь-то, когда вы в меня стреляли, не смог открыть из-за того, что сердце схватило. Чувствую: шагу ступить не могу, упаду сейчас, перед глазами все плывет... А вы по мне из нагана!.. Штукатурка сыплется...

— Это не штукатурка, а лед.

— Лед? А я думал, штукатурка,— виновато улыбнулся преступник.— Лед. Сосульки? Весна. Лицо ваше помню...

— Мы сейчас не об этом.

— Да, да,— спохватился обвиняемый.— Не об этом. Живу в голодном городе. Хлеба нет. Бога нет. Людей тоже нет. Тени. Если никого нет, то хотя бы я-то должен быть? Никого же нет...

— И пьяных нет!

— И пьяных нет!— весело подхватил преступник.— Вот я и пустился во все тяжкие.

— Совесть вас не мучила?— спросила Мария Сергеевна.— Не думали вы о людях, у которых обманом отнимали хлеб? У меня нет пока конкретных данных, но ведь не один человек из-за вас умер с голоду... Ведь кому-то же не хватило хлеба, который вы получали по фальшивым карточкам! Неужели вас не мучает совесть? Нисколько?

— Я думал о совести,— негромко сказал преступник.— Но угрызений... больших во всяком случае... не было. Я видел продавщиц с румяными щеками...

— Но вы больше видели продавщиц, которые от голода еле держались на ногах.

— Правильно. Их было больше. А одна была кровь с молоком!

Мария Сергеевна спросила:

— Страха у вас не было?

— Большого страха не было. Даже страха смерти не было. Кругом умирают. Иной раз сам не поймешь, где ты: на этом свете или на том. Честно отвечу: смерти я не боялся. Но я боялся...— Он посмотрел на Марию Сергеевну жалобными глазами.— Я боялся... и боюсь... мучений! Вот чего я боюсь! Пыток. Агонии. Унижения моего достоинства...

— Разве оно у вас есть?— спросила Мария Сергеевна.

— Да?— оскорбленно спросил он.

Мария не отвечала. Ей стало скучно вести допрос. После долгого молчания преступник сказал исповедально:

— Знаете, кого я боялся еще? Женщин. Не тех, которые идут по улице и которым я ничем не обязан.

Я боялся женщины, которая могла бы стать моей женой или любовницей. Одним словом, лишить меня возможности принадлежать самому себе. Вот кого я боялся! Она родит детей, постареет, сморщится. Примется кряхтеть и охать и говорить про болезни. И здесь жизнь станет обязанностью. Должностью. Службой. В чем же человек тогда свободен? Когда-то в какое-то время суток человек может прийти к себе домой, лечь и сказать: «Никому и ничего я не должен! Я у себя дома, и ни одна душа не смеет командовать мной». Да... Про любовь написано много. А что она? Ученые доказали, что близость с женщиной в конечном итоге — трата нервных клеток...

...Я от дождя эфирной пыли
И от круженья охраню
Всей силой мышц и сенью крылий
И, вознося, не уроню.
И на горах, в сверканье белом,
На незапятнанном лугу,
Божественно-прекрасным телом
Тебя я странно обожгу.
Ты знаешь ли, какая малость
Та человеческая ложь,
Та грустная земная жалость,
Что дикой страстью ты зовешь?..

Он задохнулся от волнения и замолчал. Мария Сергеевна, зевнув, спросила:

— Стало быть, вы собирались всю жизнь просидеть на голубом горшке с драгоценностями?

— Ни в ком случае,— ответил подследственный.— Не собирался. Я собирался войну пережить, а тут вот... встреча с вами... Да!.. Пережил бы войну. Приобрел бы жилье поприличней. Работал бы на тихой работе. Каждый час подчинил бы своему здоровью. Совершенно сознательно исключил бы из своей жизни все наслаждения, кроме тех, которые полезны для организма. В конечном итоге побеждает только здоровье. С такими-то средствами сердце я бы вылечил! С возрастом людей тянет к семейному очагу. Я и это предусмотрел. Я бы никогда не женился, не тратил бы нервные клетки на продолжение рода, а путешествовал бы, гулял бы на свежем воздухе, совершал бы посильные физические упражнения, соответственно питался. Нет, я бы никогда не женился. Я понимаю, что абсолютно свободным

быть нельзя. Но можно же создать внутри себя, для себя, не бросая вызов обществу, свою маленькую автономную свободу! Свою. Свободных обществ нет и быть не может, и человек должен изворачиваться, чтобы стать мало-мальски свободным. Вам неинтересно? Разве я неправду говорю? Если человека... любого человека... раздеть донага... Ой-ей-ей-ей-ей!.. Он вряд ли будет лучше меня. Если бы вы случайно не раскрыли мое преступление, я был бы обыкновенным человеком. Даже хорошим. Если людей повести в баню, где они будут толпиться без мундиров, без пиджаков, без галифе, без всяких там бретелек... Это буду я. Точно! Нет, конечно, есть люди героические... Прекрасные!.. Наши матросы... Я видел их сегодня на набережной. Шли молодец к молодцу. Гитлер всю Европу согнал к Ленинграду, а они не отдают! Такого героизма не знала История...

Он говорил, говорил и смотрел на Марию Сергеевну, ожидая вопросов. Она встала и сказала:

— Пойдемте, я вас провожу в КПЗ.

Он встал и спросил:

— Скучно вам со мною?

— Да.

— Почему?— Голос его вспыхнул.— Я знаю, почему. Я все сказал. Вы все нашли. Дело фактически закрыто. И вам стало скучно. Если бы...

— Да нет,— перебила Мария Сергеевна.— Не поэтому.

— А почему?

— Потому что вы прах.

— Не согласен,— сказал преступник.— Вы меня обижаете... Достоинство человека...

По лицу его было видно, что он собирается заплакать — рот скривился, задергалось веко правого глаза. Подследственный через силу улыбнулся и горько сказал:

— Может быть, вы и правы: прах... Это от вас зависит.

Прежде чем закрыть дверь камеры, Мария Сергеевна ответила устало:

— От меня теперь ничего не зависит. Да и от вас тоже. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Мария Сергеевна задвинула железный засов окован-

ной железом двери, замкнула ее на замок, выпила из чайника воды, пахнущей жестью...

А потом пошла домой.

Огромный притихший город лежал в тумане вокруг Марии Сергеевны. Туман был густо-серый, местами черный, и, пеленая здания, мосты, чугунные решетки, он не скрывал их полностью, а как бы надел на них мохнатые негреющие одежды. Город дымился этим неспешным, густым, как дыхание на морозе, вязким туманом. В туманном дыму угадывался шлем Исаакия, и покачивался, плыл вместе с шагами Марии Сергеевны, и, все-таки оставаясь на месте, прислушивался, как скрипит снег под ее валенками, и хотел сказать ей нечто короткое и важное.

В тумане не было огней, звуков, движения. Все замерло или вымерло, но не навсегда, и в обморочном этом молчании туман властвовал и чувствовал, что сегодня — его время и он может вовсю поцарствовать в этом гигантском городе. Он дышал повсюду — в каждом переулке, у каждого крыльца, в воронке от снаряда или бомбы, у щербатой от осколков стены, у колен, у лица, над головой Марии Сергеевны, и дыхание его, сырое, беззвучное, косматое, заставляло предметы колебаться и дышать вместе с ним.

Он даже немножко озорничал — этот пахнущий военной гарью туман, и в озорстве его было нечто весеннее: он плыл не по течению, а против течения Невы, скрытой подо льдом, впитывался в снег, дразнил подледный ход мощной реки: «Ты — так, а я — эдак. Ты — туда, а я — сюда. Что ты мне сделаешь? Да ничего. Я тоже поток, я туман...»

Не громыхая железом, на пушистых лапах без коготков, он ходил по крышам, стлался по развалинам зданий, заглядывая в окна, разбитые и целые, засиживался в жилых и нежилых квартирах, в кухнях, в коридорах, в подвалах. Он не поднимался высоко в небо, где, наверное, было светло. Он ходил по городу и трудно было загадывать, сколько он еще пробудет здесь. Может быть, он задержится здесь надолго — этот текучий туман, слиянный с городом, как дыхание с человеком? И если он рассеется, то вместе с ним уйдет нечто или некто, без чего или без кого не станет этого города?

Лицом Мария Сергеевна ощущала, что туман не холодный. В нем нет большой доброты, он себе на уме, но туман этот не студеный, а зябкий, сырой и живой, и если бы ей чуть больше молодости, здоровья, а скорее всего просто хлеба, он был бы острым и радостным — был бы желанным припоминанием ее ленинградского детства, когда с этим туманом хотелось играть, как с большим, добродушным, мокрым с воли щенком.

По железной лестнице она долго поднималась к себе на третий этаж, а когда поднялась, задыхаясь, то вспомнила профессора Никандра Ивановича Макуху. Жив ли он?

Профессор встретил ее в дверях полутемной своей квартиры, поздоровался с поклоном и попросил:

— Маша, загляните ко мне, пожалуйста.

Он усадил ее в глубокое кресло и спросил:

— Вы не курите? Господи, о чем я спрашиваю? Конечно, нет. У меня остались папиросы с довоенных лет. Дорогие чрезвычайно. Если бы курили, я бы с удовольствием закурил вместе с вами. У меня сохранилась конфета. Ка-ра-мель! В нарядной обертке. Пожалуйста, возьмите конфету и съешьте. Можете сосать, как в детстве. А обертку оставьте себе. Вы собирали фантики?

— А вы?

— Фантики? Нет, не собирал.

— А ваша конфета?

— Я свою конфету уже съел. Съел, не дождавшись вас... Преступник! Съешьте, пожалуйста, за мое здоровье. Дело в том, что у меня сегодня день рождения. Можете поздравить: мне шестьдесят семь лет. День рождения положено встречать с шампанским, но... Сами понимаете!.. А я, знаете ли, захмелел от конфеты. Я даже подумал: не начинили ли господа кондитеры конфеты ромом? Если начинили, то совсем славно: день рождения с вином!

Мария Сергеевна перекатывала во рту твердую, как камушек, карамель и постепенно сквозь запахи бумаги и старых вещей распробовала ее сладость.

— Как вкусно!— сказала Мария Сергеевна.— Действительно, голова кружится. Без рома тут не обошлось.

— Что я говорил? Что я говорил? Кружится?

— Кружится...

И дабы как-то отблагодарить профессора за угощение, женщина сказала:

— Я понимаю, крылья бабочки. А крылья божьей коровки?

Профессор посмотрел по сторонам, не подслушивает ли кто, и поведал:

— На правах захмелевшего именинника могу сказать лишнее... Но... вы умеете хранить тайну лучше меня, милая Мария Сергеевна, и я спокоен... Божья коровка покрыта мощным хитиновым покровом. В переводе на броню он не пробиваем практически пулями и даже снарядами определенного калибра. А крылья? Вы представляете, куда я клоню? Летающий танк — этого не знала ни одна из армий мира! Этот Гитлер так меня разозлил, что я от бабочкиного крыла перехожу к боевым машинам. Я прежде всего гражданин отечества, и мои танки поднимутся в воздух, чтобы спасти цивилизацию от фашизма. Как? Вы еще не съели мою конфету?

— Нет еще.

— Это почему же?

— Жалко... Никандр Иванович, а скоро ваши танки поднимутся в воздух?

— Точный срок я не могу назвать,— ответил именинник.— Сейчас у меня ничего нет, кроме жизни. Кроме моих шестидесяти семи лет. Когда у меня будет возможность... собрать конструкторское бюро... Из живых!.. О-о-о!.. Я задам им работу. Я задам им такую работу, что они ахнут!.. Милая, милая, милая Мария Сергеевна! Соучастница моих именин. Вы думаете, я подниму в воздух только бронированные машины? Нет, родная! Если я их подниму, то в самом крайнем случае. Может быть, здесь все обойдется без меня, и я их оставлю на запасном пути. Я подниму в воздух на бабочкином крыле счастливых людей!.. Ваших детей. Моих внуков и правнуков. И там они забудут о наших страданиях, и забвение будет справедливым... Светлая Мария Сергеевна! Пусть ненадолго, но забудут. Нас тогда не будет. Нет, вы будете. И вам будет легче.

— Скоро станет совсем тепло,— сквозь сон сказала Мария Сергеевна.— Я вам буду ловить бабочек и божьих коровок...

— Конечно, конечно.

— Я вам буду ловить бабочек...

— Я знаю: вы не помнете им крылья...

Она слышала голос именинника и рассеянно улыбалась ему из сна. Мария Сергеевна спала и видела окутанный туманом, родной, единственный, самый красивый город в мире — дымящийся, дышащий, в серых контурах зданий, в ощущении их близкого, почти телесного, каменного объема, в приятии жизни вопреки всему. И над каменным истерзанным городом разгоралось и гасло прекрасное бабочкино крыло и золотое тепло его дотрагивалось до лица женщины. Это Никандр Иванович растопил «буржуйку», и она грела сон Марии Сергеевны.

— Я вам буду ловить бабочек...

Немало лет спустя, когда не стало в живых старого профессора и многих тысяч его земляков, когда воспоминания о блокаде и о войне пригасли, несмотря на то, что отдельные случаи виделись во всех подробностях, как щербатая полоса земли между нашими и их позициями, освещенная лучами прожекторов, капитан милиции Мария Сергеевна Тропинина вместе с Алексеем Петровичем Ремейкисом и другими сослуживцами ехала за город в головной легковой машине, за которой следовало еще несколько машин.

Ехали они на стрельбы, обязательные для большинства сотрудников милиции, к пологому овражку, что располагался в стороне от проезжих асфальтовых дорог. Рядом с шофером на переднем сиденье сидел Алексей Петрович, на заднем Мария Сергеевна с двумя молоденькими милиционерами. Один из них, шурша газетой, сказал:

— Чего только не напишут! «Заметки фенолога»... «Соловей запел рано утром»... Вышел бы этот самый фенолог хотя бы раз в жизни в лес и послушал. И тогда бы он, бедолага, написал: «Соловей поет только ночью».

Некоторое время все молчали, а потом Алексей Петрович Ремейкис, не оборачиваясь, тоном, не допускающим ни малейшего возражения, высказался:

— Ерунда. Соловей поет в любое время суток: утром, днем, вечером и ночью.

Сказано это было так убежденно, что Мария Сергеевна подумала с улыбкой: «После этих слов соловей за-

поет в любое время суток. Разве он сможет ослушаться Ремейкиса!»

Машина приехала на полигон, и пока молоденькие милиционеры устанавливали фанерные мишени в тупике лога, пока выставляли оцепление и велись другие приготовления к стрельбам, Мария Сергеевна вошла в заросли черемухи и пошла по вязкой тропинке невесть куда. Местами под ногами лежал снег и серым цветом своим не собирался спорить с черемухами, что белели белее белого. Ключевой холод объял женщину. Она шла на чмокание ручья и на голос транзистора.

Тропинка привела ее к ручью с коричневой неподвижной водой, запорошенной черемуховым цветом. У ручья, спиной к Марии Сергеевне сидел старик с удочкой и смотрел на поплавок из коры осокоря. Старик был в шапке, стеганке, ватных штанах. Рядом с ним стоял объемистый транзистор с длинной антенной.

Старик не слышал, как подошла Мария Сергеевна, и она хотела было уйти отсюда, чтобы не мешать человеку рыбачить, и ушла бы, если бы в транзисторе сквозь треск и шум голос с иностранным акцентом не объявил фамилию, имя и отчество человека, знакомого ей... Мария Сергеевна не сразу вспомнила, что это тот самый полиграфист, который в блокированном Ленинграде подделывал хлебные карточки, получал на них хлеб и обменивал его на драгоценности... Она мгновенно вспомнила слепящий весенний день, выстрелы, лед, окативший преступника с головы до ног...

О чем он говорит? А ведь это он говорит, а не кто другой!..

Сквозь шумы в эфир пробивался неожиданно звонкий голос:

— ...В осажденном Ленинграде с оружием в руках я отбивал натиск фашистских легионов... Я был арестован за то, что поделился последним куском хлеба с человеком, за которым следила ЧК... Разве я мог наблюдать спокойно, как человек умирает с голоду?.. Нет, нет и нет!.. А вы, дорогие слушатели, смогли бы?.. Что нужно человеку? Человеку нужны: свобода, нравственная чистота и материальная обеспеченность... После того как я отсидел за сострадание к человеку в советской тюрьме, меня хотели упрятать в больницу для душевнобольных. Только чудо спасло меня. Я счастлив, что по-

кинул огромный концлагерь, именуемый Советским Союзом, и обрел все необходимое в свободной стране... Сейчас я пишу книгу «Истина»...

Приемник трещал, как сырые дрова на костре, и Мария Сергеевна потихоньку пошла прочь от этого места.

Она шла вверх по ручью, раздвигая ветви, и они осыпали ее белым венчальным цветом. Проваливаясь в сером снегу, она подошла к высокой черемухе, обвила ее ствол руками, прижалась к нему щекой, над собой увидела неяркое северное небо, оплетенное белыми ветвями, и радость, оттого что она у себя на Родине, а не на чужбине, хотя на чужбину Мария Сергеевна никогда не выезжала, обняла ее... Ногами, обутыми в хромовые сапоги, она разгладила землю под собой: здесь ты, земля, никуда не делась, хорошо ходить по тебе, весенняя...

Галина Дробот

ТАК Я ХОЧУ

Моя мама не знает и не любит музыку. Но каждый сентябрь ходит в консерваторию на первый же органный концерт Баха и возвращается домой просветленная. Мне это кажется причудой. Впрочем, может быть, музыку любил мой отец, мне это не известно. Я не знала отца. Он погиб, когда я еще только должна была родиться. Нет, не на фронте: мне двадцать. Осенью, как раз в сентябре, он шел по берегу реки и услышал крик: тонул мальчонка. Семилетний, детдомовец. Он спас его, а сам погиб. На портрете, что висит у мамы, у него большие глаза и густые волосы. Прямые и черные. Он нравится мне. Мне вообще нравятся брюнеты, они мне кажутся мужественными. Это, наверное, по контрасту. У меня, как у мамы, голубые глаза и светлые волосы.

Я очень похожа на маму, только мама красивей. Она просто красивая. Но мне хотелось бы быть похожей на отца. У него на фотографии лицо, словно неровно резанное из камня, угловатое, крестьянское. Может, так потому, что все ребята и раньше, в школе, и теперь, в институте, всегда говорят — папа сказал... папа помог... папа объяснил... папа посоветовал!.. Всё папа да папа! Иногда из-за этого я злюсь на того, спасенного им мальчишку. Все-таки интересно, каким он вырос. Добро бы стоящим человеком, а то вдруг так себе, никто. Как плохо, что я о папе почти ничего не знаю, мама не любит о нем говорить: ей это больно. А с бабушкой они не были знакомы. Приходится мне представлять его самой. Когда я об этом думаю, то меня обуревает такая злость, что я забываю о возрасте мальчишки, мне хочется непременно его встретить и набить физиономию. Мне это просто необходимо, для душевного спокойствия.

Потом я трезвею и стыжусь — мальчишке-то было семь лет, что с него взять. А горечь все равно остается во мне и живет постоянно.

Но как бы я ни горевала и ни злилась, на отца я все-таки быть похожей не могу. Что не дано, то не дано, а исправлять природу мне не хочется. Вот почему я не крашу ни волосы, ни губы. И меня не огорчает, что по моей спине гуляют белые прямые пряди. Я вообще редко огорчаюсь. Наверное, оттого что в жизни у меня все складывается, как я хочу. Я даже знаю по этому поводу стихи: «Пусть будет не так, как будет. Пусть будет, как я захочу». Здорово!

А маме эти стихи не нравятся. Она говорит, что в них зазнайство или неопытность, что жизнь сложнее и не все в ней складывается, как хочется. Это она, видно, думает о папе и обижается на меня, когда я с ней спорю.

Мы с мамой всегда жили только вдвоем, и я люблю ее. Она тоже любит меня, хотя никогда об этом не говорит. Но чем старше я становлюсь, тем острее чувствую отсутствие отца, тем больше он нужен мне. Иногда ночью он снится мне. Всегда одинаково: большой, коренастый, с упрямо набыченной головой, он смотрит мои эскизы и говорит: «Доча, у тебя мало света. Легкости не добрала...» А я никак не могу добиться этой самой легкости, и мне становится тоскливо, и жаль себя, и думаю о своей бездарности, и стыжусь ее перед отцом.

Сразу после такого сна я просыпаюсь и становлюсь упрямой, даже злой. Хватаюсь за карандаш и рисую всю ночь. Плохо рисую. Совсем никуда.

А мамой я горжусь. Все-таки из-за меня она не вышла замуж. Значит, я в ее жизни самое главное. А ведь она не просто красивая и умная. Она и очень красивая, и очень умная.

Как плохо, что, все это понимая, я все равно спорю с ней.

Первый раз мы заспорили, когда я кончала десятый класс. Мама хотела, чтобы я, как и она, стала гидрологом и изучала режим вод и прочие умные вещи. Проблема пресной воды действительно стоит перед миром. А я рисовала. Я рисовала с тех пор, как помню себя. И все больше на стенах, а потом в тетрадях, прямо на теоремах, задачах и диктантах. И все больше женские платья и мужские костюмы. Мне хочется, чтоб все люди были

красивы, чтоб одеты они были легко, свободно и тоже красиво. От красоты радость и счастье и работается лучше. А мама хоть и согласна, но меня хотела бы видеть ученой. А я уперлась — пойду в художественный институт. И пошла, и сдала экзамены, и приняли меня.

Но перед этим мама вызвала на помощь бабушку. Бабушка у меня человек совершенно современный. Она ничуть не похожа на тех бабушек, о которых иногда пишут в книгах. С теми было просто: были они замшелыми, темными, вечно сидели на завалинках и ждали в отпуск своих детей и внуков и целый год готовились их хорошо накормить, потому что разговаривать им было не о чем. Наверное, такая бабушка была у моей бабушки, и потому моей бабушке с ней было проще, чем мне с моей. Моя всю жизнь проработала на часовом заводе вместе с дедушкой. Сначала была подсобницей, потом кончила ФЗУ, стала работать на сборке часов и так хорошо работала, что еще до войны ее назначили бригадиром.

Во время войны бабушка вместе с дедушкой воевала. Правда, на разных фронтах, но это все равно. Была она медсестрой, выносила раненых с поля боя, и у нее есть один знакомый, кажется, полковник в отставке, здоровенный, килограммов сто, усатый, как кот. Вот его она тоже вытащила. Когда они собираются у бабушки в День Победы, только и слышно: помнишь, Оля, а помнишь, Саша?.. Лица у них становятся красивые, строгие. Тогда бабушка бывает похожа на маму.

А так она на маму не похожа. Она шатенка, теперь уже крашеная, поменьше ростом, потоньше. Одевается она не броско, но красиво. Когда в выходной дел у нее нет, она едет к нам и зовет: «Девчонки, двинули в лес, а то дома закиснете». А у мамы работа, и мне надо рисовать. Бабушка машет рукой и «двигает» одна.

Еще она очень гордится, что всю жизнь была рабочей, и называет маму — интеллигент в первом поколении. Так и говорит: «Как дела, интеллигент в первом поколении?» Мама не обижается. Она хоть и в первом поколении, а ученая и кого хочешь заткнет за пояс.

В тот день и приехала к нам бабушка, вызванная мамой, и стала ее слушать. А я сразу заспорила. Бабушка улыбалась радостно, словно спор ей доставил удоволь-

ствие, даже, как мне показалось, потирала руки, а потом убежденно сказала:

— Не важна профессия, важно, кто ты в ней. Но смотри, не сверни вбок...

Нет, все-таки это удивительно, что мама никогда не спорит с бабушкой. Сидит, подперев щеку, и слушает. Нет, не со всем она согласна, но не спорит, уважительно кивает, а потом делает по-своему, но так, словно по-бабушкиному. А я какая-то поперечная. Но зато учусь в художественном институте, буду художником-модельером по костюмам. А пока зарабатываю деньги (не вечно же сидеть у мамы на шее) манекенщицей. Ну и что? И ничего зазорного. Как говорит бабушка, важна не профессия, а кто ты в ней. А я нравлюсь публике: повернусь туда, повернусь сюда, пройдусь этакой вальяжной походкой по мосткам, и у всех улыбка на лице. Значит, хорошо им при виде меня. Чего еще надо!

Известие о том, что нас посылают в Ригу, пришло неожиданно. Мы собирались в Кишинев. А тут — в Ригу, где работают такие интересные художники-модельеры. Летела я домой со всех ног. Вбежала в квартиру и еще с порога кричу:

— Мама, нас посылают в Ригу!

А мама как-то странно повела плечами и не повернулась ко мне, точно не слышала.

— Мама! — сказала я с упреком, но и сама почему-то поникла и почувствовала беспокойство. Мама между тем распрямилась, медленно встала и, не глядя на меня, пошла в кухню. Она всегда так делала, когда что-то обдумывала, отдельно от меня. Там она гремела кастрюльками, а я думала: чего это она?

Обедали мы тоже сначала молча, потом мама сказала, да горько так:

— В Риге у меня много знакомых. Я думала, ты поедешь туда по моим стопам, наукой будешь заниматься. А ты вертеться перед публикой едешь!

У меня сразу отлегло от сердца, я засмеялась, обняла ее и зашептала в самое ухо, так, чтоб ей щекотно стало:

— Опять за старое! Я же счастлива! Разве ты не хочешь, чтоб я была счастлива?! Не хочешь, да?!

Мама еще хмурилась, но, видно, очень уж ей было

щекотно, потому что она все же сдалась и, отвечая каким-то своим мыслям, сказала:

— Не все же пойдут смотреть на твое кривляние. Может, и обойдется!

Я погрозила ей пальцем: «Ну, ну!»

А покоя в доме не стало. Или мне так казалось в спешке моих приготовлений. Мне хотелось не просто «вертеться», но «вертеться» в платьях, фасоны которых придумала я сама. А фасоны эти надо было утвердить, сшить, привыкнуть к ним. Мама же все эти дни позже обычного возвращалась из института, точно боялась со мной встречаться. Выглядела она усталой, говорила мало.

Потом приехала бабушка.

Они ушли разговаривать в мамину комнату, и я случайно услышала, как бабушка сказала:

— Так и будешь век одна куковать, такая красивая да образованная? Я бы и то вон пошла замуж за Сашу, да опоздала.

Мама сердито ответила, впервые заспорив с бабушкой:

— Ну что ты говоришь?!

— Ладно,— миролюбиво согласилась бабушка,— не буду, тебе виднее. А за Любовь не волнуйся, не в деревню едет, где всяк знает каждого. Может, и не встретит никого. Хотя сколько будешь скрывать,— девка она уже большая, самостоятельная. Не мучь себя. И баста!

Чего баста, что скрывают от меня, я не знала, но мама повеселела, и я не стала спрашивать, можно же и в другой раз, чтоб не расстраивать ее.

В Риге стояла необычная для этих краев жара. Мы выступали днем и вечером. В переполненном зале. Под аплодисменты. У входа нас ждали девушки с блокнотиками и карандашиками и белобрысые парни с цветами. Ночью, в постели, я мысленно спорила с мамой и вспоминала стихи: «Пусть будет не так, как будет. Пусть будет, как я хочу». Я так хотела, и мне было хорошо.

Потом нам дали выходной день, и я отправилась гулять по городу. Мимо плыли дома, в витринах их кривился муляж. Сначала я подолгу стояла около них, рассматривала, потом стала придумывать свои, казавшиеся мне интереснее. Потом я перестраивала мысленно улицы, парки, переодевала людей, не часто встречавшихся мне

в этот жаркий воскресный день. Мне почему-то хотелось, чтоб все здесь было красиво той особой красотой, какая мне представлялась высшей. Разморенная этими мыслями и нещадной жарой, я вышла вдруг к какому-то костелу (нет, это был не Домский собор), и на меня пахнуло из него такой прохладой, что я не задумываясь вошла и сразу очутилась в блаженной тишине и холоде.

Глаза не сразу привыкли. Сначала все воспринималось одной темной массой. Потом я различила желтые, отполированные многими телами пустые скамьи. В этот полуденный час в костеле не было людей. Я прошла по проходу между скамьями и села на краешек одной из них. Оттуда, где был установлен орган, лилась музыка. Органист, видно, знал, что в костеле никого нет, и потому играл не для людей, для себя. В пустоте сводчатого зала музыка звучала особенно. Я узнала ее — фуги Баха. И вспомнила маму и захотела понять, почему она, не любящая музыку, так упрямо каждую осень ходит в консерваторию слушать эти самые фуги. Что в них таится?

Я вслушивалась в звуки, всем существом своим пытаясь понять. Органист, видно, любил Баха. Во всяком случае, я никогда еще не слышала такого исполнения. Так мог играть только старик, проживший жизнь и понявший себя в ней. Мысленно я нарисовала его портрет: седая лохматая голова, нос с горбинкой, узкие, в ниточку губы, маленькие подслеповатые глазки-щелочки, улыбка виноватая. Представив его таким, я сразу как бы поняла его исполнение и саму музыку и она мне стала близка и интересна. Но это был мой Бах, а не мамин. А мамин? Или и у нее был свой старик? Или папа любил Баха?

Однажды, в Париже, куда я ездила с туристической группой, я уже пыталась отгадать мамину тайну. В соборе Парижской богоматери органный концерт давал знаменитый американский органист. Он играл не для себя. Он играл для публики. Публика была с причудливо подстриженными собаками на тонких разноцветных поводках; публика была в шортах, джинсах, майках, вошедших тогда в моду и открывавших не только спину, но и грудь. Я рассердилась тогда на них. Нет, не за бога, я не верю в него, а за маму и Баха. И специально не за-

помнила имени органиста. Он не раскрыл мне маминой тайны, ничего не объяснил...

Но и сейчас, хотя «старикашка» органист рассыпал по тишине упругие, полные звуки, он ничего мне не объяснял. Я слушала его, себя и не понимала, и злилась, и горевала.

Занятая своими мыслями, я не услышала, как органист перестал играть, и не заметила, как кто-то подошел ко мне, и очнулась и вздрогнула, когда чья-то рука опустилась на мое плечо.

Я вскочила. Передо мной стоял высокий, белолицый, с белыми волосами молодой парень в расстегнутой на груди белой рубашке. Он что-то сказал на незнакомом мне языке, я не поняла, но ответила: «Спасибо!» — и пошла к выходу.

— Подождите,— сказал он тогда по-русски.— Я узнал вас... Вы художник... Ваши модели показывали в городе...

Я покачала головой.

— Нет, нет — модельер!

— Художник! — сказал он убежденно.— Так слушать музыку умеет только художник. Я знаю. Не спорьте...

Я упрямо качала головой, а он хмурился, и так мы шли к выходу, и вышли в переулок, и пошли по нему. Его, видно, что-то тревожило, и он сказал:

— Я не играю в костеле для верующих. Я там репетировал,— и посмотрел на меня вопросительно.

А мне вдруг стало с ним легко и просто.

— А я и не думала,— сказала я.

Потом мы гуляли по узким улочкам, таким узким, когда с балкона одного дома, казалось, можно было пожать руку человеку, находящемуся на балконе противоположного. Рассматривали глухие стены бывших амбаров, с их причудливыми цеховыми вензелями и удивительными фонарями, и он рассказывал мне о городе. Булыжник был полирован временем, а потому скользким, и каблуки мои все время проваливались в расщелины между ним.

Потом шли парком, и густые кроны огромных деревьев смыкались над нами, а в их тени протекал канал или река, я не знала что, и белые лебеди с их длинными грациозными шеями неторопливо плавали от берега к берегу, сознавая свою красоту и величие.

Где-то за этим зеленым миром, на улице, играл оркестр, играл ресторанно, и его не обязательно было слушать. И мне казалось странным, что я не угадала, что органист не старый, а молодой, немного старше меня, и если не угадала, то как же поняла его музыку и создала портрет. Мне стало обидно, я пошла быстрей, чтобы уйти от него. Он не был мне нужен, став чужим и непонятным. Но он догнал меня и сказал:

— Не уходите. У меня такое чувство, словно я знаю вас всю жизнь.

Я ответила насмешливо:

— Не предполагала, что этот способ знакомства стал всеобщим. У нас, в Москве, говорят: «Девушка, я где-то вас видел». Где же вы меня видели? В Риге я впервые.

Он погрустнел, отчего глаза его словно размылись и потеряли цвет, а ямочки на щеках пропали и кожа разгладилась.

— При чем тут способ. Я в самом деле знаю вас. Всю жизнь. Всегда. И не спорьте...

Я обратила внимание, что «не спорьте» он говорит часто, утверждая тем себя, и улыбнулась наивности.

— Вот как,— сказала.— Ну, и как меня зовут?

— Не знаю,— сказал он совсем печально. У него часто менялось состояние. То он был весел и что-то делал руками, точно хотел захлопать, то сразу без перехода опускал руки, терял улыбку и цвет глаз, то глаза его темнели до синевы, а голос становился резким. Это когда он говорил «и не спорьте»! Все это было интересно, но я уже стала сердиться и сказала:

— Не морочьте мне голову,— и побежала к трамваю, который как раз выруливал из-за поворота. Он нагнал меня и вошел вслед. Мы молчали, и он все время смотрел на меня, и по выражению его лица, нервного, на котором все отражалось, я понимала, что он вспоминает. Мучительно. Мне стало жаль его, я рассмеялась и сказала:

— Не ломайте голову, все равно не придумаете. Меня зовут Люба.

— Иван,— сказал он механически и продолжал смотреть на меня и вспоминать. Потом, может быть что-то вспомнив или найдя удачную с его точки зрения мысль, он, как мне показалось, хитро улыбнулся, словно в чем-то уличил меня, и попросил:

— Маршрут скоро кончится, а мне не хочется прощаться с вами. Пошли ко мне пить кофе. Бабушка так варит его! Я провожу вас потом. Это недалеко, и еще рано.

Я сразу возмутилась: за кого он меня принимает?! С какой стати я пойду с чужим, незнакомым парнем в чужом городе к нему домой?!

— Еще что предложите?! — спросила я насмешливо.

— Вы неверно поняли меня,— испугался он.— Совсем, совсем неверно! — Он смотрел на меня жалобно. Нет, выражение лица его все время менялось: то было жалобным, то хитрым, то уверенным и даже жестким. Мне это стало интересно, я представила, как нарисую его, чтобы в одном рисунке передать мгновенную перемену душевного состояния. Мне стало необходимым запомнить его лицо. Теперь уже не он, а я смотрела на него безотрывно. А он все просил, точно для него это было как-то особенно важно:

— Пойдемте, ну, пойдемте же!

А я и сама уже не могла уйти, потому что еще не запомнила его лицо во всех подробностях, и я решилась.

Домик, в который он привел меня, стоял недалеко от реки. С реки дул не порывистый, однотонный ветер. Жару он не разгонял, но все равно был приятен. Домик был небольшой, двухэтажный, с очень современными широченными, почти витринными окнами и садом, в котором цвели незнакомые мне белые пушистые цветы. Нам открыла дверь высокая, очень прямая, точно застывшая женщина. Белые волосы ее пушились из-под черного кружевного шарфа. Платье на ней было тоже черное, строгое, до пят. Я подумала, что она похожа на крестьянку, что она не из этого дома, где такие современные окна.

Иван сказал ей непонятные мне слова. Она кивнула так, словно и не наклонила головы, и пошла негнущейся походкой впереди нас, зажигая по дороге свет в коридоре и комнатах.

Я шла за ней, и мне было смешно и озорно. Все же я внучка своей бабушки. Она бы ничего не испугалась и пошла к любым чужим людям, лишь бы узнать нового человека. А мама никогда бы не пошла. Я вздохнула и стала думать о маме и заспорила мысленно с ней. Я не чувствовала себя неправой.

А женщина впереди меня все зажигала лампы, не обо-

рачиваясь к нам, будто меня, незнакомой ей, и не было. Вдруг вспыхнуло много подпотолочных ламп, и в комнате, куда мы вошли, разлился голубоватый, похожий на уличный, свет. Я увидела маму. Она смотрела прямо на меня. Я зажмурилась от неожиданности и попятилась к выходу, потом рванулась ей навстречу. Мама улыбнулась мне той редкой своей улыбкой, мягкой и прощающей, которая появлялась у нее, когда она слушала Баха.

Передо мной была картина. Огромная, почти во всю стену. Мягкий розовый свет лился на маму из нарисованного окна, делая кожу ее лица и рук такой живой, что хотелось притронуться. Пушистые светлые волосы мамы падали ей на плечи и грудь, и была она легкой, стремительной, словно летящей. Такими бывают только очень счастливые люди. Я подумала, что рисовал ее художник хороший, сумевший увидеть в ней и понять обычно скрытое.

— Мама! — сказала я очень тихо, а Иван, внимательно следивший за мной, радостно и открыто засмеялся, ямочки заиграли на его щеках.

Он запрыгал, ударяя в ладоши:

— Видишь, я правду сказал. Я знаю вас всю жизнь. Каждое утро, просыпаясь, я смотрел на этот портрет. Отец писал его...

— Погодите,— сказала я и почувствовала такую слабость, что вот-вот готова была упасть.— Погодите!

Я закрыла лицо руками, прислонилась к стене и стояла оглушенная. Мысли мои путались. Помню только, подумала: «Почему этот мамин портрет оказался здесь? Кто этот музыкант и его бабушка?» Я оглянулась на старую женщину, и цепкий мой взгляд художника сразу выхватил словно неровно рубленные из камня угловатые крестьянские черты ее лица и перенес их на портрет отца, будто скалькировал. «А-а!»—чуть не вскрикнула я: догадка перехватила мое дыхание, и все же краешком глаза я снова, теперь уже воровато, посмотрела на старую женщину, чтобы убедиться. Да, у нее было угловатое, точно неровно рубленное из камня, тяжелое крестьянское лицо моего отца. «Так вот оно что!» — окончательно утвердилась я в своем открытии,—и все сразу перепуталось во мне, рухнуло. Я почувствовала, как дрожат у меня руки и ноги, и нужно было что-то сделать, чтоб скрыть свою слабость, чтоб не выдать ее.

Так вот она, мамина тайна! Вот что скрывает она от меня. Но была ведь любовь! Любовь, но не брак. Ну и что, любовь-то была. Иначе как бы он нарисовал ее портрет? Любовь! Она живет в ней и сейчас. И какая мне разница — законная, нет, если он сумел понять и так нарисовать маму, если он дал мне жизнь!

Тысячи вопросов без ответов. И тишина. И вдруг в этой тишине тихий, словно просящий прощения плач. Он что-то сломал во мне и родил злость, ту страшную злость, которую я знала в себе и боялась, потому что не умела ее укрощать.

Я круто повернулась, готовая сейчас сотворить непоправимое, и уткнулась слепыми глазами в седую негнущуюся женщину, которую Иван называл бабушкой. Она стояла, не глядя на меня, не видя меня. Она была один на один с портретом. Она словно молилась на него, и лицо ее было отрешенным, нездешним. Вид ее опять все перевернул во мне, расслабил, и я только старалась запомнить ее лицо, чтобы потом, дома, находить в себе ее черты. Иного мне не было дано. Это я поняла сейчас — только запомнить! Она не знала ни о маме, ни обо мне. Когда же отец погиб, мама не решилась прийти к ней и все рассказать, боясь причинить еще одну боль. А ей, мне открылось это сейчас, нужна была боль. Постоянная. Как искупление. Иначе зачем она взяла к себе Ивана? Ей надо было продолжить Его жизнь. Хотя бы в этом, чужом, но Им спасенном для жизни! Она продолжила ее, и я не имела права теперь появиться в ее жизни, потому что разрушила бы ее трудный покой. Она не перенесла бы этого.

Мне стало страшно. Ее. Себя. Невольной возможности раскрытия маминой тайны. Мне было больно. Я побежала к выходу, а Иван крикнул:

— Куда же вы?..

Он ничего не понял. Это было хорошо, но это вновь подняло во мне злость: она была легче боли, я обрадовалась ей и задержалась на секунду, взглянула на Ивана. Он смотрел то на нее, то на меня, и бог знает какие мысли меняли выражение его лица. То оно становилось испуганным, то радостным, то удивленным. А злость уже завладела мной, и я сказала на пределе спокойствия:

— Всю жизнь мне хотелось встретить вас. Чтобы побить. Мне это просто необходимо.

— Что? — не понял и растерялся Иван, сразу став обиженным, будто что-то у него отняли.

— Да-да, побить! — Иван попятился.— Не бойтесь, не трону,— сказала я насмешливо,— хотя и надо бы,— и побежала к выходу, чувствуя на своей спине его ничего не понимающий взгляд и слыша приглушенные всхлипы седовласой женщины, так и не посмотревшей на меня...

Всю ночь я бродила по городу, переходя с улицы на улицу. Названия их я не знала, как не знала, в каком районе города нахожусь. Мной владело чувство, что иду я по городу маминой юности. Вот здесь, именно здесь — так мне хотелось и так мне казалось, потому что дом был красив,— они случайно встретились и пошли, и ходили, ходили всю ночь, как и я, и именно по тем улицам, по которым ходила я. И мама улыбалась. Она все время улыбалась, чтобы эту улыбку оставить в этом городе, ему оставить, не донести до меня. Ревность, обида, горечь и радость владели мной одновременно, и я не могла выделить одно какое-нибудь чувство, а все вместе они разрушали меня. Домой я пришла под утро. Усталая. Мне казалось, что прожила я за одну ночь много своих жизней и вернуться уже ни к одной из них мне не дано. Я повалилась на кровать и заснула.

Больше до конца наших выступлений я не встретилась с Иваном. Нет, он ежевечерне приходил и стоял у выхода из демонстрационного зала, видимо надеясь встретить меня. Но я уходила через запасной выход. По афишам, которые висели по всему городу, я знала, когда он выступал со своими органными концертами. Я знала, что у него успех. Мои подружки были на его концерте и рассказали мне.

Однажды, это было уже под конец наших выступлений, я увидела у выхода не Ивана, а его бабушку. Видимо, он попросил ее уговорить меня встретиться с ним. Она стояла в своем черном платье и черном кружевном шарфе, и в глазах ее была тоска.

Такой она и запомнилась мне: худая, будто изъеденная временем, негнущаяся, с угловатым, точно неровно рубленным из камня лицом, стоит она у выхода, по-крестьянски скрестив под грудью руки, ветер выбивает из-под шарфа ее белые, как снег в поле, волосы, и они легким пушком колышутся вокруг головы, а глаза большие, пустые, одна тоска.

Такой я и нарисовала ее. И Ивана нарисовала, перепортив сотни листов бумаги, пока наконец лицо его не стало нервным, пока на нем не появились сменявшие друг друга удивление, радость, скорбь и сила. С какой точки посмотреть. Впрочем, может быть, мне это и не удалось. Я никому портреты не показывала. Как не рассказала ни о чем маме. Просто перестала с ней спорить. Я ведь стала взрослой, и у меня есть свой секрет, который я не открываю никому. Теперь я согласно киваю на все, что она говорит, а потом делаю так, как хочу сама, но делаю это словно по маминому совету, и в доме у нас царит покой.

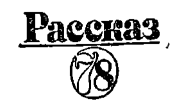
В сентябре мы вместе ходим в консерваторию слушать Баха. Слушаем по-разному, потому что у нее свой Бах, у меня — свой. Была я и на концерте Ивана. Он не знал, не мог знать, что я в зале, и играл для себя, а значит, для нас двоих, для меня и для себя. Я это сразу поняла, потому что, как только раздался первый звук, Иван снова превратился для меня в того, нарисованного мной мысленно старикашку, и играл вовсе не Баха, а свою боль, свое горе, свою радость и свою силу. Точно говорил: «И не спорь со мной!» Впрочем, я и не спорила. Я просто слушала, и слезы лились у меня по щекам.

Потом он выступал в других городах, потом — в Венгрии, Румынии, Польше, в Париже, в соборе Парижской богоматери.

Модели моих костюмов и платьев тоже демонстрировались по всем нашим городам, потом — в Венгрии и Польше, а в прошлом году получили «Гран-при» в Париже.

Так я теперь живу. Так я хочу. И не хочу видеть Ивана. Я, наверно, боюсь, когда он играет для себя, потому что это получается для меня и для себя. А я не хочу бояться. Я хочу, чтоб было так, как я хочу.

Содержание



Редактор *П. Кучуков*

Художник *Ю. Боярский*

Художественный редактор *Н. Егоров*

Технический редактор *Л. Киселева*

Корректоры *З. Князькова, Т. Люборец*

ИБ № 1505. Сдано в набор 10.05.79 г. Подписано к печати 19.10.79. А10588. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 21,62. Тираж 100 000 экз. Заказ 309. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.